А. Н. Гиляровъ
профессоръ университета св. Владиміра.

# ПРЕДСМЕРТНЫЯ МЫСЛИ

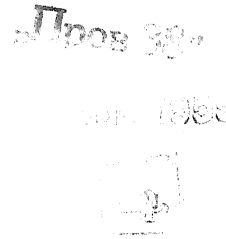
## XIX вѣка

## ВО ФРАНЦІИ.

Очеркъ міропониманія
современной Франціи по ея крупнѣйшимъ литературнымъ произведеніямъ.




КІЕВЪ.
Тип. С. В. Кульженко. Ново-Елисавет. ул., № 4.
1901.

По опредѣленію историко-филологическаго факультета Университета Св. Владиміра печатать разрѣшается. 20 Іюня 1900 г.
Деканъ *Т. Флоринскій.*

БИБЛІОТЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ.
631
31



# Предисловіе.

Подъ крупнѣйшими литературными произведеніями, положенными въ основаніе настоящаго очерка, подразумѣваются такія, которыя даютъ тонъ, располагаютъ широкимъ кругомъ читателей или на него расчитаны. Произведенія, извѣстныя и доступныя немногимъ, каковы бы ни были ихъ достоинства или оригинальность, оставлены въ сторонѣ.

Очеркъ ставитъ цѣлью нарисовать общую картину міропониманія современной Франціи и не имѣетъ никакого притязанія на изслѣдованіе по ея литературѣ. Онъ не входитъ поэтому ни въ историческое освѣщеніе литературныхъ теченій, ни въ разысканіе ихъ источниковъ, ни въ перечень авторовъ и ихъ трудовъ, и въ библіографіи ограничивается только самымъ главнымъ. Для него авторы и ихъ творенія важны какъ выразители извѣстнаго міропониманія, а не сами по себѣ.

Приняты во вниманіе всѣ направленія, но наибольшее удѣлено наиболѣе выдающимся. Дилетантизмъ, какъ центральное міровоззрѣніе, обрисованъ, въ его

яркомъ выраженіи у Ренана, особенно подробно. Гдѣ только возможно, слово предоставлено самимъ авторамъ съ тѣми лишь измѣненіями, которыя требуются связностью и гладкостью рѣчи, а когда приходится излагать своими словами, изложеніе становится всецѣло на точку зрѣнія даннаго направленія, старается уловить настроеніе и своеобразность писателя, помогать разъясненію недостаточно отчетливой мысли ея развитіемъ въ предѣлахъ, ею намѣчаемыхъ. Поэтому вся повѣствовательная часть, отъ начала до конца, и по содержанію, и по формѣ, есть созданіе французской мысли, и авторъ, служащій здѣсь лишь ея передатчикомъ и истолкователемъ, можетъ столь же мало вмѣнять себѣ въ заслугу ея достоинства, какъ нести отвѣтственность за ея недостатки. Но такъ какъ въ подобнаго рода общихъ очеркахъ, наперекоръ всѣмъ стараніямъ ихъ составителей оставаться въ тѣни, всегда вносится много личнаго въ точкѣ зрѣнія, въ выборѣ матеріала и пользованіи имъ, то авторъ счелъ нужнымъ въ наиболѣе важныхъ случаяхъ входить въ критическія обсужденія и высказывать свои воззрѣнія, чтобы было ясно, въ чемъ относительно него надо быть настороже.

Простотѣ, ясности и раздѣльности посвящена особая заботливость. Однако жизнь не укладывается ни въ какія заранѣе опредѣленныя, вполнѣ замкнутыя и округленныя формы. Логическіе недочеты, неиз-

бѣжные при ея точномъ воспроизведеніи, оставлены намѣренно несглаженными. Широта кругозора при изображеніи и оцѣнкѣ направленій возведена въ руководящее правило. Каждая мысль, насколько возможно, представлена и освѣщена съ различныхъ точекъ зрѣнія. Такая разносторонность должна быть выгодна для дѣла, но не выгодна для автора, такъ какъ можетъ дать поводъ заподозрѣвать противорѣчія тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ.

Очеркъ былъ первоначально напечатанъ въ 1897 году въ „Вопросахъ Философіи и Психологіи“ и теперь настолько измѣненъ и дополненъ, что старое составляетъ лишь его малую часть. Не смотря на его значительный объемъ, онъ далеко не исчерпываетъ ни вопроса, ни даже того матеріала, который былъ для него собранъ. Полный очеркъ долженъ былъ бы обнимать нѣсколько томовъ, подобныхъ настоящему. Тѣмъ не менѣе все важное въ послѣднемъ дано, и второстепенныя подробности, сколь сами по себѣ ни интересныя, послужили бы въ ущербъ выразительности общей картины.



# Оглавленіе.


| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Переломъ . . . . . | Стр. | 1— 25 |
| II—III. | Причины разочарованія . . . | „ | 26— 54 |
| IV. | Приниженіе любви . . . . . | „ | 55— 85 |
| V. | Отрава мыслью . . . . . | „ | 86—144 |
| VI. | Тщета искусства . . . . . | „ | 145—158 |
| VII. | Разложеніе политическихъ и общественныхъ идеаловъ . . | „ | 159—214 |
| VIII—IX. | Подрывъ религіознаго и нравственнаго чувства . . . . . | „ | 215—402 |
| X. | Жажда вѣры . . . . . | „ | 403—488 |
| XI. | Оккультизмъ . . . . . | „ | 489—516 |
| XII. | Мистицизмъ . . . . . | „ | 517—549 |
| XIII. | Символизмъ . . . . . | „ | 550—611 |
| XIV. | Черты декадентства . . . . | „ | 612—636 |
| XV. | Пути къ выходу . . . . . | „ | 637—663 |

## I.

Франція всегда чутко отзывалась на всѣ просвѣтительныя движенія, а послѣдніе два вѣка неизмѣнно стояла въ ихъ главѣ. Всѣмъ извѣстно, съ какой горячей вѣрой въ могущество разума и благородство человѣческой природы выступилъ въ концѣ восемнадцатаго и началѣ девятнадцатаго вѣка французскій народъ на просвѣтительное поприще. Эта горячая вѣра сказалась не въ одной только тревожной и богатой событіями политической исторіи, но и въ плодотворной научной и литературной жизни. И настолько близки выдвинутыя французскимъ народомъ просвѣтительныя идеи всѣмъ и каждому, что нашли всюду, куда проникли, сочувственный отзывъ и принесли обильную жатву. Современная духовная культура въ ея наиболѣе цѣнныхъ элементахъ есть по преимуществу созданіе великихъ движеній во Франціи въ восемнадцатомъ и девятнадцатомъ вѣкахъ. Теперь, когда девятнадцатый вѣкъ пришелъ къ концу, любопытно посмотрѣть, что сталось съ этой вѣрой, которая столь бодро подвигала на просвѣтительную борьбу лучшіе умы

во Франціи,—окрѣпла ли она и созрѣла, или, слѣдуя за отошедшимъ вѣкомъ, одряхлѣла и смѣняется новой?

За отвѣтомъ на этотъ вопросъ мы обратимся къ литературѣ, которая издавна признается отраженіемъ жизни, но не къ такимъ мыслителямъ, къ которымъ прислушиваются немногіе, а къ авторамъ, увлекающимъ за собою тысячи, такъ какъ, на сколько можно судить объ общественномъ настроеніи по литературнымъ произведеніямъ, только произведенія такихъ авторовъ могутъ служить камертономъ настроенія современной Франціи.

Уловить основную ноту этого камертона не трудно. Она звучитъ ясно и отчетливо: *Франція въ отошедшемъ вѣкѣ утратила всякую вѣру, она жаждетъ ея, ищетъ и нигдѣ не находитъ.*

Великія идеи, руководившія просвѣтительнымъ движеніемъ девятнадцатаго вѣка, общеизвѣстны: свобода, равенство, братство. Нигдѣ онѣ не принесли такого благодарнаго плода, какъ въ ихъ главномъ очагѣ—Франціи. Нигдѣ мысли и слову не дана такая свобода, какъ въ этой странѣ. Говоря словами французскаго національнаго поэта, французскій народъ гнѣвной рукой развязалъ слово, зная, что кто развязываетъ слово, тотъ освобождаетъ мысль [1]). Современная разнохарактерная, разнузданная до

[1]) V. Hugo, Réponse à un acte d'accusation (Contemplations).

непристойности французская литература, столь часто поносимая, есть на дѣлѣ показатель великихъ принциповъ. Гдѣ люди свободны другъ отъ друга и отъ предразсудковъ, тамъ незачѣмъ стѣсняться въ словѣ; гдѣ всѣ равны, тамъ равноправенъ всякій языкъ, аристократическій не менѣе, чѣмъ демократическій; да и какая можетъ быть принужденность въ бесѣдѣ между братьями? По мысли политическаго строя современной Франціи, весь великій французскій народъ составляетъ одно тѣло и одну душу. Различныя партіи—лишь различные органы этого политическаго существа, различныя мнѣнія—различныя его мысли. И если свобода дорога всякому организму, какъ необходимое условіе правильнаго его развитія, то тѣмъ дороже она для Франціи, купившей ее цѣною такихъ жестокихъ бурь и тяжелыхъ жертвъ. Или, какъ выражается Зола, въ глазахъ французскаго народа „рушится все, какъ скоро становится несостоятельной идея свободы, какъ скоро свобода перестаетъ быть единственнымъ основаніемъ республики, которую онъ купилъ такъ дорого, такимъ долгимъ усиліемъ“ [1]).

Эту свободу можно прослѣдить во всѣхъ областяхъ французской духовной жизни.

---

[1]) Paris, p. 350.

„Революція (говоритъ В. Гюго) [1]) звучитъ теперь въ воздухѣ, въ голосѣ, въ книгѣ. Читатель чувствуетъ ея жизнь въ трепетномъ словѣ. Она кричитъ, она поетъ, она поучаетъ, она смѣется; ея языкъ такъ же развязенъ, какъ и мысль. Въ романѣ она тихо бесѣдуетъ съ женщинами. Она зорко смотритъ своими огненными глазами, однимъ на гражданина, другимъ—на мыслителя. Она беретъ за руку свою сестру, свободу, и заставляетъ ее проникать въ каждаго человѣка чрезъ всѣ его поры. Предразсудки, выросшіе подобно коралламъ изъ темной груды вѣковыхъ злоупотребленій, распадаются подъ ударомъ волнующихся словъ, полныхъ ея воли, ея цѣли, ея души. Она въ прозѣ, она въ стихахъ, она въ театрѣ; она—выраженіе, она—чувство, фонарь на улицѣ и звѣзда на небѣ. Она проникаетъ въ неизмѣримыя глубины языка. Она заявляетъ о себѣ въ искусствѣ, этомъ громогласномъ рупорѣ. Волею Божіей она, наполнивъ своею гордынею народъ, сгладивъ старыя морщины на его челѣ, поднявъ униженную толпу и сдѣлавшись правомъ, теперь стала идеей“.

Она стала (говоря словами Токвиля) „въ нѣкоторомъ родѣ новой религіей, правда, религіей несовершенной, безъ Бога, безъ культа, безъ будущей

---

[1]) Hugo, тамъ же.

жизни, но которая тѣмъ не менѣе... наводнила всю землю своими воинами, своими апостолами и своими мучениками“ [1]).

Но ни въ одной области французской духовной жизни революціонные отзвуки не сказались столь отчетливо, какъ въ такъ называемой изящной литературѣ. Историкъ французской литературы могъ бы нарисовать живую и разнообразную картину этихъ отзвуковъ отъ первыхъ проблесковъ революціоннаго сознанія и до нашихъ дней. И еслибы онъ былъ объективенъ, то долженъ былъ бы признать, что настоящее время—время перелома, когда старые идеалы продолжаютъ еще дѣйствовать силою затаеннаго въ нихъ великаго толчка, но уже утратили животворящее значеніе. Ясно чувствуется, что они исполнили свою задачу, такъ сильно завладѣли почвой, что старое терніе на-ряду съ ними прорасти не можетъ. Но тогда какъ въ разгаръ борьбы со старымъ началомъ они настолько наполняли собой духовное существо французскаго народа, что подавили всѣ остальныя его духовныя силы, съ тѣхъ поръ какъ опасность со стороны противодѣйствующаго начала ослабла или миновала, эти идеалы стали общимъ мѣстомъ, а подавленныя ими силы тревожно рвутся къ жизни.

---

[1]) Oeuvres complètes, IV, p. 19. F. Brunetière, Discours de combat (1900), p. 305.

Великія идеи свободы, равенства, братства были, какъ всѣмъ извѣстно, подсказаны разуму главнымъ образомъ *внѣшними* соціальными и политическими условіями и ставили цѣлью *внѣшнее* благоденствіе человѣка, основанное на принципахъ разума. *Человѣкъ внутренній* со всѣми своими чувствами, вѣрованіями, мечтами, чаяніями и желаніями не только не былъ удовлетворенъ, но былъ отвергнутъ, какъ опора стараго, неразумнаго начала [1]). Теперь этотъ *внутренній человѣкъ* пробуждается и проситъ пищи, и тѣмъ настоятельнѣе, что слишкомъ долго безъ нея оставался. Но гдѣ взять этой пищи, когда старое потоптано и уничтожено, а новое еще не создано?

Въ концѣ девятнадцатаго вѣка (говоритъ одинъ изъ наиболѣе выдающихся современныхъ французскихъ мыслителей) „мысль потеряла спокойствіе, сдѣлавшееся, повидимому, ея естественнымъ состояніемъ. Съ нѣкотораго времени въ ней обнаруживаются два теченія, которыя идутъ въ противоположномъ направленіи и не перестаютъ ее волновать, не потрясая пока въ глубинѣ. Съ одной стороны ученые, возвратившись къ естественной вѣрѣ въ разумъ подъ живымъ впечатлѣніемъ его могучихъ научныхъ обобщеній и глубоко убѣжденные (хотя этого и не говорятъ) въ томъ, что разумъ есть единственная духовная сила будущаго, прини-

[1]) Ср. гл. VIII.

маются философствовать и искать рѣшенія великихъ задачъ; съ другой, литераторы, встрѣчая помѣху своимъ мистическимъ стремленіямъ, громко провозглашаютъ „банкротство науки“, находятъ въ себѣ отпрыски вѣры, бросаются къ религіи и пытаются ее обновить, хотя и не знаютъ, какъ за это взяться. Такимъ образомъ исчезаетъ тотъ молчаливый компромиссъ, котораго царство было приведено усталостью борьбы и всеобщимъ размягченіемъ характеровъ. Разумъ и вѣра на перебой отвергаютъ этотъ *modus vivendi*, этотъ способъ идти бокъ о бокъ хорошо или дурно, и скорѣе дурно, чѣмъ хорошо, какъ живутъ два несговорчивыхъ сожителя. Оба требуютъ для себя полноправія; ихъ ссора была только убаюкана; и вотъ они теперь снова начинаютъ схватку“ [1]).

„Мы теперь присутствуемъ (говоритъ другой французскій авторъ [2]) при образованіи какого-то новаго духа, то-есть новаго общаго способа разсматривать человѣка и міръ, новой логической совокупности идей, вѣрованій, чувствъ, и этотъ духъ, еще далеко не принявшій своей окончательной формы, повидимому, значительно отличается отъ того,

---

[1]) L. Ribert, Essai d'une philosophie nouvelle, suggérée par la science, (1898) pp. 6—7.

Также Zola, Paris, p, 103.

[2]) Paulhan, Le nouveau Mysticisme, 1891, начало. Подобное же у Rod, Idées morales du temps présent (1892), p. 289.

который ему предшествовалъ, и даже, какъ и можно было ожидать, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ ему прямо противоположенъ".

Когда начался этотъ переломъ, прослѣдить трудно, но онъ подготовлялся издавна, и уже въ началѣ шестидесятыхъ годовъ отзывчивый Фламмаріонъ ярко и живо обрисовалъ его основныя черты.

„Достаточно присмотрѣться внимательно къ настоящему настроенію умовъ (говорилъ онъ), чтобы замѣтить, что человѣкъ утратилъ вѣру и увѣренность прежнихъ дней, что наше время есть эпоха борьбы и что безпокойное человѣчество ожидаетъ религіозной философіи, на которую могло бы возложить надежды... Критическія вѣянія изсушили уста, лишили живыхъ источниковъ вѣры, къ которымъ люди отъ времени до времени припадали съ жаждой, въ которыхъ они находили обновленіе въ дни упадка. У нихъ взяли все, что составляло ихъ силу и поддержку. Что дали имъ взамѣнъ? Увы, пустоту, пустоту мрачную, неизмѣримую.., среди которой самъ разумъ испытываетъ головокруженіе и падаетъ въ обморокъ въ руки скептицизму... Прошлое мертво, философія будущаго еще не народилась; она находится еще въ смутной работѣ зачатія. Современная душа раздѣлена и въ постоянной борьбѣ сама съ собой... Теперь каждый колеблется въ сомнѣніи, ожидая успокоенія, которое не наступаетъ; каж-

дый ищетъ вдали счастливой пристани, куда бы могъ привести свою усталую ладью“ [1]).

Въ настоящее время вѣянія „новаго духа“ [2]) настолько сильны, что колеблютъ даже самыхъ крупныхъ представителей еще недавно господствовавшаго міровоззрѣнія.

Выразительнымъ образцомъ такихъ колебаній могутъ служить произведенія одного изъ наиболѣе типичныхъ французскихъ писателей, самаго популярнаго какъ во Франціи, такъ и во всемъ вообще образованномъ мірѣ, Эмиля Зола.

Для большинства читателей значеніе этого автора въ томъ, что онъ—непристойный писатель, потворствующій дурнымъ страстямъ съ цѣлью найти для своихъ романовъ широкое распространеніе. На дѣлѣ онъ писатель вполнѣ искренній и добросовѣстный, а его своеобразности кроются въ томъ, что онъ яркій выразитель революціоннаго духа. Въ противоположность „гнилымъ романтикамъ“, онъ вполнѣ сознательно, во имя науки и разума, отвращается, насколько это возможно, отъ внутренняго человѣка къ человѣку внѣшнему и разсматриваетъ его въ холодномъ свѣтѣ анализа. Онъ говоритъ непристойности, такъ какъ убѣжденъ, что „все должно говорить, что существуютъ ужасныя слова,

---

[1]) La pluralité des mondes habités, pp. 1—2 (éd. 30).

[2]) Zola, Paris, p. 103.

необходимыя какъ жестокія оковы, и что языкъ выходитъ обогащеннымъ изъ этой каторги“ [1]). Этимъ „смѣлымъ“ языкомъ онъ громитъ всю наличную дѣйствительность. Въ новое время не было другого писателя, который бы такъ безпощадно разоблачалъ нравственное ничтожество всѣхъ слоевъ общества. Никто еще не дѣлалъ такого дерзкаго вызова христіанской религіи, какъ Зола въ своей *Terre* [2]). Пророчество близкой соціальной революціи никѣмъ не было высказано съ такимъ жаромъ, убѣжденіемъ и такъ картинно, какъ Зола въ *Germinal*:

„Да, въ одинъ прекрасный вечеръ, освобожденный, разнузданный народъ пронесется по дорогамъ; онъ обагрится кровью горожанъ, будетъ носить ихъ головы, будетъ сѣять золото изъ выпотрошенныхъ сундуковъ. Женщины будутъ выть, мужчины будутъ словно волки съ разверзтой пастью, готовой кусать. Да, это будутъ лохмотья, топотъ грубыхъ сапогъ, ужасная, нестройная толпа, грязная, съ отвратительнымъ дыханіемъ, и она смететъ старый міръ своимъ варварскимъ напоромъ. Заполыхаютъ пожары, въ городахъ не останется камня на камнѣ, и люди возвратятся къ дикой жизни въ лѣсахъ, послѣ великаго разврата, великаго грабежа, когда бѣдные въ одну ночь замучаютъ женъ богачей и опустошатъ ихъ кла-

---

[1]) L'Oeuvre, p. 250.

[2]) Hyacinthe—Jesus Christ.

довыя. Тогда не останется больше ничего, ни одного благопріобрѣтеннаго гроша, ни одного преимущества, и такъ будетъ до тѣхъ поръ, пока не прорастетъ, быть можетъ, новая земля“ [1]). Уже слышатся подземные удары: „Вырастаютъ люди: черная мстительная рать, долго прозябавшая въ бороздахъ, созрѣла для жатвы грядущаго вѣка, и ея ростъ вскорѣ взорветъ землю“ [2]).

Если мы спросимъ, во имя чего столь рѣшительно отрицается весь современный строй, то сколько-нибудь раздѣльный отвѣтъ на этотъ вопросъ для Зола невозможенъ. Подобно большинству своихъ соотечественниковъ, онъ утратилъ вѣру въ идеалъ. Въ революціонные идеалы, несмотря на радикальную окраску своего міровоззрѣнія, онъ не вѣритъ, такъ какъ не вѣритъ въ благородство человѣческой природы. Для него человѣкъ не то отвлеченное разумное существо, которое строили теоретики великой революціи, но „кровожадная и смрадная гадина, позорящая и пожирающая землю“ [3]). Что съ такой „гадиной“ невозможно никакое обновленіе жизни, доказываетъ современный строй, который хотя и выросъ на революціонной почвѣ, тѣмъ не менѣе отвратителенъ. Въ немъ „грязь внизу, грязь

---

[1]) pp. 393—394.

[2]) Тамъ же, p. 591. Paris, p. 114.

[3]) Terre, p. 518.

наверху, повсюду грязь и грязь“ [1]). Такъ называемые общечеловѣческіе идеалы добра, красоты, въ глазахъ Зола — пустая романтика. „Рукоплескать реторикѣ, восторгаться идеаломъ—все это только красивыя нервныя волненія... Намъ нужно мужество въ истинѣ, чтобы мы могли быть славны въ будущемъ, какъ были славны въ прошедшемъ [2])“. „Идеалъ пораждаетъ всякія опасныя мечтанія; идеалъ бросаетъ молодую дѣвушку въ объятія проходжему; идеалъ побуждаетъ женщину къ нарушенію вѣрности. Какъ скоро покидаютъ твердую почву истины, открывается широкій просторъ для всякихъ безобразій“ [3]). Словомъ, идеалисты—лгуны и растлѣватели [4]). Мы должны брать дѣйствительность, какъ она есть, и изображать ее безъ всякаго вымысла, по руководству той науки, которая всего меньше считается съ идеализмомъ,—физіологіи. Пусть такая дѣйствительность внушаетъ намъ отвращеніе. Зато „какъ далеки мы отъ тирадъ въ пользу добродѣтели, которыя никого не обязываютъ! Наша добродѣтель не на словахъ, а на дѣлѣ. Мы—дѣятельные работники, указывающіе на гнилыя балки, внутреннія трещины, разваливающіеся камни... Не болѣе ли полезная, серьезная и достойная эта работа,

[1]) Nana, p. 393.

[2]) Roman experimental, p. 60.

[3]) Тамъ же, p. 102.

[4]) Тамъ же.

чѣмъ стоять на скалѣ съ лирой въ рукахъ и поощрять людей звонкимъ бренчаніемъ?“ [1]) Единственное божество, которое мы можемъ признавать, „обширная природа, вѣчно производящая жизнь, жизнь цѣлая, всеобщая, проходящая отъ одного края животнаго міра до другого, чуждая высокаго и низменнаго, красоты и безобразія“ [2]). Единственная достойная этого божества молитва—признаніе, что человѣкъ—земля и въ землю превращается. „О, добрая земля, прими меня ты, общая мать, единственный источникъ жизни! Ты, вѣчная, безсмертная, гдѣ круговращается душа міра, этотъ жизненный сокъ, разлитый до самыхъ камней и дѣлающій деревья нашими неподвижными братьями!... Да, я желаю потеряться въ тебѣ, тебя чувствую я подъ своими членами, какъ ты меня обнимаешь и воспламеняешь; ты одна будешь въ моихъ твореніяхъ первичной силой, средствомъ и цѣлью, безконечнымъ ковчегомъ, въ которомъ всѣ вещи воодушевляются дуновеніемъ всѣхъ существъ“ [3]). Единственный двигатель и возродитель жизни—„половой актъ, начало и непрерывное завершеніе міра“ [4]). Наконецъ, единственное средство найти себѣ бла-

---

[1]) Тамъ же, p. 101.

[2]) L'Oeuvre, p. 250.

[3]) Тамъ же, p. 271.

[4]) Тамъ же, p. 250.

гополучіе „при всемогуществѣ среды“ [1])—наука и разумъ. „Ты хочешь знать мое *вѣрую*?... Я вѣрую что будущее человѣчества—въ прогрессѣ разума посредствомъ науки. Я вѣрую, что исканіе истины наукой—божественный идеалъ, который долженъ человѣкъ себѣ поставить. Я вѣрую, что все—иллюзія и суета, за исключеніемъ сокровища истинъ, медленно пріобрѣтенныхъ и которыя никогда не погибнутъ. Я вѣрую, что сумма этихъ истинъ, вѣчно умножаемыхъ, дастъ въ концѣ человѣку неисчислимую силу и спокойствіе, если только не счастье... Да, я вѣрую въ конечное торжество жизни“ [2]). „Сумма истинъ“, насколько онѣ касаются пониманія человѣческой жизни, сводится къ тремъ: всемогущество среды, роковая сила наслѣдственности, успокоеніе на сознаніи, что зло, быть можетъ, необходимо. „Подобно тому, какъ изморозь, уничтожающая посѣвы, градъ ихъ побивающій и пожигающая ихъ молнія, быть можетъ, необходимы, возможно, что кровь и слезы нужны для того, чтобы шла жизнь нашего міра“. Только легкомысленные могутъ думать, будто мы—центръ міра. Наше счастье ничего не значитъ „въ великой механикѣ солнца и звѣздъ“. Богу мы вовсе не нужны. Доказательство на лицо: „хлѣбъ намъ дается не иначе, какъ жестокой ежедневной борьбой“ [3]).

---

[1]) Тамъ же, p. 248.

[2]) Docteur Pascal, p. 47.

[3]) Terre, p. 518.

Однако, пессимистическое успокоеніе на сознаніи необходимости зла для большинства людей можетъ быть только минутнымъ настроеніемъ; обыкновенно же люди живутъ надеждой на лучшее, и безъ этой надежды для многихъ жизнь была бы невыносимой. Но наука, какъ понимаетъ ее Зола, то есть какъ систематическій сводъ заключеній изъ наблюденій и экспериментовъ, безъ отношенія къ нравственному идеалу, не только не питаетъ такой надежды, а, напротивъ—способна ее убивать, свидѣтельствуя о ничтожествѣ и суетѣ всего человѣческаго въ сравненіи съ „великой механикой вселенной“. Если она и можетъ дать удовлетвореніе уму и содѣйствуетъ внѣшнему нашему благосостоянію, то она не можетъ избавить отъ сердечной нищеты, которая переносится культурными людьми столь же тяжело, какъ матеріальная бѣдность. Сознаніе это живо въ современномъ французскомъ обществѣ, и потому Зола, какъ наблюдатель жизни, счелъ себя вынужденнымъ въ „Лурдѣ“ и „Римѣ“ измѣнить точку зрѣнія и заставляетъ героевъ этихъ двухъ романовъ искать смысла и значенія жизни не во внѣшней дѣйствительности, а въ субъективномъ мірѣ чувства, въ чаяніи того идеала, противъ котораго онъ раньше такъ ревностно боролся.

„Если рабочая масса (такъ рисуетъ онъ въ „Римѣ“ картину умственной и нравственной болѣзни, ко-

торой мучится конецъ девятнадцатаго вѣка [1]), страдаетъ отъ плохого надѣла и требуетъ, чтобы при новомъ раздѣлѣ за ней былъ обезпеченъ по крайней мѣрѣ насущный хлѣбъ, то, повидимому, не болѣе довольно и избранное общество, жалующееся на пустоту, въ которой его оставляютъ освобожденный разумъ и расширенный умственный кругозоръ. *Таково знаменитое банкротство раціонализма, позитивизма и самой науки.* [2]) Умы, которыхъ снѣдаетъ потребность безусловнаго, утомляются осторожными попытками, медленностью науки, допускающей однѣ только доказанныя истины; ими овладѣла томительная жажда сокровеннаго, имъ необходимъ полный и непосредственный синтезъ, чтобы можно было спать покойно; и разбитые, они падаютъ на пути на колѣни, растерянные отъ мысли, что никогда не познаютъ всего, и предпочитаютъ Бога, откровенное неизвѣстное, удостовѣренное однимъ актомъ вѣры. И дѣйствительно, наука теперь не успокоиваетъ ни нашей жажды справедливости, ни нашего желанія быть обезпеченнымъ, ни той вѣковой идеи, которую мы составили себѣ о блаженствѣ, какъ не прекращающейся жизни, вѣчности наслажденій. Она только обнажаетъ міръ, она приноситъ каждому только суровую солидарность долга жизни, какъ простому фактору во все-

[1]) pp. 31—32.

[2]) Также Paris, p. 65.

БИБЛІОТЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ

общей работѣ; и какъ понятенъ поворотъ сердецъ, сожалѣніе о томъ христіанскомъ небѣ, которое населено прекрасными ангелами, полно свѣта, музыки и благоуханія! [1]). Ахъ! цѣловать дорогихъ сердцу мертвыхъ, говорить себѣ, что съ ними вновь встрѣтишься, будешь жить среди лучезарнаго безсмертія, быть увѣреннымъ въ верховной справедливости, чтобы выносить проклятіе земного существованія, убивать такимъ образомъ ужасную мысль объ уничтоженіи, ускользать отъ страха передъ исчезновеніемъ моего я, и успокоиваться, наконецъ, въ непоколебимой вѣрѣ, которая отлагаетъ на другой день послѣ смерти счастливое рѣшеніе всѣхъ загадокъ судьбы! Это—мечта, но народы будутъ мечтать ее еще долго. Здѣсь объясненіе того, какимъ образомъ въ концѣ этого вѣка, вслѣдствіе переутомленія умовъ, а также вслѣдствіе глубокаго потрясенія, въ которомъ находится человѣчество, чреватое грядущимъ міромъ, пробудилось религіозное чувство, безпокойное, мучимое идеаломъ и безконечностью, требующее нравственнаго закона и увѣренности въ высшей справедливости. Религіи могутъ исчезать, религіозное чувство создастъ новыя, даже и при наукѣ".

„Ахъ, печальные люди,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ [2]), бѣдное, больное человѣчество, жаж-

[1]) Подобное же у Ed. Rod, Le sens de la vie, p. 291.

[2]) Lourdes, pp. 595—598.

дущее иллюзіи!.. Но какъ оплодотворить всеобщее сомнѣніе, чтобы оно породило новую вѣру, и какого рода иллюзія, какой божественный обманъ можетъ еще дать ростокъ въ современной землѣ, опустошенной со всѣхъ сторонъ, истощенной цѣлымъ вѣкомъ знанія?"

Эта уступка общественному настроенію продолжалась однако не долго. Католичество, которое даетъ себя чувствовать въ „Лурдѣ" и „Римѣ", для Зола теперь, какъ и прежде, „ненавистный кошмаръ", отъ котораго чѣмъ скорѣе отдѣлаться, тѣмъ лучше. Старая религія отжила и должна уступить мѣсто новой—религіи жизни. Для этой „религіи" только двѣ святыни — плодовитость, наполняющая землю работниками, и трудъ, какъ средство внѣшняго благополучія, и одна верховная сила—сила толпы.

„Какъ можно больше жизни, чтобы какъ можно больше было счастья. Таковъ актъ вѣры въ жизнь, актъ надежды въ ея справедливое и доброе дѣло. Побѣдоносная плодовитость остается несомнѣнной силой, верховной владычицей, которая одна создаетъ будущее. Она—великая революціонная дѣятельница, неутомимая работница прогресса, мать всѣхъ цивилизацій, которая непрестанно обновляетъ армію своихъ неисчислимыхъ борцовъ, бросая въ потокъ вѣковъ милліарды бѣдныхъ, голодныхъ, возмущенныхъ на завоеваніе истины и справедливости. Въ исторіи не было ни одного шага впередъ безъ

того, чтобы людей не двигала въ ихъ шествіи многочисленность. Завтра, какъ вчера, будетъ завоевано кишѣніемъ толпищъ въ поискахъ за счастьемъ. И то будутъ благодѣянія, ожидаемыя отъ нашего вѣка, достигнутое, наконецъ, экономическое равенство, какъ было достигнуто равенство политическое, правильное распредѣленіе богатствъ сдѣлается впредь легкимъ, обязательный трудъ будетъ возстановленъ въ своей славной необходимости. Неправда, будто онъ данъ людямъ въ наказаніе за грѣхъ, напротивъ—онъ честь, благородство, самое цѣнное изъ благъ, радость, здоровье, сила, самая душа міра, который всегда въ работѣ, въ созиданіи будущаго. Въ трудѣ раждается ребенокъ на свѣтъ, трудъ дѣлаетъ жизнь нормальной, безъ глупаго извращенія, онъ есть самый ритмъ великаго повседевнаго дѣла, который ведетъ міръ къ его вѣчной судьбѣ. И бѣдность, это ужасное соціальное преступленіе, исчезнетъ въ этомъ прославленіи труда, въ этомъ распредѣленіи между всѣми всеобщей работы, когда каждый приметъ свою законную часть въ обязанностяхъ и правахъ. И пусть дѣти множатся, они будутъ лишь орудіемъ богатства, приращеніемъ человѣческаго капитала, свободнаго и счастливаго существованія, когда дѣти однихъ престанутъ быть мясомъ для барщины, убійства или проституціи изъ за эгоизма дѣтей другихъ. И опять побѣдительницей будетъ жизнь, возрожденіе жизни почитаемой,

обожаемой, той религіи жизни, которая была подавлена долгимъ, ненавистнымъ гнетомъ католицизма... Его наконецъ стряхнутъ въ тотъ близкій день, когда плодовитая земля, плодовитая женщина снова сдѣлаются культомъ, всемогуществомъ и верховной красотой... И божественная мечта, благородная утопія широко раскрываетъ свои крылья— сліянье семьи съ народностью, сліянье народности съ человѣчествомъ, единый народъ, дѣлающій изъ земли единый градъ мира, истины и справедливости. Ахъ! Пусть плодовитость все возростаетъ, пусть человѣческое сѣмя переносится черезъ границы, пусть идетъ населять необработанныя пустыни, пусть оно расширяетъ человѣчество въ грядущихъ вѣкахъ, пока наступитъ царство верховной жизни, въ концѣ концовъ владычицы времени и пространства!“ [1])

Присмотрѣться къ этому исповѣданію вѣры ближе, и оно оказывается простой риторикой, скрывающей несостоятельность содержанія перезвономъ фразъ. Прогрессъ достигается сложными условіями, не простымъ кишѣніемъ голодныхъ толпищъ въ поискахъ за счастьемъ, и къ религіи обращаются какъ убѣжищу не отъ однѣхъ только внѣшнихъ невзгодъ, но главное— отъ скорбей духа, а какая внѣшняя жизнь способна уничтожить эти скорби?

[1]) Fécondité, pp. 745—746. 750. 101 Paris, 502. 553—554. 599.

„Думать, что счастье будетъ царить, когда у всѣхъ будетъ хлѣбъ, какая глупая надежда“, замѣчаетъ самъ Зола, и въ доказательство рисуетъ въ „Парижѣ“ богатаго фабриканта, предметъ зависти рабочихъ. Его машины куютъ деньги, и онъ, повидимому, не знаетъ никакой заботы кромѣ той, какъ умѣстить въ карманъ деньги. И однакоже онъ самый злополучный изъ людей, такъ какъ не проходитъ дня, чтобы онъ не мучился „агоніей сердца“, не испытывалъ тяжкихъ нравственныхъ страданій. „Этотъ тріумфаторъ, этотъ привелигированный богатства, на своей кучѣ денегъ, которыя все росли и росли, рыдалъ отъ горя“. [1])

Подобныхъ мукъ сердца не способна устранить никакая плодовитость, не можетъ стереть съ лица земли никакой напоръ толпы, и если скорбь достигаетъ высшаго напряженія, то противъ нея безсиленъ и трудъ, такъ какъ для труда нужна воля, а она можетъ быть подавлена горемъ. Немудрено поэтому, что „новая религія“ Зола не встрѣтила отголоска и имѣетъ значеніе простой литературной новости.

Зола прежде не даромъ считалъ себя протоколистомъ современной жизни. Жалоба на утрату идеала и жажда идеала, о которыхъ онъ говоритъ въ „Лурдѣ“ и въ „Римѣ“, общее мѣсто въ современной французской литературѣ.

[1]) p. 545, сл.

„Передо мною, — говоритъ Буржэ [1]), — въ настоящее время два типа молодыхъ людей—двѣ формы соблазна, одинаково страшныя и гибельныя. Одинъ—циникъ, всегда готовый посмѣиваться. Онъ въ двадцать лѣтъ окончилъ счеты съ жизнью, и его религія сводится къ одному слову: „наслажденіе", которое переводится также и другимъ: „успѣхъ". Занимается ли онъ политикой или судебными дѣлами, литературой или искусствомъ, спортомъ или промышленностью, будетъ ли онъ офицеромъ, дипломатомъ, адвокатомъ,—повсюду онъ для себя богъ, начало и конецъ. Онъ заимствовалъ отъ современной естественной философіи великій законъ жизненной конкурренціи, и онъ примѣняетъ его къ дѣлу своего благоустройства съ жаромъ позитивизма, дѣлающимъ изъ него цивилизованнаго варвара, опаснѣйшаго изъ всѣхъ въ этомъ родѣ. Альфонсъ Додэ, сумѣвшій удивительно хорошо распознать и опредѣлить современнаго молодого человѣка, окрестилъ его именемъ *struggle for life'r,* а самъ онъ, сама эта личность, охотно называетъ себя *fin de siècle.* Онъ цѣнитъ только успѣхъ, а въ успѣхѣ только деньги. Онъ убѣжденъ, читая то, что́ я здѣсь пишу,—а онъ читаетъ все, хотя бы для того, чтобы быть „въ курсѣ"—что я смѣюсь надъ

---

[1]) Disciple, préf., pp. VI—X. Подобное же въ Un crime d'amour, pp. 53 и сл.

публикой, обрисовывая этотъ портретъ, такъ какъ я самъ на него похожъ. Онъ по-своему такой глубокій нигилистъ, что идеалъ кажется ему комедіей у всякаго человѣка...“

Такой молодой человѣкъ чудовищенъ, но онъ менѣе страшенъ, чѣмъ „другой, который обладаетъ всей аристократіей нервовъ, всей аристократіей ума, и можетъ быть названъ интеллектуальнымъ и утонченнымъ эпикурейцемъ, тогда какъ первый— эпикуреецъ грубый и научный. Этотъ тонкій нигилистъ—какъ страшно съ нимъ встрѣтиться и какъ онъ изобилуетъ! Въ двадцать лѣтъ онъ замкнулъ кругъ своихъ идей. Его критическій умъ, преждевременно развитый, усвоилъ послѣдніе результаты самыхъ тонкихъ философій его времени. Не говори ему о нечестіи, о матеріализмѣ. Онъ знаетъ, что слово матерія не имѣетъ точнаго смысла, а съ другой стороны, онъ слишкомъ уменъ, чтобы не допускать, что всѣ религіи могутъ быть законны въ свое время. Впрочемъ, онъ никогда не вѣровалъ и никогда не будетъ вѣровать ни въ какую, точно такъ же, какъ онъ никогда не будетъ вѣровать ни во что, за исключеніемъ забавной игры своего ума, изъ котораго онъ сдѣлалъ орудіе элегантной испорченности. Добро и зло, красота и безобразіе, пороки и добродѣтели ему кажутся предметами простого любопытства. Вся человѣческая душа для него лишь ученый механизмъ, котораго

разборъ его интересуетъ, какъ предметъ опыта. Для него нѣтъ ничего истиннаго, ничего ложнаго, ничего нравственнаго, ничего безнравственнаго. Это тонкій и образованный эгоистъ, котораго все тщеславіе состоитъ въ обожаніи своего я, въ украшеніи его все новыми ощущеніями. Религіозная жизнь человѣчества для него только предлогъ къ такимъ ощущеніямъ, точно такъ же, какъ жизнь умственная и жизнь чувства. Его развращенность гораздо глубже, чѣмъ варварскаго искателя наслажденій, она гораздо сложнѣе, и имя диллетантизма, въ которое онъ наряжается, красиво прикрываетъ его холодную жестокость, ужасную сухость. Ахъ, мы его очень хорошо знаемъ, этого молодого человѣка; мы всѣ едва не сдѣлались имъ,—мы, которыхъ слишкомъ очаровали парадоксы слишкомъ краснорѣчивыхъ учителей [1]); мы всѣ были имъ одинъ день, одинъ часъ. Не будь ни тѣмъ ни другимъ изъ этихъ молодыхъ людей, мой юный братъ! Не будь ни грубымъ позитивистомъ, который злоупотребляетъ чувственнымъ міромъ, ни презрительнымъ и преждевременно избалованнымъ софистомъ, который злоупотребляетъ міромъ ума и чувства".

„Глаза нашего поколѣнія не горятъ огнемъ,— заставляетъ говорить Альфонсъ Додэ одного изъ своихъ героевъ [2]). У насъ нѣтъ пыла ни къ любви,

---

[1]) Намекъ на Ренана. См. гл. VIII.

[2]) Petite Paroisse, pp. 348—349.

ни къ отечеству. Кто въ этомъ виноватъ? Ты, философъ, мыслитель, изслѣдователь, пожиратель книгъ, ты думаешь, что потерялъ свой пылъ и свѣтъ въ туманахъ нѣмецкой метафизики, ты обвиняешь книги за то, что онѣ тебя слишкомъ рано научили и изсушили. Но мы, всѣ остальные, мы, лѣнтяи, мы, которые не читаемъ, мы бы должны были хранить въ себѣ огонь чистыхъ вѣрованій, а на дѣлѣ прямо наоборотъ. Повидимому, чтобы знать тѣ грузныя книги, которыя тебя разочаровали, нѣтъ нужды ихъ раскрывать: безнадежныя идеи, которыя въ нихъ содержатся какъ въ зернѣ, оформились и разсѣялись, и мы ихъ вдыхаемъ съ воздухомъ и жизнью, мы ихъ поглощаемъ всѣми нашими порами. Не было случая, чтобы, когда ты мнѣ приводилъ какую-нибудь изъ красивыхъ и безутѣшныхъ аксіомъ твоихъ философовъ, я бы не сказалъ себѣ: „Да, я это знаю!“ Здѣсь одно изъ тѣхъ необъяснимыхъ явленій, когда передается въ одинъ день съ одного конца пустыни въ другой, распространяясь неизвѣстно какимъ способомъ, извѣстіе о великомъ событіи. Вотъ почему мы всѣ, люди послѣдняго чекана, невѣжественные, какъ я, или ученые, какъ ты, мы всѣ поражены скукой и истощеніемъ, побѣждены до начала дѣйствій, у всѣхъ у насъ души анархистовъ, которымъ не достаетъ храбрости для дѣйствія“.

## II.

Тѣмъ внушительнѣе только что приведенныя сѣтованія (подобными которымъ безъ труда можно было бы наполнить длинный рядъ страницъ [1]), что оплакиваемое ими явленіе не случайность, а необходимое слѣдствіе характерныхъ свойствъ французскаго народа, обусловившихъ всю его исторію. Свойствъ этихъ два: чрезвычайная подвижность чувства [2]) и вызванная этой подвижностью склонность усматривать въ чисто теоретической мысли единственную норму жизни, а потому и стремленіе подчинять этой нормѣ всю вообще жизнь. Оба эти свойства различными путями повели къ одному тому же—къ общему разочарованію и утратѣ идеала.

---

[1]) Наиболѣе выразительными образцами „жалобы вѣка" могли бы служить сочиненія Рода—La course à la mort и Le sens de la vie, но ихъ въ данномъ случаѣ пришлось бы выписывать почти цѣликомъ. Таже жалоба составляетъ главное содержаніе очерковъ Буржэ—Essais и Nouveaux Essais de psychologie contemporaine. Съ отрывками изъ этихъ сочинений мы встрѣтимся неоднократно.

[2]) Подобное же у Fouillée, Psychologie du peuple français (1898), pp. 21. 143, 382.

„Наша раса, — говоритъ Мопассанъ [1]), — чрезвычайно забавна по отличительнымъ свойствамъ, какихъ нельзя встрѣтить нигдѣ больше".

Сюда принадлежитъ прежде всего „наша подвижность, которая вноситъ такое веселое разнообразіе въ наши нравы и учрежденія. Она дѣлаетъ прошлое нашей страны подобнымъ удивительному роману приключеній, котораго „продолженіе завтра" всегда полно неожиданностей, драмы или комедіи, страшнаго или смѣшного. Можно сердиться или негодовать, смотря по личному настроенію, но совершенно достовѣрно то, что нѣтъ на свѣтѣ исторіи болѣе забавной и подвижной, чѣмъ наша.

„Съ точки зрѣнія чистаго искусства,—и почему не допустить этой спеціальной и безпристрастной точки зрѣнія въ политикѣ такъ же, какъ въ литературѣ?—она не знаетъ соперницъ. Есть ли что-нибудь любопытнѣе и удивительнѣе событій, совершившихся вѣкъ тому назадъ?,

„Что увидимъ мы завтра? Это ожиданіе непредвидѣннаго не пріятно ли въ основаніи? Все возможно у насъ, даже самыя неправдоподобныя глупости и самыя трагическія приключенія.

„Что можетъ удивить насъ? Страна, въ которой были Жанна д'Аркъ и Наполеонъ, можетъ считаться сказочной".

---

[1]) Sur l'Eau, pp. 185—187.

Эту особенность можно вмѣстѣ съ Родомъ назвать „необыкновенной *способностью къ вибраціи*“. Сердце французскаго народа подобно блуждающему огню. Волненія здѣсь непрерывно слѣдуютъ одно за другимъ, измѣняютъ видъ съ удивительной быстротой и проливаютъ потоки радости и горя, которые носятъ француза взадъ и впередъ и дѣлаютъ всегда готовымъ къ новому впечатлѣнію.

Подвижность чувства свидѣтельствуетъ объ его неглубинѣ и заставляетъ переходить отъ увлеченія къ увлеченію. Но кругъ увлеченій узокъ, и въ этомъ тѣсномъ кругѣ дѣйствительность рѣдко сходится съ ожиданіемъ. Поэтому тотъ, кто живетъ увлеченіями, въ концѣ неминуемо испытываетъ пресыщеніе, разочарованіе, скуку.

Бодлэръ, самый типичный и наиболѣе читаемый изъ французскихъ поэтовъ, ясно и отчетливо подчеркнулъ эту истину, наложившую тяжелую печать на современное настроеніе Франціи.

„Среди шакаловъ, пантеръ, псовъ, обезьянъ, скорпіоновъ, коршуновъ, змѣй, кричащихъ, воющихъ, рыкающихъ чудовищъ, пресмыкающихся въ омерзительномъ звѣринцѣ нашего духа, одинъ всѣхъ безобразнѣе, злѣе, гаже. Хотя онъ не дѣлаетъ сильныхъ движеній и не издаетъ громкихъ криковъ, онъ охотно бы превратилъ землю въ развалину и своимъ зѣвкомъ поглотилъ міръ. Это—скука“ [1]).

[1]) Fleurs du Mal, Préface. Подобныя же замѣчанія о скукѣ у Bourget, Nouveaux essais de psychologie contemporaine, pp. 73—76.

Эта скука вызвана не недостаткомъ волненій и разнообразія, а избыткомъ ихъ обоихъ, и не можетъ быть устранена никакими развлеченіями, такъ какъ всѣ вообще развлеченія одинаково наскучили и такъ какъ слишкомъ продолжительная тревожная жизнь повела къ упадку силъ, препятствующему наслаждаться жизнью. Вслѣдствіе того, что подобное настроеніе—обычное явленіе при завершеніи исторической жизни народовъ во времена такъ называемаго упадка, представители новѣйшей французской литературы получили названіе *декадентовъ* [1]) а сами писатели объясняютъ это *декадентство* слишкомъ широкимъ и разнообразнымъ опытомъ жизни, не оставляющимъ ничего новаго. „Я все видѣлъ,—говоритъ одинъ изъ нихъ,—все слышалъ, обо всемъ думалъ, все понялъ, все взвѣсилъ, обо всемъ судилъ, все чувствовалъ, все испыталъ—и я ужасный декадентъ“ [2]). Декадентская литература предполагаетъ „все извѣстнымъ“; ея задача съ субъективной стороны въ томъ, чтобы „положить конецъ притупленію сердца“, удовлетворить „жажду той интенсивной жизни, какую создалъ прогрессъ жизни,“ съ объективной—въ томъ, чтобы „анализировать сердце“ и служить „отраженіемъ“ совре-

---

[1]) Подробнѣе о нихъ—въ XI—XIII гл.

[2]) Lanterne, 22, 3, 1891 (Supplément).

меннаго „міра сплина“ [1]) Обыкновенно авторы, частью сознательно, частью безсознательно, по свойственному французамъ духу ироніи, юмора, легкомыслія (esprit de raillerie, esprit blagueur), не покидающаго ихъ даже въ трудныя минуты жизни, облекаютъ этотъ сплинъ въ шутовской нарядъ. Зато въ тѣхъ случаяхъ, когда этотъ духъ ихъ оставляетъ, мы слышимъ мучительно тоскливыя сѣтованія на суету суетъ, силою и выразительностью далеко оставляющія позади себя даже типическаго „Екклесіаста“ вслѣдствіе ясности сознанія, что тогда какъ для большинства людей полная радостей жизнь не только возможна, но и естественна, для тѣхъ, кто проникъ въ ея глубь, она становится невыносимой.

„Счастливы тѣ—говоритъ Мопассанъ [2]), — кого удовлетворяетъ жизнь, кто веселится, кто доволенъ.

„Есть люди, которые любятъ все, которыхъ все восхищаетъ. Они любятъ и солнце, и дождь, снѣгъ и туманъ, шумный праздникъ и тихое убѣжище своего очага, все, что видятъ, все, что дѣлаютъ, все, что говорятъ, все, что слышатъ.

„Ведутъ ли они тихое существованіе, спокойное и довольное среди своихъ отпрысковъ, или же бурную жизнь, полную удовольствій и развлеченій,

---

[1]) Baju, L'École décadente, p. 2.

[2]) Sur l'Eau, 54—56.

они ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ не скучаютъ".

„Жизнь для нихъ родъ забавнаго спектакля, гдѣ они сами актеры, хорошая и измѣнчивая вещь, которая, не удивляя ихъ слишкомъ, восхищаетъ ихъ.

„Но другіе люди, пробѣгающіе молніей своей мысли узкій кругъ возможныхъ удовлетвореній, поражаются ничтожествомъ счастія, однообразіемъ и бѣдностью земныхъ радостей.

„Когда они достигнутъ тридцати лѣтъ, все для нихъ кончено. Чего имъ больше ожидать? Ихъ больше ничто не развлекаетъ, они закончили кругъ свойственныхъ намъ тощихъ удовольствій.

„Счастливы тѣ, кому не знакома отвратительная тошнота однихъ и тѣхъ же дѣйствій, постоянно повторяемыхъ; счастливы тѣ, у кого хватаетъ силъ каждый день вновь начинать одни и тѣ же занятія, съ тѣми же самыми движеніями, при той же обстановкѣ, предъ тѣмъ же горизонтомъ, подъ тѣмъ же небомъ, ходить ежедневно по тѣмъ же улицамъ, гдѣ встрѣчаются тѣ же лица и тѣ же животныя. Счастливы тѣ, которые не замѣчаютъ съ неизмѣримымъ отвращеніемъ, что ничто не измѣняется, ничто не проходитъ и все утомляетъ.

„Нужно по истинѣ обладать умомъ медленнымъ, замкнутымъ и мало требовательнымъ, чтобы довольствоваться тѣмъ, что есть. И какъ это до сихъ поръ публика нашего міра не закричала „Занавѣсъ!",

не потребовала слѣдующаго акта съ другими существами, отличными отъ людей, съ другими фигурами, съ другими праздниками, съ другими растеніями, съ другими звѣздами, съ другими изобрѣтеніями, съ другими приключеніями?

„Возможно ли въ самомъ дѣлѣ не испытывать ненависти къ человѣческому лицу, всегда одинаковому, ненависть къ животнымъ, этимъ живымъ механизмамъ, съ ихъ неизмѣнными инстинктами, ненависть къ вѣчно одинаковымъ пейзажамъ и ненависть къ никогда не обновляемымъ удовольствіямъ?“

Въ юности жизнь представляется обширнымъ поприщемъ неисчерпаемаго разнообразія, и даже въ зрѣломъ возрастѣ мы готовы съ каждымъ годомъ ожидать отъ нея новаго. Но отъ внимательнаго взора не можетъ ускользнуть, что она узкая тропинка среди однообразной равнины, и что каждый годъ приноситъ одно и тоже—пресыщеніе и скуку.

„Никогда еще (говоритъ Родъ) я не находилъ себя такимъ усталымъ отъ обыкновенныхъ ощущеній: я еще не зналъ, что бремя истекшихъ трехъсотъ шестидесяти пяти дней можетъ быть такимъ тяжкимъ. И новый годъ начнется точно такъ же, какъ кончается этотъ, послѣдній часъ котораго звенитъ теперь, безъ всякой новой надежды. Нужно будетъ проходить по тѣмъ же улицамъ, посѣщать тѣ же клубы, испытывать туже скуку на свѣтскихъ пріемахъ, встрѣчать тѣже лица, слушать тѣ же раз-

говоры и только выносить нѣсколько иныя безпокойства, да писать безъ удовольствія пустыя фразы: смѣна ничтожныхъ дѣйствій, которая наполняетъ недѣли и мѣсяцы и которую называютъ жизнью... Жизнь! Она мнѣ казалась обширнымъ полемъ, открытымъ для всякой дѣятельности, міромъ съ измѣнчивыми видами, отдающимъ человѣку во владѣніе всѣ лучезарные пейзажи, а на дѣлѣ она узкая тропинка. пролегающая по однообразной равнинѣ. На ней отбиваешь себѣ ноги, пока не поразитъ болѣзнь, не настанетъ дряхлость [1])."

Облегчить сколько нибудь эту муку пресыщенія и скуки можетъ лишь тотъ, кто способенъ ловить минуту наслажденій, главнымъ образомъ любовныхъ, мечтать, прожигать жизнь, пока она не погаснетъ.

Надо помнить, что „цѣну вещамъ придаютъ наши желанія, наши страхъ и иллюзія, которая ихъ прикрываетъ", что иллюзія можетъ вполнѣ замѣнить дѣйствительность и что мудрость состоитъ въ томъ, чтобы „создавать внутри себя счастье усиліемъ воли и всемогущей мечты" [2]). Истину незачѣмъ искать въ книгахъ; она вся въ одномъ словѣ: жить, жить всѣми своими силами, всѣми своими способ-

---

[1]) La course à la mort, pp. 70—71. Тоже у P. Margueritte, Amants, p. 129. Наиболѣе полное изображеніе этой скуки въ романѣ Гюисманса A rebours.

[2]) P. Margueritte, Amants, p. 85.

ностями, всѣми своими порами. Нужно наслаждаться, и тогда нельзя не согласиться, что смерть всегда наступаетъ слишкомъ рано [1]). Впрочемъ, пусть погибнетъ жизнь завтра, только бы сегодня можно было насладиться [2]).

„Все ложь,—говоритъ одинъ изъ новѣйшихъ и наиболѣе талантливыхъ поэтовъ [3]). Все-таки люби, люби, мечтай и вновь желай; предавай твое трепетное сердце тѣмъ ранамъ, которыя оно обожаетъ.

„Все суета. Все-таки вѣрь, люби безъ конца, желай и мечтай, не оставайся никогда безъ любви, помни, что жизнь коротка.

„Добродѣтелью, искусствомъ опьяняй себя; высоко носи свое сердце и голову, люби пышность, какъ царь, и такъ какъ ты не богъ, будь поэтомъ.

„Любить и мечтать—вотъ единственная дѣйствительность. Наша жизнь — быстролетная молнія, вспыхнетъ на мгновеніе и затеряется въ пространствѣ.

„Одна только страсть полна блеска; только она наполняетъ своимъ огнемъ наши смертные глаза, пока не исчезнетъ наша жизнь въ вѣчной ночи.

---

[1]) Тамъ же, pp. 17. 29 и др. Подобное же воззрѣніе проводитъ одно изъ лицъ у Фламмаріона въ Stella, p. 378.

[2]) Zola, Fécondité, p. 211.

[3]) Lahor (псевдонимъ), L'Illusion. Toujours (Chants de l'Amour et de la Mort).

„Расточай же себя: свѣточъ, горя, разбрасываетъ свѣтъ; сожигай свое сердце, думай о могилѣ, гдѣ ты станешь прахомъ.

„Передъ нами зіяющая пропасть. Прежде чѣмъ погрузиться въ эту пучину, заставляй горѣть твое ничтожество: люби, мечтай, желай и страдай".

Да и ради чего стали бы мы сдерживаться, зачѣмъ идти на перекоръ желаніямъ, чего намъ опасаться, кромѣ смерти, и на что намъ въ жизни надѣяться, если не на самихъ себя? Давно прошло время, когда прикрывали дѣйствительность громкими, но пустыми словами; теперь надо смотрѣть ей прямо въ глаза, откинувъ всякіе предразсудки, всякіе вымышленные страхи и надежды. Пусть кто желаетъ ищетъ успокоенія или спасенія въ иномъ мірѣ, котораго впрочемъ не существуетъ; мы безъ труда найдемъ лѣкарство отъ жизненныхъ невзгодъ прямо подъ руками.

„Вѣрь мнѣ, пишетъ Лоти [1]), время и кутежъ— два великія лѣкарства. Нѣтъ ни Бога, ни нравственности, не существуетъ ничего изъ того, что насъ научили почитать; существуетъ лишь текущая жизнь, у которой логично требовать какъ можно больше наслажденій въ ожиданіи конечнаго ужаса, который есть смерть... Я открою тебѣ свое сердце, исповѣдую свою вѣру: я ставлю правиломъ своего поведенія всегда дѣлать то, что мнѣ нравится,

[1]) Lettre à W. Brown.

наперекоръ всякой нравственности, всякой соціальной условности. Я не вѣрю ни во что и ни въ кого; я не люблю никого и ничего; у меня нѣтъ ни вѣры, ни надежды".

Такое міропониманіе Фламмаріонъ [1]) не безъ остроумія называетъ *jemenfichisme* (плевать на все).

Предаваться мечтамъ—наиболѣе легкое средство умѣрить тошноту пресыщенія. Но чтобы это средство было вѣрнымъ, мечты должны какъ можно меньше походить на дѣйствительность, повсюду и всегда одинаково способную внушать отвращеніе.

Искать утѣшенія въ несбыточныхъ мечтахъ—истинный удѣлъ человѣка. „Истинный странникъ" по житейскому морю тотъ,

Чьи думы и мечты имѣютъ очертанья
Летучихъ облаковъ, кто грезитъ въ тишинѣ
О наслажденіяхъ, которымъ нѣтъ названья,
О жизни, полной нѣгъ, въ невѣдомой странѣ [2]).

Чѣмъ воспріимчивѣе современный поэтъ къ потребностямъ времени, тѣмъ усерднѣе пытается онъ, насколько позволяетъ полетъ его фантазіи, слѣдовать этому указанію, и даетъ такимъ образомъ матеріалъ для заполненія душевной пустоты тѣмъ, кто къ самостоятельной мечтѣ неспособенъ.

---

[1]) Stella, p. 118.

[2]) Baudelaire, Fleurs du Mal. Le Voyage, перев. Бальмонта.

Мечты эти, какъ не трудно догадаться, частью эпикурейскаго, частью нигилистическаго свойства.

„Какъ бы я желалъ,—мечтаетъ Мопассанъ [1]),—не мыслить, не чувствовать; я желалъ бы жить какъ скотъ въ ясной и теплой странѣ, странѣ желтой, безъ грубой и яркой зелени, въ одной изъ тѣхъ странъ Востока, гдѣ засыпаютъ безъ печали, гдѣ просыпаются безъ горестей, гдѣ умѣютъ любить безъ страданій, гдѣ едва чувствуютъ свое существованіе.

„Я жилъ бы тамъ въ широкой четырехугольной обители, словно въ громадномъ ящикѣ, сіяющемъ на солнцѣ.

„Съ террасы открывается видъ на море, гдѣ скользятъ бѣлые паруса, словно заостренныя крылья, какъ въ греческихъ и мусульманскихъ судахъ. Внѣшнія стѣны почти безъ отверстій. Большой садъ, гдѣ воздухъ тяжелъ подъ зонтикомъ пальмъ, лежитъ посрединѣ этого восточнаго дома. Струя воды бьетъ подъ деревьями, разлетается въ брызги и падаетъ въ широкій мраморный бассейнъ, котораго дно усѣяно золотымъ пескомъ. Я бы тамъ ежеминутно купался между двумя трубками, двумя мечтами или двумя поцѣлуями.

„У меня были бы красивые черные рабы, одѣтые въ легкія ткани, проворно бѣгающіе босыми ногами по глухимъ коврамъ.

---

[1]) Sur l'Eau, pp. 133—135.

„Стѣны у меня были бы мягкія и упругія, какъ женскія груди, и на диванахъ, расположенныхъ вокругъ комнатъ, всякихъ формъ подушки давали бы мнѣ возможность лежать во всевозможныхъ положеніяхъ.

„Затѣмъ, когда бы я усталъ отъ этого восхитительнаго покоя, отъ этого наслажденія неподвижностью и постоянной мечтой, отъ этого спокойнаго удовлетворенія благополучіемъ, я бы приказалъ привести къ дверямъ бѣлаго или чернаго коня, стройнаго какъ газель.

„И я бы поскакалъ на немъ, наслаждаясь бьющимъ и опьяняющимъ воздухомъ, свистящимъ воздухомъ бѣшенаго галопа.

„И я промчался бы, какъ стрѣла, по той полной красокъ землѣ, которая опьяняетъ взглядъ, которой видъ такъ же вкусенъ, какъ вино.

„Въ тихій вечерній часъ я бѣшено помчался бы къ широкому горизонту, который заходящее солнце окрашиваетъ въ розовый цвѣтъ. Все становится тамъ розовымъ въ сумеркахъ: сожженныя солнцемъ горы, одежды арабовъ, дромадеры, лошади и палатки.

„Розовые фламинги поднимаются съ болотъ къ розовому небу; и я сталъ бы издавать неистовые крики, утопая въ безграничномъ заревѣ міра.

„Я больше бы не видалъ, какъ вдоль троттуаровъ, среди оглушительнаго шума катящихъ по мостовой фіакровъ, сидятъ на неудобныхъ стульяхъ

одѣтые въ черное люди, пьютъ абсентъ и разговариваютъ о дѣлахъ.

„Я бы тамъ не зналъ ни о биржевыхъ курсахъ, ни о политическихъ событіяхъ, ни о перемѣнахъ министерствъ, обо всѣхъ этихъ безполезныхъ глупостяхъ, на которыя мы расточаемъ наше короткое и обманчивое существованіе. Къ чему всѣ эти непріятности, эти страданія, эта борьба? Я бы отдыхалъ, защищенный отъ вѣтра, въ моемъ свѣтломъ и роскошномъ жилищѣ.

„У меня было бы четыре или пять женъ въ скромныхъ и тихихъ покояхъ, пять женъ изъ пяти частей свѣта, которыя бы мнѣ принесли усладу женской красоты, разцвѣтшей среди всѣхъ расъ".

Или другой примѣръ, не менѣе выразительный.

„Я мечтаю (говоритъ Родъ [1]) о далекихъ путешествіяхъ. Есть за морями страны, гдѣ земля плодородна и благосклонна къ человѣку, гдѣ неизвѣстны усталость мысли, утонченность потребностей, одряхлѣніе сердца. Тамъ огромныя деревья даютъ убѣжище подъ своими широкими листьями и роняютъ зрѣлые плоды къ твоимъ ногамъ; тамъ небо всегда ясно и вѣтеръ ласковъ. Растительность тамъ обнимаетъ тебя руками своихъ вѣтвей, опьяняетъ всѣми своими благовоніями, убаюкиваетъ въ концертѣ всѣхъ своихъ гармоній, пока твоя душа

[1]) La course à la mort, pp. 99—100.

не сольется съ всеобщей душой какъ безполезное и легкое дуновеніе. Тамъ время течетъ и не считается; тамъ тебѣ не нужно убивать, чтобы жить; тамъ не обезпокоитъ тебя никакой отголосокъ человѣческихъ бурь; кругъ твоихъ желаній постепенно суживается, пока всѣ они не станутъ въ твоей власти; и ты постепенно отожествляешь себя съ неизвѣстными растеніями, которыя размножаются вокругъ тебя и которыя болѣе живы, чѣмъ твои мысли. Отъ времени до времени ты еще продолжаешь думать о вещахъ, о существахъ, которыхъ любилъ раньше, тамъ гдѣ то, далеко, но потомъ дорогіе очерки сглаживаются, послѣднія воспоминанія умолкаютъ"...

Стряхнуть съ себя весь ненужный гнетъ европейской культуры, чтобы „жить, какъ скотъ", предаваясь нѣгѣ и лѣни, или прозябать какъ растеніе, вотъ въ чемъ, за неимѣніемъ лучшаго, смыслъ жизни. Это не возвращеніе къ природѣ, о которомъ грезили мечтатели восемнадцатаго вѣка, измученнаго такъ же, какъ девятнадцатый, сомнѣніями, но мечта о скотской жизни. У мечтателей конца восемнадцатаго вѣка человѣкъ не только не превращался въ скота, а наоборотъ, былъ человѣкомъ въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова, какъ носитель высшихъ идеаловъ разума. Призывъ возвратиться къ природѣ былъ тогда подсказанъ сильнымъ чувствомъ, рвавшимся изъ оковъ, въ которыя его заковала созданная культурой условность; современныя грезы о нѣгѣ и лѣ-

ни свидѣтельствуютъ, напротивъ, объ усталости и поэтому слабости чувства, такъ какъ бодрое и сильное чувство мечтаетъ не о лѣни, а о дѣятельности. Изысканность чувства свойственна одинаково концу восемнадцатаго и девятнадцатаго вѣковъ, но какая громадная разница между зноемъ страсти, палящимъ въ „Новой Элоизѣ“ или въ „Полѣ и Виржиніи“ и истомой чувства у Мопассана.

Разумѣется, каковы бы ни были мечты, пусть даже самыя сладостныя, въ родѣ только-что приведенныхъ, онѣ намъ такъ же надоѣдаютъ, какъ и все остальное, и въ лучшемъ случаѣ могутъ доставить лишь мимолетную отраду. Но и за эту мимолетную отраду мы должны дорого расплачиваться, такъ какъ чѣмъ причудливѣе мечты, тѣмъ жесточе столкновеніе съ дѣйствительностью:

Душа людей—корабль, бѣгущій величаво
Къ Икаріи своей, на встрѣчу бурь и грозъ.
Чу! Съ Марса слышенъ крикъ: „Любовь, Богатство,
Слава!...“
О, адъ! Корабль попалъ на каменный утесъ.
Намъ въ каждомъ островкѣ ужъ снится Эльдорадо,
Едва лишь вахтенный про землю возвѣститъ,
И тамъ, гдѣ пиръ создать воображенье радо,
Съ разсвѣтомъ дня нагой представится гранитъ! [1])

Вполнѣ освободиться отъ жизненной тоски невозможно ни въ предѣлахъ наличной дѣйствитель-

[1]) Бодлэръ, тамъ же.

ности, ни въ царствѣ грёзъ. Міръ великъ лишь для дѣтскаго воображенія на географической картѣ; въ дѣйствительности и глазахъ зрѣлаго воспоминанія онъ ничтожно малъ [1]). Кругъ нашихъ мечтаній точно такъ же ограниченъ, какъ и дѣйствительность. Безконечность существа нашего не можетъ быть удовлетворена ничѣмъ въ жизни; мы можемъ только временно убаюкивать „нашу безконечность на конечномъ морѣ“ [2]). Уединимся ли мы, вмѣстѣ съ Мопассаномъ, на яхту, [3]) предоставивъ ее произволу волнъ и вѣтровъ, предпримемъ ли съ нимъ путешествіе по культурнымъ странамъ или удалимся въ жгучіе пески Сахары [4]), замкнемся ли, какъ одинъ изъ героевъ Гюисманса [5]), въ фантастическомъ замкѣ,—ни наши желанія, ни наше пресыщеніе жизнью насъ не покинутъ:

О, знанье горькое! Воть для какой науки
Должны мы странствовать и лѣтомъ и зимой,
И завтра, какъ вчера, встрѣчать лишь образъ свой,
Оазисъ ужаса въ пустынѣ мертвой скуки [6]),

---

[1]) Тамъ же.

[2]) Прекрасныя слова Бодлэра:

Et nous allons suivant le rhytme de la lame
Berçant notre infini sur le fini des mers (Тамъ же).

[3]) Sur l'Eau.

[4]) La vie errante. Au Soleil.

[5]) A rebours.

[6]) Бодлэръ, тамъ же.

Утолить навсегда жестокую скуку жизни можетъ одна только смерть:

О, старый капитанъ! О, смерть! Стряхнемъ же лѣнь!
Наскучилъ этотъ край, пора поднять вѣтрила.
Пусть небо и земля чернѣютъ какъ чернила,—
У насъ въ сердцахъ восторгъ и лучезарный день.
Пролей же въ нихъ струю таинственнаго яда
И въ двери вѣчности насъ, жаждущихъ, впусти.
О, все равно—въ эдемъ или подъ своды ада!
Въ міръ неизвѣстности, чтобъ *новое* найти. [1]).

---

[1]) Тамъ же.

## III.

Такое настроеніе—непосредственный плодъ подвижнаго чувства, не руководимаго никакимъ опредѣленнымъ нравственнымъ правиломъ. Было бы однако крупной ошибкой считать французскій народъ народомъ безъ принциповъ; вѣрно совершенно обратное: онъ по преимуществу народъ принциповъ [1]). Не находя для своей духовной жизни устоевъ въ глубинѣ чувства, онъ издавна привыкъ искать ихъ въ теоретическихъ принципахъ разума. Но эти принципы вполнѣ абстрактны, своимъ формализмомъ отрицаютъ сложную жизнь чувства и потому не могутъ руководить ею.

Исторія умственной жизни французскаго народа прежде всего исторія раціонализма. Не безъизвѣстно, что средневѣковыя раціоналистическія движенія исходили главнымъ образомъ изъ Франціи; общеизвѣстно и то, что отецъ новѣйшаго раціонализма, Декартъ, вышелъ изъ нѣдръ французскаго народа. Было бы излишнимъ также доказывать, что все просвѣтительное и революціонное движеніе XVIII и XIX вв. было по существу раціоналистическимъ:

---

[1]) Подобное же у Bonvalot, Sommes nous en décadence (1899) p. 167.

воздвигнутый во дни великихъ бурь культъ разума служитъ наглядным и выразительнымъ олицетвореніемъ этого существа.

Принципъ французскаго раціонализма — прямая противоположность смутнымъ внушеніямъ чувства. Для французскаго раціонализма истинно то, что ясно и раздѣльно. Эта, предложенная впервые Декартомъ, формула выражаетъ идеалъ всей вообще французской мысли. Убѣдиться въ этомъ не трудно на ея непосредственномъ обнаруженіи — французскомъ языкѣ, а затѣмъ всей вообще французской литературѣ. Французскій языкъ справедливо считается самымъ удобопонятнымъ и яснымъ изъ культурныхъ языковъ, а французскій литературный стиль по своей раздѣльности и отчетливости не знаетъ себѣ равнаго ни въ какой другой литературѣ [1]). Но этотъ принципъ, обусловившій собой столько дивныхъ твореній въ философіи, поэзіи, наукѣ, долженъ былъ, по своей односторонности, неминуемо повести къ скептицизму и утратѣ идеала. Какъ скоро мы примѣнимъ его къ наличной дѣйствительности, оказывается, что въ ней для нашего разума весьма немногое ясно и раздѣльно, а самоочевидные, созданные самимъ разумомъ, идеалы не соотвѣтствуютъ наличной дѣйствительности. Наглядным доказательствомъ недостаточности этого принципа даже при чисто теоретическихъ построеніяхъ служитъ то,

[1]) Такъ же Fouillée, Psychologie du peuple français, p. 195

что Декартъ при его помощи не могъ доказать ясно и раздѣльно ни одного изъ своихъ положеній, ни даже основного *Cogito ergo sum,* какъ свидѣтельствуютъ многочисленныя и вѣскія возраженія противъ этихъ положеній; а наиболѣе полное и выразительное его примѣненіе въ „Этикѣ“ Спинозы есть его *reductio ad absurdum,* такъ какъ въ этомъ великолѣпномъ и глубокомысленномъ философскомъ твореніи, при всемъ его аппаратѣ аксіомъ, опредѣленій, положеній, доказательствъ, леммъ, схолій и проч. и при всей раздѣльности его содержанія, все-таки яснѣе всего то, что въ немъ весьма не многое ясно.

Изъ всего для нашей мысли неяснаго самое неясное—сокровенная природа вещей, ихъ сущности или ихъ идеальное начало. Къ отрицанію этихъ сущностей, или этого идеальнаго начала, и долженъ былъ необходимо придти французскій раціонализмъ, руководимый своимъ принципомъ, и притомъ тѣмъ болѣе, что сущности представлялись завѣтомъ средневѣковой старины, а разрушить ее въ корнѣ было задачей французскаго просвѣтительнаго движенія. Отвергая сокровенную природу, какъ неясную для разума, французская мысль сосредоточилась на томъ, что *явно* для нашихъ чувствъ, и признала единственнымъ объектомъ знанія *явленія,* которыя затѣмъ были признаны и единственнымъ бытіемъ. Основатель французскаго сенсуализма, Кондильякъ,

не рѣшался еще отвергнуть душу, какъ отличное отъ тѣла начало, но уже его современники сдѣлали этотъ шагъ, отожествивъ ее со способностью чувствовать (faculté de sentir) и признавъ матеріальной.[1]) Раціонализмъ такимъ образомъ привелъ къ сенсуализму, а этотъ послѣдній—къ матеріализму. Современный французскій позитивизмъ есть синтезъ того и другого. Позитивизмъ не признаетъ никакихъ сущностей, а одни только явленія. Его задача въ томъ, чтобы находить связь между явленіями. Для него явленіе все—и воспринимаемый объектъ, и воспринимающій субъектъ, и самая связь между явленіями. Отрицать сущности—значитъ отрицать безусловное и безотносительное. Поэтому для позитивизма существуетъ только относительное, и въ этомъ признаніи всеобщей соотносительности онъ усматриваетъ свой основной принципъ[2]). Съ другой стороны, какъ скоро нѣтъ ничего безусловнаго, нѣтъ и никакой безусловной истины, а слѣдовательно и никакого безусловнаго критерія истины.

„Всякое изученіе внутренней природы существъ (говоритъ Контъ[3]), ихъ первыхъ и конечныхъ причинъ и пр., очевидно, должно быть всегда безусловнымъ, тогда какъ всякое изслѣдованіе однихъ только законовъ явленій есть вполнѣ относительное, такъ

---

[1]) О философіи во время французской революціи Ferraz, Histoire de la philosophie pendant la révolution, Paris, 1889.

[2]) Aug. Comte Cours de la philosophie positive, IV, p. 216.

[3]) Тамъ же.

какъ непосредственно предполагаетъ непрерывный прогрессъ спекуляціи, подлежащей постепенному усовершенствованію, такъ однако, что *подлинная реальность не можетъ быть никогда и ни въ какомъ родѣ совершенно разоблачена*“ и т. д.

Это значитъ: ничего достовѣрнаго не только нѣтъ, но и *быть не можетъ*; то, что намъ кажется достовѣрнымъ, *быть-можетъ*, покажется впослѣдствіи ложнымъ, и, обратно, то, что намъ теперь кажется ошибочнымъ, *быть можетъ*, впослѣдствіи будетъ намъ представляться достовѣрнымъ.

Подобный выводъ мы напрасно стали бы искать у профессіональныхъ представителей философіи, хорошо понимающихъ, что онъ заключаетъ въ себѣ противорѣчіе и потому нелѣпъ. (Если все можетъ быть, то можетъ быть и то, что не все можетъ быть.) Но противорѣчіями нисколько не стѣсняются талантливые диллетанты философіи, считающіе свое міровоззрѣніе выше системы и логики. Во главѣ такихъ диллетантовъ стоялъ Ренанъ, изъ всѣхъ французскихъ писателей оказавшій и оказывающій на французское молодое поколѣніе наибольшее воздѣйствіе [1]). Его міровоззрѣніе есть не что иное, какъ культъ (говоря словами одного стараго французскаго поэта) великаго „Можетъ быть“ (Grand Peut-être).

---

[1]) Bourget, Essais de psychologie contemporaine p. 109. Rod, Les idées morales du temps présent, pp. 37, сл.

„*In utrumque paratus!* Быть готовымъ ко всему (говоритъ онъ) вотъ, быть можетъ, въ чемъ состоитъ мудрость. Предаваться, смотря по времени, увѣренности, скептицизму, оптимизму, иронiи—вотъ средство быть убѣжденнымъ, что по крайней мѣрѣ въ какое-нибудъ мгновеніе находишься въ истинѣ. Вы мнѣ скажете, что и такимъ образомъ нельзя вполнѣ выйти изъ затрудненія. Несомнѣнно; но такъ какъ не существуетъ ни малѣйшей вѣроятности, чтобы этотъ жребій былъ предназначенъ для кого бы то ни было, то благоразумно успокоиться на болѣе скромныхъ притязаніяхъ“ [1]).

Выходитъ поэтому, что культъ великаго „Можетъ быть“ есть въ то же время и культъ великаго „Ничто“ [2]), то есть скептицизмъ и нигилизмъ.

Декартъ, установляя принципъ своего раціонализма, принялъ, какъ извѣстно, за исходную точку сомнѣніе, и для французскаго раціонализма характерно, что онъ кончилъ тѣмъ, съ чего началъ—сомнѣніемъ. Но тогда какъ Декартъ, сомнѣваясь во всѣхъ теоретическихъ вопросахъ, оставилъ неприкосновенными, какъ руководительныя правила жизни, религіозныя истины и общепринятыя нравственныя воззрѣнія,—современная французская мысль отвергла всякія религіозныя истины и не выработала никакихъ твердыхъ нравственныхъ правилъ.

[1]) Feuilles détachées, éd. 1892, p. 396. См. гл. XIII.

[2]) Flammarion, Stella, p. 378. Также Rod, Les idées morales du temps présent, p. 295.

Дѣйствовать по внушенію минуты, плыть по влеченію личнаго чувства, „suivant le rythme de la lame"—говоря словами Бодлэра,—таковъ единственный, внушаемый современнымъ скептицизмомъ, принципъ, который, примѣнительно къ установившейся во французской политикѣ терминологіи, можетъ быть названъ принципомъ *оппортунизма.*

Такой исходъ для французскаго раціонализма былъ бы въ теоретической области невозможенъ, еслибы онъ, подобно раціонализму германскому, давалъ волю чувству, фантазіи, обнаруживалъ склонность къ мистицизму [1]). Въ такомъ случаѣ онъ, несомнѣнно, не былъ бы вѣренъ своему основному принципу. Но наша духовная жизнь—сложный и связный организмъ, гдѣ всѣ элементы другъ на друга указываютъ и взаимно себя предполагаютъ. Вслѣдствіе этого одностороннее пользованіе какою-нибудь способностью ведетъ къ одностороннимъ и потому ненормальнымъ результатамъ. Поставленный единственнымъ принципомъ разумъ приводитъ къ скептицизму точно такъ же, какъ и поставленное единственнымъ критеріемъ чувство. Раціонализмъ здѣсь въ конечномъ результатѣ совпадаетъ съ сенсуализмомъ.

Впрочемъ, французскій народъ былъ приведенъ къ утратѣ идеала не одной лишь теоріей, но главнымъ образомъ столкновеніемъ теоріи съ практикой.

---

[1]) Также Fouillée, Psychologie du peuple français, p. 187 сл.

Если критическая мысль, руководимая единственнымъ принципомъ ясности и раздѣльности, неминуемо приходитъ къ скептицизму, то съ такою же необходимостью приводитъ къ разочарованію мысль догматическая, руководимая тѣмъ же принципомъ, какъ скоро отъ теоріи приступаетъ къ практикѣ. Для такой мысли положенія тѣмъ очевиднѣе и истиннѣе, чѣмъ формальнѣе, то-есть чѣмъ бѣднѣе содержаніемъ. Во Франціи представителями такого догматическаго раціонализма были такъ называемые идеологи, которые вмѣстѣ вдохновляли революціонное движеніе и имъ вдохновлялись [1]).

Они вѣрили въ безусловное могущество разума и несокрушимую истину и силу универсальныхъ принциповъ свободы, равенства, братства. Этотъ раціоналистическій догматизмъ составляетъ характерную черту того „якобинскаго духа“, на которомъ зиждился весь общественный строй революціонной Франціи. Идеалъ этого духа, говоря словами Тэна— „аксіома политической геометріи“ [2]), составленная изъ самоочевидныхъ идей и заключающая поэтому сама въ себѣ доказательства своей истины. Человѣкъ вообще, права человѣка, общественный договоръ, свобода, равенство, разумъ, природа, народъ, тираны—таковы элементарные термины этой аксіомы. Они представлялись самоочевидными, такъ какъ

[1]) Picavet, Les Ideologues, 1891.

[2]) Révolution, II, p. 19.

были лишены реальнаго содержанія. Французская революція (поясняетъ Токвиль [1]) дѣйствовала относительно этого міра совершенно такъ же, какъ религіозныя революціи поступали относительно иного міра: она разсматривала гражданина отвлеченно, внѣ всякаго частнаго общества, подобно тому, какъ религіи разсматриваютъ человѣка вообще, независимо отъ мѣста и времени. Именно потому, что она всегда восходила къ тому, въ чемъ всего меньше частностей, она могла сдѣлаться понятной всѣмъ и вызвать подражаніе одновременно во многихъ мѣстахъ. Объ этой совершенной отвлеченности революціонныхъ принциповъ свидѣтельствуютъ всѣ подлинные документы того времени—парламентскія рѣчи, отчеты, адресы, газеты и журналы и т. д. „Никогда еще,—замѣчаетъ Тэнъ [2]),—не говорили такъ много, чтобы сказать такъ мало... На этотъ счетъ опытъ даетъ рѣшительный отвѣтъ. Въ этомъ безконечномъ трескѣ фразъ историкъ, ищущій точныхъ свѣдѣній, не находитъ почти ничего; пусть онъ прочтетъ цѣлые километры, онъ едва встрѣтитъ какой-нибудь фактъ поучительную подробность, документъ, который бы вызвалъ передъ его глазами индивидуальную личность, показалъ бы истинныя чувства горожанина или дворянина". Къ переходу, во имя общихъ идей,

---

[1]) Oeuvres complètes, IV, p. 18.

[2]) Révolution, II, p. 21.

отъ теоріи къ практикѣ разумъ побуждался тѣмъ настоятельнѣе, что наличная дѣйствительность вовсе не соотвѣтствовала теоріи, представлялась поэтому неразумной и требовала коренного преобразованія. Такое преобразованіе теоретически могло казаться легко выполнимымъ, но на практикѣ его осуществить далеко не просто. „Если есть (говоритъ тотъ же авторъ [1]) на свѣтѣ трудное дѣло, то это— конституція, въ особенности конституція полная. Замѣнить старыя рамки, въ которыхъ жила великая нація, рамками новыми, приспособленными и устойчивыми, наложить форму изъ ста тысячъ отдѣловъ на жизнь двадцати шести милліоновъ людей, построить эту форму такъ гармонично, приладить ее такъ хорошо, такъ кстати, съ такой точной оцѣнкой ихъ потребностей и способностей, чтобы люди вошли въ нее сами собой, стали двигаться безъ толчковъ, и ихъ неподготовленная дѣятельность получила тотчасъ же легкость старой рутины— такое предпріятіе чудовищно и врядъ ли подъ силу человѣческому духу". Къ чему привели попытки подчинить дѣйствительность отвлеченнымъ категоріямъ разума,—фактъ общеизвѣстный. Чѣмъ настойчивѣе разумъ пытался согласовать общественный строй съ самоочевидными принципами, тѣмъ сложнѣе и запутаннѣе становились отношенія. Чтобы внести въ нихъ соотвѣтствующую теоріи ясность и

[1]) Révolution I, pp. 143—144.

раздѣльность, теоретики вынуждены были прибѣгнуть къ грубой силѣ и „ужасу“; но ни грубая сила, ни „ужасъ“ не могли заставить *сложную* дѣйствительность уложиться въ *простыя* формы и доказали лишь несостоятельность попытки, а потому и разума.

Но если дѣйствительность, несмотря на всѣ усилія ее преобразовать, никоимъ образомъ не соотвѣтствуетъ разуму, то либо дѣйствительность въ самомъ корнѣ не разумна, либо разумъ не совершенно познаетъ дѣйствительность, либо, наконецъ, и то и другое вмѣстѣ, т.-е. дѣйствительность неразумна и разумъ не можетъ ее познать. Всѣ эти выводы и были сдѣланы общественнымъ французскимъ сознаніемъ, и въ настоящее время трудно найти руководящаго писателя, который бы не былъ въ большей или меньшей мѣрѣ пессимистомъ и скептикомъ. То и другое, впрочемъ, неразрывно связано: пессимизмъ есть слѣдствіе того, что разумъ призналъ дѣйствительность неразумной, скептицизмъ—слѣдствіе того, что разумъ призналъ себя неспособнымъ постичь дѣйствительность и потому неразумнымъ.

Изъ этого скептицизма и пессимизма современное французское сознаніе не видитъ выхода ни въ чемъ: ни въ чувствѣ, ни въ разумѣ, ни въ наукѣ, ни въ философіи, ни въ искусствѣ, ни въ политическихъ и соціальныхъ идеалахъ, ни въ религіи.

## IV.

Мопассанъ, говоря объ отличительныхъ свойствахъ французскаго народа, ставитъ въ числѣ главныхъ, наряду съ подвижностью характера, любовь французовъ къ женщинамъ.

Французы (поясняетъ онъ [1]) любятъ женщинъ совершенно особымъ образомъ—сильно, пылко и легкомысленно, умомъ и сердцемъ, такъ что французская галантность не можетъ сравниться ни съ чѣмъ ни въ какой другой странѣ. Кто хранитъ въ своемъ сердцѣ галантное пламя истекшихъ вѣковъ,—окружаетъ женщинъ глубокой, кроткой, тревожной, полной жизни нѣжностью. Онъ любитъ все, что имъ принадлежитъ, все, что отъ нихъ исходитъ, все ихъ существо и всѣ ихъ занятія. Онъ любитъ ихъ наряды, ихъ бездѣлушки, ихъ хитрость,ихъ наивность, ихъ вѣроломство, ихъ ложь и ихъ благосклонность. Онъ любитъ ихъ всѣхъ, богатыхъ и бѣдныхъ, молодыхъ и старыхъ, полныхъ и худыхъ и т. д. Среди нихъ

---

[1]) Sur l'Eau, p. 187 и сл.

онъ чувствуетъ себя вполнѣ по себѣ и охотно бы провелъ въ ихъ кругу все время, безъ усталости, безъ скуки, счастливый однимъ ихъ присутствіемъ. Онъ всегда готовъ откликнуться на ихъ призывъ, придти къ нимъ на помощь, защитить ихъ; радъ жертвовать собой за нихъ—и за тѣхъ, которыхъ мало знаетъ, и за тѣхъ, которыхъ вовсе не знаетъ и никогда не видѣлъ. За все это онъ требуетъ отъ нихъ лишь немного расположенія, немного вниманія, немного благосклонности или даже коварства. Для него женщины украшаютъ міръ и дѣлаютъ жизнь привлекательной.

Эти на первый взглядъ поверхностныя замѣчанія оттѣняютъ фактъ крупной важности. Любовь къ женщинѣ занимаетъ видное мѣсто въ развитіи идеаловъ французской культуры. Современный общеевропейскій культъ женщинъ созданъ по преимуществу французскимъ духомъ. Въ средніе вѣка рыцарство съ его почитаніемъ женщинъ нигдѣ не разцвѣло такъ пышно, какъ во Франціи. Средневѣковая любовная пѣснь прозвучала впервые во Франціи и оттуда распространилась по Европѣ. Современный любовный романъ—твореніе французскаго духа. Ни одинъ народъ не сдѣлалъ для прославленія любви такъ много, какъ французы. Все содержаніе французской литературы за всю ея исторію сплошь любовное. Насколько возможно исчерпать въ литера-

турныхъ произведеніяхъ всѣ роды, виды, оттѣнки любви, французами сдѣлано все для выполненія этой задачи.

Идеалъ при отношеніи къ женщинѣ подсказывается французскому сознанію преданіями рыцарства. Вѣрность, преданность, честность, вѣжливость—основныя черты этого идеала. Подобно всѣмъ остальнымъ, и этотъ идеалъ имѣетъ значеніе безконечно далекой цѣли, къ которой дѣйствительность лишь незначительно приближается. Отношенія между полами во Франціи всегда были распущенныя, и въ прежнее время въ большей степени, чѣмъ теперь. Но существуетъ громадная разница во взглядахъ на эту распущенность въ прежнее время и теперь. Прежде, когда въ человѣкѣ видѣли образъ и подобіе божіе, разнузданность считала себя вынужденной оправдываться, съ горечью указывая на слабость нашей плоти, сосуда слишкомъ бреннаго для вмѣщенія божественнаго начала. Въ настоящее время ни для какой распущенности никакого оправданія не требуется, такъ какъ человѣкъ низведенъ до скота и *amour* отожествляется съ *rut*.

Впрочемъ, для насъ здѣсь нравственная сторона представляетъ второстепенный интересъ. Важно то, что изъ любви къ женщинѣ французская культура создала своего рода кумиръ, что обожаніе этого кумира вноситъ идеалистическія краски въ жизнь

французскаго народа, что отрицательныя движенія двухъ послѣднихъ вѣковъ, низвергнувшія всѣ остальные кумиры, не пощадили и этого, и что сложными условіями культуры ни одно чувство такъ не извращено, какъ любовь.

Современный натуралистическій романъ не жалѣетъ усилій и красокъ, чтобы представить любовь во всей ея неприглядной физической наготѣ, для доказательства, что и въ этомъ „возвышеннѣйшемъ“ изъ чувствъ человѣкъ такой же звѣрь (bête humaine), какъ и во всемъ остальномъ. Исторія литературы за всѣ вѣка и у всѣхъ культурныхъ народовъ не можетъ указать ни одного автора, который бы шелъ въ этомъ отношеніи такъ смѣло и такъ далеко, какъ Эмиль Зола. И если представители современнаго натуралистическаго романа пытаются разоблачить человѣческую мерзость съ эпическимъ спокойствіемъ, черезъ которое однако сквозитъ чувство гадливости, способное чуткую душу заставить искать утѣшенія въ идеалѣ, то представители стихотворной натуралистической поэзіи развѣнчиваютъ кумиръ любви съ глумленіемъ подъ звонъ балалайки, желая внушить только одно чувство, что все для насъ священное не болѣе какъ сплетенная изъ лжи и предразсудковъ ткань, прикрывающая естественную и потому пошлую необходимость. Не смѣшно ли въ самомъ дѣлѣ боготворить любовь, когда она простое физіологическое отправленіе, обожать женщину, когда

она только самка, почитать родителей, когда всѣ мы дѣти случая, обусловливающаго зарожденіе:

C'est ça que l'on révère!
Allons donc! On est fils du hasard qui lança
Un spermatozoïde aveugle dans l'ovaire [1]).

Еще меньше можно говорить о таинственномъ и возвышенномъ въ такъ называемомъ единеніи душъ. Такого единенія вовсе не существуетъ. Какъ бы мы ни старались сблизиться другъ съ другомъ, мы всегда остаемся чуждыми одинъ другому, и причина, заставляющая насъ искать сближенія, вовсе не безкорыстное начало нашей природы, какъ ошибочно думаютъ моралисты, а совершенно наоборотъ— нашъ эгоизмъ, единственный двигатель нашей жизни. Въ одиночествѣ мы чувствуемъ пустоту и скуку; чтобы избавиться отъ этого непріятнаго состоянія, мы жаждемъ общенія и, какъ скоро находимъ подходящее лицо, пытаемся подчинить его нашему деспотизму; но такъ какъ всякій человѣкъ въ корнѣ эгоистъ, то каждый отстаиваетъ свою индивидуальность и желаетъ подчинить себѣ другого, и отъ этого всякое общеніе, всякая дружба и любовь ведутъ къ раздору.

„Каждый изъ насъ (говоритъ Мопассанъ) чувствуя вокругъ себя пустоту, пустоту неизмѣримую, въ которой трепещетъ наше сердце, въ которой мечется наша мысль, идетъ словно сумасшедшій

[1]) Richepin, Les Blasphèmes, p. 38 (Tes père et mère).

съ распростертыми руками и протянутыми губами навстрѣчу существа, которое можно было бы обнять. И онъ обнимаетъ направо, налѣво, только чтобы не быть одинокимъ. Какъ только онъ пожметъ руку, онъ, кажется, говоритъ: „Теперь вы мнѣ принадлежите немного. Вы мнѣ обязаны удѣлить кое-что изъ вашей жизни, изъ вашей мысли, изъ вашего времени". И вотъ почему столько людей думаютъ, что любятъ одинъ другого, совершенно не зная другъ друга, столько людей бросаются въ объятія и цѣлуются, не успѣвъ даже посмотрѣть другъ на друга. Имъ нужно любить, чтобы не быть одинокими; имъ для этого нужны любовь и дружба, нѣжность, любовь навсегда. И они говорятъ о такой любви, въ ней клянутся, приходятъ въ восторгъ, изливаютъ все свое сердце въ неизвѣстное сердце, найденное наканунѣ, всю свою душу въ душу встрѣчнаго, чье лицо имъ понравилось. И отъ этой поспѣшности единенія происходитъ столько недоразумѣній, неожиданностей, ошибокъ и драмъ.

„Но какъ мы остаемся одинокими, несмотря на всѣ наши усилія, точно такъ же мы остаемся свободными, несмотря на всѣ объятія.

„Никто никогда не принадлежитъ никому. Мы отдаемся, помимо воли, кокетливой или страстной игрѣ обладанія, но никто никогда не отдаетъ себя. Человѣкъ, доведенный до отчаянія потребностью быть господиномъ надъ кѣмъ-нибудь, установилъ, тиранію, рабство и бракъ. Онъ можетъ убивать

мучить, заточать въ темницы, но человѣческая воля отъ него всегда ускользаетъ, даже если она согласилась на нѣсколько минутъ подчиниться.

„Владѣютъ ли матери своими дѣтьми? Маленькое существо, только-что вышедшее изъ утробы, не начинаетъ ли кричать, чтобы сказать, чего оно желаетъ, чтобы заявить свое одиночество и утвердить свою независимость?

„Принадлежитъ ли вамъ когда-нибудь женщина вполнѣ? Знаете ли вы, что она думаетъ, даже если она васъ обожаетъ? Цѣлуйте ея тѣло, изнывайте на ея устахъ. Одного слова, вышедшаго изъ вашихъ или ея устъ, одного только слова достаточно, чтобы поселить между вами непримиримую вражду!

„Всѣ наши чувства привязанности теряютъ прелесть, какъ скоро становятся деспотическими. Изъ того, что мнѣ пріятно видѣть кого-нибудь и говорить съ нимъ, слѣдуетъ ли, что мнѣ позволительно знать, что онъ дѣлаетъ и что онъ любитъ?“

А между тѣмъ „волненія большихъ и малыхъ городовъ, всѣхъ группъ общества, злое, завистливое, злорѣчивое, клеветническое любопытство, непрестанная забота объ отношеніяхъ, о привязанностяхъ другого, сплетни, скандалы—не происходитъ ли все это отъ нашего притязанія надзирать за поведеніемъ другихъ, какъ будто всѣ намъ принадлежатъ въ той или другой степени? И мы въ самомъ дѣлѣ воображаемъ, что имѣемъ права на нихъ, на

ихъ жизнь, такъ какъ желаемъ, чтобы она была согласована съ нашею, на ихъ мысли, такъ какъ требуемъ, чтобы онѣ были того же порядка, какъ наши, на ихъ мнѣнія, такъ какъ не терпимъ отличныхъ отъ нашихъ, на ихъ репутацію, такъ какъ хотимъ, чтобы она сообразовалась съ нашими принципами, на ихъ нравы, такъ какъ негодуемъ, когда они не подчинены нашей морали.“ [1])

Влеченіе между полами несомнѣнно вызвано внѣшней потребностью. Но было бы, съ точки зрѣнія современнаго скептицизма, ошибочнымъ, слѣдуя за укоренившимся убѣжденіемъ, думать, будто на ряду съ этой внѣшней потребностью существуетъ еще изначальная нравственная причина, которую называютъ любовью. На дѣлѣ никакой такой изначальной причины нравственнаго порядка нѣтъ, а то, что подразумѣвается подъ любовью, есть своеобразный побочный придатокъ, необходимый для смягченья естественной ненависти, которую полы по природѣ питаютъ другъ къ другу, такъ какъ они, подобно всему живому, находятся между собой въ непрестанной борьбѣ, то явной, то скрытой.

---

[1]) Sur l'Eau, pp. 181—184. То же почти дословно въ Solitude (въ сборникѣ Monsieur Parent). На этой мысли Мопассанъ останавливается и въ другихъ мѣстахъ неоднократно. Подобное же объ одиночествѣ въ любви у Rod, Sens de la vie' pp. 49. 66. 90.

Любовь между полами (поясняетъ Родъ [1]) не существуетъ по первоначальнымъ необходимымъ причинамъ. Напротивъ, полы враждебны по природѣ: они инстинктивно ненавидятъ другъ друга за зло, которое другъ другу приносятъ, и эта ненависть, вложенная въ нихъ злымъ принципомъ, словно плодородное зерно, развивается во всѣхъ направленіяхъ, даже среди ласкъ. Въ первобытномъ состояніи самецъ дѣйствуетъ напоромъ; если самка противится, онъ ее насилуетъ. Въ нашемъ обществѣ, гдѣ силу замѣнила хитрость, мущина пользуется хитростью какъ орудіемъ противъ женщины, которую онъ пытается обмануть искусствомъ соблазна: чтобы овладѣть ею, онъ съ рабскими мольбами пресмыкается у ея ногъ, потворствуетъ ея капризамъ, подстрекаетъ ея желанія, надѣваетъ личину симпатіи, пытается пробудить къ себѣ чувства уваженія или жалости, или другія, столь же неискреннія, способствующія его успѣху. Сверху донизу общественной лѣстницы онъ повторяетъ одну и туже комедію и, смотря по тому, съ большей или меньшей ловкостью ее исполняетъ, считается любезнымъ или смѣшнымъ, свѣтскимъ или неуклюжимъ. Затѣмъ, какъ скоро мущина „достигаетъ цѣли“, онъ послѣ передышки въ нѣсколько дней или, если онъ деликатенъ, послѣ нѣсколькихъ недѣль, сбрасываетъ маску, стано-

[1]) La course à la mort, pp. 178—184.

вится грубымъ, обращается съ той, которую наканунѣ клялся обожать, какъ съ пошлымъ орудіемъ удовольствія, приноситъ ее въ жертву всѣмъ остальнымъ потребностямъ жизни. У крестьянъ женщина носитъ самыя тяжелыя ноши, въ богатомъ классѣ, гдѣ потребности болѣе сложны, гдѣ нужно нѣчто другое, а не гнуть спину подъ солнцемъ, женщина есть орудіе: на ней женятся ради состоянія, которымъ она владѣетъ или которое у нея должно быть, или изъ за связей; если возможно, то ею пользуются, чтобы „проложить себѣ дорогу“.

Женщина легко поддается этимъ уловкамъ, которыя повторяются въ различныхъ формахъ и всегда удаются; даже она обыкновенно предпочитаетъ тѣхъ, которые ее лучше обманываютъ; ей нравится лесть, хотя она и знаетъ ея лживость; а чтобы по крайней мѣрѣ внѣшнимъ образомъ сохранить свое достоинство, она охотно дѣлаетъ видъ, будто не понимаетъ цѣли тѣхъ притворныхъ ухаживаній, которыхъ служитъ предметомъ. Но, разыгрывая роль рабыни съ видомъ царицы, она защищается и мститъ. Хитростямъ мущины она противопоставляетъ свои хитрости: отдается ли она или противится, она, не переставая лгать порой даже въ упоеніи забвенія, умѣетъ требовать услугъ, которыя на мгновеніе осуществляютъ ея мнимое царство. Она любитъ возбуждать мучительную ревность; она играетъ тѣми, чьи желанія разжи-

гаетъ; своими улыбками и взорами она свиваетъ сѣти, чтобы уловлять сердца, которыя она затѣмъ терзаетъ въ самыхъ чувствительныхъ мѣстахъ. Ея произвольный судъ налагаетъ мучительныя наказанія чисто случайно: невинные по большей части расплачиваются за виновныхъ, слабые и побѣжденные искупаютъ жестокости побѣдителей и сильныхъ.

Во всей этой двойной игрѣ нѣтъ ничего искусственнаго: она вполнѣ инстинктивна, она есть естественное состояніе, „борьба за любовь“, столь же всеобщая и столь же варварская, какъ „борьба за существованіе“, но насколько болѣе плодовитая трагическими страданіями!

Взаимная любовь, когда ей приходится проливать упоеніе на раны, полученныя въ этой борьбѣ, есть поэтому простое лѣкарство, недостаточное какъ всѣ противоядія: она есть лѣкарство отъ ненависти, подобно тому какъ хина—лѣкарство отъ лихорадки. Она есть то, что избытокъ—это искусственное состояніе, достигаемое лишь ничтожнымъ большинствомъ съ великими трудами и вопреки многимъ препятствіямъ—есть относительно лишенія—естественнаго состоянія, въ которое человѣка повергаетъ всеобщее соперничество.

Впрочемъ, чѣмъ дальше мы идемъ, тѣмъ любовь становится рѣже: лѣкарство отъ долгаго употребленія теряетъ силу. Недовѣріе все больше и

больше раздѣляетъ мущину и женщину, которые начинаютъ подозрѣвать свою природную враждебность. Послѣ вѣковъ борьбы, каждый удерживаетъ свои позиціи и заботится объ ихъ защитѣ. Мущинѣ удалось создать общественный строй, въ которомъ женщина на первый взглядъ есть полная жертва: тогда какъ мы даемъ ей ограниченныя и недостаточныя средства существованія, наша промышленность утончаетъ и умножаетъ ея потребности. Окруженная со всѣхъ сторонъ предметами соблазна, проходя по улицамъ, переполненнымъ заманчивыми вещами, и почти вовсе безсильная пріобрѣсти что либо своимъ трудомъ, она вынуждена прибѣгать къ мущинѣ, котораго сердце вѣчно переполнено ненасытными желаніями и оттого мало наслаждается этимъ торжествомъ. И вотъ между женщиной и мущиной устанавливается сложный торгъ: съ одной стороны, мущина обѣщаетъ плоды своего труда, съ другой—женщина предлагаетъ свои ласки и прелести; и, подобно нечестнымъ торговцамъ, обѣ стороны пытаются другъ друга обмануть. Выбираетъ ли женщина мужа или любовника, она выискиваетъ для себя наилучшихъ условій, пусть даже она для этого вынуждена слишкомъ запрашивать за свой товаръ или даже его поддѣлывать. Мущина, зная частый обманъ, держится на сторожѣ: благоразуміе внушаетъ ему платить какъ можно дешевле за нужную ему любовь и, если онъ

можетъ, то заручается гарантіей — беретъ приданое. Такимъ образомъ борьба интересовъ присоединяется къ естественной борьбѣ или, вѣрнѣе,—естественная борьба развивается по своимъ особымъ законамъ и поле битвы расширяется. Вслѣдствіе наблюденія за своими обоюдными уловками мущина и женщина кончаютъ тѣмъ, что слишкомъ хорошо узнаютъ другъ другъ, чтобы можно было забыться въ любви, и любовь вскорѣ будетъ только рынкомъ пошлаго удовольствія, всеобщей и чудовищной проституціей [1]).

Мысль о томъ, что полы искони враждебны между собою и что въ основаніи половой любви скрытъ обманъ, вложенный природой для сближенія половъ, настойчиво проводилъ на сценѣ Дюма сынъ [2]). По силѣ своего таланта, по своему положенію руководящаго писателя, по своей продолжительной литературной дѣятельности, онъ долженъ быть поставленъ въ число главныхъ авторовъ, способствовавшихъ нравственному приниженію чувства любви. „Всѣ мущины лгуны, вѣтрены, лживы, болтливы, лицемѣрны, надменны и подлы, презрѣнны и сладострастны. Всѣ женщины вѣроломны, искусственны, тщеславны, любопытны и развратны. Міръ есть лишь бездонная помойная яма, въ которой пресмыкаются и корчатся на горахъ грязи са-

[1]) Rod, La course à la mort, pp. 178—184.

[2]) См. анализы у Bourget, въ Nouveaux essais de psychologie contemporaine и Rod, Idées morales du temps présent.

мые безобразные гады. Но есть на свѣтѣ одна вещь святая и возвышенная—единеніе этихъ двухъ существъ столь несовершенныхъ и мерзкихъ. Въ любви часто обманываются, часто получаютъ раны, часто бываютъ несчастны, но все таки любятъ; и когда стоятъ на краю могилы, оборачиваются, чтобы посмотрѣть назадъ, и говорятъ: я часто страдалъ, иногда обманывался, но я любилъ; это я жилъ, а не дѣланное существо, созданное моимъ тщеславіемъ и моей скукой" [1]). Такъ говоритъ устами Дюма обычный взглядъ на любовь. Увы, (отвѣчаетъ на него самъ Дюма) „истинная любовь такъ же рѣдка, какъ истинный геній, какъ истинная добродѣтель, какъ истинный здравый смыслъ, словомъ, какъ все истинное. Есть много званныхъ, но мало избранныхъ, и не всѣ здѣсь пригодны" [2]). Но и въ томъ случаѣ, если ты принадлежишь къ избраннымъ, ты только жертва обмана „вѣчной женственности [3]), орудіе въ ея рукахъ для нужнаго ей дѣла. Она тебя привлекаетъ, тебя обольщаетъ, тобой пользуется, тебя отдаляетъ, снова принимаетъ и исключаетъ ради потребностей судьбы и функціи. И будь увѣренъ, что такъ бываетъ всегда, какова бы ни была почва, на которой ты встрѣчаешься съ женщиной. Она никогда не беретъ тебя ради тебя. Она тебя всегда беретъ

[1]) On ne badine pas avec l'amour.

[2]) Visite de noces.

[3]) Das Ewig Weibliche Гете (Фаустъ).

ради себя"—[1]) ради того эгоизма, который лежитъ въ корнѣ всякой любви, и ради того обмана, которымъ этотъ эгоизмъ прикрывается въ цѣляхъ продолженія рода, то есть насажденія новыхъ гадинъ, пресмыкающихся и корчащихся въ грязи помойной ямы.

Если любовь не оправдываетъ того, что говорятъ о ней мечтатели и моралисты, то она ничтожна и какъ простое удовольствіе. Любовныя наслажденія для всѣхъ людей кратки, а для того, кто обладаетъ утонченнымъ чувствомъ и сильной страстью, любовь не наслажденіе, а мука.

Любовные идеалы осуществимы менѣе, чѣмъ всякіе другіе. Истина, что ни въ чемъ нѣтъ совершенства, нигдѣ не выступаетъ такъ наглядно, какъ въ любви, склонной обоготворять любимое существо. Только наивные мечтатели могутъ говорить о божественной красотѣ и небесной любви; на дѣлѣ подъ розовыми губами всегда скрывается испорченный зубъ, и чѣмъ лучше наша любовь, тѣмъ болѣе тягостная тошнота бываетъ ея слѣдствіемъ [2]). Роскошь женской груди, манящія нѣгой уста, млѣющее въ истомѣ

---

[1]) Homme Femme. Мысль эта заимствована Дюма у Шопенгауэра.

[2]) Toujours la dent gâtée est sous la lèvre rose
Et le pire dégoût suit les meilleurs amours.
Richepin, Blasphèmes, p. 39 (Le bon Temps).

тѣло—всѣ эти соблазнительные образы нужны воображенію, чтобы заслонить призракъ омерзенія, гримасничающій во всякой любви. Единеніе половъ, къ которому сводится любовь, есть дѣло звѣрское, грязное, отвратительное, [1]) а зараждающаяся въ этомъ гадкомъ процессѣ жизнь есть зарождающійся новый процессъ гніенія. Что такое въ самомъ дѣлѣ наше тѣло, столь воспѣваемое и прославляемое? „О, тѣло, ты—обольстительный живой навозъ, гніеніе, которое ходитъ, думаетъ, говоритъ, смотритъ и улыбается, гдѣ бродятъ питательныя вещества и которое розово, соблазнительно, обманчиво, какъ душа“ [2]). Счастливы тѣ, чьи грубыя чувства не обоняютъ этотъ трупный запахъ. Такіе люди менѣе замѣчаютъ, какъ мало соотвѣтствуетъ человѣческая реальность идеальнымъ образамъ, порхающимъ въ грезахъ любви. Любить безумно можно лишь тогда, когда не видишь того, что любишь, такъ какъ видѣть значитъ понимать, а понимать значитъ презирать. Пока мы только идеально желаемъ обладать любимымъ существомъ, оно для насъ неосуществимая мечта, готовая осуществиться, но съ того мгновенія, когда мы держимъ его въ нашихъ рукахъ, оно для насъ лишь существо,

---

[1]) Maupassant, L'inutile Beauté, p. 36. Un cas de divorce (въ томъ же сборникѣ), p. 295.

[2]) Un cas de divorce, p. 295. Повидимому, по Флоберу, Correspondance, lettre du 14 déc. 1846.

созданное природой съ цѣлью обмануть всѣ наши надежды [1]).

Не смотря на это, для любви построили въ поэзіи храмъ и боготворятъ въ немъ женщину, какъ кумиръ. Не время ли изгнать этотъ кумиръ изъ храма, очистить его отъ всей той скверны, которую женщина въ немъ оставила [2]) Пора, кажется, понять, что любовь съ своимъ сонмомъ беззавѣтныхъ забвеній, великолѣпныхъ грезъ, высокомѣрныхъ презрѣній есть ложь [3]), что она—простая животная потребность, прилѣпляющая чувственность одного существа къ чувственности другого словно мокрую бумагу къ стеклу [4]), что надъ всѣмъ и всегда въ концѣ торжествуетъ плоская, пошлая, сухая и глупая дѣйствительность, передъ которой крылатый рой грезъ испуганно отлетаетъ „какъ стая скворцовъ передъ тощей собакой“ [5]), что красота возможна лишь въ неизвѣданномъ, что всякое осуществленіе жизни отвратительно [6]), такъ какъ исполненіе желанія есть всегда разочарованіе [7]).

---

[1]) Тамъ же.

[2]) Zola, Paris, p. 199.

[3]) Rod, Au milieu du chemin (1900), p, 196. La course à la mort, p. 19. 164 и др.

[4]) Bourget, Un crime d'amour, p. 67 (éd. 1898).

[5]) Rod, тамъ же.

[6]) Zola, Paris, p. 398.

[7]) Rod, La course à la mort, p. 164.

Вмѣсто того, чтобы боготворить грязь полового общенія, не лучше ли грезить о „безполой идеѣ, существующей по себѣ“ [1]), о „лобзаніяхъ душъ“ [2]), о „мозговомъ ихъ совокупленіи“ [3]), объ „единополомъ бракѣ, ничего не нараждающемъ? [4]). Тогда по крайней мѣрѣ не придется выносить того отвратительнаго запаха, который идетъ отъ женщинъ [5]).

Не меньше, а больше всего любовь ведетъ къ разочарованію, наводитъ на безнадежныя мысли, заставляетъ искать успокоенія въ несбыточныхъ мечтахъ.

Отчего благоухаютъ цвѣты, а не женщины? Отчего женщины — не цвѣты? Отчего только цвѣты, и только одни они размножаются, не нарушая своей чистоты, распространяя вокругъ себя божественный ароматъ ихъ любви, благоухающее испареніе ихъ ласкъ, благовоніе ихъ несравненнаго тѣла, — ихъ тѣла, разукрашеннаго всѣми прелестями, всѣмъ изяществомъ, всѣми формами, кокетствомъ всѣхъ цвѣтовъ и опьяняющимъ соблазномъ всѣхъ запаховъ?

Восхитительны цвѣты съ ихъ полураскрытыми благовонными вѣнчиками, съ ихъ мясистыми, кружев-

---

[1]) Zola, Paris, p. 399.

[2]) Тамъ же, p. 396.

[3]) Тамъ же, p. 333.

[4]) Тамъ же, p. 520. Fécondité pp. 48—50. 75. Prevost, Les vierges fortes, Frédérique, pp. 204 и сл. (mariage mystique). Flammarion, Fin du monde, pp. 302, сл.

[5]) Тамъ же, p. 118.

ными, чувственными устами, опыленными сѣменемъ жизни, распространяющимъ въ каждомъ свой особый запахъ. Но многимъ ли извѣстна любовь къ нимъ, какъ къ „существамъ матеріальнымъ“, какъ „женщинамъ въ гаремѣ?“ Многимъ ли извѣстны сладость, безуміе, трепетный восторгъ, вмѣстѣ чувственный и идеальный, такой любви? Многимъ ли извѣстны поцѣлуи въ ихъ розовое, красное, бѣлое тѣло?

Если хочешь испытать такой восторгъ, заведи себѣ теплицу, наполни ее цвѣтами и возбрани туда, какъ въ святилище, доступъ всякому, кромѣ лишь того, кому ввѣряешь попеченіе о святилищѣ.

Входи туда какъ въ мѣсто запрещеннаго удовольствія. Въ высокой стекляной храминѣ ты будешь проходить между двумя толпами закрытыхъ, полураскрытыхъ и открытыхъ чашечекъ, восходящихъ горой отъ земли до потолка. Здѣсь цвѣты пошлютъ тебѣ свой первый привѣтъ, свой первый поцѣлуй.

Но пусть эти цвѣты, украшающіе лишь переднюю твоихъ мистическихъ страстей, будутъ для тебя только служанками, а не любимицами.

Они привѣтствуютъ тебя при твоемъ приходѣ своимъ измѣнчивымъ блескомъ и своими свѣжими испареніями. Они милы, кокетливы, они расположены въ восемь рядовъ направо и въ восемь рядовъ

налѣво, и такъ тѣснятся другъ возлѣ друга, что кажутся двумя садами, нисходящими до твоихъ ногъ.

При ихъ видѣ твое сердце затрепещетъ, глаза зажгутся, кровь заколышется, душа замятется, и руки задрожатъ отъ желанія къ нимъ прикоснуться. Но иди мимо нихъ. Въ твоей храминѣ три запертыя двери, и каждая ведетъ въ особый гаремъ. Выбирай любой, но чаще всего заходи къ орхидеямъ, которыя пусть будутъ твоими излюбленными усыпительницами.

Ихъ комната низкая, удушливая. Сырой и теплый воздухъ увлажняетъ кожу, заставляетъ быстро дышать грудь, дрожать пальцы. Онѣ пришли, эти орхидеи, эти чудныя дѣвы, изъ странъ болотныхъ, знойныхъ и нездоровыхъ. Онѣ привлекательны, какъ сирены, смертельны, какъ ядъ, удивительно причудливы; онѣ и истомляютъ, и страшатъ. Вотъ однѣ—похожія на бабочекъ съ громадными крыльями, маленькими лапами, съ глазами. Да, у нихъ есть глаза! Онѣ на тебя смотрятъ, тебя видятъ, онѣ, эти странныя, неправдоподобныя существа, эти феи, дочери священной земли, неощутимаго воздуха и горячаго свѣта—матери міра. Да, у нихъ есть крылья, глаза и оттѣнки, какихъ не способенъ передать ни одинъ художникъ, у нихъ есть всѣ чары, всѣ прелести, всѣ формы, о какихъ только можно мечтать. Ихъ глубокое лоно, благоуханное и прозрачное, открыто для любви и соблазнительнѣе

всякаго женскаго тѣла. Невообразимые узоры ихъ маленькаго тѣла бросаютъ упоенную душу въ рай идеальныхъ образовъ и сладострастій. Онѣ трепещутъ на своихъ стебляхъ, словно готовясь улетѣть. Ты подумаешь, что это онѣ хотятъ улетѣть, прійти къ тебѣ. Но нѣтъ—это твое сердце витаетъ надъ ними, какъ мистическій самецъ, мучимый любовью.

Онѣ цѣломудренны, даже птица не трогаетъ ихъ своимъ крыломъ. Ты и онѣ—вы наединѣ, въ свѣтломъ теремѣ, который ты имъ построилъ. Ты смотришь на нихъ, созерцаешь, восхищаешься, обожаешь одну вслѣдъ за другой.

Какъ онѣ полны, глубоки, розовы, такъ розовы, что уста дѣлаются влажными отъ желанія. Края ихъ чашечекъ кружевные, блѣднѣе, чѣмъ ихъ грудь, а тамъ скрывается вѣнчикъ, таинственныя, манящія уста, уста сладкія, обнажающія и хранящія нѣжные, удивительные и священные органы этихъ божественныхъ маленькихъ созданій, которыя хорошо пахнутъ и ничего не говорятъ [1]).

Если порой возгорится въ тебѣ страсть къ одной изъ нихъ, страсть столь же скоротечная, какъ ихъ жизнь, страсть нѣсколькихъ дней, нѣсколькихъ вечеровъ, то перенеси тогда свою любимицу изъ

[1]) Глупость и пошлость любовныхъ разговоровъ, по Мопассану, такъ же убійственны для нашихъ грезъ любви, какъ и реальности полового единенія. См. Mots d'amour въ сборникѣ M-lle Fifi.

общей храмины въ маленькій стекляный пріютъ, гдѣ журчитъ вода по тропическому газону, привезенному съ острововъ Тихаго океана, и оставайся возлѣ нея, сгорая, трепеща и мучась при мысли, что близка ея смерть, что она вянетъ въ то самое время, когда ты ею обладаешь, когда ты вдыхаешь, пьешь, собираешь ея кратковременную жизнь въ невыразимыхъ ласкахъ [1]).

Это, конечно, нездоровый бредъ, но „такой бредъ встрѣчается менѣе рѣдко, чѣмъ можно думать, въ нашъ вѣкъ истерическаго безумія и развращеннаго декадентства“ [2]).

Да и чего можно ожидать отъ утонченнаго, но истощеннаго и обезсиленнаго чувства, которое вслѣдствіе этого истощенія и безсилія не способно найти удовлетворенія въ наличной дѣйствительности? Для такого чувства только одинъ исходъ—убаюкиваніе себя фантастическими образами. Но оно этимъ убаюкиваніемъ только больше растравляетъ и безъ того отравленную душу и доводитъ ее до полной немощи, если не до безумія.

Вызванная отвращеніемъ отъ дѣйствительности постоянная ея идеализація дѣлаетъ то, что чувство, подъ властью котораго мы находимся, мучаетъ насъ какъ неосуществимый художественный за-

---

[1]) Maupassant, Un cas de divorce, pp. 295—301. Подобное же въ A rebours Гюисманса.

[2]) Тамъ же, p. 302.

мыселъ (idée d'un chef d'oeuvre). И оно исчезаетъ при каждомъ столкновеніи съ дѣйствительностью, изволочивъ и измучивъ насъ по своимъ перемѣнчивымъ путямъ, и оставляетъ въ насъ лишь воспоминаніе кошмара или пріятной мечты—чего именно, мы не знаемъ—но во всякомъ случаѣ радости безъ реальности и призрачныя страданія,[1]) такъ что если мы можемъ восхищаться, колебаться, сомнѣваться, любить самое чувство любви, то мы не знаемъ, есть ли у насъ для любви сила[2]).

Склонность къ идеализаціи такъ сильно вложена въ насъ всей нашей исторіей, что въ каждомъ нашемъ любовномъ желаніи и сопровождающемъ его очарованіи всегда входитъ огромной частью наше личное творчество, и потому любить женщину значитъ прежде всего любить ту мечту, которую мы создаемъ по поводу этой женщины.[3]) Кто неспособенъ къ подобному творчеству, неспособенъ испытывать любви во всемъ ея обаяніи. Такой человѣкъ не можетъ не видѣть, что обоготворяемая идеализаціей женщина, „это высшее и очаровательное существо, эта наша твердыня, предметъ глубокой вѣры, начало энергіи въ дѣятельности и утѣшенія въ горѣ, источникъ всякаго благородства и всякой

[1]) Rod, La course à la mort, p. 105.

[2]) Rod, Le sens de la vie, p. 131.

[3]) Bourget, Nouveaux essais de psychologie contemporaine, p. 47.

нѣжности, этотъ, безъ всякаго кощунства, добрый ангелъ“ [1]), есть не что иное, какъ „физіологическое созданіе, слабое и подчинное самымъ низменнымъ потребностямъ вѣчно страждущаго организма“, что этотъ идеалъ есть „дитя больное, полное нечистоты“, какъ выражается Виньи [2]), въ которомъ требованія организма исчерпываютъ почти все его содержаніе, такъ что даже „добродѣтели и пороки этого вѣчно раненаго существа зависятъ по большей части отъ простыхъ физическихъ разстройствъ“ [3]). Мыслимо ли восхищаться подобнымъ существомъ, если оно не украшено радужными и благоухающими цвѣтами, созданными нашимъ воображеніемъ? А какъ скоро построенный фантазіей обманъ рушится, можно ли не испытывать острой боли при сознаніи, что всѣ великолѣпныя фразы страсти и нѣжности только покровъ для животныхъ потребностей, пусть утонченныхъ и приподнятыхъ, но все таки низменныхъ? Возможно ли не презирать и даже не ненавидѣть виновницу этого обмана, хотя бы и невольную?

Безсильное чувство находитъ поэтому въ душевной пустынѣ для себя могилу одинаково, будетъ или не будетъ обольщаться миражами. И съ ними, и безъ нихъ — одна и таже безутѣшная скорбь

---

[1]) Тамъ же, p. 51.

[2]) L'enfant malade et douze fois impur.

[3]) Bourget, тамъ же, p. 52.

нашего времени — сухость сердца и безсиліе любить [1]).

Еще къ худшему ведетъ сильная страсть, исчерпавшая весь кругъ возможныхъ для нея наслажденій, и потому необузданная и развращенная. Не удовлетворяясь ничѣмъ, она готова была бы сжечь или поглотить любимое существо, но этого не можетъ и въ отмщеніе за эту невозможность рисуетъ адскія картины и нашептываетъ адскія внушенія. Воображенію рисуется мистическій голубовато-розовый полусумракъ одинокихъ покоевъ, гдѣ диваны глубоки, какъ могилы, гдѣ разливаютъ ароматъ причудливые тропическіе цвѣты, и гдѣ на широкомъ, благовонномъ ложѣ, два существа, среди пожара страсти, однимъ ударомъ, словно однимъ долгимъ рыданіемъ, полнымъ прощанія, оканчиваютъ свою жизнь въ надеждѣ, что добрый ангелъ вновь зажжетъ оба, на этотъ разъ неразрывно связанные, свѣточи страсти и вновь просвѣтлитъ оба поблекшія зеркала души, въ которыхъ отражается эта страсть. Или же она рисуетъ среди такой же обстановки отрубленныя головы возлѣ труповъ, плодъ „мрачной любви“, которая забавляетъ злыхъ ангеловъ, порхающихъ въ складкахъ занавѣса надъ ложемъ страсти, а сама утѣшается мыслью, что

---

[1]) Тамъ же, p. 46, сл. Изображеніе этихъ свойствъ— главное содержаніе романа Буржэ Un crime d'amour.

угрызеніе за тяжкій, ужасный, непоправимый грѣхъ никогда не покинетъ преступное сердце и запечатлѣетъ въ немъ дорогой образъ нерасторжимымъ союзомъ на вѣки [1]).

Каковъ же въ концѣ концовъ типъ любви, завѣщанный намъ отошедшимъ вѣкомъ?

„Встрѣча двухъ пресыщеній и состязаніе двухъ развращенностей—вотъ что прогрессъ нашей эпохи, столь странно невѣжественный въ законахъ внутренней жизни, готовъ сдѣлать изъ любви, возведенной христіанствомъ на высоту религіи. Съ любовью будетъ то же, что съ современнымъ бордо, куда входитъ все, кромѣ вина. И въ эту любовь войдетъ все, кромѣ любви“ [2]).

Это не было бы такъ горько, еслибы помимо любви было какое-нибудь другое сильное чувство, въ которомъ жизнь могла бы найти опору; но такого чувства не существуетъ; любовь—единственный устой нашей жизни. „Трудъ, слава, добро, которое можно сдѣлать—все это миражи строимые воображеніемъ людей на горизонтѣ ихъ пу .. , такъ какъ они не могутъ распознать единственнаго источника жизни“ [3]), который есть любовь. Все осталь-

---

[1]) Восхитительныя по формѣ стихотворенія Бодлэра La Mort des amants и Une Martyre.

[2]) Bourget. Physiologie de l' Amour moderne, p. 111.

[3]) Rod, Dernier refuge, p. 347.

ное въ человѣческой дѣятельности немножко шума и немножко дыма[1]). Дряхлъ и ничтоженъ этотъ единственный устой, дряхло и ничтожно и все остальное.

„Чего ожидать намъ? Отъ любви? Еще нѣсколько поцѣлуевъ, и вы безсильны.

„И потомъ дальше? Отъ денегъ? Но къ чему? Чтобы платить женщинамъ? Удивительное счастье! Чтобы ѣсть много, сдѣлаться тучнымъ и кричать цѣлыя ночи отъ припадковъ подагры?

„И потомъ еще? Отъ славы? Къ чему она нужна, если ее нельзя пожинать въ формѣ любви?

„И потомъ опять? Въ концѣ концовъ—все одна и та же смерть".

Отъ нея насъ не можетъ избавить никакая любовь, и трагизмъ любви усиливается тѣмъ, что хотя она и возрождаетъ жизнь, она безсильна противъ смерти, такъ что непонятно, изъ-за чего поднимается весь этотъ любовный шумъ. Когда я умру, тѣ, кому я дорогъ, могутъ съ меня лѣпить статуи и м[illegible]съ этихъ статуй и масокъ можно лѣпить новыя, и такъ безъ конца. Но мое тѣло, мое лицо, мои мысли, мои желанія никогда не появятся вновь. Родятся милліоны, милліарды существъ, у которыхъ „въ нѣсколькихъ квадратныхъ сантиметрахъ" будутъ точно такъ же, какъ у меня, носъ, глаза, лобъ, щеки,

[1]) Тамъ же, p. 345.

ротъ, будетъ, какъ и у меня, душа, но все-таки я никогда не появлюсь вновь, и ничто изъ того, что можно было бы признать мною, не появится вновь въ этихъ неисчислимыхъ существахъ, хотя и сходныхъ между собою, но различныхъ, безконечно различныхъ.

Къ чему же привязаться? Къ кому обратиться съ воплемъ отчаянія? Во что можемъ мы вѣрить?

Религія? Но религіи могутъ утѣшать своими дѣтскими обѣщаніями только наивныхъ и недалекихъ людей. [1])

Въ людей? Въ природу? Въ нравственное совершенство?

Но надо поставить себѣ за правило никогда не ожидать многаго отъ людей, такъ какъ они не что̀ иное, какъ дикіе звѣри, едва прикрытые маской приличія. Столь же мало можно ожидать и отъ природы, которой призрачная гармонія создана изъ несправедливости, не знающей пощады. А нравственное совершенство—чистый призракъ, точно такъ же, какъ всякій другой идеалъ. Чтобы хранить въ себѣ идеалъ, пока смерть не освободитъ насъ наконецъ отъ опаснаго рабства передъ другими и передъ нами самими, нужно заблаговременно привыкнуть разсматривать міръ нравственной красоты подобно тому, какъ курильщикъ опіума разсматриваетъ грезы своего упоенія. Что составляетъ ихъ

---

[1]) Maupassant, Bel Ami, pp. 159—163.

прелесть, это то, что онѣ—грезы и слѣдовательно не соотвѣтствуютъ никакой дѣйствительности [1]).

Одно только достовѣрно: это — смерть [2]). Она ходитъ вокругъ насъ, она смотритъ на насъ ежечасно, ежеминутно; она всюду льетъ свой гнилой ядъ; она скрывается во всѣхъ цвѣтахъ; она смѣется своимъ отвратительнымъ смѣхомъ во всѣхъ улыбкахъ [3]); она каждое мгновеніе все болѣе и болѣе подтачиваетъ наше тѣло, этотъ вѣчно подгнивающій домъ, готовый развалиться, пока онъ окончательно не поглотится пропастью забвенія.

Нѣтъ, нѣтъ, не съ свѣтлымъ источникомъ, какъ дѣлали прежде, надо сравнивать любовь, дающую намъ жизнь, а съ разлагающимся трупомъ, и не радужныя и нѣжныя грезы вьются вокругъ нея, а темныя и мрачныя мысли о смерти, жужжащія назойливо и надоѣдливо, словно надъ падалью мухи [4]). И безумныя мечты толпятся роемъ: если не на дѣлѣ, то хотя въ воображеніи поскорѣе бы сложили люди,

---

[1]) Bourget, Cruelle énigme, p 211 (éd. 1895).

[2]) Maupassant, Bel Ami, p. 152.

[3]) Rod, Le sens de la vie, p. 292.

[4]) Стихотвореніе Бодлэра Une charogne. Ср. Rod, Dernier refuge, p. 339: Мысль о смерти rôdait obstinément autour de lui, bourdonnant comme un insecte importun, qu'on chasse et qui revient toujours.

тяжкое бремя жизни, погасили легко и безслѣдно мысль и сознаніе, какъ легко и безслѣдно гаснетъ блуждающій огонекъ, и пусть тогда земля, свободная отъ людей, продолжаетъ свой равномѣрный бѣгъ.

„Почему безсиліе чувствовать не приведетъ въ концѣ къ единственному истинному искупленію, къ послѣдней жертвѣ, которую можетъ принести человѣческій родъ всепобѣждающей судьбѣ? Да, когда чувствительность погибнетъ, убитая своимъ избыткомъ; когда потребности жизни размножатся и поработятъ насъ тираническими привычками, когда для единенія половъ останется лишь пошлое плотское побужденіе, почему мущинамъ и женщинамъ съ общаго согласія не отказаться отъ этого мгновеннаго удовольствія, которое, не удовлетворяя ихъ слишкомъ сложнаго и разборчиваго желанія, повергаетъ въ пучину бытія новое существо? Тогда разумъ восторжествуетъ, наконецъ, надъ закономъ природы, надъ инстинктомъ; его превосходство возсіяетъ въ конечномъ отреченіи, и послѣдній мущина и послѣдняя женщина угаснутъ въ ихъ дѣвственной старости, предоставляя вокругъ себя произволъ звѣрству освобожденной земли среди растительности, оживленной потоками новаго сока; умрутъ въ той великой мысли, что сознательная жизнь исчезаетъ вмѣстѣ съ ними и что для того, чтобы пить лучи солнца или дрожать отъ холода,

остались лишь безсознательные звѣри, животныя и цвѣты“ [1]).

Эта мысль о смерти, неотвязно возникающая во французскомъ умѣ при мысли о любви,[2]) одно изъ краснорѣчивыхъ свидѣтельствъ, какъ глубоко отравлены наши лучшія чувства.

---

[1]) Rod, La course à la mort, pp. 108—110.

[2]) Кромѣ приведенныхъ мѣстъ можно также указать, напримѣръ, Rod, La course à la mort, pp. 93—94, Dernier refuge pp. 183, 334, 342, 347. La vie privée de Michel Teissier, p. 238. Bourget, Un crime d'amour, p. 67.

## V.

Отравляются наши чувства, какъ и все остальное, нашей мыслью. Она ставитъ между дѣйствительностью и наслажденьемъ ею идеальный образъ, который не находитъ ни въ чемъ соотвѣтствія, но насъ обольщаетъ и къ себѣ тянетъ, и она проливаетъ поэтому въ жизнь ядъ различными способами—и тѣмъ, что заставляетъ стремиться къ неосуществимому, и тѣмъ, что дѣйствительность безъ этого неосуществимаго кажется тусклой и непривлекательной, и тѣмъ, что тоскующая по идеалѣ душа, вѣчно омрачаемая повседневной пошлостью, но безсильная пересоздать окружающее и оттого разочарованная, способна съ отчаянія бросаться въ самыя низменныя пучины въ надеждѣ заглушить въ себѣ жажду идеала и выходить изъ этихъ пучинъ либо озвѣрѣвшей, либо съ еще болѣе мучительнымъ сознаніемъ разлада между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что должно быть. Лишь немногіе способны проникнуться (по выраженію Ренана [1]) „трансцендентнымъ презрѣніемъ“ ко всему міру и перенестись въ область чистыхъ и свѣтлыхъ идеаловъ, вполнѣ отрѣ-

[1]) Vie de Jesus, p. 123.

шенныхъ отъ дѣйствительности, и бросать изъ этого горняго міра людямъ лучи, на пользу или вредъ— другой вопросъ; для большинства идеалы только прикрашенная воображеніемъ дѣйствительность. Не лучше ли было бы, если бы у насъ не было этой способности наряжать вещи въ обманчивый радужный уборъ, вмѣстѣ хрупкій и цѣпкій, и если бы мы всегда принимали ихъ за такія, каковы онѣ въ дѣйствительности?

Горе тому, кто строитъ въ воображеніи міръ безъ знакомства съ нимъ, кто создаетъ образъ своихъ ощущеній и чувствъ, не переживъ ихъ. Такому человѣку ни въ чемъ не видать чистой радости, такъ какъ слишкомъ скоро оказывается, что ни внѣшнія обстоятельства, ни наши внутреннія состоянія не соотвѣтствуютъ этимъ образамъ. Ему не любить беззавѣтно: и до любви, и въ любви онъ много думаетъ о любви и *мыслью* о любви убиваетъ *чувство* любви. Ему на долго не остановиться очарованнымъ ни передъ какой красотой: передъ идеальнымъ образомъ блекнетъ всякая красота. Ему не знать никакихъ увлеченій: нѣтъ увлеченій тамъ, гдѣ дѣйствіемъ руководитъ мысль. Ему не забыться въ религіозномъ сознаніи: это сознаніе требуетъ полнаго подчиненія мысли чувству [1]).

[1]) Объ „отравѣ идеаломъ“ Amiel, Journal intime, повсюду, напр. I, 22. III. 171. II, 97, 271. Bourget, Essais de psychologie contemporaine въ анализѣ міропониманія Флобера.

Бальзакъ былъ поэтому правъ, что мысль есть одновременно „соціальной и разлагающій элементъ [1])". При неумѣломъ и неосторожномъ пользованіи ею она разлагаетъ внутренній міръ не только единичныхъ людей, но и всего общества, слѣдовательно, весь общественный строй. Она разлагаетъ насъ не одной только идеализаціей, но и тѣмъ, что расширяетъ нашъ кругозоръ и создаетъ все новыя потребности; но такъ какъ матеріальная среда, въ которой мы живемъ, остается неизмѣнной, то эти возрастающія потребности не могутъ быть удовлетворены, и мы бываемъ всегда недовольны и самими собой, и судьбой.

„Отчего мы такъ страдаемъ (спрашиваетъ Мопассанъ [2])?—Оттого, что мы, безъ сомнѣнія, рождены больше для жизни матеріальной, чѣмъ духовной; но вслѣдствіе нашей способности мыслить образовалось несоотвѣтствіе между состояніемъ нашего расширившагося пониманія и неизмѣнными условіями нашей жизни".

Невозможность найти удовлетвореніе во внѣшней дѣйствительности заставляетъ насъ сосредоточиваться въ себѣ, вдумываться въ наши состоянія, взвѣшивать и оцѣнивать ихъ, и создаетъ такимъ образомъ склонность къ анализу—худшій бичъ на-

---

[1]) Comédie humaine, Préface.

[2]) Bel Ami, pp. 162—163.

шей жизни.“ Анализъ доискивается во всемъ причины, требуетъ отъ всего отчета, расчленяетъ все цѣльное и прекрасное на основные, далеко не прекрасные, элементы и такимъ образомъ вноситъ ядъ и горечь во всѣ наши удовольствія.

„О таинственное и жестокое мученіе! Вмѣсто того, чтобы наивно наслаждаться всѣмъ, человѣкъ, анализируя все, себя мучитъ. Ему недостаточно обладать любимымъ; онъ разыскиваетъ, почему ему нравится то, что онъ любитъ, отчего одно прекрасно, а другое безобразно, каковы въ своемъ основаніи благо и его противоположность, и что отсюда слѣдуетъ заключить, вывести, отвлечь. И всей этой работой упрямый умъ въ концѣ добываетъ, словно горькій медъ, лишь неувѣренное въ себѣ и отравляющее знаніе, вмѣсто того, чтобы вдыхать благоуханіе цвѣтовъ изъ ихъ полной чашечки. Даже когда мы испытываемъ радость, мы тотчасъ останавливаемъ ее на лету и обсуждаемъ: Откуда ты происходишь? Чего желаешь? Гдѣ у тебя право на существованіе? Для чего ты появляешься и исчезаешь? Дѣйствительно ли я обладаю тобой, и не игрушка ли я миража и обольщенія? Я не могу познать тебя, заключающій меня міръ, иначе, какъ своими чувствами; но кто мнѣ сказалъ, что они не обманчивы? Я долженъ для всего отыскать основаніе и причину. Посмотримъ же! И, пронзая иглой сердце этихъ мотыльковъ, этихъ

легкихъ и блестящихъ мотыльковъ радости, мы снимаемъ тонкое золото ихъ шелковыхъ крыльевъ и не находимъ подъ ними ничего, кромѣ жалкаго умирающаго червя, оставляющаго между нашими пальцами немножко пыли. Мы беремъ въ руки этотъ оборванный трупъ и говоримъ: О радость! Ты лишь гусеница! И такъ во всемъ. Кто отыскиваетъ сущность въ основаніи вещей, для того всякая вещь расплывается въ ничто".

Pour qui cherche l'essence au fond
Des choses, chaque chose en un néant se fond [1]).

По своей психологической природѣ, эта сосредоточенность на себѣ и постоянный поворотъ къ личнымъ состояніямъ есть слѣдствіе эгоизма и слабости воли.

„Что развилось во мнѣ сверхъ мѣры (заставляетъ говорить П. Маргеритту одного изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ [2]), это мой эгоизмъ, не пошлый эгоизмъ, который хватаетъ со стола лучшій кусокъ, пролагаетъ себѣ путь локтями и въ разговорѣ выставляетъ себя на показъ глупымъ цинизмомъ, но эгоизмъ умственный, который сводитъ всѣ помыслы индивида къ нему самому, который заставляетъ человѣка непрестанно анализировать самого себя, подмѣчаетъ всѣ явленія внутренней жизни, разсѣ-

[1]) Richepin, Les Blasphèmes. Les dernieres idoles, pp. 274—275.

[2]) Amants, p. 127.

каетъ себѣ душу и ограничиваетъ этимъ свой горизонтъ. Здѣсь объясненіе того, что я собой утомленъ и себѣ прискучилъ. Я себя знаю слишкомъ хорошо, и я себѣ въ тягость. И теперь, привыкнувъ приглядываться и прислушиваться къ своимъ мыслямъ, я уже не могу отстать отъ этой привычки, подобно тому, какъ страдающіе гастритомъ вынуждены слѣдить, съ неодолимой силой навожденія, за ходомъ и случайностями своего дурного пищеваренія. Единственнымъ лѣкарствомъ было бы для меня, если бы я могъ выйти изъ себя, интересоваться другими. Но для этого нужна была бы воля, а ея у меня нѣтъ".

Ниже мы увидимъ, что если этотъ непрестанный поворотъ духа къ собственнымъ состояніямъ есть слѣдствіе слабости воли, то онъ также есть и одна изъ причинъ такой слабости.

Эта склонность къ анализу—наиболѣе характерная черта нашего времени. У французовъ она коренится, кромѣ только-что указанной общей для всѣхъ культурныхъ народовъ причины, въ предрасположеніи французскаго духа къ раціонализму, въ стремленіи истолковать всю вообще дѣйствительность изъ разума, а въ нашъ вѣкъ она еще усилена бурными политическими событіями, и особенно великимъ погромомъ 1870—1871 годовъ, заставившими отвращаться отъ тяжелой внѣшней дѣйствительности къ міру внутреннему въ надеждѣ найти въ немъ успокоеніе и отраду. Но міръ внутренній

оказался такимъ смутнымъ, расшатаннымъ, разбитымъ, что не могъ дать нравственному чувству никакой опоры, а въ замѣнъ представилъ обильный матеріалъ для наблюденія, изученія и анализа. Оттого всѣ крупнѣйшіе представители современной французской литературы—аналитики по преимуществу; и наглядным доказательствомъ того, какъ мало даетъ современному французу съ его „расширеннымъ кругозоромъ“ жизнь „по разуму“, можетъ служить признаніе о себѣ самомъ передового аналитика-романиста, воплощающаго въ себѣ то, что въ той или другой мѣрѣ свойственно всѣмъ его современникамъ.

„Ахъ, (говоритъ Мопассанъ [1]) я желаю всего и ничѣмъ не наслаждаюсь. Мнѣ нужна была бы жизненность всей расы, разнообразное пониманіе, разсѣянное между всѣми существами, всѣ способности, всѣ силы, и тысячу существованій въ запасѣ, такъ какъ я ношу въ себѣ всѣ вожделѣнія и всѣ любопытства и вынужденъ лишь смотрѣть, не получая ничего“.

Эта неудовлетворенность происходитъ отъ „двойного зрѣнія“, расщепляющаго человѣка. Кто имъ обладаетъ, въ томъ, „не существуетъ больше никакого простого чувства. Все, что онъ видитъ, всѣ его радости, его удовольствія, его страданія, его разо-

[1]) Sur l'Eau, pp. 113—118.

чарованія, становятся тотчасъ же предметомъ наблюденія. Онъ анализируетъ все, несмотря ни на что, вопреки самому себѣ, безъ конца, анализируетъ сердца, лица, жесты, интонаціи. При каждомъ взглядѣ, при взглядѣ на что бы то ни было, ему нужно „почему“. У него нѣтъ ни порыва, ни крика, ни поцѣлуя, которые были бы откровенны, ни одного изъ тѣхъ внезапныхъ дѣйствій, которыя дѣлаются потому, что ихъ должно дѣлать, не размышляя, не понимая, не давая себѣ впослѣдствіи отчета...

„У него какъ будто двѣ души, изъ которыхъ одна подмѣчаетъ, объясняетъ, истолковываетъ всякое ощущеніе своей сосѣдки, естественной души, общей всѣмъ людямъ, и онъ живетъ осужденный быть всегда, при всѣхъ случаяхъ, отраженіемъ самого себя и отраженіемъ другихъ, осужденный разсматривать себя, какъ онъ чувствуетъ, дѣйствуетъ, любитъ, мыслитъ, страдаетъ, и никогда не страдать, не мыслить, не любить, какъ всѣ люди, добродушно, откровенно, просто, не анализируя себя послѣ каждой радости и каждаго вздоха...

„Актеръ и зритель для самого себя и зритель другихъ, онъ никогда не бываетъ однимъ только актеромъ, какъ добрые люди, живущіе безъ задней мысли. Все вокругъ него дѣлается стекляннымъ, сердца, дѣйствія, тайныя намѣренія, и онъ страдаетъ отъ странной болѣзни, отъ какого-то раздвоенія духа, которое дѣлаетъ изъ него существо страшно зыбкое, замысловатое, сложное и утомительное для него самого“.

„Для чего это нужно (говоритъ другой авторъ [1]), чтобы у меня было ясное сознаніе всего, для чего нужно, чтобы я не могъ помѣшать себѣ видѣть и разсчитывать будущее!... Если бы у меня, наоборотъ, была эта способность самозабвенія, эта беззаботность, которой наслаждается большинство людей!... Тогда, безъ всякаго разсчета, я бы отдался теченію, и я бы не страдалъ напередъ отъ несчастій завтрашняго дня".

Тяжело носить въ себѣ эту вѣчно зажженную лампу, дозволяющую, словно фонарь рудокоповъ, видѣть всѣ пропасти и стремнины, къ которымъ мы подходимъ, освѣщающую всѣ скорби и недостатки сердца. Въ особенности тяжело тому, кто съ склонностью къ анализу совмѣщаетъ пылкое воображенье. Сердце такого человѣка вскорѣ перестаетъ биться отъ дѣйствительныхъ радостей и скорбей и живетъ только вымышленными. По каждому поводу, когда можетъ быть затронуто сердце, воображеніе строитъ чрезмѣрныя радости или скорби; но какъ скоро событіе наступаетъ, наблюдатель разсматриваетъ себя и замѣчаетъ такое несоотвѣтствіе между волненіемъ, которое онъ ожидалъ и которое испытываетъ въ

---

[1]) Rod, La vie privée de Michel Teissier, p. 71. Подобное же у того же автора въ La Course à la mort, p. 41, у Bourget, Mensonges, p. 4 (éd. 1890), у Tinseau, Les péchés des autres, p. 29, A. Daudet, Notes sur la vie, p. 1 и пр.

дѣйствительности, что тотчасъ же наступаетъ сухость сердца и мрачное отчаяніе, вызванное неспособностью чувствовать. Чтобы пробудить въ себѣ эту способность, онъ готовъ измышлять крайнія средства, бросается въ разгулъ и развратъ, не стѣсняется срывать самые худшіе цвѣты порока. Напрасно: и здѣсь сердце трепещетъ пока остается въ воображаемомъ мірѣ; но какъ скоро возникаютъ настоящія чувства, они тотчасъ же остываютъ и дѣлаются черствыми. [1])

Вмѣстѣ съ способностью чувствовать слабнетъ и воля, такъ какъ воля всегда направляется чувствомъ. Совмѣстнымъ дѣйствіемъ анализа и воображенія создается мнительность и потому нерѣшительность. Возможно ли дѣйствовать, когда всякая надежда кажется яйцомъ, изъ котораго вмѣсто голубя можетъ выйти змѣя; когда всякая неосуществленная радость чувствуется какъ ударъ ножа; когда представляется, что всякое зерно, ввѣряемое нами судьбѣ, содержитъ въ себѣ колосъ скорбей, которыя прорастутъ въ будущемъ; когда повсюду видишь причины заблужденія и раскаянія, скрытыя угрозы и тайныя скорби? [2]).

Гдѣ нѣтъ живого чувства и нужной для дѣятельности воли, тамъ не можетъ быть и творчества.

---

[1]) Bourget, Essais de psychologie contemporaine, pp. 136 сл

[2]) Amiel, Journal intime, I, pp. 21.101.

Истерзанная анализомъ душа остается поэтому безплодной. Она столь же мало можетъ что нибудь произвести изъ себя, какъ прорасти и взойти истолченное въ муку зерно. [1]). Это сознаніе безсилія и безплодности—наиболѣе тяжкое слѣдствіе анализа.

„Критика самого себя (говоритъ Аміель [2]) разъѣдаетъ всякую ораторскую и литературную самодѣятельность. Потребность знанія, обращенная на самого себя, наказывается такъ же, какъ Психея—бѣгствомъ любимаго. Сила должна оставаться таинственной для нея самой; когда она проникаетъ въ собственную тайну, она исчезаетъ. Курица, несущая золотыя яйца, становится безплодной, какъ скоро желаетъ знать, отчего ея яйца золотыя. Цѣль анализа—сознаніе сознанія, но анализъ, доведенный до крайняго предѣла, пожираетъ себя самого, подобно египетскому змѣю. Необходимо ему дать для помола и разложенія внѣшній матеріалъ, если желаютъ помѣшать тому, чтобы онъ разрушилъ самъ себя".

Дневникъ Аміеля можетъ служить наиболѣе краснорѣчивымъ выраженіемъ болѣзни вѣка—избытка рефлексіи, поучительнымъ документомъ постепеннаго самоубійства духа посредствомъ мысли. Аміель питалъ отвращеніе отъ дѣйствительности и не находилъ идеала [3]) и потому весь ушелъ въ себя,

---

[1]) Тамъ же, II, p. 221.

[2]) Тамъ же, I, p. 164.

[3]) Тамъ же, p. XLVII.

сталъ обдумывать, взвѣшивать, оцѣнивать, расчленять свои состоянія, чтобы составить завѣщаніе своей мысли и своего сердца [1]). „Я всегда (пишетъ онъ) бралъ себя матеріаломъ для изслѣдованія, и что больше всего меня интересовало во мнѣ—это удовольствіе имѣть подъ рукой человѣка, личность, въ которой я могъ безъ неудобства и нескромности слѣдить за всѣми превращеніями, тайными мыслями, біеніями сердца, искушеніями, какъ въ подлинномъ образцѣ человѣческой природы". Слѣдствіемъ было то, что въ концѣ все въ его глазахъ расплылось и испепелилось. „Я себя чувствую (продолжаетъ онъ) хамелеономъ, калейдоскопомъ, протеемъ, подвижнымъ и поляризующимся всѣми способами, жидкимъ, существующимъ только въ возможности, слѣдовательно скрытымъ даже въ моихъ обнаруженіяхъ, отсутствующимъ даже въ моемъ представленіи. Я присутствую какъ бы при молекулярномъ вихрѣ того, что называется единичной жизнью; у меня есть воспріятіе и сознаніе этого постояннаго превращенія, этого неотразимаго линянія жизни, которое во мнѣ происходитъ; я чувствую, какъ убѣгаютъ, возобновляются, измѣняются всѣ частицы моего существа, всѣ капли рѣки моей жизни, всѣ излученія моей единой силы" [2]). Наука казалась ему простой феноменологіей духа, созерцань-

[1]) Тамъ же, I, p. 6.

[2]) Тамъ же, I, pp. 244—246. II, p. 64. 91. 96 и др.

емъ всеобщаго превращенія, буддійскаго вѣчно крутящагося колеса; всѣ особыя убѣжденія, правила, стойкія идеи—предразсудками, полезными для практики, но созданными узостью духа; всѣ религіозныя, политическія, эстетическія, литературныя партіи—опухолями на суставахъ мысли; всѣ частныя вѣрованія—черствостью и тупостью мысли [1]) и т. д. Идеалъ для такого анализа есть химера, пустота. Онъ убиваетъ наслажденіе и довольство, дѣлаетъ чернымъ настоящее и дѣйствительное. Онъ голосъ отрицанія, словно голосъ Мефистофеля. Онъ говоритъ: Нѣтъ, ты не достигъ цѣли; нѣтъ, это произведеніе не хорошо; нѣтъ, ты несчастливъ; нѣтъ, ты не найдешь покоя; все, что ты дѣлаешь, недостаточно, незначительно, передѣлано, недодѣлано, извращено. Жажда идеала ускоряетъ жизнь, чтобы догнать смерть [2]).

Выходомъ изъ этого кладбища духа и жизни могло бы быть признанье, что „единственное положительное благо есть порядокъ, то есть вступленіе въ порядокъ, возвращеніе къ равновѣсію“ [3]). Но гдѣ взять силы для такого возврата, когда въ концъ подточена воля?

Нельзя поэтому не согласиться съ Ренаномъ, что крайняя рефлексія изъ всѣхъ умственныхъ со-

---

[1]) Тамъ же, II, p. 324.

[2]) Тамъ же, II, p. 271.

[3]) Avenir de la Science, p. 441.

стояній самое опасное и неисцѣлимое, такъ что для тѣхъ, кто зараженъ этой болѣзнью, остается только одно—умереть.

Съ этой мукой, которую вселяетъ въ насъ склонность къ анализу, можно было бы мириться, еслибы онъ давалъ какіе-нибудь цѣнные элементы наукѣ или философіи для построенія утѣшительнаго нашему нравственному сознанію синтеза. Но ни частныя науки, ни „наука наукъ“ къ такому синтезу не способны и въ этомъ отношеніи одинаково безсильны.

Правда, наука выступила сначала гордо, какъ царица міра, и, ссылаясь на непогрѣшимый авторитетъ и всемогущество разума, объявила дѣйствительнымъ лишь то, что ясно для разума, а все, что выше его,—безполезнымъ вымысломъ. Вполнѣ увѣренная въ своихъ силахъ, она начала борьбу со всѣмъ, что можетъ ограничить ея смѣлыя притязанія, и прежде всего съ своей главной соперницей—религіей, твердо надѣясь замѣстить ее. Но борьба далеко еще не кончилась, какъ наступило разочарованіе.

Никто, конечно, не отрицаетъ, что наука можетъ содѣйствовать внѣшнему благосостоянію единичныхъ людей; но въ настоящее время стало господствовать убѣжденіе, что она неспособна дать человѣку никакого нравственнаго руководства.

Наука (говорятъ) вооружаетъ человѣка, но не направляетъ его; она освѣщаетъ ему міръ до послѣднихъ предѣловъ звѣздъ, но оставляетъ ночь въ его сердцѣ. Какъ и всякое орудіе, она можетъ служить одинаково добру и злу, смотря по тому, въ чьихъ рукахъ находится. Она работаетъ одинаково для дьявола и для Бога, открываетъ и мелинитъ, и предохранительныя прививки, даетъ оружіе для войны и для мира, способствуетъ и смерти, и жизни, измѣняетъ лишь количество добра и зла, а не ихъ отношеніе [1]).

Дать нравственное руководство она можетъ тѣмъ менѣе, что нравственность есть принадлежность духа и предполагаетъ вопросъ о томъ, что̀ должно дѣлать, то есть о цѣли, а наука исключаетъ изъ своей области вопросы о духѣ и цѣляхъ, предоставляя ихъ метафизикѣ, къ которой относится съ пренебреженіемъ, какъ безплодной игрѣ мысли. Наука занимается изслѣдованіемъ не внутренней, а внѣшней дѣйствительности, не цѣлей, а причинъ, не того, что должно быть, а того, что есть, и не выходитъ изъ области фактовъ. Каждый фактъ для нея подразумѣваетъ, какъ свою причину, другой фактъ, этотъ другой—третій и такъ далѣе; ученіе же объ основныхъ или первыхъ причинахъ есть опять дѣло метафизики, а не науки. Такъ называемый духовный міръ не составляетъ исключенія: наука имѣетъ дѣло

---

[1]) Darmesteter, Les prophetes d'Israel, 1892, p. VIII.

не съ самой душой, которая не подлежитъ опыту и которой существованіе она поэтому прямо или косвенно отвергаетъ, но лишь съ душевными обнаруженіями, какъ они даны во внѣшней дѣйствительности, то есть опять съ рядомъ внѣшнихъ фактовъ [1]).

Не трудно видѣть, къ чему должна повести такая точка зрѣнія въ примѣненіи къ нравственному міру.

Если все въ нашей личности есть лишь завершеніе и результатъ, если каждый нашъ способъ вкушать жизнь, сладкій или горькій, есть лишь произведеніе безпредѣльнаго ряда причинъ, какимъ образомъ (спрашиваетъ Буржэ [2]) не сознавать нашего ничтожества передъ огромными силами, которыя съ одинаково ужасающимъ равнодушіемъ насъ поддерживаютъ и подавляютъ? Гдѣ найти для противоборства этимъ страшнымъ силамъ иное оружіе, кромѣ безусловнаго смиренія и *нирваны* индійскихъ мудрецовъ? Когда Паскаль съ страстнымъ трепетомъ всего своего существа приходилъ къ убѣжденію, что

---

[1]) Эта точка зрѣнія наиболѣе послѣдовательно проведена у Taine, De l'Intelligence, а также въ другихъ трудахъ того же автора, который отличается необыкновенной честностью и прямотой мысли, такъ что тотъ, кто желаетъ познакомиться съ тѣмъ, что слѣдуетъ подразумѣвать подъ такъ называемой научной точкой зрѣнія безъ всякихъ умолчаній и прикрасъ, найдетъ у Тэна на этотъ вопросъ выразительный и яркій отвѣтъ. См. впрочемъ гл. VIII.

[2]) Essais de psychologie contemporaine, pp 235—246.

достаточно одной капли воды, чтобы насъ убить и что мы находимся во власти безсмысленной насъ окружающей природы, онъ тотчасъ же ободрялся духомъ, какъ это дѣлаетъ весь нашъ родъ, противопоставляя порядокъ духа и порядокъ сердца этой слѣпой и безстрастной вселенной, всегда готовой насъ подавить. Но гдѣ взять этотъ порядокъ духа, этотъ порядокъ сердца, если наши мысли, наши чувства—произведенія этой вселенной, если наше *я* ускользаетъ отъ насъ, вѣчно одолѣваемое мракомъ безсознательности, вѣчно наканунѣ неизбѣжнаго кораблекрушенія въ приливахъ и отливахъ этого угрюмаго и молчаливаго моря явленій, въ которомъ оно лишь волна—нѣтъ, даже не волна, а лишь одна изъ неуловимыхъ пылинокъ пѣны, разбрасываемыхъ вѣтромъ среди безпредѣльной пустоты?

Для науки главное—общее, а частное имѣетъ значеніе лишь поскольку способствуетъ выясненію общаго. Единичный человѣкъ, какъ предметъ опыта, для нея только единичный фактъ, точно такъ же, какъ единичный червь или единичная водоросль. Наша личность, наше непрерывное индивидуальное сознаніе для нея только призракъ [1]), отъ котораго она презрительно отрекается въ пользу метафизики. Но этимъ она принижаетъ самую суть нашей жизни—„убиваетъ и такъ убитаго человѣка.“ Какъ скоро мы

[1]) Taine, De l'Intelligence, I, pp. 337, сл.

перестаемъ прославлять эту выталкиваемую изъ научной области личность, эту неощутимую точку сознанія, отказываемся возвеличивать ея значеніе, единичный человѣкъ становится только атомомъ человѣческой массы, которая сама есть лишь атомъ планетной массы, а эта послѣдняя есть въ свою очередь ничто въ небесахъ. Поэтому единичный человѣкъ сводится къ нулю въ третьей степени, одаренному способностью измѣрять это свое ничтожество [1]).

Факты, которыми занимается наука, въ ея глазахъ не самостоятельное бытіе, а только „явленія.“ На вопросъ же, что̀ является въ явленіяхъ, она презрительно отвѣчаетъ, что возиться съ такъ называемыми сущностями, скрывающимися будто-бы за явленіями, не ея задача, а метафизики, вымыслившей эти сущности. Но если нѣтъ никакого самостоятельнаго бытія и существуютъ только явленія, не оказывается ли весь міръ пустымъ призракомъ? Что такое въ этомъ случаѣ жизнь?

Появиться, блеснуть, исчезнуть, родиться, страдать, умирать: не въ этомъ ли вкратцѣ жизнь мотылька, человѣка, народа, планеты? Жизнь есть лишь тѣнь дыма, жестъ въ пустынѣ, гіероглифъ, начерченный на одно мгновенье на пескѣ и сметенный порывомъ вѣтра въ слѣдующее мгновеніе, воздушный пузырь,поднимающійся и лопающійся на вели-

---

[1]) Amiel, Journal intime, I, p. 235.

комъ потокѣ бывaнія, призракъ, суета, ничтожество. Или еще лучше: она есть мыльный пузырь, привѣшенный на концѣ соломинки: онъ возникаетъ, расширяется, наряжается во всѣ цвѣта радуги; но вотъ появляется черная точка, шаръ изъ золота и изумруда изчезаетъ, оставляя послѣ себя каплю нечистой жидкости [1]). И такъ какъ душа есть явленіе, наука есть явленіе души, и объекты науки точно также явленія, то наука есть явленіе явленія для явленія явленію явленій, то есть чистый призракъ. Научная точка зрѣнія, отрѣшенная отъ метафизики, приводитъ поэтому къ полному нигилизму.

Лишь въ одномъ случаѣ наука могла бы дать нравственное удовлетвореніе, — еслибы свидѣтельствовала о величіи нашего разума и этимъ оживила утраченную вѣру въ его силы. Но она не даетъ такого свидѣтельства и не подкрѣпляетъ такой вѣры. Напротивъ, для безпристрастнаго наблюдателя очевидно, что научный прогрессъ идетъ медленно, что средства его слабы, орудія несовершенны, результаты ничтожны. „Весь прогрессъ нашего мозгового напряженія (говоритъ Мопассанъ [2]) состоитъ въ удостовѣреніи матеріальныхъ фактовъ при помощи несовершенныхъ до смѣшного инструментовъ, которые однако немножко возмѣщаютъ неспособность нашихъ органовъ“. Пусть замкнутые въ узкой специ-

[1]) Тамъ же, I, pp. 192, 221.

[2]) Sur l'Eau, p. 57.

альности ученые торжествуютъ, если какой-нибудь изслѣдователь, послѣ многолѣтняго кропанія, откроетъ новый газъ, или новую невѣсомую, необъяснимую и неопредѣлимую силу, или же новую звѣзду среди безчисленнаго множества другихъ, — человѣкъ съ широкимъ кругозоромъ не можетъ не задаться вопросомъ: Что во всемъ этомъ важнаго? Къ чему всѣ эти открытія? Улучшаютъ ли они жизнь всѣхъ людей? И дѣйствительно ли наше знаніе идетъ такъ далеко, какъ мы думаемъ? Мы торжествуемъ, что открыли микробы и умѣемъ съ ними бороться, но „знаемъ ли мы (спрашиваетъ Моппассанъ) откуда происходятъ эти микробы? И болѣзни самихъ этихъ незримыхъ существъ? И солнца, откуда они происходятъ? Мы не знаемъ ничего, не видимъ ничего, не можемъ ничего, не предугадываемъ ничего, не воображаемъ ничего, мы заключены, заточены въ себя самихъ. И люди удивляются человѣческому генію“ [1]).

Несостоятельность науки дать отвѣтъ на нравственные запросы въ настоящее время такой общепризнанный фактъ, что его обыкновенно только отмѣчаютъ, но о немъ не распростаняются, какъ о дѣлѣ вполнѣ безспорномъ и очевидномъ.

„Болѣе умѣлое пользованіе природой и точное о ней знаніе—вотъ (говоритъ Буржэ [2]) несомнѣнное

[1]) Тамъ же, p. 38.

[2]) Outre Mer (1895), 1, p. 7.

благодѣяніе науки; но какъ дорого оно оплачено, если справедливо, что философскій нигилизмъ долженъ въ концѣ завершить это гигантское усиліе изслѣдованія безъ возможнаго заключенія! Прижатая въ настоящее время къ непознаваемому, вынужденная признать свою методу неспособной когда бы то ни было разоблачить причины за явленіями и сущность за свойствами, какую пищу приноситъ душѣ эта наука, если не хлѣбъ горечи и не напитокъ смерти? Развивая до крайности въ современномъ человѣкѣ духъ эксперимента и критики, она сдѣлала вѣру въ сверхъестественное почти невозможной для безчисленнаго легіона среднихъ умовъ, изъ которыхъ слагается такъ называемое національное сознаніе. Отсюда какое уменьшеніе идеала въ современной Европѣ! Какая шаткость въ убѣжденіяхъ и, какъ необходимое ея слѣдствіе, какая зыбкая слабость воли. Какое оскудѣніе характера, какое разстройство энергіи, какія нравственныя болѣзни, непрестанно возрождающіяся и все болѣе плодовитыя осложненіями въ послѣдніе годы девятнадцатаго вѣка, столь жаждавшаго благоденствія!“

Безъ сомнѣнія, и въ наши дни встрѣчаются авторы, возлагающіе радужныя надежды на науку, которой, по ихъ словамъ, во всѣхъ областяхъ принадлежитъ будущее, и которая одна способна дать людямъ счастье [1]). Но, по справедливому замѣчанію

[1]) Lefevre, La Religion (1892). О нихъ Zola, Paris, p. 197.

современной французской критики, подобныя книги, хотя и появляются въ концѣ вѣка, подсказаны духомъ, на двадцать или тридцать лѣтъ старшимъ, чѣмъ онѣ [1]).

Однако и такіе авторы теперь считаютъ себя вынужденными сознаться, что наука поселяетъ холодъ и молчаніе въ сердцѣ.

Наука (говоритъ въ своемъ послѣднемъ романѣ Фламмаріонъ, одинъ изъ наиболѣе ревностныхъ ея почитателей и глашатаевъ) подобна очаровательной женщинѣ, которая заставляетъ своего любовника ее обожать, разжигаетъ въ немъ страсть до послѣдняго предѣла, вынуждаетъ его все покидать, все забывать, все презирать ради нея. Но вдругъ онъ чувствуетъ на ногахъ оковы, которыя подымаются все выше и выше, охватываютъ все тѣло, стискиваютъ сердце, связываютъ руки, змѣй съ улыбающимся лицомъ обвиваетъ несчастнаго любовника до самой шеи, его давитъ и душитъ, пока безсильная жертва не падетъ передъ божественнымъ чудовищемъ. [2])

Общеизвѣстнымъ образцомъ такого задушенія наукой служитъ для французовъ Тэнъ, видѣвшій ея лучшій плодъ въ холодномъ успокоеніи и сравнивавшій человѣческую судьбу съ Ніобеей, которой дѣти

---

[1]) Брюнетьеръ въ Revue des deux Mondes, 1895, t, 127, p. 197.

[2]) Stella, pp. 307, 335.

падаютъ подъ стрѣлами Аполлона, какъ это изображено на извѣстной статуѣ во Флоренціи. „Холодная и твердая высится она безъ надежды и, устремивъ взоръ на небо, смотритъ съ удивленіемъ и ужасомъ на сверкающую молніями смертоносную тучу, на протянутыя руки, неотразимыя стрѣлы и немилосердое спокойствіе боговъ“, [1]) то есть вѣчно готовой насъ сокрушить безстрастной природы [2]).

Такое холодное успокоеніе возможно лишь для немногихъ умовъ. Для большинства жить подъ вѣчно нависающей смертоносной тучей значитъ страдать. Вмѣсто того, чтобы открывать источники радости, наука указываетъ на необходимость скорби. Можно поэтому спросить, не поведетъ ли она насъ къ конечному несчастью?

Цѣль науки въ томъ, чтобы дать доступное для всѣхъ умовъ стройное изложеніе удостовѣренныхъ фактовъ. Но измѣрили ли мы (считаютъ умѣстнымъ теперь спрашивать) какъ слѣдуетъ выносливость „этой человѣческой машины“, которую мы нагружаемъ знаніями? Когда мы расточаемъ щедрой рукой образованье снизу и анализъ сверху, когда помощью множества книгъ и журналовъ мы наводняемъ умы идеями всѣхъ порядковъ, принимаемъ

---

[1]) Voyage en Italie, II, p. 80.

[2]) См. Bourget, Essais de psychologie contemporaine, этюдъ о Тэнѣ, p. 234.

ли мы какъ должно въ разсчетъ то потрясеніе, которое происходитъ въ душахъ вслѣдствіе этого стремительнаго усиленія сознательной жизни? [1]). Подумали ли мы о томъ, что безграничное скопленіе данныхъ науки въ ограниченномъ полѣ ума можетъ быть опаснымъ, что человѣческій мозгъ можетъ раздавиться своей собственной тяжестью, что придетъ время, когда самый прогрессъ будетъ для него упадкомъ, что наступятъ такіе „средніе вѣка", за которыми не послѣдуетъ „возрожденье?" [2]).

Этотъ упадокъ не только можетъ, но и долженъ наступить, такъ какъ всему долженъ быть предѣлъ. И такъ, для современнаго мрачнаго настроенія мракъ въ настоящемъ, тьма въ будущемъ, и свѣтъ науки, вышедшій изъ тьмы, опять поведетъ къ тьмѣ.

Если научное міропониманіе, отрѣшенное отъ метафизики, приводитъ мысль, при обсужденіи его слѣдствій, къ нигилизму и пессимизму, то къ тому же приходитъ теперь и философія, такъ какъ очевидно, что утратившій въ себя вѣру разумъ не способенъ отъ себя дать ничего удовлетворительнаго.

Философія (такъ разсуждаютъ теперь) ищетъ полной истины, но истина слишкомъ расплывчатое понятіе. Всѣ согласны въ томъ, что безусловная истина

---

[1]) Тамъ же, этюдъ о Флоберѣ, p. 150. Печальныя слѣдствія этого потрясенія изображены Флоберомъ въ Bouvard et Pécuchet.

[2]) Renan, Dialogues et fragments philosophiques, pp. 66. 115.

отъ насъ ускользаетъ, что мы совершенно не знаемъ, существуетъ она или нѣтъ, и не можемъ даже догадаться, какова она по своей природѣ, такъ что философы, послѣ того, какъ ломали себѣ втеченіе многихъ вѣковъ головы въ поискахъ за нею, признались, наконецъ, въ своемъ безсиліи и исключили ее изъ программы. Теперь презираютъ метафизику. Но истина относительная, въ силу своей относительности, есть лишь форма заблужденія, которую нашъ умъ предпочитаетъ другимъ только потому, что въ томъ мракѣ, гдѣ мы бьемся, она намъ кажется угломъ съ темнотою менѣе мрачной, какъ бы подвижнымъ фосфористымъ свѣтомъ, тотчасъ погасающимъ [1]).

Да и можно ли сказать что нибудь цѣнное, когда наша мысль вращается въ пустотѣ; когда она не опирается ни на что, и у нея нѣтъ крыльевъ; когда у нея одинаково не хватаетъ храбрости обратиться къ реальности и силы потеряться въ мірѣ воображенія? Впрочемъ, къ чему говорить и что̀ сказать? Нельзя ничего доказать: недостовѣрность повсюду; нынѣшній день опровергаетъ истину вчерашняго. Найти что нибудь новое нельзя: съ тѣхъ поръ, какъ люди научились выражаться, они пережевываютъ однѣ и тѣ же старыя мысли, которыя у нихъ на зубахъ утратили сокъ и остаются безвкусной пищей [2]).

---

[1]) Rod, La course à la mort, pp. 186—187.

[2]) Тамъ же, pp. 101—102.

По сознанію самихъ философовъ, философія теперь пользуется весьма незначительнымъ кредитомъ и стоитъ по указу ученой критики съ преклоненной головой передъ значительной частью мыслящихъ людей [1]). Если теперь и говорятъ о философіи, то обыкновенно подразумѣютъ либо голый матеріализмъ [2]), то есть отрицаніе философіи, либо философію пессимистическую, какъ она представлена въ системахъ Шопенгауэра и Гартманна и ихъ послѣдователей, либо философію Ницше съ ея мечтой объ „избранномъ человѣчествѣ“, которое питается наиболѣе утонченной пищей, мыслитъ самыя изящныя мысли, обладаетъ самыми прекрасными женщинами и въ концѣ порождаетъ „сверхчеловѣка“, живущаго удесятеренными удовольствіями [3]), либо скептицизмъ и диллетантизмъ [4]), либо еще чаще — философію „борьбы всѣхъ противъ всѣхъ“, подсказанную ученіемъ объ эволюціи на почвѣ борьбы за существованіе.

Эта послѣдняя философія находитъ фактическую опору въ жизни крупныхъ культурныхъ центровъ,

---

[1]) Ribert, Essai d'une philosophie nouvelle, suggérée par la science (1898), p. 11. Richet, Dans cent ans, p. 221. Bourget, Un crime d'amour, p. 58 (éd. 1896).

[2]) Противъ него Flammarion, Dieu dans la nature.

[3]) Zola, Fécondité, p. 51.

[4]) Rod, Le sens de la vie, pp. 292, сл. О диллетантизмѣ см. гл. VIII.

гдѣ всякій вынужденъ поддерживать свое существованіе тяжелой борьбой съ людьми и внѣшними условіями, и потому она встрѣчаетъ въ настоящее время наибольшее сочувствіе въ массахъ и пользуется наибольшимъ распространеніемъ.

Съ точки зрѣнія такой философіи, наша жизнь, наша мысль, все наше существо, земля, на которой мы живемъ, міры, которые мы видимъ, все это— лишь случайное, безсмысленное явленіе на темномъ лонѣ безконечнаго, всплескъ волны на вѣчно-бушующемъ и вѣчно борющемся съ собою океанѣ. Равнодушно даетъ этотъ океанъ жизнь, равнодушно ее поглощаетъ; въ его существѣ ни любви, ни ненависти; въ немъ царитъ одинъ законъ, одна необходимость—борьба всѣхъ противъ всѣхъ.

Океанъ (говоритъ наиболѣе читаемый изъ новѣйшихъ французскихъ философовъ [1]) не работаетъ, не производитъ, — онъ волнуется; онъ не даетъ жизни, онъ ее содержитъ; или, вѣрнѣе, онъ даетъ и отнимаетъ жизнь съ одинаковымъ равнодушіемъ; онъ—великое вѣчное колесо, вращающее существа. Когда мы смотримъ въ его глубину, мы тамъ видимъ кишѣніе жизни; нѣтъ ни одной капли воды, въ которой бы не было обитателей, и всѣ ведутъ войну другъ противъ друга, преслѣдуютъ одинъ

[1]) Guyau, Esquisse d'une morale sans obigation ni sanction, pp. 104—106.

другого, избѣгаютъ, пожираютъ. Что значатъ для цѣлаго, что значатъ для глубокаго океана эти толпы, колеблемыя, какъ случится, его горькими волнами? Онъ самъ даетъ намъ зрѣлище войны, борьбы безъ отдыха: его разбивающіяся волны, изъ которыхъ сильнѣйшая встрѣчаетъ и увлекаетъ слабѣйшую, представляютъ намъ въ сжатомъ очеркѣ исторію міровъ, исторію земли и людей. Океанъ есть какъ бы вселенная, сдѣлавшаяся прозрачной для нашихъ глазъ. Эта буря водъ есть лишь продолженіе, слѣдствіе бури воздуха; не сообщается ли движеніе воздуха морю? Въ свою очередь воздушныя волны находятъ объясненіе въ колебаніяхъ свѣта и тепла. Еслибы наши глаза могли обнять неизмѣримость эѳира, мы бы повсюду увидали лишь ошеломляющее столкновеніе волнъ, борьбу безконечную, такъ какъ въ ней нѣтъ смысла (sans raison), борьбу всѣхъ противъ всѣхъ. Нѣтъ ничего, что не было бы увлечено въ этомъ вихрѣ: самая земля, человѣкъ, человѣческій умъ, ничто изъ этого не можетъ дать намъ ничего постояннаго, на чемъ бы мы могли утвердиться; все это увлекается волненіями, хотя и неодинаково быстрыми, но не менѣе неотразимыми; и здѣсь, какъ и вездѣ, царитъ вѣчная война и право сильнаго.

И чѣмъ пристальнѣе станемъ мы всматриваться въ океанъ, тѣмъ сильнѣе намъ кажется, что океанъ все больше и больше вздымается вокругъ насъ,

поглощаетъ все, уноситъ все; что мы сами—лишь одна изъ волнъ, лишь одна капля изъ волнъ; что земля исчезаетъ и остается лишь природа съ ея волненіями безъ конца, съ ея приливами и отливами, съ непрестанными измѣненіями ея поверхности, скрывающими ея глубокую и молчаливую однообразность.

Что такое наша мысль въ этомъ великомъ мрачномъ цѣломъ? Проникаетъ ли она въ самое сердце вещей или только скользитъ по ихъ поверхности? Когда мы думаемъ, что проникли въ это сердце, не касаемся ли мы на дѣлѣ лишь поверхности? И если намъ кажется, что наука и искусство измѣряютъ глубину бездны, то не останавливаются ли они только на ея краю?

Да, останавливаются; наша мысль скользитъ по поверхности; она такъ же измѣнчива, случайна, кратковѣчна, какъ и все остальное.

Когда мы стремимся къ познанію, мы уподобляемся дѣтямъ, играющимъ на берегу океана передъ приливомъ. Радостно и беззаботно играютъ дѣти; но вотъ на океанъ опускаются тучи, воздухъ темнѣетъ, волны разъяряются и заставляютъ дѣтей бѣжать на берегъ. Они и здѣсь не прекращаютъ своей беззаботной игры. Какое имъ дѣло до того, что возлѣ нихъ неисповѣдимая бездна, что изъ глубины ея подымается волна за волной, готовыя все поглотить; передъ ихъ глазами небольшая свѣт-

лая полоса, и этого имъ достаточно, чтобы продолжать забаву на краю пропасти.

„Хрупкія существа, которыхъ преслѣдуетъ волна и на которыхъ надвигается ревущій океанъ, недальновидныя дѣти, какъ вы намъ подобны! Для насъ, такъ же какъ и для васъ, горизонтъ природы закрытъ; такъ же, какъ васъ, она и насъ окружаетъ крутящимися изгибами своихъ волнъ. И тѣмъ не менѣе наши глаза забавляются ея поверхностью. Мы перебираемъ ея цвѣта, измѣняющіеся передъ нашими взорами; мы играемъ въ игрушки, которыя называемъ нашими искусствами, нашими науками; мы думаемъ, что природа подчинена намъ, какъ скоро въ нашихъ рукахъ остается немножко пѣны, взятой изъ вѣчной пучины, бушующей въ ночи. Глубина вселенной бѣжитъ отъ насъ; наши трепетные глаза лишь слегка всего касаются, но ни во что не проникаютъ. Все скользитъ передъ нашими взорами, подобно этимъ умирающимъ волнамъ, постепенно исчезающимъ въ подвижной безднѣ. Мысль въ этомъ мірѣ—лишь дѣтская погремушка; въ слѣпой вселенной она внезапно рождается, сверкаетъ и слегка всплываетъ на разбивающейся волнѣ“ [1]).

---

[1]) Guyau, Vers d'un philosophe. La Pensée et la Nature, p. 27. См. Fouillée, La morale, l'art et la religion d'après Guyau, 1892 (2 éd)

Какъ и всякая дѣтская забава, игра мысли ведетъ скорѣе къ разрушенію, чѣмъ къ созиданію. Дѣти охотнѣе уничтожаютъ, чѣмъ строятъ; дай имъ погремушку, и они ее разобьютъ. Точно также и мысль. Ей не довольно того, что она разрушаетъ свои собственныя построенія, она пытается вырвать у насъ изъ подъ ногъ всякую почву, одинаково— философскую, нравственную и религіозную. Чѣмъ прочнѣе и дольше стоитъ духовное зданіе, тѣмъ сильнѣе ожесточается противъ него мысль. Твердо и стойко держится христіанская вѣра, много вѣковъ многіе милліоны живутъ ею, и нѣтъ ничего, противъ чего бы мысль боролась съ такимъ рвеніемъ, съ такимъ упорствомъ, съ такимъ огнемъ, какъ противъ этой вѣры. Борьба не осталась безплодной. Когда же къ разрушительницѣ подходитъ утратившій вѣру христіанинъ и говоритъ: Ты сдунула моего Христа и превратила въ прахъ, ты закрыла для меня входъ на небо, ты сдѣлала для меня изъ жизни вещь безцѣльную и безысходную, такъ возмѣсти то, что у меня взяла; скажи мнѣ, что я долженъ дѣлать съ своей жизнью; я буду слѣпо тебѣ повиноваться; приказывай! — она смущается, бормочетъ и признается съ смятеніемъ и ужасомъ, что все, что она можетъ сказать въ отвѣтъ, что ея великое открытіе, ея послѣднее слово о человѣческой судьбѣ, есть то самое слово, которое подсказывалось и религіей, ею осужденной: Этотъ

міръ ничего не стоитъ! Приказывать человѣчеству она не умѣетъ, она не можетъ, она не смѣетъ. Какія предписанія она можетъ дать ему? Во имя какой власти, какой несокрушимой необходимости? [1])

Этотъ міръ ничего не стоитъ, такъ какъ въ немъ нѣтъ ничего вѣчнаго, безусловнаго, достовѣрнаго, но все измѣнчиво, условно, сомнительно. Пусть же человѣкъ проникнется этой мыслью, пусть не стремится къ невозможному, не ищетъ безусловнаго правила для своего руководства. Пусть всякій живетъ по указанію минутнаго настроенія, ищетъ для себя спасенія въ томъ, что ему нравится; пусть вопросъ о нравственности считаетъ такимъ же ничтожнымъ, какъ и все остальное.

„Что насъ спасаетъ? (спрашиваетъ Ренанъ [2]). Ахъ, Боже мой, это то, что даетъ каждому его мотивъ жить. Средство спасенія не одинаково для всѣхъ. Для однихъ—это добродѣтель, для другихъ—пылъ къ истинѣ; для иныхъ—любовь къ искусству; еще для иныхъ — любопытство, честолюбіе, путешествія, роскошь, женщины, богатство; на самой низшей ступени — морфій и вино. Добродѣтельные люди находятъ награду въ самой добродѣтели; у тѣхъ, кто ею не обладаетъ, есть удовольствіе“.

---

[1]) Darmesteter, Prophetes d' Israel, pp. VIII—IX.

[2]) Feuilles détachées, pp. 382—383.

Подобныя нравственныя или, вѣрнѣе, глубоко безнравственныя воззрѣнія приводятъ въ смущеніе людей съ отзывчивымъ нравственнымъ чувствомъ и справедливо заставляютъ ихъ жаловаться, что современное знаніе, находясь въ рукахъ людей безъ нравственнаго сознанія, усугубляетъ, благодаря авторитету, которымъ не перестаетъ пользоваться наука, общественный развратъ.

„Среди этого всесилія и этого безсилія знанія (говоритъ одинъ изъ такихъ авторовъ [1]) вокругъ науки разлагается весь нравственный міръ. Ко всѣмъ принципамъ, которыми живетъ человѣкъ и общество, предъявляется отъ знанія требованіе, чтобы они оправдали свою состоятельность доказательствами разума, и такъ какъ они не опираются на доказательства разума, ихъ осуждаютъ и низвергаютъ. Предъ этимъ знаніемъ въ рукахъ людей безъ нравственнаго сознанія (la science, maniée par des inconscients) находитъ оправданіе все, что можетъ быть объяснено, и человѣкъ, происшедшій отъ животнаго, получаетъ прощеніе, когда въ него возвращается. Отсюда сглаживается понятіе закона; среди людей, классовъ, народовъ, алчность провозглашается мѣрой права; повсюду разцвѣтъ нашего *я*, звѣрскаго или блаженнаго; литература, посвященная различнымъ формамъ полового общенія (rut), и крайняя

---

[2]) Darmesteter., тамъ же, р. X.

утонченность пониманія, ведущая всѣми путями къ разнузданію звѣрскаго въ человѣкѣ (bête humaine)".

Отъ этихъ явныхъ признаковъ нравственнаго разложенія, свойственныхъ всѣмъ такъ называемымъ переходнымъ эпохамъ, еще недавно склонны были искать утѣшенія въ мечтѣ о безконечномъ прогрессѣ, въ которомъ темные и смутные элементы служатъ бродиломъ для выработки свѣтлой и радужной будущности. И хотя при такомъ міропониманіи остается неяснымъ, за что предшествующія поколѣнія осуждены подготовлять своимъ злополучіемъ благополучіе будущихъ, все же оно способно удовлетворять нетребовательную мысль „молчаніемъ безконечности", то есть отодвигая рѣшеніе вопроса въ безконечное будущее. Но въ настоящее время вѣра въ такой прогрессъ утрачена, какъ и всякая другая.

Очевидно стало для всѣхъ, что безконечный прогрессъ предполагаетъ безконечное существованіе, а такое существованіе возможно лишь для нематеріальнаго бытія, такъ какъ всѣ матеріальныя вещи возникаютъ и переходятъ. А между тѣмъ представители естествознанія, и особенно поборники ученія объ эволюціи, во Франціи не менѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ, считали долгомъ всѣми силами своего ума бороться противъ допущенія духа, какъ самостоятельнаго начала. Но если нѣтъ самостоятельнаго духовнаго бытія, то не можетъ быть и безконечнаго прогресса.

Земля со всѣмъ, что есть на ней, а слѣдовательно и человѣческій родъ, подобно всему остальному въ матеріальной вселенной, возникли и прейдутъ, и потому, если человѣческому роду и суждено дальнѣйшее совершенствованіе—въ чемъ, впрочемъ, многіе сомнѣваются [1]) — то это совершенствованіе должно имѣть предѣлъ. И было бы, съ точки зрѣнія современныхъ пессимистовъ, крупнымъ заблужденіемъ предполагать, что, достигнувъ этого предѣла, люди будутъ наслаждаться счастьемъ; совсѣмъ наоборотъ, мы должны быть увѣрены, что исторія ведетъ насъ къ полному и совершенному несчастью.

Прогрессъ предполагаетъ умноженіе познаній и потребностей, а это должно повести къ развитію нервной системы и, слѣдовательно, къ повышенію чувствительности. Но такъ какъ при высокой степени чувствительности пріятныя ощущенія становятся все рѣже и мимолетнѣе, тогда какъ болѣзненныя ощущенія умножаются и дѣлаются все напряженнѣе, то можно дать закону несчастья точность математической формулы, можно предвидѣть время, когда человѣкъ, убѣжавшій отъ животности звѣрь, чудовище съ слишкомъ тяжелымъ мозгомъ, машина съ слишкомъ напряженными пружинами, не будетъ находить въ окружающей дѣйствительности, въ мірѣ, подчиненномъ его капризамъ, въ блескѣ вещей, въ

---

[1]) См. ниже, стр. 130.

желаніяхъ сердца, въ фантазіяхъ души ничего, кромѣ все возрастающаго количества причинъ для страданія.

Такимъ образомъ существуетъ (говорятъ) полное согласіе между данными опыта, фактами исторіи и теоріями самыхъ пессимистическихъ мыслителей. Подобно Каину, согбенному подъ тяжестью проклятія, люди идутъ къ несчастью, окончательному, побѣдоносному, всеобщему, безусловному. И всѣ средства, которыя они примѣняютъ для исцѣленія зла, лишь безсильныя лѣкарства, обманывающія изобрѣтателей и только ускоряющія теченіе органической болѣзни. Что значитъ немножко болѣе справедливости въ общественномъ строѣ, если никакія усилія не способны разрушить законъ борьбы, удобряющей землю своими жертвами? Что значитъ немножко больше знанія, если мы всегда далеки отъ истины, если всеобщая загадка ускользаетъ отъ нашего пониманія, если никакое знаніе не можетъ насъ освободить отъ необходимостей нашей природы? [1]).

Убаюкивать себя теоріями о безконечномъ прогрессѣ вселенной, который долженъ отразиться и на прогрессѣ земли, значитъ вдаваться въ разсужденія, которыя рушатся даже при легкомъ прикосновеніи критики.

Прогрессъ невозможенъ безъ измѣненій въ цѣломъ, а вселенная, какъ *цѣлое*, не можетъ измѣняться, такъ

[1]) Rod, La course à la mort, pp. 160—162. 192.

какъ въ ней все *уже есть*, измѣняются лишь ея части, однако такъ, что всякое измѣненіе должно безконечное число разъ повторяться какъ въ данной части, такъ и во всѣхъ другихъ частяхъ, и потому вселенная *въ общемъ* всегда остается неизмѣнной.

Вселенная безгранична въ пространствѣ и безконечна во времени, но число элементовъ, изъ которыхъ все въ ней слагается, ограничено (по даннымъ химіи, около 70), и количество дѣйствующей въ ней энергіи опредѣленно. Если бы это количество убывало, хотя бы безконечно мало, то въ безконечное время, которое существуетъ вселенная, оно бы совсѣмъ уничтожилось и, слѣдовательно, въ настоящее мгновеніе не было бы никакой энергіи, что однако опровергается фактомъ ея существованія. Но оно не можетъ и возрастать, такъ какъ вселенная есть все и ей неоткуда брать никакого прироста. Жизнь вселенной поэтому состоитъ въ сочетаніи опредѣленнымъ количествомъ энергіи опредѣленнаго количества элементовъ. Число такихъ сочетаній, по теоріи сочетаній, можетъ быть очень велико, но оно не безконечно, а конечно. Такъ какъ жизнь вселенной безгранична и безконечна, то это конечное число сочетаній должно, по понятію о безконечности, повторяться безконечное число разъ во всѣхъ безконечно многихъ частяхъ, иными словами, то, что теперь гдѣ нибудь есть, всегда есть, было и будетъ въ другихъ мѣ-

стахъ и опять будетъ во всѣхъ мѣстахъ безконечное число разъ [1]).

Поэтому въ настоящій часъ вся жизнь нашей планеты, отъ ея рожденія до смерти, со всѣми ея преступленіями и несчастіями, повторяется день за днемъ на миріадахъ родственныхъ свѣтилъ. То, что мы называемъ прогрессомъ, закрѣпощено на каждой землѣ и съ ней исчезаетъ. Всегда и повсюду на земномъ поприщѣ одна и таже драма, однѣ и тѣ-же декораціи, на одной и той-же узкой сценѣ—кривое человѣчество, напыщенное своимъ величіемъ, считающее себя вселенной и живущее въ темницѣ, словно въ безконечности, для того, чтобы вмѣстѣ съ тяжелымъ бременемъ своего тщеславія и планетой, которая его носитъ, вскорѣ погрузиться въ самое глубокое презрѣніе играющей мірами вѣчности. Тоже однообразіе, таже неподвижность и въ посторонних землѣ свѣтилахъ. Вселенная повторяется безъ конца и толчется на одномъ мѣстѣ. Вѣчность невозмутимо разыгриваетъ въ безконечности однѣ и тѣже представленія [2]).

---

[1]) По теоріямъ извѣстнаго анархиста Бланки въ Éternité par les astres, (ум. въ 1881 г.), Ле Бона въ L'Homme et les sociétés (1881) и Ницше въ Die Wiederkunft des Gleichen, которыя въ послѣднее время распространяютъ во Франціи. См. Lichtenberger, Philosophie de Nietzsche, въ нѣмецкой обработкѣ, Dresd. und Leipzig, 1889, pp. 176 и сл.

[2]) Geffroy, L'Enfermé (Бланки), p. 402 (1897).

И не думай освободиться отъ своей судьбы: ты привязанъ къ вѣчно вертящемуся колесу жизни, которое при своихъ безчисленныхъ оборотахъ безконечное число разъ возвращаетъ всѣ пережитыя тобой состоянія, со всей ихъ никогда не измѣняющейся обстановкой.

„Какого бы состоянія міръ ни могъ достигнуть, онъ уже долженъ былъ его достигнуть, и не одинъ, а безконечное число разъ. Такъ и настоящій мигъ: онъ уже былъ однажды, былъ много разъ и опять также возвратится, при такомъ же точно распредѣленіи всѣхъ силъ, какъ теперь, и точно также съ мигомъ, которымъ порожденъ этотъ, и съ тѣмъ, который порожденіе теперешняго. Человѣкъ! Вся твоя жизнь подобіе песочныхъ часовъ, непрестанно оборачиваемыхъ, въ которыхъ песокъ непрестанно всыпается и высыпается, съ великой минутой промежутка, пока всѣ условія, изъ которыхъ ты произошелъ въ круговоротѣ міра, опять встрѣтятся. И тогда обрѣтешь ты всякую скорбь и всякую радость, и всякаго друга и всякаго недруга, и всякую надежду и всякое заблужденіе, и всякую былинку и всякій взглядъ солнца, всю связь всѣхъ вещей. Этотъ кругъ, въ которомъ ты лишь крупица, блистаетъ вѣчно снова. И въ каждомъ кругѣ человѣческаго существованія бываетъ опять часъ, когда сначала у одного, затѣмъ у многихъ, затѣмъ у всѣхъ возни-

каетъ могучая мысль о возвращеніи всѣхъ вещей:— это для человѣчества всегда время *полдня*“ [1]).

Не трудно понять, на сколько тягостна должна быть такая вѣра для обремененныхъ жизнью. Если для большинства людей, даже не одѣленныхъ счастіемъ, было бы несноснымъ пережить вновь хотя бы еще одинъ разъ все испытанное, то что надо было бы думать о несчастныхъ, если бы они были увѣрены, что имъ придется переживать все прошлое безконечное число разъ. Но ученіе о безконечномъ круговоротѣ находитъ столь-же мало вѣрующихъ, какъ и ученіе о безконечномъ прогрессѣ.

Допуская однако, что вѣчнаго круговорота нѣтъ и что безконечный прогрессъ возможенъ и даже необходимъ, открылъ ли бы онъ намъ глаза на смыслъ и значеніе жизни, отвѣтилъ ли бы на вопросъ, въ чемъ нравственная доблесть, отчего одни счастливы, а другіе нѣтъ, и почему милліоны существъ терзались, терзаются и будутъ терзаться? Когда для освѣщенія подобныхъ вопросовъ строятъ широкія теоріи, играющія понятіемъ безконечности и вѣчности, то обыкновенно подразумѣваютъ, что нашъ разумъ безконеченъ и что поэтому, чѣмъ шире нашъ кругозоръ, тѣмъ мы будетъ ближе къ своему назначенію, тѣмъ скорѣе можемъ разобраться въ томъ, что

---

[1]) Lichtenberger, pp. 178—179.

намъ неясно, и тѣмъ вѣрнѣе можемъ надѣяться отыскать путь къ счастью, если только такой путь вообще можно найти. Такъ какъ истекшій вѣкъ былъ особенно богатъ всякими всеобъемлющими теоріями, но онѣ ни на шагъ не подвинули къ пониманію смысла и значенія жизни и не только не указали пути къ счастью, а нѣкоторыя изъ нихъ даже наоборотъ способствовали пессимизму указаніемъ на ничтожество человѣка во вселенной и на то, что во вселенной жизнь должна быть въ общемъ всюду одинакова, то есть съ такими же, если еще не худшими скорбями, чѣмъ на землѣ, то въ настоящее время ставится вопросъ, дѣйствительно ли для счастья нужна широта кругозора, или же, быть можетъ, наоборотъ, жизнь для насъ будетъ тѣмъ сноснѣе, чѣмъ нашъ кругозоръ будетъ уже? Съ нѣкотораго времени начинаетъ проглядывать эта послѣдняя мысль. Новѣйшій трудъ одного изъ крупныхъ философовъ Франціи, одинаково сильнаго въ научныхъ знаніяхъ и въ философіи и ревностнаго защитника разума въ его борьбѣ съ вѣрой и мистицизмомъ, прямо и рѣшительно заявляетъ, что для того, кто взвѣшиваетъ нравственные вопросы, если такой человѣкъ не хочетъ отказаться отъ жизни и наслажденія своей законной долей спокойствія и радости, необходимо забывать ужасы существованія, закрывать на нихъ глаза и разсѣивать мысль отъ печальныхъ размышленій, и

что вообще для человѣка законъ „ограничивать горизонтъ своего сердца и своей мысли“ [1]).

„Не хорошо (говоритъ онъ [2]) думать постоянно о вещахъ, которыя достаточно разъ узнать и взвѣсить, чтобы понять свое истинное положеніе. Даже такія созерцанія, въ которыхъ чувствительность повидимому не затронута, напримѣръ о безпредѣльности и вѣчности или о дрожаніи безконечно малыхъ въ малѣйшей частицѣ, могутъ при частомъ повтореніи служить лишь къ тому, чтобы поддерживать мысль въ состояніи головокруженія или лихорадки. Что-же было-бы, если-бы ей дали обычной пищей тѣ острыя страданія, которыми ежечасно и ежемгновенно мучаются многіе изъ намъ подобныхъ въ нѣкоторыхъ частяхъ нашего общаго жилища? Извѣстно, что они существуютъ, но извѣстно также, что ихъ позволительно забывать. Точно также позволительно забывать и страданія, отдаленныя отъ насъ временемъ... Законъ человѣка и даже всякаго мыслящаго и чувствующаго существа—ограничивать горизонтъ своего сердца и своей мысли. Въ этомъ кругѣ, радіусъ котораго должны измѣрить личное благородство и сила, пусть человѣкъ ведетъ рѣшительную борьбу со всякой несправедливостью. Ея

---

[1]) Ribert, Essai d'une philosophie nouvelle, suggérée par la science, 1898, pp. 458, 532. Rod, Le sens de la vie, p. 260. Amiel, Journal intime, I, pp. 45—46.

[2]) Тамъ же, p. 533.

два рода: несправедливость природы и несправедливость людей. Первая—пусть онъ старается ее ослабить и затѣмъ пусть покорится неизбѣжному; вторая—пусть онъ объявитъ ей войну безъ перемирія и безъ конца. Великое правило слѣдующее: Люби справедливость, работай, чтобы основать ея царство, и ты этимъ освободишь свою грудь отъ давившей ее тяжести, когда ты погружалъ свой взоръ въ этотъ океанъ несправедливостей, на которомъ плавала твоя ладья, приведшая тебя къ пристани."

Однако, какъ-бы мы ни старались „ограничивать горизонтъ ума и сердца," мы не можемъ отказаться отъ желанія знать, на какой именно ладьѣ мы должны плыть и къ какой пристани причаливать?

Говорятъ: питай религіозную вѣру и все остальное тебѣ приложится. Вѣра укажетъ тебѣ основаніе для жизни, такъ какъ ты по ея руководству поймешь, что ты центръ міра; она вдохнетъ въ тебя силу выносить страданія, такъ какъ сулитъ тебѣ лучшую будущность; она внушитъ любовь къ жизни, такъ какъ для нея жизнь—вѣчность.

Прекрасно. Но какъ мнѣ быть, если я не вѣрую? [1]).

Или говорятъ, живи для человѣчества.

Но что мнѣ дѣлать, если „человѣчество" для меня пустой звукъ. Я могу любить отдѣльныхъ людей, но любить всѣхъ не въ состояніи. Да и за что?

---

[1]) Rod, Le sens de la vie, p. 26.

Даже по признанію наиболѣе человѣколюбивыхъ, наша раса, взятая въ общемъ, прежде всего раса эгоистическая, грубая, варварская, невѣжественная, подлая и неискренняя [1]). Но хуже всего—людской деспотизмъ и пошлость. Какъ особь, я желаю отстаивать права своей индивидуальности, а между тѣмъ люди постоянно нарушаютъ эти мои права—стѣсняютъ меня своими законами, условностями, предразсудками, пошлостями. Куда-бы я ни попытался уединиться, даже среди величественной природы, которой видъ способенъ сжать сердце, я не ускользну отъ человѣческой тираніи и пошлости. Повсюду и вездѣ я найду все тѣхъ-же людей, которые навязываютъ молчанію природы безчестіе ихъ суетливаго шума, ея сосредоточенности—смуту ихъ смѣшныхъ удовольствій. Они топочатся, бѣгаютъ, махаютъ руками—эти жалкіе карлики, позорные паразиты природы, изъ которыхъ каждый считаетъ себя центромъ, хотя всѣхъ ихъ одинаково накрываетъ своимъ высокомѣрнымъ презрѣніемъ безстрастная природа [2]).

Пусть сіяетъ звѣздами небо, лунный свѣтъ играетъ на вершинахъ снѣговыхъ горъ, и тихо и кротко льютъ ароматъ цвѣты. Среди этой торже-

---

[1]) Flammarion, L'Inconnu et les problèmes psychiques (1900), p. VIII.

[2]) Rod, L'Idéal de M. Gindre, въ сборникѣ Scènes de la vie cosmopolite, pp. 145—146.

ственной тишины—и шумъ, и гиканье, и пляска. Почему это нахальное выставленіе на показъ суеты, безобразія?

Вслѣдствіе потребности чувствовать себя въ своей „спеціальности индивидуума", себя утверждать, владѣть собою исключительно, эгоистически, противополагая свое *я* всему остальному, ставя себя въ грубое противорѣчіе съ природой, которая насъ окружаетъ, съ поэзіей, которая насъ восхищаетъ, съ гармоніей, которая насъ соединяетъ съ другими, съ благоговѣніемъ, которое насъ уноситъ къ небу. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Я одинъ, и довольно; я царю своимъ отрицаніемъ, своимъ безобразіемъ, своимъ кривляніемъ, своимъ смѣхомъ; я свободенъ какъ дьяволъ, я господинъ самъ себѣ, живу для себя и по себѣ. Вотъ что въ глубинѣ этой радости: отголосокъ эгоизма, искушеніе сдѣлаться центромъ [1]).

Нѣтъ, я не могу любить „человѣчества."

Живи для прогресса.

Но чтобы жить для прогресса необходимо въ него вѣровать, а я въ него не вѣрую. Развѣ въ концѣ восемнадцатаго вѣка Кондорсе не возвѣщалъ наступленіе золотого вѣка, всеобщее равенство, миръ между людьми и народами? Тогда благородная иллюзія наполняла всѣ сердца, утопія открывала небеса для всякихъ надеждъ; и сто лѣтъ спустя—какое

---

[1]) Amiel, Journal intime, I, pp. 127—128.

разочарованіе, этотъ конецъ девятнадцатаго вѣка, завершившагося въ банкротствѣ знанія, свободы и справедливости, павшаго въ кровь и грязь на самомъ порогѣ грядущаго столѣтія! Этотъ столь вожделѣнный золотой вѣкъ—язычники его полагали до начала времени, христіане стали отодвигать за конецъ времени, а теперешніе соціалисты мечтаютъ его насадить во времени. Все это жалкія иллюзіи. Есть только одно безусловное счастье—въ полномъ уничтоженіи [1]). И развѣ я не знаю, что если бы и былъ прогрессъ, то онъ, какъ и все остальное, долженъ придти къ концу, и наша культура рано или поздно погибнетъ во всепоглощающей пропасти. О чемъ же стараться и ратовать? [2])

Борьба за существованіе? Но вопросъ именно въ томъ, ради чего вести эту борьбу и какъ ее оправдать? [3]).

Гдѣ-же искать отвѣта на вопросъ о смыслѣ и значеніи жизни?

Въ личномъ ли непосредственномъ сознаніи, минуя все, что было сказано другими? Но это обозначало бы либо лѣность мысли, либо ея ничѣмъ не оправдываемую гордыню, либо, наконецъ, признаніе, что ни наука, ни философія на этотъ вопросъ до сихъ

---

[1]) Zola, Fecondité, p. 51.

[2]) Rod, Le sens de la vie, pp. 27—28.

[3]) Тамъ же, p. 32.

поръ не могли дать отвѣта; а въ такомъ случаѣ, откуда надежда найти его въ своемъ личномъ сознаніи?

Обратиться къ книгамъ? Но кому не извѣстно, что многознаніе способно обогатить умъ свѣдѣніями, но не помогаетъ въ нихъ разобраться.

Если я наполню свой умъ чтеніемъ всевозможныхъ книгъ, то услышу лишь столкновеніе противоположныхъ воззрѣній, непримиримыхъ теорій, противорѣчивыхъ чувствъ. Передо мной пройдутъ богословы, теософы, философы, софисты, риторы, и они оглушатъ меня шумомъ разногласныхъ ученій и трескомъ звонкихъ словъ, своимъ спиритуализмомъ, позитивизмомъ, идеализмомъ, деизмомъ, матеріализмомъ и проч. и проч., и все это сольется въ одну безплодную жалобу немощи,—въ шумъ вѣтра, дующаго въ бездонной пропасти. Ихъ перекричатъ всевозможные реформаторы, шарлатаны счастья, основатели религій и нравственныхъ ученій, проповѣдники войны и мира, любви и раздора, вѣчной жизни или отреченія отъ жизни. И я не только не почувствую успокоенія, а, напротивъ, найду новую причину для разочарованія, такъ какъ исторія мнѣ скажетъ, что всѣ эти теоріи, ученія, проповѣди и проч. нисколько не подвигаютъ рѣшенія вопроса о смыслѣ жизни и служатъ лишь къ тому, чтобы разжигать страсти противъ страстей, интересы противъ интересовъ, и

поднимать народности противъ народностей и расы противъ расъ.

Поскорѣй бы забыть весь этотъ шумъ, закрыть глаза, чтобы ничего не видѣть, заснуть, чтобы ничего не слышать, презрѣть одинаково прошлое и будущее и тихо прозябать гдѣ нибудь въ затерянномъ уголкѣ, вмѣстѣ съ наивнымъ существомъ, которое бы ничего не знало, но могло любить и быть любимымъ, такъ чтобы въ концѣ можно было сказать: „Все человѣческое мнѣ чуждо, я сумѣлъ освободиться отъ тираніи своего положенія, сумѣлъ разбить иго, подъ которымъ сгибаются люди, я счастливъ своей безсознательностью, близкой къ смерти“ [1]).

И зачѣмъ намъ дана эта способность мыслить, отравляющая нашу жизнь? То ли бы дѣло, если бы намъ дано было летать, плавать, мычать, лаять, выть. То ли бы дѣло, если бы у насъ были крылья, раковина, щетина, хоботъ, если бы мы могли извиваться, всюду распредѣляться, быть во всемъ, испаряться съ запахами, развиваться словно растенія, течь какъ вода, дрожать какъ звукъ, блистать какъ свѣтъ, заковываться во всѣ формы, проникать каждый атомъ, нисходить до самаго дна природы, быть матеріей [2]). Тогда не нужно было бы строить ни-

---

[1]) Rod, La course à la mort, pp. 215—218.

[2]) Flaubert, Tentation de St. Antoine, p. 296.

какихъ химеръ, не пришлось бы подтачивать себя анализомъ, ломать голову надъ неразрѣшимыми вопросами.

При такомъ настроеніи, отвергающемъ всякую дѣятельность мысли какъ ненужную, философія очевидно не можетъ отстаивать за собою права на званіе „руководительницы жизни“, какъ въ былыя времена, и съ точки зрѣнія современнаго скептицизма право на существованіе могъ бы получить лишь такой философскій трактатъ, который отстаивалъ бы этотъ скептицизмъ относительно всей вообще дѣйствительности, не исключая и философіи. Такой трактатъ можно было бы съ удобствомъ назвать *философіей иллюзіонизма* и раздѣлить на три части: критику, постулаты и синтезы.

Критика должна была бы подвергнуть анализу основы познанія, этики и эстетики, съ цѣлью доказать ихъ шаткость и хрупкость. Это неоднократно было сдѣлано другими философами. Но тогда какъ философы обыкновенно находили какой нибудь выходъ, чтобы избѣжать нигилизма и на подкопанномъ ими основаніи построить зданіе совершенно подобное ими разрушенному, современный философскій трактатъ долженъ былъ бы отличаться большей послѣдовательностью. Познаніе слѣдовало бы свести къ субъективизму и относительности, то есть нужно было бы доказать, что въ познавательныхъ процессахъ мы имѣемъ дѣло исключительно съ нашими личны-

ми, субъективными представленіями, что эти представленія обусловлены нашими состояніями и съ перемѣной ихъ измѣняются, что эта ихъ относительность усугубляется соотносительностью между самими представленіями, такъ что каждое изъ нихъ предполагаетъ другое и этимъ другимъ предполагается, что представленіямъ можетъ ничего не соотвѣтствовать въ такъ называемой объективной дѣйствительности и что такая дѣйствительность вовсе можетъ и не существовать и проч. Установивъ такимъ образомъ недостовѣрность какъ „торжествующую догму," можно было бы окинуть взоромъ всѣ области жизни съ цѣлью пояснить, что повсюду затрудненія устраняются бездоказательными утвержденіями и повсюду допускаются принципы, противорѣчащіе той идеѣ, которой они подсказаны: въ религіи, не смотря на громы богослововъ противъ антропоморфизма, царитъ антропоморфизмъ; этика освобождаетъ абстракціей понятія блага и долга отъ всѣхъ тѣхъ частностей, которыя придаютъ имъ смыслъ, и допускаетъ ихъ лишь послѣ такого искаженія и извращенія; политика живетъ въ вѣчномъ разладѣ съ справедливостью, которую непрестанно провозглашаютъ и нарушаютъ; въ искусствѣ—праздные споры о понятіи красоты, которое мѣняется сообразно съ временемъ и мѣстомъ. Все это можно было бы изложить сжато, логично, рѣшительно, неопровержимо.

Однако—здѣсь начинается вторая часть—пусть критика разрушаетъ всѣ эти идеи истины, блага, долга, красоты и проч., и пусть ихъ неспособна опредѣлить никакая философія, онѣ служатъ основаніемъ нашей жизни и несомнѣнно существуютъ. Ихъ реальность можетъ приводить нашу критическую мысль въ смущеніе: она утверждаетъ себя во всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ, въ словахъ, которыя мы употребляемъ для ихъ выраженія, въ постоянномъ стараніи людей дать этимъ идеямъ смыслъ. Никакое индивидуальное существованіе въ обществѣ не было бы возможно, если бы мы допустили, что какъ скоро мы не можемъ выяснить основаній нравственности, нравственности не существуетъ; не было бы возможно никакое національное существованіе, если-бы мы уничтожили, какъ этого требуетъ наше разсужденіе, идеи отечества, закона, правительства; не было бы возможно никакое сожительство, если бы люди стали дѣйствовать наперекоръ тѣмъ правиламъ, которыхъ ничтожество доказывается критикой. И паденіе религіи, замѣчаемое теперь у нѣкоторыхъ цивилизованныхъ народовъ, образуетъ такую пустоту въ ихъ жизни, что справедливо заставляетъ призадумываться дальновидныхъ, хотя и далеко не благочестивыхъ, людей.

Затрудненіе увеличивается еще тѣмъ, что если критика легко можетъ сокрушить безусловное *положительное*, не встрѣчая формальнаго опроверженія

въ опытѣ, то получается иное, когда она принимается за безусловное *отрицательное*. Можно доказывать, что блага не существуетъ, ссылаясь на измѣнчивость нашихъ нравственныхъ идеаловъ, но нельзя отвергать существованія зла, такъ какъ такое существованіе само себя доказываетъ; точно также, можно отрицать прекрасное, но безобразное омрачаетъ нашу жизнь слишкомъ сильно, чтобы мы могли его не признавать; и если истина отъ насъ ускользаетъ, то мы ежедневно дѣлаемъ такъ много очевидныхъ ошибокъ, что не можемъ не допустить существованія лжи.

Выходитъ такимъ образомъ, что отрицаемое теоріей утверждается практикой, и наоборотъ, такъ что между теоріей и практикой существуетъ непримиримый раздоръ. Это противорѣчіе проходитъ по всѣмъ областямъ жизни и дѣлаетъ изъ нея одинъ сплошной вызовъ разуму. Избѣжать этого вызова не возможно: или слушайтесь критики и становитесь въ ряды скептиковъ, которые, чтобы не прослыть за сумасшедшихъ или преступниковъ, необходимо должны противорѣчить себѣ, или же признайте истиной то, что ваша критика считаетъ ложью, и благомъ то, что съ ея точки зрѣнія—обманъ.

До сихъ поръ все шло бы очень гладко: всѣ эти взгляды можно было бы доказать множествомъ различныхъ фактовъ, взятыхъ изъ исторіи, и освѣтить мнѣніями многихъ философовъ. Затрудненіе вновь

начинается въ третьей части, которая переходитъ отъ теоріи къ практикѣ.

Здѣсь нужно было бы примирить не только всѣ частныя антиноміи, но устранить и антиномію общую, то есть уладить общій раздоръ между теоріей и практикой. Это возможно было бы не иначе, какъ отрекшись отъ теоріи, такъ какъ практику отвергнуть нельзя. Такое отреченіе героически совершали всякаго рода законодатели, проповѣдники и проч., и его безъ усилій повседневно совершаетъ обыкновенное людское стадо, приступая съ спокойнымъ духомъ къ своимъ занятіямъ. Но какимъ образомъ мы, люди мысли, можемъ отважиться на это отреченіе? А если мы не отважимся, то какъ выйти изъ круга? Теорія въ такомъ случаѣ опровергалась бы практикой, которая въ свою очередь отвергалась бы теоріей.

На выручку могъ бы придти такъ называемый *диллетантизмъ*, который во всѣхъ теоріяхъ видитъ простую игру ума, оставляя въ сторонѣ вопросъ о соотвѣтствіи съ дѣйствительностью, и способенъ проводить идеи безъ вѣры въ нихъ [1]). Наука въ данномъ случаѣ не могла бы оказать подспорья, но исторія, при извѣстномъ ея толкованіи, могла бы помочь кое-какими примѣрами. Бывали несомнѣнно люди, избиравшіе рычагомъ для своей дѣятельности такія идеи, которыя отвергались ихъ умомъ, но

[1]) См. гл. VIII.

тѣмъ не менѣе принимались ими за то, за что ихъ обыкновенно принимаютъ, и умѣвшіе ими пользоваться какъ искусные виртуозы. Ликургъ не могъ не знать, что его законы не опираются ни на какое другое основаніе, кромѣ государственной пользы; Магометъ не признавалъ сверхъестественности корана; Наполеонъ не любилъ ни отечества, ни солдатъ. И тѣмъ не менѣе Ликургъ своими законами основалъ величіе Спарты; Магометъ создалъ исламъ, утвердивъ его на вѣрѣ, которой самъ не имѣлъ; Наполеонъ осуществилъ эпопею своего царства, возбуждая патріотизмъ и внушая къ себѣ любовь солдатъ. Можно было бы привести и другіе подобные факты, приправивъ ихъ достаточнымъ количествомъ разсужденій, и въ концѣ вывести слѣдующее двойное заключеніе, противорѣчивое, какъ и все на свѣтѣ:

1. Критика основательна. Пусть она разочаровываетъ, она безвредна, пока не выходитъ изъ принадлежащей ей области, то есть изъ области чистаго разсужденія.

2. Тѣмъ не менѣе, пока не найдено средства примирить отрицательные результаты критики съ требованіями, вложенными въ насъ нашей расой и нашей индивидуальностью, слѣдуетъ дѣйствовать такъ, какъ будто критика не основательна, и, теоретически признавая ея значеніе, предоставить себя

руководству людей практики, то есть, съ точки зрѣнія критики, руководству обманщиковъ [1]).

Въ такомъ духѣ должна была бы разсуждать философія, если бы пожелала сдѣлаться отображеніемъ ходячаго скептицизма. Но съ двойной заповѣдью, въ которой вершится мудрость этого скептицизма, такъ называемый здравый смыслъ не можетъ примириться, хотя мы и должны признать правоспособность логики „иллюзіонизма“ не только при другихъ условіяхъ культуры, отличныхъ отъ тѣхъ, въ какихъ живемъ мы, но порою и при нашихъ. Такъ, съ точки зрѣнія метафизики ранняго буддизма, каждая мысль полагается трояко: утвержденіемъ, отрицаніемъ и снятіемъ утвержденія и отрицанія, такъ что, на примѣръ, на вопросъ о существованіи Будды надо отвѣчать: Будда существуетъ; Будда не существуетъ; Будда вмѣстѣ существуетъ и не существуетъ [2]). На такой же парадоксальной логикѣ построена „Логика“

---

[1]) Rod, Le sens de la vie, pp. 293—300.

[2]) Renan, Nouvelles études d'histoire religieuse, p. 66. Подобная логика должна казаться верхомъ нелѣпости. Редакторъ журнала Revue des deux mondes, Бюлозъ, „самый не буддійскій изъ людей“, отказался печатать этюдъ Ренана о буддизмѣ, ссылаясь на то, что „невозможно, чтобы люди были такъ глупы“. (Тамъ-же, pp. I—II.) И однако же существованіе такой логики документально засвидѣтельствовано не только буддійской метафизикой, въ которой обыкновенно видятъ дѣтскій лепетъ, но и метафизикой Гегеля, представляющей собой, на взглядъ многихъ, вѣнецъ человѣческой мудрости.

и вся система Гегеля, всецѣло опирающіяся на „діалектическую методу“, идущую отъ положенія къ отрицанію и затѣмъ къ снятію того и другого въ высшемъ понятіи, которое въ свою очередь каждый разъ опять предполагаетъ свое отрицаніе, чтобы вновь было снято положеніе и отрицаніе въ слѣдующемъ, высшемъ единствѣ и т. д. Бытіе по Гегелю есть ничто и ничто есть бытіе, а понятіе бываніе, снимающее собою оба эти понятія, есть вмѣстѣ и бытіе, и ничто, такъ какъ есть колебаніе между тѣмъ и другимъ. Напротивъ, общечеловѣческій смыслъ не можетъ считать истинными обѣ части противорѣчія и отвергаетъ одну изъ нихъ, какъ ложную. Предполагая, какъ ставитъ на видъ „философія иллюзіонизма“, что теорія и практика взаимно себя исключаютъ, мы должны признать ложной либо теорію, либо практику. Фактически всѣ теоріи, имѣющія отношенье къ практикѣ, находятъ окончательную провѣрку и оцѣнку въ практикѣ и ею отвергаются, если съ ней несогласны. Такъ какъ теоріи объ устояхъ нравственной жизни мѣняются, а самые эти устои, по свидѣтельству нравственной практики всѣхъ культурныхъ народовъ, остаются неизмѣнными, то при рѣшеніи спора между теоріей и практикой въ данномъ случаѣ не можетъ быть колебанія: мы должны отвергнуть теорію, какъ ложную, и признать торжество за практикой. Основную ошибку, въ которую впадаетъ теорія при

обсужденіи нравственнаго строя жизни, замѣтить нетрудно. Теорія предполагаетъ, что этотъ строй долженъ быть созданъ исключительно мыслью, долженъ быть поэтому вполнѣ постижимъ для мысли, а то, что для нея непостижимо, должно быть отвергнуто какъ безсмыслица. На дѣлѣ же онъ созданъ не одной мыслью, но главное—чувствомъ, и потому его внутренняя природа открывается, насколько это вообще возможно, не столько для мысли, сколько для чувства. Поэтому тотъ, кто ищетъ нравственнаго руководства, долженъ обращаться не къ теоріямъ, а къ живому непосредственному чувству, такъ называемому нравственному сознанію. Это чувство есть даръ природы и столь же мало можетъ быть привито духу отвнѣ, какъ слѣпому глазу зрѣнье, хотя и можетъ развиваться подъ живымъ нравственнымъ воздѣйствіемъ другого лица или лицъ. Однако, вслѣдствіе единства духовной жизни, связывающаго ее въ неразъемлемый организмъ, во всякомъ сознательномъ чувствѣ всегда участвуетъ и мысль, такъ что чувство обнаруживаетъ себя не только непосредственно, но и посредствомъ мысли, и потому никогда не было и не можетъ быть недостатка въ общихъ нравственныхъ предписаніяхъ.

Какое же нравственное предписаніе даютъ въ концѣ девятнадцатаго вѣка, въ чемъ видятъ послѣднее слово его надломленной мудрости? Вотъ это предписаніе:

„Думай безъ ухищреній, дѣйствуй твердо. Дурно все, что противно этому простому закону: дурны мысли слишкомъ тонкія, которыя вьются и не знаютъ, гдѣ остановиться; дурно презрѣніе къ общей мудрости, которая созрѣла на опытѣ вѣковъ и которую гордыня духа яростно отвергаетъ; дурна эта гордыня, насъ обманывающая; дурно все то, что чрезмѣрная культура поселила искусственнаго въ нашихъ душахъ“ [1]).

Отошедшій вѣкъ, начавшій гордыней, кончилъ смиреніемъ. Отчего этотъ упадокъ самоувѣренности мысли? Отъ слишкомъ долгаго напряженія. Умъ и мысль устаютъ такъ же, какъ мускулы и нервы. Имъ нуженъ сонъ. Этотъ сонъ—возвратъ къ дѣтскимъ вѣрованіямъ, общечеловѣческимъ надеждамъ. Утомительно держаться безъ отдыха на исключительной точкѣ зрѣнія, и вотъ мысль ищетъ опоры въ „общей мудрости“ вслѣдствіе простого изнеможенія, подобно тому, какъ человѣкъ, который слишкомъ долго стоялъ на ногахъ, наконецъ падаетъ плашмя на землю [2]).

И на мѣсто изнемогшей мысли, неспособной разобраться въ созданной ею путаницѣ, робко и нѣжно просится чувство, чтобы заслонить умственный взоръ легкимъ покровомъ, заглушить ропотъ думъ вкрадчивой пѣснью:

---

[1]) Rod, Au milieu du chemin, p. 324.

[2]) Amiel, Journal intime, II, p. 13.

„Гони прочь любопытство: оно всегда нечестиво. Не знай и не ищи знать: знаніе—высшій обманъ. Часъ мечты подъ открытымъ небомъ въ молчаніи ночи скажетъ тебѣ больше, чѣмъ годы ученія, и ты никогда не будешь ближе къ истинѣ, чѣмъ когда твои мысли будутъ испаряться какъ ненужная пыль. Собери же эти истеченія твоей мысли какъ невѣсомые атомы драгоцѣннаго благовонія, и будь увѣренъ, что неопредѣленныя волненія, которыя наполняютъ твое сердце, зыбкія видѣнія, заставляющія проходить передъ твоими глазами образы безъ очертаній, неуловимыя мелодіи, которыя нашептываетъ тебѣ тишина, идеи, которыхъ полетъ ты чувствуешь надъ собою и которыя далеки отъ всякихъ формулъ—вотъ истинныя, вотъ единственныя откровенія Безконечнаго“ [1]).

Напѣвъ вполнѣ законный и понятный: умъ, сожженый разсужденіями, жаждетъ простоты точно такъ же, какъ спаленная солнцемъ пустыня жаждетъ чистой воды [2]).

---

[2]) Rod, Le sens de la vie, p. 283.

[1]) Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. VIII.

## VI.

Казалось бы, что если нельзя найти удовлетворенія въ наличной дѣйствительности, то можно искать его въ идеальномъ ея претвореніи—въ искусствѣ. Но на искусство возможна двоякая точка зрѣнія. Можно, во-первыхъ, смотрѣть на него съ точки зрѣнія матеріализма—видѣть въ немъ простое подражаніе, воспроизведеніе дѣйствительности, намекъ на нее тѣмъ или другимъ символомъ, взятымъ изъ дѣйствительности или воображенія; и можно, во-вторыхъ, смотрѣть на него съ точки зрѣнія идеализма—видѣть въ немъ откровеніе вѣчнаго, неизмѣннаго, идеальнаго, безконечнаго, божественнаго, для котораго взятые изъ дѣйствительности или фантазіи образы или символы служатъ не подобіемъ, но лишь несовершеннымъ средствомъ выраженія. Очевидно, что отрѣшить отъ дѣйствительности искусство можетъ лишь при этой послѣдней точкѣ зрѣнія, а при первой оно не выходитъ изъ ея предѣловъ, такъ какъ, если мы въ его произведенія не влагаемъ ничего идеальнаго, они становятся такою же дѣйствительностью, какъ все

остальное. Очевидно также, что для того, кто утратилъ вѣру въ идеалъ, единственно возможна первая точка зрѣнія. Поэтому искусство не даетъ современному французскому сознанію успокоенія. Мало этого: такъ какъ копія всегда слабѣе оригинала, воспроизведеніе природы ниже дѣйствительности, символъ есть нѣчто недостаточное въ сравненіи съ тѣмъ, на что онъ намекаетъ, то произведенія искусства только усиливаютъ разочарованіе, давая новое свидѣтельство человѣческой немощи.

„Утѣшайтесь, говорятъ намъ, искусствами“, (разсуждаетъ на своей яхтѣ Мопассанъ [1]). Но что такое искусство? что такое живопись и поэзія?

„Живопись состоитъ въ воспроизведеніи красками однообразныхъ пейзажей, которые никогда не бываютъ похожи на природу, въ изображеніи людей, тщетно усиливаясь придать имъ видъ живыхъ. Люди безполезно цѣлые годы напрягаются, чтобы подражать тому, что есть, и едва лишь успѣваютъ этой неподвижной и нѣмой копіей съ актовъ жизни дать понять опытнымъ глазамъ, чего они пытались достигнуть.

„Къ чему эти усилія? Къ чему это тщетное подражаніе? Къ чему это пошлое воспроизведеніе вещей самихъ по себѣ столь печальныхъ? О, жалость!

---

[1]) Sur l'Eau, pp. 56—60.

„Поэты дѣлаютъ посредствомъ словъ то, что пытаются дѣлать живописцы красками. Къ чему опять?

„Когда прочтешь четырехъ наиболѣе способныхъ, наиболѣе изобрѣтательныхъ изъ нихъ, незачѣмъ раскрывать остальныхъ. И отъ нихъ нельзя ничему научиться. И они, эти люди, точно также не могутъ ничего другого, кромѣ лишь того, чтобы подражать человѣку. Они исчерпываютъ себя въ безплодномъ трудѣ. Человѣкъ не измѣняется, и ихъ безполезное искусство остается неизмѣннымъ. Съ тѣхъ поръ какъ движется наша недалекая мысль, человѣкъ все тотъ же: его чувства, его вѣрованія, его ощущенія все тѣ же, онъ не подвинулся впередъ и не отступилъ назадъ, онъ остается на мѣстѣ. Къ чему нужно мнѣ узнавать, что я такое, читать, что я думаю, смотрѣть на самого себя въ пошлыхъ приключеніяхъ романа?

„Ахъ! еслибы поэты могли преодолѣть пространство, изслѣдовать звѣзды, открыть новые міры, другія существа, непрестанно видоизмѣнять для моего ума природу и форму вещей, прогуливать меня непрестанно въ измѣнчивомъ и поразительномъ неизвѣстномъ, открывать таинственныя двери на неожиданные и удивительные горизонты, я бы ихъ читалъ день и ночь. Но они, эти безсильные, могутъ только переставлять слова и показывать мнѣ мое изображеніе, какъ живописцы. Къ чему это?

„Человѣческая мысль неподвижна.

„Какъ скоро достигнуты точные, близкіе, непреодолимые предѣлы, она вертится словно лошадь въ циркѣ, словно въ заткнутой бутылкѣ муха, которая долетая до ея стѣнокъ, о нихъ непрестанно бьется.

„И все-таки, за неимѣніемъ лучшаго, сладко мыслить, когда живешь одинъ.

„На этомъ маленькомъ суднѣ, которое качается на морѣ, которое волна можетъ затопить и опрокинуть, я знаю и чувствую, какъ ничто не существуетъ изъ того, что мы знаемъ, такъ какъ земля, плавающая въ пустотѣ, еще болѣе одинока, еще болѣе затеряна, чѣмъ эта лодка въ волнахъ. Ихъ значеніе одинаково, ихъ судьба свершится. И я радуюсь, постигая ничтожество вѣрованій и тщету надеждъ, порожденныхъ нашимъ тщеславіемъ насѣкомыхъ!“

Это „тщеславіе насѣкомыхъ“ заставляетъ насъ и въ искусствѣ видѣть нѣчто важное, думать будто оно открываетъ намъ безконечные горизонты. На дѣлѣ эти горизонты не шире тѣхъ, которые видитъ передъ собою муха, бьющаяся въ заткнутой бутылкѣ. Пора высвободиться изъ этой бутылки, пора оглянуться безпристрастно на міръ, понять, какъ мелочна вся наша жизнь, начиная отъ эстетическихъ споровъ и кончая обсужденіемъ бюджетовъ. „Подумайте объ этомъ, думайте объ этомъ дни, мѣсяцы, годы, и вы взглянете на существованіе иначе. Попытайтесь осво-

бодиться отъ всего, чѣмъ вы скованы, сдѣлайте это нечеловѣческое усиліе выйти живымъ изъ вашего тѣла, изъ вашихъ интересовъ, изъ вашихъ мыслей, изъ всего человѣческаго, чтобы посмотрѣть въ другую сторону, и вы поймете, какъ мало значатъ споры между романтиками и натуралистами и обсужденіе бюджета“ [1]).

Присмотрѣться къ поэтическимъ произведеніямъ въ собственномъ смыслѣ слова, то есть стихотвореніямъ, и нельзя не замѣтить жалкой узости ихъ кругозора: ничтожество человѣка въ природѣ, неустойчивость человѣческой судьбы, противоположность между желаніемъ и дѣйствительностью, отчаяніе любви, воинственное упоеніе, прелесть весны, слѣпое бѣшенство моря—эти и подобные мотивы, напѣваемые съ различными измѣненіями и на различные лады, исчерпываютъ все содержаніе стихотвореній. Въ настоящее время ихъ читаютъ немногіе, и настанетъ скоро время, когда не будетъ читать никто [2]).

Изъ всѣхъ формъ литературнаго творчества будущее обезпечено лишь за драмой и романомъ. Драматическія произведенія еще долго будутъ привлекать народъ, такъ какъ страсть къ зрѣлищамъ едва ли можетъ скоро изсякнуть. Однако кругъ вымысловъ тѣсенъ, и драматическія произведенія впослѣдствіи станутъ интересовать лишь поскольку будутъ отобра-

[1]) Maupassant, Bel Ami, p. 163.

[2]) Richet, Dans cent ans, p. 192.

жать жизнь, то есть они не будутъ отрѣшать отъ дѣйствительности, а, напротивъ, будутъ ставить съ ней лицомъ къ лицу еще ближе, чѣмъ теперь. Точно также реалистическимъ долженъ быть и романъ, которому предстоитъ еще болѣе широкая будущность, чѣмъ драмѣ. Послѣднее однако не потому, что онъ самая совершенная и потому опредѣленная форма искусства, а скорѣе, наоборотъ, потому, что онъ есть наиболѣе совершенное отрицаніе всякихъ опредѣленныхъ формъ, такъ какъ въ одно и то же время можетъ совмѣщать въ себѣ и эпосъ, и трагедію, и комедію, и сатиру, и лирику, можетъ быть и философскимъ трактатомъ, и памфлетомъ—словомъ потому, что онъ наиболѣе гибкое орудіе для выраженія мысли.

И въ настоящемъ случаѣ, для очерка тѣхъ броженій, которыми такъ богатъ девятнадцатый вѣкъ, и той болѣзни, которая его постигла передъ смертнымъ часомъ, романъ былъ бы наиболѣе удобенъ.

Героя можно было бы украсить всѣмъ, что можетъ нравиться: его можно было бы изобразить красивымъ, молодымъ, изящнымъ, блестящимъ, храбрымъ, и т. д. Онъ вступаетъ въ жизнь со всѣми иллюзіями. Онѣ падаютъ съ каждой страницей. Ему измѣняетъ любовница, строютъ ковы друзья, его морочатъ представители церкви, обманываютъ блюстители закона, обворовываютъ хорошіе люди. Непріятности пробуждаютъ въ немъ критику, которая начинаетъ работать, и вскорѣ, еще болѣе жестокій къ

себѣ, чѣмъ къ нему обстоятельства, онъ находитъ удовольствіе въ томъ, чтобы окружать себя развалинами: онъ признаетъ ничтожество всего, во что вѣровалъ; воля его дѣлается колеблющейся, умъ сомнѣвается, и онъ становится какъ бы обломкомъ, плавающимъ по волѣ противоположныхъ вѣтровъ. Между тѣмъ онъ ведетъ жизнь полную приключеній и превратностей, разсказъ о которыхъ могъ бы быть весьма любопытенъ. Онъ начинаетъ съ увлеченія богословіемъ, которое ему казалось наукой наукъ, но вскорѣ перестаетъ его удовлетворять. Соскучившись имъ заниматься безъ вѣры въ него, онъ оставляетъ его, чтобы отдаться политикѣ, гдѣ надѣется найти болѣе широкое поприще для примѣненія своихъ способностей и для служенія на благо людямъ, которыхъ онъ продолжаетъ любить не смотря на испытанныя отъ нихъ разочарованія. Политика приводитъ его къ журнализму, который представлялся ему сначала священнодѣйствіемъ. Его глаза открываются послѣ нѣсколькихъ опытовъ. Онъ переходитъ къ соціализму, посѣщаетъ сходки, произноситъ рѣчи, принимаетъ участіе въ возстаніи, препятствуетъ кровопролитію, твердо вѣруя, что теоріи, которыхъ онъ себя считаетъ апостоломъ, приблизятъ царство справедливости, уничтожатъ бѣдность, принесутъ счастье обездоленнымъ и будутъ съ признательностью приняты правящими. Но, сдѣлавшись министромъ, онъ видитъ ихъ неприложимость и обезчестиваетъ себя вопіющимъ

отступничествомъ, такъ что его даже обвиняютъ въ злоупотребленіи тайными фондами. До сихъ поръ однако онъ думалъ лишь о благѣ другихъ, такъ какъ былъ искренъ и наивенъ. Но постепенно его честолюбіе обострилось и съ лѣтами пришли заботы о себѣ. Поэтому, отказавшись отъ великихъ идей, онъ бросается въ крупныя предпріятія. Благодаря своему высокому положенію, своей ловкости, своимъ знаніямъ, которыми онъ рѣшился пользоваться безъ зазрѣнія совѣсти, онъ становится невообразимо богатъ; міръ ему принадлежитъ, онъ имъ правитъ по волѣ своихъ капризовъ, извлекаетъ изъ него все новыя и новыя сокровища, какъ изъ неисчерпаемаго рудника, такъ что, послѣ того какъ онъ испыталъ на себѣ насмѣшки газетъ, клевету народныхъ ораторовъ и презрѣніе свѣтскихъ людей, когда честно отдавалъ себя на служеніе общему благу, онъ теперь пріобрѣтаетъ всеобщій почетъ за то, что осуществилъ свое собственное благосостояніе самыми безчестными средствами. Однако его совѣсть не вполнѣ заснула: она заставляетъ его отдать людямъ малую часть изъ того избытка, который онъ у нихъ награбилъ. Онъ слушается совѣсти и занимается филантропіей: основываетъ благотворительныя учрежденія, раздаетъ милостыни, предсѣдательствуетъ въ благотворительныхъ комитетахъ и теряетъ такимъ образомъ послѣднія иллюзіи, которыя у него оставались. Тогда, дотронувшись собственными

руками до всѣхъ стѣнъ житейской пропасти, онъ теряетъ голову и не знаетъ, что дѣлать. Въ своемъ пышномъ дворцѣ онъ испытываетъ отчаяніе, такъ какъ для него, человѣка дѣла, характера и энергіи, идеи, которыя онъ пріобрѣлъ въ своихъ опытахъ, не простыя игрушки, но онѣ, подобно игламъ, вонзаются въ тѣло и побуждаютъ начинать вновь погоню за невозможнымъ. Не видя положительной цѣли, къ которой можно было бы стремиться, онъ ищетъ забвенія. Онъ кидается въ ужасающій развратъ, но не можетъ имъ разсѣяться, и становится алкоголикомъ и морфиноманомъ. Его желѣзное здоровье противостоитъ всему этому и, послѣ оргій и пьянства, какъ въ былое время послѣ рѣчей и биржевыхъ краховъ, онъ находитъ себя все тѣмъ же,—съ умомъ, растравляемымъ безпокойнымъ любопытствомъ, съ душой, открытой для новыхъ желаній. Въ концѣ онъ надѣваетъ рясу священника и идетъ въ какую нибудь затерянную деревушку проповѣдывать Бога, въ котораго не вѣруетъ [1]).

Такой романъ былъ бы богатъ разнообразнымъ содержаніемъ и, навѣрное, многимъ бы понравился. Но стоитъ ли его писать? Разумѣется, нѣтъ. Такого героя въ дѣйствительности не было, и этотъ романъ, подобно всякому поэтическому произведенію,

---

[1]) Rod, Le sens de Ia vie, pp. 300—304.

прибавилъ бы еще одну ложь къ той, которая существуетъ. Поэзія, какова бы она ни была, есть всегда ложь. Но честно ли лгать? И можетъ ли поэтическая ложь служить на благо? Развѣ поэты не создатели иллюзіи чувствъ и сердца? Развѣ они не прибавляютъ къ тому безпокойству, которое даетъ намъ природа, безпокойство вымышленное, отягчающее безпокойство природное? Развѣ ихъ позлащенныя слова съ обманчивымъ смысломъ не извращаютъ простыя и здоровыя понятія жизни? Развѣ измышленные ими разсказы не повергаютъ въ катастрофы бѣдныхъ глупцовъ, гордящихся воображать себя героями? Развѣ они не даютъ наивнымъ и невиннымъ такихъ образцовъ, которые сбиваютъ ихъ съ толку? [1])

Если изъ разсмотрѣнія существа поэзіи должно быть ясно, что въ ней не можетъ быть ничего цѣннаго, то относительно современной поэзіи это убѣжденіе укрѣпляется еще больше при взглядѣ на поэтовъ и писателей „новѣйшаго чекана“.

Современный писатель, если онъ, какъ это часто бываетъ, не простой поставщикъ повѣстей и разсказовъ, существо нервное, развращенное, по большей части истощенное нервностью или малокровіемъ. Рѣдко онъ не знаетъ нищеты, которой невзгоды онъ, по своей впечатлительности, переноситъ

[1]) Rod, Au milieu du chemin, pp. 68, 87, 197 и др.

особенно болѣзненно. Вкусы необразованной публики въ немъ возбуждаютъ ненависть, заставляютъ его уединяться и сосредоточиваться въ себѣ. Отъ этого идеалъ его суживается. Лихорадочно бросается онъ на уродства, которыя принимаетъ за общія истины, или же съ упорствомъ, полнымъ доброй вѣры, придаетъ вещамъ какъ естественный тотъ особый оттѣнокъ, который подсказывается его нездоровымъ умственнымъ складомъ. Достигнувъ предѣла, когда новыя ощущенія становятся рѣдкостью, онъ ищетъ ихъ въ дѣланныхъ возбужденіяхъ, въ искусственныхъ, имъ самимъ изобрѣтенныхъ, состояніяхъ. Безсознательность, которая кладетъ печать генія, чужда его работѣ: онъ всегда подъ властью своей воли, часто слабой, истощенной, больной, всегда капризной и неспособной слѣдовать по прямому пути. У него нѣтъ зрѣнія для нравственнаго и внѣшняго совершенства, и его единственной цѣлью становится производить впечатлѣніе оригинальностью, наперекоръ природѣ и обычному взгляду на красоту [1]).

Оттого литература сдѣлалась бродиломъ разложенія, она насъ разслабляетъ и дѣлаетъ дряблыми. Сначала романтики, снявъ съ мысли узду и ослабивъ форму, подготовили торжество революціоннаго духа. Теперь натуралисты развращаютъ массы от-

---

[1]) Rod, La course à la mort, pp. 207—209.

вратительными картинами, которыя они рисуютъ подъ предлогомъ радѣнія объ истинѣ, а другіе, именующіе себя психологами, расточаютъ ядъ еще худшій, если это только возможно, своими напускными заботами о душѣ, выставляемыми на показъ, и грубой чувственностью, прикрываемой изяществомъ [1]).

Такимъ образомъ, обновленія жизни нельзя ожидать отъ поэзіи. Но его не могутъ дать и другія искусства. Архитектура служитъ только внѣшнимъ цѣлямъ, скульптура и живопись, за рѣдкими исключеніями, становятся все пошлѣе и ничтожнѣе. И поэзія, и эти искусства исчерпали силу; они пережили всѣ возможныя для нихъ формы и неспособны къ развитію. Остается одна музыка, которая, хотя столь же безсильна внести новую струю въ жизнь, какъ и другія искусства, но, выражая неопредѣленные оттѣнки неопредѣленныхъ чувствъ, можетъ развиваться безконечно и въ настоящее время должна быть признана единственнымъ искусствомъ, дающимъ высшее, возможное для человѣка, удовлетвореніе.

Таинственный языкъ звуковъ можетъ передавать множество внѣшнихъ впечатлѣній, способныхъ поддерживать въ постоянномъ движеніи наши чувствительныя струны; одинъ только этотъ языкъ въ си-

[1]) Rod, Le sens de la vie, pp. 268—269.

лахъ выразить то, что происходитъ въ самыхъ глубокихъ тайникахъ нашего существа; одинъ только онъ властенъ отрывать насъ отъ насъ самихъ и отъ гнета надъ нами вещей, налагать молчаніе на тысячи разногласій, стекающихся отовсюду, что бы смущать нашъ покой; одинъ только онъ можетъ навѣвать на насъ самозабвеніе, то дивное успокоеніе души и чувствъ, черезъ которое проходятъ, словно блескъ зари или райскія видѣнія, великолѣпныя невыразимыя грезы [1]).

Музыку поэтому надо поставить выше поэзіи, а музыкальнаго композитора—выше поэта.

Не такъ смотрѣли на поэзію въ первой половинѣ нынѣшняго вѣка, когда была жива вѣра въ величіе человѣческой природы. Французскій „національный поэтъ“ сравнивалъ тогда поэзію со вселенскимъ гимномъ, а душу поэта—съ соборнымъ колоколомъ, призывающимъ къ священнодѣйствію вѣрующихъ и невѣрующихъ. Вылившій этотъ колоколъ художникъ начерталъ на немъ божественный глаголъ, а прохожіе оставили по себѣ безчисленныя надписи, свидѣтельство ихъ ничтожества, злобы, страстей. Не щадятъ эти надписи и божественнаго глагола, и покрываетъ его ржавчина. Но подъ этимъ издѣвательствомъ преходящаго надъ вѣчнымъ живъ божественный глаголъ. И едва Святой Духъ призоветъ

---

[1]) Rod, La course, à la mort, pp. 209—211.

колоколъ къ благовѣсту, задрожитъ онъ всѣмъ своимъ существомъ, и потекутъ звуки одинаково изъ божественнаго глагола и изъ человѣческихъ надписей, и всѣ сольются въ общую гармонію, гдѣ объединено все, что есть на землѣ божественнаго и человѣческаго. И отзывчивъ этотъ колоколъ: откликается онъ на всякое вѣяніе, и даже тогда, когда не замѣтно никакого дуновенія, въ его мрачномъ сводѣ гудятъ неясные звуки. И всѣ задумываются при звукахъ этой великой отзывчивой души, какъ задумываются при глухомъ шумѣ бушующаго моря. Внимаетъ имъ и углубленный въ мысли мудрецъ, и мечтающая у водоема дѣва, и радостное дитя, и безутѣшная вдова, и селянинъ за сохой, и купецъ за прилавкомъ, и вся равнодушная улица, и въ чуткой душѣ, словно рой пчелъ, толпятся мысли [1]).

Слѣдуя современному отрицательному отношенію къ поэзіи, ее можно было бы уподобить ядовитой мухѣ, которая собираетъ заразу со всякой падали, и, кружась, жужжа и блестя золотомъ своихъ крыльевъ, вноситъ разложеніе всюду—и въ хижины, и въ дворцы [2]).

---

[1]) V. Hugo. A Louis B.

[2]) Ср. Zola, Nana, pp. 236—237.



## VII.

Можно удивляться, что такъ презрительно отзываются объ искусствѣ такіе крупные его представители, какъ Мопассанъ или Родъ, но въ самыхъ этихъ отзывахъ нѣтъ ничего удивительнаго. Утратившій вѣру въ свои силы разумъ не можетъ видѣть разумнаго ни въ чемъ человѣческомъ, и если въ дни увлеченій разумомъ, какъ верховнымъ началомъ вселенной, нашъ духъ былъ признанъ безконечнымъ носителемъ этого начала, то съ утратой вѣры въ разумъ человѣкъ сталъ простымъ животнымъ на ряду съ остальными и съ такимъ же ограниченнымъ кругозоромъ, какъ они.

Утратить вѣру въ свои силы заставили разумъ, какъ мы уже знаемъ, главнымъ образомъ его столкновенія съ дѣйствительностью, его неспособность осуществить имъ созданные и для него очевидно истинные политическіе идеалы. Ни разочарованія среди революціонныхъ бурь, ни послѣдовавшія за революціей царствованія Наполеоновъ, Бурбоновъ и Орлеановъ не могли въ корнѣ подорвать этой вѣры, такъ какъ для разума было оправданіе въ

неблагопріятныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ обстоятельствахъ. И еще въ сороковыхъ годахъ Контъ, слѣдуя завѣтамъ революціи, боготворилъ человѣка и мечталъ о культѣ человѣчества. Но съ тѣхъ поръ, какъ твердо установился современный республиканскій строй, основанный на революціонныхъ принципахъ, и этому строю ничто не стало грозить ни извнутри, ни извнѣ, практическая неосуществимость политическихъ идеаловъ разума стала сознаваться все яснѣе. Пусть на каждой улицѣ и каждомъ перекресткѣ, на каждомъ общественномъ зданіи красуются надписи: „свобода, равенство, братство“,— эти великія слова служатъ лишь постояннымъ напоминаніемъ, какъ мало соотвѣтствуетъ дѣйствительность идеалу. Если теперь уничтожено политическое рабство, то развѣ устранено рабство соціальное? Развѣ сильный своимъ общественнымъ положеніемъ не угнетаетъ слабаго? Что значитъ свобода, когда нечего ѣсть и некогда думать ни о чемъ другомъ, кромѣ лишь того, какъ достать кусокъ хлѣба? Развѣ можно говорить о равенствѣ, когда одинъ бѣденъ, другой богатъ, одинъ страдаетъ отъ невольнаго голода, другой—отъ пресыщенія? Развѣ уничтоженная революціей знать не возродилась снова, развѣ она утратила свою исключительность и надменность, и на-ряду со старой аристократіей не появилась ли новая, административная и финансовая? И не насмѣшкой ли звучитъ

слово „братство“, когда столько людей умираютъ съ голода? [1])

Четыре политическіе и соціальные идеала предносятся современному французскому сознанію. Идеалы эти—демократическій, аристократическій, соціалистическій, анархистскій. Всѣ они передъ судомъ критической мысли оказываются одинаково недостаточны.

Демократическій идеалъ состоитъ въ томъ, чтобы за всѣми обезпечить благополучіе на половину (un demi bien être). Это конечно, желательно, но при наличныхъ свойствахъ человѣческой природы такой идеалъ не можетъ быть осуществленъ безъ всеобщаго уравненія и потому угнетенія, отъ котораго должны пострадать главнымъ образомъ избранныя существа, неспособныя вынести этого гнета [2]).

Такое угнетеніе было бы несправедливо, но въ то же время и безполезно, такъ какъ исторія истекшихъ двухъ столѣтій, исчерпавшая всѣ средства для осуществленія демократическаго идеала, наглядно показала, сколь мало онъ осуществимъ. Онъ требуетъ сліянія всѣхъ сословій въ однородную общину, а это сліяніе у народа съ долгой исторіей невозможно: человѣкъ не можетъ вычеркнуть своего прошлаго, и тѣ сословія, которыя наиболѣе

---

[1]) Zola, Paris, pp. 70. 107. 109. 186. 446. 588.

[2]) Lemaitre, Les Rois (1893), p. 342.

дорожатъ преданіемъ и обособленность которыхъ поэтому наиболѣе старается подорвать демократія, не только не уничтожаются, но, по реакціи, замыкаются еще крѣпче.

„Въ настоящее время (говоритъ Буржэ) много толкуютъ о демократіи... Но я не думаю, чтобы равенство настолько проникло въ наши нравы, какъ это твердятъ любители готовыхъ формулъ. Я сомнѣваюсь, напримѣръ, чтобы настоящая герцогиня— а такія еще есть—обнаруживала теперь меньше надменности, чѣмъ ея прабабка сто или больше лѣтъ тому назадъ. Сенъ-Жерменское предмѣстье, чтобы ни думали о немъ насмѣшники, еще существуетъ. Оно только стало еще болѣе „благороднымъ предмѣстьемъ“, по реакціи... На какую бы точку зрѣнія мы ни стали, основанія или формы, принципа или внѣшности, мнимое сліяніе классовъ, обычный предметъ диѳирамбовъ или сатиры для моралистовъ, представляется такимъ только поверхностному взгляду. Аристократіи титуловъ и нравовъ—ихъ двѣ—остаются столь же, если только не болѣе, замкнутыми, чѣмъ въ прошломъ вѣкѣ... Напротивъ, справедливо признать, что демократія, съ одной стороны, уравновѣсила вынужденное неравенство именъ и прошлаго, установивъ дѣйствительное политическое неравенство въ пользу тѣхъ, кто сынъ своего труда и кому она вручаетъ всѣ государственныя функціи, а съ другой,—что она умно-

жила и сдѣлала для всѣхъ доступнымъ нѣчто въ родѣ (à peu près) роскоши, изящества и свѣтскости, которыя производятъ иллюзію—издали“ [1]).

Правда, если оставить въ сторонѣ стародавнюю непримиримую аристократію, то нельзя не признать, что теперь мѣсто прежняго избраннаго общества заступилъ всякій сбродъ. Но это не слѣдствіе демократическаго сліянія сословій, а того, что демократія притупила вкусъ ко всему, кромѣ наживы, честолюбія и любопытства. Поэтому тотъ, кто достигъ желаннаго благосостоянія, не признаетъ никакихъ остракизмовъ мнѣнія и держитъ изъ тщеславія свой домъ открытымъ для самыхъ разнообразныхъ лицъ, лишь бы его какъ можно больше людей знали и о немъ какъ можно больше говорили [2]).

„Всеобщая подача голосовъ, т.-е. глупая тиранія числа, царство силы въ ея формѣ наиболѣе несправедливой и слѣпой, вотъ режимъ, установленный демократіей всюду, гдѣ она восторжествовала. Къ этому она присоединила бѣшеное пробужденіе толпы, всеобщее недовольство судьбою и постоянную угрозу бунта со стороны четвертаго класса, класса нищеты и ненависти къ цивилизаціи, которая обѣщала свободу, равенство, братство и

[1]) Pastels, pp. 3—5.

[2]) Bourget, l'Inutile science въ сборникѣ Complications sentimentales, pp. 129—130 (1900).

обанкротилась съ этими неосуществимыми обѣщаніями“ [1]).

Такая демократія — какъ она зловѣща, какъ отлична отъ той, о какой грезили наши отцы въ концѣ прошлаго вѣка, привѣтствуя ее кликами наивной надежды на зарѣ революціи! [2]).

Сначала, когда демократія была новостью, ея недостатки мало были замѣтны. Но теперь вся старинная растравленная рана бьетъ въ глаза со всею своей ядовитостью. Медленное парламентское гніеніе увеличилось и поразило общественное тѣло. Безспорно, надъ низменными интригами, схватками личныхъ честолюбій, раньше была высокая борьба принциповъ, поступательный ходъ исторіи, разметавшій прошлое, пытавшійся умножить въ будущемъ истину, справедливость и счастье. Но на практикѣ, если посмотрѣть на отвратительную повседневную кухню, какое разнузданіе эгоизма и алчности, какая единственная забота о томъ, чтобы удавить сосѣда и торжествовать самому! Въ различныхъ парламентскихъ группахъ нельзя найти ничего, кромѣ непрестанной борьбы изъ за власти и изъ за тѣхъ удовлетвореній, которыя она даетъ. Лѣвая, правая, католики, республиканцы, соціалисты со всѣми ихъ оттѣнками — только ярлыки для распредѣленія одной и той же

---

[1]) Outre-Mer (1895), I, pp. 6—7.

[2]) Тамъ же.

палящей жажды править и властвовать. Всѣ вопросы съеживаются въ одинъ, кто изъ той или другой партіи будетъ держать въ рукахъ Францію, чтобы распредѣлять милости прихвостнямъ и приверженцамъ. И хуже всего то, что всѣ эти великія сраженія, всѣ эти дни и недѣли, потраченные на то, чтобы поставить одного на мѣсто другого, а другого на мѣсто третьяго, не приводятъ ни къ чему, кромѣ глупаго топотанія на мѣстѣ, такъ какъ всѣ трое стоятъ другъ друга и между ними только неопредѣленная разница. Новый господинъ мѣситъ тоже тѣсто, что его предшественникъ, по необходимости забывая при вступленіи на царство всѣ свои программы и обѣщанія [1]).

Въ демократіи всякій незначительный гражданинъ можетъ и желаетъ возвыситься, происходитъ поэтому общая схватка, всякій дѣлается свирѣпымъ, толкаетъ другихъ, чтобы перескочить поскорѣе черезъ ступеньку. Отсюда нашествіе либеральныхъ профессій, разграбленіе общественныхъ должностей, презрѣніе къ ручному труду, возрастаніе богатства и роскоши, взятіе съ боя власти для наслажденія ею [2]).

Дурно было и раньше, но тогда можно было по крайней мѣрѣ обвинять за дурное отдѣльныхъ лицъ —королей или императоровъ. Съ нѣкотораго вре-

[1]) Zola, Paris, pp. 69—70. Vogüé, Les morts qui parlent (1899), p. 173. Theuriet, Dorine (1899), pp. 14—15.

[2]) Zola, Fécondité, p. 30.

мени мы постановили не имѣть ни королей, ни императоровъ съ тѣмъ, чтобы каждый изъ насъ въ отдѣльности былъ этой крупной монетой. По нашей теоріи, начальники въ политикѣ не нужны. Мы ихъ замѣнили вожаками. Мы рѣшили сами вести нашъ корабль съ экипажемъ по нашему вкусу къ берегамъ, которые кажутся намъ очаровательными. Слабость, легкомыслiе, нерѣшительность, невѣжество, продажность среди правителей, все это было и раньше, но виновные тогда носили имя, у нихъ была личная отвѣтственность, за которую они иногда платились головою. Теперь призраки нашихъ начальниковъ, пастырей нашего стада, мимолетны и настолько многочисленны, что ихъ прегрѣшенія принимаютъ характеръ безымянности [1]).

Если вы хотите постигнуть принципы этого государственнаго кораблевожденія, войдите въ „салонъ для команды"—въ „конференцъ залу" палаты депутатовъ. Смотрите—вотъ они подходятъ, государи современной Франціи, депутаты: они идутъ прямо къ компасу, къ столу съ журналами: офицеры и пассажиры выходятъ на мостикъ и справляются съ розой вѣтровъ, чтобы узнать какого курса держаться. Представители группъ совѣщаются съ крупными органами печати; провинціалы старательно вникаютъ въ газеты ихъ округа. Доволенъ ли избиратель?

[1]) Bonvalot, Sommes nous en décadence, pp. 114—115.

Какъ думаетъ онъ теперь? Какую палинодію онъ еще требуетъ? Каждый исправляетъ свою позицію и свои мнѣнія по капризнымъ указаніямъ этого компаса.

Желаете знать, на чемъ зиждется власть этой команды? Подойдите къ огромному подковообразному столу, который весь заваленъ прибывающими все вновь папками и портфелями, и возлѣ котораго нѣтъ ни одного свободнаго мѣста, и загляните въ эти папки и портфели. Вы тогда согласитесь, что изъ всѣхъ именъ, которыми можно опредѣлить французскій парламентъ, наиболѣе подходящее для него названіе это— „Нищенствующій орденъ XIX вѣка". Отъ одного конца стола до другого вы не найдете ничего, кромѣ писемъ четырехъ неизмѣнныхъ типовъ. Письмо избирателя или мелкаго чиновника, ищущаго мѣста, производства не въ очередь, повышенія. Письмо депутата къ министру съ рекомендаціей. Отвѣтъ министра, ласковый и уклончивый: принялъ во вниманіе, разслѣдую какъ должно, обѣщаю исполнить при первомъ удобномъ случаѣ. Отвѣтъ депутата избирателю: прикраса неопредѣленнаго министерскаго обѣщанія, рабская ложь, разжигающая надежды тамъ гдѣ то, въ городкѣ, и распространяющая заразу среди попрошаекъ. Получается такимъ образомъ кругъ парламентскаго нищенства: избиратель нищенствуетъ у депутата, депутатъ нищенствуетъ у министра, министръ нищенствуетъ у депутата, депу-

татъ нищенствуетъ у избирателя. И какъ только этотъ столъ не развалится подъ грузомъ всей лжи, которая на него нагромождена? [1]).

Въ результатѣ вмѣсто предусмотрѣннаго теоріей равенства прежняя родовая знать смѣнилась денежною знатью, „халифатомъ конторъ, деспотизмомъ банковъ, тираніей торговли съ продажными и узкими идеями, съ тщеславными и плутовскими инстинктами.

„Болѣе злодѣйская, болѣе низкая, чѣмъ ограбленная ею знать и свергнутое духовенство, буржуазія приняла отъ нихъ легкомысленное чванство, дряблое хвастовство, которыя она еще унизила своимъ неумѣньемъ жить, похитила у нихъ недостатки и превратила ихъ въ притворные пороки; и, властолюбивая и угрюмая, низкая и трусливая, она стала безжалостно общипывать свою вѣчную, необходимую и одураченную жертву, толпу, которую сама разнуздала и взбунтовала, чтобы вонзить ножъ въ горло старыхъ кастъ".

Теперь, когда этотъ подвигъ свершенъ, черни „въ видахъ гигіены, пустили кровь, и буржуа, ободренный и радостный возсѣлъ на тронъ силой своихъ денегъ и своей заразной глупости. Слѣдствіемъ этого воцаренія было подавленіе всякаго ума, отрицаніе всякой честности, смерть всякаго искусства".

---

[1]) Vogüé, Les morts qui parlent pp. 101, сл. Авторъ членъ палаты депутатовъ. Подобное же у A. Daudet, Soutien de famille (1898), особенно въ главѣ Le régime.

Словомъ, „наступило, огромное, глубокое, неизмѣримо глупое и грубое господство финансиста и выскочки, возсіявшее надъ Франціей словно отвратительное солнце“ [1]).

Вмѣсто ожидавшейся простоты нравовъ появилась жажда блистать до истощенія средствъ, потребность оставлять свой классъ, подражать, непрестанно и во что бы то ни стало, въ способѣ жизни, въ обстановкѣ, въ удовольствіяхъ тѣмъ, кто стоитъ непосредственно выше [2]).

Вмѣсто бодрости, которую должна была вдохнуть свобода, одолѣли лѣность, эгоизмъ, дряхлость старыхъ цивилизацій. Всякая вѣра утрачена, и эта смерть вѣры образуетъ во всѣхъ областяхъ жизни пустоту, которую ничто не наполняетъ. Воцарилось неизмѣримое равнодушіе къ общей жизни: тогда какъ съ одной стороны демократическое движеніе все идетъ дальше по безотрадному пути пожертвованія личнымъ и частнымъ, обособленность развивается съ другой,—не въ томъ, что есть благороднаго, хорошаго и плодотворнаго, но въ самомъ худшемъ—безучастномъ эгоизмѣ. Снизу налагаютъ дѣланную и потому вымышленную сплоченность; сверху ей подчиняются по слабости и мстятъ

[1]) Huysmans, A rebours, pp. 291, сл. A. France, Lys rouge (1897), p. 118. Объ „аристократіи въ демократіи“ у Vandérem, Les deux rives (1897), pp. 58—59.

[2]) Bourget, Drames de famille (1900), p. 87.

за это своимъ обособленіемъ. И общество кое какъ живетъ этой ложью, которая, какъ и всякая ложь, принижаетъ мысли и сквернитъ чувства. Чтобы создать истинную сплоченность, нужно нѣчто другое, а не раздражающія теоріи и не возбуждающія ненависть декламаціи, нужно немножко сердоболія, которое изгнано, немножко любви, которую убили. Убили однако не совсѣмъ, и ея борьба съ эгоизмомъ остается великой заповѣдью для людей, такъ что тѣ, которые остаются въ этой борьбѣ праздными зрителями, вредятъ своей праздностью почти столько же, какъ борцы своимъ тщеславіемъ, злостью или скупостью. Лишь кое гдѣ и изрѣдка показываются въ этой свалкѣ благородныя фигуры; ихъ не признаютъ, и онѣ ничего не могутъ сдѣлать противъ общаго теченія, которое ихъ опрокидываетъ.

Напротивъ другіе, богато одаренные умомъ и способностями, удаляются отъ суматохи на холмы, въ пустыни или сады и спокойно созерцаютъ или мечтаютъ. Это поэты, мыслители, художники, всѣ тѣ, которые прежде выражали общій идеалъ, трогали сердца массъ и руководили народами. Теперь они играютъ фразами, звуками, риѳмами и красками, презирая толпу и гордясь своимъ уединеніемъ, если только не предпочитаютъ въ качествѣ любопытныхъ разсматривать у людей раны, полученныя во всеобщей борьбѣ, и трогать ихъ только для того, чтобы растравлять еще больше. Между ними и другими людьми,

по ихъ словамъ,—пропасть, или же они говорятъ, что они лишь ученые, которые наблюдаютъ, и они съ высотъ своего прекраснаго далека бросаютъ въ толпу собранные ими документы или просто свои мечты уподобляясь дѣтямъ, которые стали бы пользоваться маякомъ для того, чтобы пускать мыльные пузыри въ бурю [1]).

Вмѣсто общежительности, которую должна была укрѣпить демократія, она только обострила эгоизмъ.

Не сказывается ли въ этомъ „великое демократическое вырожденіе"? Чтожъ, разрушайся, общество. Погибай старый міръ! [2]).

Подобные непріязненные отзывы о современной французской демократіи можно встрѣтить у представителей всѣхъ направленій французской литературы, одинаково аристократическаго и демократическаго оттѣнковъ. И ни одинъ крупный литературный талантъ не выступаетъ на ея защиту, если не считать защитой общихъ мимоходныхъ разсужденій въ родѣ того, что всякая высокая культура покупается цѣной разврата, что зло необходимо, что, не смотря ни на что, люди всетаки идутъ впередъ, и что Парижъ, поносимый обыкновенно какъ очагъ всякаго разврата, подобенъ въ дѣйствительности огромному

[1]) Rod, Le sens de la vie, pp. 125--128.

[2]) Bourget, Drames de famille, p. 87. Huysmans, A rebours, p. 293. Къ критикѣ современнаго политическаго положенія Франціи: Deschamps, Le Malaise de la Démocratie (1899).

котлу, въ которомъ кипятъ всевозможные люди, наилучшіе и наихудшіе, ужасная смѣсь колдуновъ, цѣлебныхъ веществъ и экскрементовъ, страстей, насилій, разнузданныхъ желаній, всякихъ самыхъ острыхъ ферментовъ, и изъ котораго со временемъ должны выйти чары любви и вѣчной юности и чистые потоки вина будущаго [1]).

Вопросъ однако въ томъ, каково будетъ это „вино будущаго“, такъ какъ въ чары любви и вѣчной юности теперь никто не вѣритъ.

Впрочемъ, эти непріязненные отзывы никоимъ образомъ не значатъ, что демократическая форма хуже другихъ; напротивъ, она, по общему признанію, наиболѣе пригодна для Франціи; но и эта наиболѣе пригодная форма оказывается, если присмотрѣться къ ней ближе, очень дурной—какъ и все остальное въ этомъ мірѣ.

Аристократическій идеалъ ставитъ задачей достиженіе цѣльнаго и гармоническаго развитія въ небольшомъ числѣ лучшихъ людей, въ которыхъ „вселенная будетъ все болѣе сознавать себя“.

Для достиженія этой цѣли необходимо было бы пожертвовать или по крайней мѣрѣ предать забвенію милліоны милліоновъ людей низшаго порядка. Но это было бы слишкомъ жестоко, предполагало бы въ привилегированныхъ слишкомъ большое равнодушіе къ горю ближняго и указывало бы поэтому

[1]) Zola, Paris, pp. 591—592.

въ аристократическомъ идеалѣ на противорѣчіе, такъ какъ высшее сознаніе не можетъ сознавать себя безъ безконечной доброты [1]).

Допуская однако осуществимость подобнаго идеала, кому не очевидна его практическая непригодность? Развѣ революціонное теченіе послѣднихъ двухъ вѣковъ не было направлено, въ духѣ равенства, противъ аристократіи? Возможно ли возвращеніе къ тому, что отвергнуто исторіей какъ отжившее? Аристократическій идеалъ заслуживаетъ упоминанія лишь какъ одинъ изъ теоретически возможныхъ; фактически онъ совершенно ничтоженъ. Не смотря на то, что его отстаиваютъ любимые мыслители, Ренанъ и Ницше, о немъ говорятъ только вскользь, но подробно его не обсуждаютъ.

Соціалистическая греза есть идиллія, составленная изъ взаимной любви и благорасположенія. Но какъ скоро дано современное общество, весьма мало вѣроятно, чтобы этотъ романъ не начался насиліемъ. Иными словами, эта мечта можетъ быть усвоена лишь кроткими душами; но для ея осуществленія необходимо предварительное разрушеніе, а его могутъ взять на себя только жестокіе люди. И кому не извѣстны „злодѣйская подлость (lâcheté scélérate) революціонныхъ политикановъ и неизмѣнная глупость народа? Да, именно такъ: даже когда

[1]) Lemaitre, Les Rois, p. 343.

народъ знаетъ ихъ жизнь, даже когда ему доказано, что они лгутъ, все-таки онъ продолжаетъ за ними слѣдовать, за этими кровопійцами, худшими чѣмъ капиталисты, имъ прощаетъ все, такъ какъ они умѣютъ ему говорить слова обольщенія, слушать которыя для него небходимость. И что можетъ сдѣлать дальновидная и честная доброта съ этими несчастными, которые во что бы то ни стало хотятъ быть обманутыми?“ [1])

А соціалистическая мечта въ своемъ основаніи есть обманъ. Хотя она и выступаетъ въ идеалистической окраскѣ, она вполнѣ матеріальна. Дѣло идетъ о пользованіи землею, о пользованіи возможно большемъ, при наименьшемъ усиліи и наименьшей работѣ со стороны каждаго. Въ то же время дѣло идетъ и о томъ, чтобы ею пользовались всѣ вмѣстѣ одинаково, чтобы сильный не отнималъ у слабаго. Это предполагаетъ любовь, умѣренностъ, самообладаніе, всѣ тѣ добродѣтели, которыя до сихъ поръ не находили никакой лучшей опоры кромѣ религіозныхъ вѣрованій. Словомъ, осуществленіе этой мечты предполагаетъ христіанскую добродѣтель, но эта добродѣтель ищетъ сокровища на небѣ, а не на землѣ, и потому всѣмъ своимъ существомъ эту мечту отрицаетъ.

Наконецъ, эта мечта грезитъ о возвращеніи къ природному состоянію, улучшенному вѣками про-

[1]) Тамъ же, p. 237. Huysmans, A rebours, p. 8.

мышленности и изобрѣтеній. Но сколь бы искусственнымъ ни казался настоящій общественный строй, все же люди стали тѣмъ, что они теперь, благодаря игрѣ естественныхъ силъ. Нѣтъ ничего естественнѣе, чѣмъ эгоизмъ, инстинктъ собственности, захвата, пользованія чужимъ трудомъ; нѣтъ ничего естественнѣе физическаго и умственнаго неравенства, преобладанія сильныхъ надъ слабыми. И такимъ образомъ одно изъ двухъ: либо это идеальное общество, хотя и предполагается сообразнымъ съ природой, вскорѣ испортится такъ же, какъ старое общество, силою тѣхъ же инстинктовъ и тѣхъ же необходимостей, или же это общество, предполагаемое естественнымъ, можетъ существовать въ сохранности лишь при томъ условіи, что каждый изъ членовъ подавитъ въ себѣ природу.

Это, конечно, весьма мало вѣроятно. Зато несомнѣнно, что если до сихъ поръ только религіозная вѣра дѣлала возможнымъ безропотное примиреніе съ общественными несправедливостями, то и дать устойчивость тому строю, изъ котораго эти несправедливости будутъ изгнаны, могутъ лишь тѣ добродѣтели, которыя поддерживались этой вѣрой. Но въ народѣ подорвана религіозная вѣра. И для человѣка съ яснымъ умомъ не нужно самому быть религіознымъ, чтобы признать, въ какой сильной степени это освобожденіе духа разрушительно для доброты и безкорыстія въ людяхъ грубыхъ, неспособныхъ

въ свободно созданномъ и усвоенномъ нравственномъ правилѣ найти замѣну религіознаго руководства. Если подобные люди станутъ господами, то какъ воспользуются они своимъ могуществомъ? Какихъ разбоевъ, какого безпорядка, какого хаоса тогда надо ожидать? [1])

Ничтожество соціализма доказывается сверхъ того внутренней противорѣчивостью его идеала и несоотвѣтствіемъ этого идеала съ общимъ закономъ развитія. Какимъ образомъ общее счастье можетъ быть достигнуто отреченіемъ, всегда печальнымъ, каждаго члена общества отъ своей личности, отъ своихъ вкусовъ и взглядовъ? И тогда какъ во всякомъ разумномъ организмѣ цѣлью его развитія служитъ развитіе его высшихъ органовъ, въ общественномъ организмѣ, о которомъ мечтаютъ соціалисты, высшіе органы приносятся въ жертву низшимъ. Вмѣсто прогресса, соціализмъ повелъ бы ко всеобщему опошленію [2]).

Анархистскій идеалъ настаиваетъ на полномъ и безусловномъ уничтоженіи всего существующаго строя, въ надеждѣ, что быть можетъ прорастетъ новая земля, на которой появится народъ, осво-

---

[1]) Тамъ же, pp. 227—229.

[2]) Rod, La course à la mort, pp. 197—199. Merlino, Pro e contro il Socialismo, Milano, 1897. (Французское изданіе распространено во Франціи).

божденный отъ покровительства государства, безъ господина, почти безъ законовъ, гдѣ всякій гражданинъ пріобрѣтетъ на свободѣ полное развитіе своего существа и будетъ входить по своему усмотрѣнію съ сосѣдями въ сношенія ради безчисленныхъ потребностей жизни. Отсюда должно произойти общество, ассоціація по свободному соглашенію, или вѣрнѣе, множество разнобразныхъ ассоціацій, всегда измѣнчивыхъ, противоположныхъ и даже враждебныхъ, опредѣляющихъ общественную жизнь. Эта рознь необходима, такъ какъ прогрессъ создается только столкновеніемъ и борьбой, самый міръ есть созданіе противоположныхъ силъ. При такомъ строѣ— конецъ притѣснителямъ, конецъ бѣдности и богатству, обладаніе землей станетъ общимъ, она вмѣстѣ съ необходимыми орудіями для работы и естественными сокровищами будетъ возвращена народу, ея законному собственнику, который сумѣетъ ею пользоваться справедливо и правильно, когда ничто ненормальное не будетъ препятствовать его естественному разцвѣту. Только тогда возымѣетъ полную силу законъ любви, и человѣческая общежительность, которая среди людей есть живая форма всеобщаго тяготѣнія, сблизитъ и сольетъ ихъ въ одну семью [1]).

Наличная дѣйствительность представляется анархизму настолько испорченной, что никакое улучше-

[1]) Zola, Paris, pp. 219—220.

ніе, никакое ея преобразованіе немыслимы. Если полное уничтоженіе законнымъ путемъ невозможно, то существуютъ огонь и мечъ, кинжалъ, динамитъ и ядъ [1]). Истинный герой для анархизма разбойникъ, потрясающій міръ ужасающими злодѣяніями, „безъ почерпнутыхъ изъ книгъ фразъ".

Однако, если и допустить, что такое всецѣлое уничтоженіе возможно, гдѣ ручательство, что на обновленной почвѣ старое зло не появится снова? Не должны ли мы опасаться, что новый міръ будетъ омраченъ тѣми же несправедливостями, какъ старый, что вновь появятся больные и здоровые, болѣе ловкіе и болѣе умные, которые обогатятъ себя всѣмъ, а съ другой стороны, слабые и лѣнивые, которые снова превратятся въ рабовъ?

И почему „гармонія всеобщаго тяготѣнія между людьми", которая должна появиться на развали-

---

[1]) Allons debout! brisons l'ordre bourgeois,
Faisons jouer dynamite et potence:
Quand nous aurons flambé codes et lois,
Chacun aura le droit à l'existence.

Отрывокъ изъ анархистской пѣсни у Boilley, Les trois socialismes, anarchisme, collectivisme, réformisme (1895), p. 81. Къ характеристикѣ идеаловъ анархизма въ его различныхъ оттѣнкахъ кромѣ сочиненій Бакунина, Oeuvres de Bakounine (1895), Krapotkine, L'Anarchie, sa philosophie, son idéal (1896), Reclus, L'Evolution, la révolution et idéal anarchique (1898), Jean Grave, La Société future (1895), Hamon, Psychologie de l'Anarchiste-socialiste (1895), Ch. Malato, Philosophie d'Anarchie (1897).

нахъ, не начала дѣйствовать съ первыхъ дней міра, при самомъ возникновеніи общества. Если люди самой природой созданы для идеальнаго сожительства, какимъ образомъ могли появиться всякія неправды, которыми такъ богата наша жизнь, какъ могла восторжествовать тиранія, поработившая людей однихъ другимъ и народы притѣснителямъ? Начинать всю жизнь снова, предполагая это возможнымъ, имѣло бы смыслъ лишь въ томъ случаѣ, если бы ее начинать для чего нибудь новаго. А это новое—заключается ли его возможность дѣйствительно въ человѣкѣ? Не вѣрнѣе ли, что нужно было бы для коренного измѣненія общественнаго строя измѣнить самого человѣка? Разумѣется, если предоставить исторіи естественный ходъ, то результатовъ долго приходится ждать. Но какая бы грозила опасность и даже отсталость, если бы пришлось возвратиться вспять и не знать, по какой дорогѣ можно наверстать потерянное время среди хаоса и развалинъ! [1])

Въ отвѣтъ на это анархисты либо говорятъ, что „это до тебя не касается“ [2]), либо „кричатъ дикимъ голосомъ, что если справедливость невозможна у человѣка, то человѣкъ долженъ исчезнуть. Сколько

---

[1]) Zola, Paris, p. 220.

[2]) Тамъ же: Suis je bête de te fatiguer avec toutes ces choses qui ne te regardent pas.

гнилыхъ обществъ, столько и кровопролитія, пока не будутъ истреблены всѣ до послѣдняго“ [1]). Но по какому праву можетъ быть предпринято это истребленіе? Анархисты ссылаются на то, что они желаютъ имѣть право на хорошую жизнь, на то, чтобы пить и ѣсть, когда захочется, безъ всякаго стѣсненія, чтобы быть свободными, работать и проводить время, какъ заблагоразсудится [2]). Но этого желаетъ всякій. Кто же согласится отдать свою жизнь за ничто? И гдѣ доказательство, что истребители лучше истребляемыхъ? Напротивъ, они должны быть хуже, такъ какъ для совершенія неистовствъ, разбоевъ и злодѣйствъ, предполагаемыхъ теоріей всеобщаго разрушенія, необходимо озвѣриться. Чья мысль не оцѣпенѣетъ, чье сердце не сожмется отъ всѣхъ тѣхъ ужасовъ, которые проповѣдуютъ анархисты? [3]). Пусть весь нашъ міръ безсмыслица; истреблять все безъ опредѣленной цѣли, безъ опредѣленной надежды, словомъ, безъ смысла, значитъ прибавлять новую, самую большую безсмыслицу къ тѣмъ, которыя существуютъ.

Такимъ образомъ, всѣ политическіе идеалы одинаково ничтожны, и изъ соціальныхъ затрудненій столь

---

[1]) Zola, Germinal pp. 159, 272, 451, 507. Paris, pp. 574 сл. 568 581.

[2]) Изъ анархистской пѣсни у Boilley, pp. 80—81.

[3]) Zola, Paris, p. 226.

же мало выхода, какъ и изъ всѣхъ остальныхъ Правда, современное сознаніе указываетъ на нѣсколько путей къ выходу изъ этихъ затрудненій, но всѣ эти пути, при ближайшемъ разсмотрѣніи, непроходимы.

Первый путь—обновленіе жизни на почвѣ ученія объ отреченіи отъ себя. Для такого ученія цѣль жизни не въ благополучіи всѣхъ и не въ благополучіи избранныхъ, но подсказывается убѣжденіемъ. что мы рождены не для удовольствія, а для самопожертвованія, что разрѣшеніе всѣхъ нравственныхъ затрудненій состоитъ въ отреченіи отъ себя на благо другихъ и что лучшая радость—отреченіе отъ всякой радости.

Подобная этика не находитъ опоры въ наличной дѣйствительности и не можетъ быть проведена въ общее сознаніе ни философіей, ни религіей. Та и другая неоднократно ставили на видъ такой идеалъ, философія задолго до христіанства, а христіанство служитъ самымъ возвышеннымъ его выраженіемъ. Но указаніямъ философіи и религіи до сихъ поръ слѣдовали немногіе, теперь же авторитетъ философіи уничтоженъ, религіозная вѣра подорвана. Не мудрено поэтому, что такой путь кажется химерой по преимуществу [1]).

---

[1]) Lemaitre, Les Rois, p. 343.

Второй путь—сплоченіе всѣхъ для взаимной любви и взаимопомощи вслѣдствіе признанія тщеты всего существующаго.

Предположимъ, что всѣ люди утратили всякую религіозную вѣру, что въ то же время истощилась вся энергія ихъ страстей (что, вопреки всему, можно уже замѣтить), что они наконецъ признали (а это въ концѣ неизбѣжно) тщету даже самого эгоизма, и что они отъ него, какъ и отъ всего остального, отшатнулись вслѣдствіе доказанной долгимъ опытомъ его неспособности обезпечить счастливую жизнь даже для наиболѣе сильныхъ. Тогда они скажутъ другъ другу: „Такъ какъ мы ничего не знаемъ, такъ какъ намъ нечего ожидать и не на что надѣяться, такъ какъ мы появляемся лишь на мгновеніе на поверхности одной изъ самыхъ малыхъ планетъ солнечной системы и притомъ только для того, чтобы тотчасъ же погрузиться въ вѣчную ночь, то устроимся такъ, чтобы этотъ переходъ для насъ не былъ очень печальнымъ или же чтобы онъ былъ такимъ для возможно меньшаго числа изъ насъ. Будемъ оказывать другъ другу поддержку и помощь. Теперь для насъ вполнѣ естественно любить другъ друга, такъ какъ убѣжденіе, которое раздѣляемъ мы всѣ, всѣ безъ исключенія, о ничтожествѣ и тщетѣ вещей, это отреченіе всѣхъ отъ надежды на иной міръ, не есть ли это именно то, чего искали и не находили всѣ прежнія поколѣнія, а именно—

дѣйствительная связь душъ, единеніе въ чувствѣ дѣйствительно всеобщемъ?“ Если людямъ для спасенія необходимо согласіе, то кто не видитъ, что не при метафизическихъ утвержденіяхъ, лишь при полномъ отреченіи отъ метафизики, при полной метафизической безнадежности, они могутъ на дѣлѣ согласиться, и притомъ согласиться нѣжно, какъ братья, въ невѣдѣніи и отреченіи? Это очень далеко, но это будетъ [1]).

Не трудно видѣть, что этотъ путь еще менѣе проходимъ, чѣмъ предыдущій. Во-первыхъ, онъ отодвигаетъ рѣшеніе въ безконечно далекое будущее, что равносильно отсутствію рѣшенія; во-вторыхъ, согласіе, которое онъ предполагаетъ, не можетъ быть достигнуто никакими средствами, такъ какъ человѣкъ не можетъ отрѣшиться отъ своей индивидуальности, а еслибы и могъ, то установить единодушное рѣшеніе всѣхъ безъ исключенія людей не существуетъ способовъ (говорить вмѣстѣ съ Гартманномъ о соглашеніи всѣхъ людей „при помощи усовершенствованія и ловкаго примѣненія техническихъ изобрѣтеній [2])“ значитъ говорить очевидную нелѣпицу); въ третьихъ, этотъ идеалъ заключаетъ въ себѣ противорѣчіе, такъ какъ если люди признаютъ тщету всего существующаго, то они должны признать тщету не только эгоизма, но и взаимопомощи; наконецъ, въ четвертыхъ, состоятельность подобнаго идеала опро-

[1]) Тамъ же, pp. 230—331.

[2]) Philos. des Unbewussten, II, 408 (7 Aufl.)

вергается историческимъ опытомъ, свидѣтельствующимъ, что при сознаніи великихъ неизбѣжныхъ бѣдствій у людей проявляется не кротость и не любовь къ ближнему, а развязываются наихудшія страсти, попирающія всякіе законы, божескіе и человѣческіе [1]). Если первый путь „химера по преимуществу“, то этотъ—„химера изъ химеръ“. Увѣренный тонъ, съ которымъ выступаетъ этотъ безнадежный идеалъ, свидѣтельствуетъ лишь о томъ, какъ глубоко современное разочарованіе.

Третій путь предлагаетъ хладнокровно принять созданное революціей положеніе, отрѣшиться совсѣмъ отъ предразсудковъ, завѣщанныхъ стариной и несогласныхъ съ современностью, бросить напускную и потому безплодную погоню за утраченными идеалами, трезво посмотрѣть на дѣйствительность, этимъ безпристрастнымъ взглядомъ опредѣлить наше мѣсто въ природѣ и построить жизнь на этомъ новомъ основаніи.

Несчастіе современнаго общества (говорятъ поборники этого пути) въ особой природѣ его подлости и лицемѣрія. Наша жизнь есть ненавистная и смѣшная сдѣлка между противорѣчивыми теченіями, нѣкотораго рода оптовый, плохо закругленный счетъ, способный вводить только въ обманъ. Въ теоретической области мы разрушили принципы,

[1]) Описаніе чумы у Ѳукидида и въ лѣтописяхъ.

служившіе опорой для общественнаго зданія: въ религіи, нравственности, политикѣ мы сокрушили всѣ безусловныя догмы. И однако въ практической области мы тщимся поддерживать эти подточенныя нами подпорки, цѣпляемся за ихъ доказанную нереальность. Вокругъ насъ атеисты провозглашаютъ необходимость вѣры и проповѣдуютъ крестовый походъ для отвоеванія гроба, который считаютъ пустымъ. Намъ совѣтуютъ уважать правила освященной вѣками нравственности и въ то же время доказываютъ, что они основаны лишь на длинномъ рядѣ наслѣдственныхъ предразсудковъ. Насъ приглашаютъ защищать общество и вмѣстѣ съ тѣмъ передъ нами раскрываютъ его пороки и негодность. Все это замыкаетъ нашу жизнь въ кругъ, давно прорванный нашимъ умомъ.

Не было ли бы несравненно лучше принять хладнокровно нашу судьбу какъ совершившійся фактъ, измѣрить спокойнымъ взоромъ истинное мѣсто, занимаемое нами въ природѣ, признать, что насъ не поставила туда никакая сверхъестественная и покровительственная рука, что у насъ нѣтъ никакой связи съ безконечнымъ и что, слѣдовательно, наша задача должна состоять въ томъ, чтобы какъ можно лучше приспособиться къ нашему мимолетному поприщу, доставляя всѣмъ нашимъ потребностямъ, ожиданіямъ и желаніямъ всѣ удовлетворенія, совмѣстныя съ уваженіемъ къ желаніямъ, ожиданіямъ и нуждамъ другихъ?

Можно ли въ самомъ дѣлѣ представить себѣ что нибудь хуже постояннаго противорѣчія между нашими дѣйствіями и нашей мыслью, на которое осуждаетъ насъ наша слабость? И можетъ ли быть что нибудь безполезнѣе, чѣмъ наше дѣланное уваженіе къ утраченному идеалу? Здоровый и честный строй общества можетъ быть основанъ лишь на здоровомъ и честномъ пониманіи жизни. Пока между жизнью и ея пониманіемъ будетъ лицемѣріемъ поддерживаться разладъ, мы не перестанемъ бродить во мракѣ. Самое слово „прогрессъ“ можетъ получить смыслъ лишь въ томъ случаѣ, если мы будемъ служить ему отбросивъ условности [1]).

Этотъ путь подкупаетъ прямотой и кажущейся простотой. На дѣлѣ онъ такъ же неосуществимъ, какъ и другіе.

Если бы мы вмѣстѣ съ современными отрицателями и не пожелали допускать въ человѣческой природѣ никакихъ изначальныхъ предрасположеній къ идеальному міропониманію и поэтому всѣ наши такъ называемыя высшія вѣрованія стали бы разсматривать какъ наши искусственныя созданія или навязанный намъ сложными условіями придатокъ, то не могли бы не считаться съ современной наукой, не отрицаемой и отрицателями, и, слѣдуя ея ука-

---

[1]) Rod, La seconde vie de Michel Teissier, pp. 217—218 281—283. 288. 290.

заніямъ, должны были бы принять во вниманіе фактъ наслѣдственности, удостовѣренный одинаково въ физіологической и духовной области, и потому вынуждены были бы признать, что наше „цѣпляніе“ за вѣрованія и наша погоня за идеалами есть слѣдствіе не одного только лицемѣрія, но главнымъ образомъ того, что эти вѣрованія и эти идеальныя стремленія завѣщаны намъ какъ устойчивые остатки всей прошлой исторіей, когда люди въ такихъ вѣрованіяхъ и стремленіяхъ находили опору и ими жили. По современной научной теоріи, текущая жизнь можетъ отрывать себя отъ дѣйствія прошлаго столь же мало, какъ отъ дѣйствія окружающей среды. Если окружающая среда связываетъ насъ съ собою, безчисленными нитями, то прошлое сказывается въ томъ, что „позади каждаго изъ насъ стоятъ безчисленные мертвецы, которые въ насъ дѣйствуютъ и говорятъ“.

„Думаете ли вы, (спрашиваетъ одинъ изъ крупнѣйшихъ современныхъ литераторовъ моралистовъ) что видите передъ собой жесты, слышите голоса... современниковъ и что они сознаютъ и отвѣтственны за то, что говорятъ и дѣлаютъ? Откажитесь отъ этого заблужденія. Вы видите, вы слышите нѣсколькихъ чучелъ, появляющихся на мгновеніе на сценѣ міра, которыя дѣлаютъ невольныя движенія, служащія отзвукомъ другихъ голосовъ. Посмотрите: позади ихъ—неисчислимая толпа, ми-

ріады мертвецовъ, которые толкаютъ этихъ людей, управляютъ ихъ жестами, подсказываютъ имъ слова. Мы думаемъ, что попираемъ безобидный прахъ мертвецовъ, тогда какъ на дѣлѣ они насъ окружаютъ, они насъ подавляютъ; мы задыхаемся подъ ихъ гнетомъ; они въ нашихъ костяхъ, въ нашей крови, въ мякоти нашего мозга; особенно же, когда идетъ игра великихъ идей, страстей, прислушайтесь внимательно къ этимъ голосамъ: то мертвецы говорятъ".

Разумѣется, существуютъ и противоборствующія прошлому силы, такъ какъ иначе невозможенъ былъ бы прогрессъ, но эти силы благотворно дѣйствуютъ лишь на здоровые народы, которые не переворачиваютъ слишкомъ глубоко своей почвы и умѣютъ дѣлать разсудительный выборъ среди преданій прошлаго. Прошлое насъ защищаетъ и отдаетъ себя въ наше распоряженіе, когда его уважаютъ; но оно намъ мститъ и давитъ насъ своими худшими остатками, когда его разрушаютъ слѣпо.

При неумѣломъ обращеніи съ прошлымъ никакое плодотворное преобразованіе народной жизни невозможно. Дѣвственныя земли упоены лихорадкой и защищаютъ себя, убивая этой болѣзнью тѣхъ, кто ихъ трогаетъ. „Наша старая земля, состоящая изъ праха мертвецовъ, отравлена иначе: мы ее перевернули сверху до низу, чтобы на ней строить

вновь: она издаетъ міазмы, скопившіяся отъ прежней исторіи, и мы умираемъ отъ этой заразы“ [1]).

Поэтому единственнымъ средствомъ для обновленія жизни была бы какая нибудь катострофа въ родѣ нашествія варваровъ, которые бы смѣшали свою сильную кровь съ нашей истощенной кровью, уничтожили бы наши ходячія понятія, наши общепринятыя идеи, наши опошлившіяся воззрѣнія и возвратили бы насъ къ нашей исходной точкѣ, сдѣлавъ однако нашъ мозгъ болѣе способнымъ къ познанію, чтобы новая цивилизація могла утвердиться на развалинахъ старой и развиться въ новомъ смыслѣ.

Но откуда ожидать этого героическаго средства? Мы знаемъ почти всю землю, и среди расъ, ее населяющихъ, однѣ ниже нашей, а другія, хотя и необнаружили еще себя въ культурной исторіи, уже, повидимому, истощены своей прежней жизнью, намъ неизвѣстной. Впрочемъ, если бы гдѣ нибудь и существовала первобытная и здоровая раса, она ничего бы не могла сдѣлать съ нами: ея живыя силы сокрушились бы о пріобрѣтенную нами внѣшнюю мощь, наша изобрѣтательная хитрость восторжествовала бы безъ труда надъ ея неопытной храбростью. Судьба нашего общества, нашей цивилизаціи, нашихъ расъ подобна судьбѣ слишкомъ высокихъ зданій съ слишкомъ сложной архитектурой: когда ихъ

[1]) Vogüé, Les morts, qui parlent, pp. 176—179.

исправляютъ съ одного боку, они рушатся съ другого; искусствомъ многихъ поколѣній архитекторовъ они могутъ быть до нѣкотораго времени поддержаны, но въ концѣ все таки разлетаются въ прахъ [1]).

Четвертый путь состоитъ въ томъ, чтобы признать Старый свѣтъ безнадежнымъ и искать осуществленія соціальныхъ идеаловъ въ новомъ — въ Америкѣ.

Со старымъ, дряхлымъ міромъ не много можно сдѣлать. Его мучитъ безплодное и мрачное безпокойство. Въ искусствѣ и литературѣ онъ, вслѣдствіе избытка знанія и отъ малокровія, возвращается къ лепету, а въ любви кончаетъ развращеннымъ безсиліемъ. Передовые литераторы, взявшіеся вдохнуть въ него новую душу, не раздѣляютъ той вѣры, которую проповѣдуютъ, и ведутъ крестовый походъ, въ которомъ крестъ только метафора. Проповѣдуя новое евангеліе, они сами не подаютъ даже милостыни. Но еслибъ они и обладали совершенной любовью къ ближнему, то этого было бы недостаточно. Бѣдствія человѣческія не могутъ быть устранены добродѣтелью, которая всегда можетъ быть достояніемъ лишь незамѣтнаго меньшинства.

Поэтому тотъ, кто полагаетъ, что существованіе планеты, называемой землей, не есть лишенная всякаго значенія случайность, долженъ обратить свои взоры къ Новому Свѣту.

---

[1]) Rod, La course à la mort, pp. 193—195.

Если соціальный вопросъ, или, что то же, „проблема человѣчества“ можетъ быть рѣшена, если каждый долженъ имѣть кусокъ хлѣба, если человѣчество рождено не тщетно, если ему остается что-нибудь дѣлать, достигнуть какой нибудь цѣли, поскольку вообще цѣль достижима, то все это можетъ быть осуществлено прежде всего въ Новомъ Свѣтѣ. Этотъ материкъ данъ людямъ такъ поздно для того, чтобы они могли воспользоваться долгимъ опытомъ своихъ страданій на другихъ частяхъ своей планеты. Все здѣсь способствуетъ осуществленію идеала, и люди, и общественный строй, и природа.

Люди здѣсь совмѣщаютъ два достоинства: они вмѣстѣ и близки къ первобытному человѣку и располагаютъ всѣми усовершенствованіями, какія дала культура. Они стоятъ лишь на первой стадіи законнаго человѣческаго развитія, но уже начинаютъ полную жизнь. Они жадны, но не робки и не скупы; ихъ идеализмъ искренъ и естественъ, какъ ихъ алчность. Ихъ религіозный инстинктъ проявляетъ себя свободно: они сами создаютъ и выбираютъ себѣ религію. Ихъ „коммерція“ съ Вѣчнымъ („Возьми и дай“) напоминаетъ отношенія весьма древнихъ людей къ божеству. Точно также ихъ кипучая дѣятельность, ихъ смѣлость, энергія почина напоминаютъ людей первобытныхъ, которые впервые все открыли сами: и огонь, и мѣдь, и желѣзо, и свойства растеній, и колесо, и соху, и лодку, и

парусъ. Словомъ, это какъ бы новое человѣчество, возникающее на землѣ послѣ десяти или двадцати тысячъ лѣтъ ея существованія. Не переживъ ничего сами, эти люди уже обогащены громаднымъ опытомъ, завѣщаннымъ предшествовавшимъ человѣчествомъ. Окружающая ихъ природа такая же дѣвственная, какъ и они сами; но для пользованія этой природою у нихъ всѣ орудія, всѣ пріемы, выработанные старымъ міромъ. Американецъ это—Адамъ, брошенный на совершенно свѣжую и вспухшую отъ плодородія почву, но Адамъ не нагой, а обладающій всей наукой и всѣми инструментами Эдиссона. Это—патріархальная жизнь, вспомогаемая и украшенная „промышленнымъ панмеханизмомъ".

Америка свободна отъ всѣхъ родовъ рабства, которые заставляетъ тяготѣть надъ нами наша долгая исторія. Расточеніе силъ здѣсь меньше, чѣмъ гдѣ-либо. Нѣтъ арміи, почти нѣтъ налоговъ, правительственная машина сведена до наименьшихъ размѣровъ. Бѣдность извѣстна лишь въ нѣсколькихъ большихъ городахъ, гдѣ скопляются переселенцы. Нѣтъ ни классовъ, ни кастъ. Общественныя отношенія здѣсь лишь слѣдствіе естественныхъ отношеній интереса или сочувствія между единичными лицами, а не опредѣляются, какъ у насъ, вѣковыми предразсудками, въ основаніи которыхъ лежатъ насиліе или несправедливость.

Жизнь здѣсь хорошая, вмѣстѣ удобная и близкая къ природѣ, облагороженная смѣлостью и презрѣніемъ къ смерти. Почва, почти нетронутая, почти безгранична, и зрѣлища ея невыразимо величественны. Здѣсь рѣки широки какъ озера, озера—какъ моря, здѣсь горы въ десять разъ длиннѣе Альпъ и тянутся словно спинной хребетъ земли. И какъ отрадно мчаться верхомъ по этимъ восхитительнымъ мѣстностямъ, гдѣ воздухъ такъ же мягокъ и чистъ, какъ тотъ, который вдыхалъ первый человѣкъ между четырьмя райскими рѣками. И что за прелесть эти здѣшніе закаты солнца, дающіе—неизвѣстно какъ—возможность ощущать форму земли, форму звѣздной системы и міровой безконечности!

Наконецъ, есть и еще преимущество Новаго Свѣта передъ Старымъ. Въ новомъ мы свободны отъ размягчающей тоски по прошедшемъ, отъ этихъ чаръ сожалѣнія, которыми душа наполняется въ Римѣ, Флоренціи, Мюнхенѣ, Парижѣ и пр. Воспоминаніе всегда печально, особенно если оно относитъ насъ за нѣсколько вѣковъ. Впрочемъ, въ Америкѣ несомнѣнно появится своя поэзія, не книжная, а самородная. Въ ней будетъ и свое искусство, прекрасное (почему нѣтъ?) и столько же отличное отъ стараго искусства, сколько его матеріалы и механическіе пріемы разнятся отъ нашихъ. Металлическая архитектура, только еще начинающая развиваться, достигла уже, несмотря на свою громозд-

кость, высокой степени красоты и тонкости, и ничто не можетъ сравниться съ блескомъ умирающаго дня сквозь эту желѣзную сѣть! [1]).

Конечно, европеецъ, переселенный въ Америку, испытываетъ по временамъ истинную тоску по родинѣ исторіи, гдѣ есть мертвые позади живущихъ. Зато покидать эту удивительную страну невозможно безъ волненія благодарности и почтенія. Тамъ перестаешь бояться за таинственное завтра, грозящее всему цивилизованному міру среди всѣхъ этихъ печальныхъ опустошеній и разрушеній, которыя слишкомъ тяжело считать необходимыми [2]).

Причина, почему жизнь въ Америкѣ сложилась лучше, чѣмъ въ Европѣ, въ томъ, что строй американской жизни зиждится на личной энергіи, а не на общественной, какъ въ Старомъ свѣтѣ. Тогда какъ Европа полагается на совокупное усиліе, на постоянныя и трудно измѣняемыя административныя группы, ожидаетъ всего отъ установленнаго порядка и больше всего боится уклоненій отъ него со стороны единичной воли, Америка возлагаетъ всѣ надежды на личное усиліе, соединяетъ силы лишь по мѣрѣ необходимости и въ измѣнчивыхъ формахъ, соотвѣтственно требованію минуты, ожидаетъ всего

[1]) Тамъ же p. 350. Ср. Flammarion, Rêves étoilés (1896) p. 71.

[2]) Bourget, Outre-Mer, I p. III.

отъ частнаго начинанія и больше всего избѣгаетъ стѣсненій.

На зарѣ двадцатаго вѣка едва ли можно сомнѣваться, что побѣда останется за принципомъ личной энергіи. Надо помнить, что мы живемъ для работы и что наша жизнь стоитъ въ зависимости отъ условій работы. Въ послѣднее время эти условія, вслѣдствіе разнообразныхъ открытій и изобрѣтеній, быстро мѣняются. При наличности непрестанныхъ измѣненій не можетъ быть никакихъ незыблемыхъ формъ жизни, и всѣ усилія для ихъ поддержки должны неминуемо разбиваться о силу вещей. Задача наша поэтому въ томъ, чтобы вооружиться для неизбѣжной борьбы, быть готовыми ко всякимъ оборотамъ, свободными въ движеніяхъ, а не связанными въ ожиданіи приказанія дѣйствовать. Будущее должно принадлежать той расѣ, въ которой человѣкъ будетъ освобожденъ отъ всякихъ безполезныхъ стѣсненій, будетъ воспитанъ для личнаго начинанія и достигнетъ въ способности къ такому начинанію наивысшаго предѣла.

Принципъ личной энергіи долженъ торжествовать не только въ матеріальной, но и въ нравственной области. И въ этой послѣдней единственно дѣйствительнымъ повсюду и всегда было и будетъ личное усиліе,—та работа надъ собой, которую проповѣдовала древняя философія, предписываетъ

религія, и которая всюду почитается и всюду бываетъ плодотворной.

Не за нашими плаксивыми поэтами должны мы слѣдовать, но за американцемъ Лонгфелло, который въ своемъ „Псалмѣ жизни“ ярко изобразилъ основныя черты американской жизни, тѣ именно, которыхъ намъ не достаетъ:

„Не въ радости и не въ горѣ цѣль нашей жизни, но въ дѣятельности, чтобы съ каждымъ днемъ мы подвигались все дальше... На широкомъ полѣ міровой борьбы, на бивуакѣ жизни, будь героемъ, а не тупымъ загнаннымъ скотомъ. Не полагайся на будущее, сколь бы оно ни казалось привлекательнымъ, и предоставь прошедшему погребать своихъ мертвецовъ. Дѣйствуй, дѣйствуй въ живомъ настоящемъ!“ [1]).

Жизнь должна быть какъ бы лѣстницей, по которой люди неустанно подымаются, цѣпляются за ступеньки, падаютъ, опять взбираются, не давая себѣ ни отдыха, ни времени для жалобъ на судьбу или для обдумыванія новаго рѣшенія. Только при такомъ взглядѣ на жизнь возможны истинная независимость и мощь отдѣльныхъ лицъ и отсутствіе царства посредственности. [2]).

И такъ, туда—въ Америку.

---

[1]) P. de Rousiers, La vie americaine (1898), II, pp. 326—329.

[2]) Тамъ же, I, pp. 6—7.

Нѣтъ нужды выяснять призрачность этого выхода. Оставляя въ сторонѣ очевидныя преувеличенія, допуская невозможное,—что въ Америкѣ человѣческая природа иная, чѣмъ въ Европѣ, и что американцевъ въ концѣ не постигнутъ если не тѣ же, то сходныя съ тѣми злополучія, какъ выпали на долю старой Европы, почему нужно думать, что дряблая европейская раса, перенесенная въ Америку, окрѣпнетъ, а не падетъ въ борьбѣ съ болѣе энергичной американской? А эта энергія такого рода, что заставляетъ опасаться за будущее не только европейскихъ выходцевъ, но и самихъ американцевъ. Въ числѣ недостатковъ американской жизни Буржэ отмѣчаетъ [1]) ея несвязность и поспѣшность, грубость улицъ и большихъ городовъ; крайности свѣтской жизни и отсутствіе равновѣсія, мѣры, вкуса; слишкомъ искусственное напряженіе культуры, придающее и цвѣтамъ, и женщинамъ дѣланность оранжерейныхъ растеній; злоупотребленіе энергіей, доводящее до жестокости борьбу между дѣльцами, а побѣжденныхъ въ этой борьбѣ—до самой ужасной крайности несчастія; продажность полиціи, чиновниковъ, политикановъ и т. д. Нужно по-истинѣ считать Европу вполнѣ безнадежной, чтобы при видѣ всего этого исполняться „таинственнымъ восторгомъ“ и „всецѣло открывать свое

[1]) Outre-Mer, II, p. 327.

сердце для великаго дуновенія надежды и смѣлости, идущаго изъ-за океана".

Однако къ пожеланію объ усиленіи личной энергіи нельзя не присоединиться, такъ какъ такое усиленіе обозначаетъ здоровье и бодрость жизни. Но, во-первыхъ, откуда возьмется это усиленіе; а, во-вторыхъ, тогда какъ въ Америкѣ живутъ только настоящимъ, въ Европѣ привыкли задумываться о будущемъ и справляться съ прошедшимъ. Пусть оказался бы приливъ энергіи, къ чему ее примѣнить? Къ заботамъ ли о личномъ благосостояніи? Но это обозначало бы лишь обостреніе эгоизма, а эгоизма въ Европѣ и такъ избытокъ. Къ заботамъ ли объ общемъ благѣ? Но въ чемъ состоитъ это благо? На этотъ вопросъ до сихъ поръ въ Европѣ не нашли отвѣта. Впрочемъ, историческій опытъ удостовѣряетъ, что какъ бы ни передѣлывать жизнь, она все таки течетъ по старому, пробитому вѣками, руслу, такъ что, если бы у насъ и усилилась энергія, она обнаружилась бы по европейски, а не по американски, то есть со всѣми свойственными Европѣ достоинствами и недостатками, и мы опять пошли бы по прежнему пути, а не по новому.

Всѣ эти политическія утопіи не только не указываютъ никакого дѣйствительнаго выхода, но свидѣтельствуютъ о немощи разума, неспособнаго найтись въ окружающей его дѣйствительности и вынужденнаго поэтому убаюкивать себя несбыточными меч-

тами. Это убаюкиванье—слѣдствіе упадка энергіи, и оно составляетъ характерную черту современнаго декадентства. Бодлэръ, первый изъ его глашатаевъ, превосходно подмѣтилъ эту черту, и то, что онъ говоритъ въ этомъ случаѣ, можетъ быть во всемъ объемѣ и безъ всякихъ ограниченій примѣнено къ авторамъ только-что изложенныхъ политическихъ мечтаній:

Любовники химеръ, искатели Америкъ!
Въ желѣзо-ль заковать пылъ безпокойный вашъ?
Иль высадить скорѣй на нелюдимый берегъ?
Ахъ, горекъ безъ того вашъ радужный миражъ!
Бродяги старые, вы по дорогѣ грязной
Плететесь съ головой, поднятой къ небесамъ,
И роскошь Капуи мерещится вамъ тамъ,
Гдѣ чуть дымитъ ночникъ въ лачугѣ безобразной [1]).

Пятый и послѣдній путь имѣетъ подъ собой болѣе реальную почву. Революціонную Европу строили идеологи. Нельзя ли и теперь ожидать отъ нихъ обновленія жизни? Предполагая, что идеологи могутъ опять появиться—не буквальное повтореніе тѣхъ, которые жили въ концѣ восемнадцатаго и началѣ девятнадцатаго вѣковъ, но идеологи новые, умудренные вѣковымъ опытомъ—какую бы программу они предложили, и нельзя ли по указаніямъ этой программы повести реформу?

Эти новые идеологи (говорятъ сторонники идеологіи [2]) отказались бы отъ всѣхъ ошибокъ и увле-

[1]) Baudelaire, Le Voyage, пер. Бальмонта.
[2]) Picavet, Les Idéologues, p. 583.

ченій своихъ предшественниковъ. Они не стали бы вѣрить во всемогущество разума; они не стали бы разсматривать свободу, равенство и братство какъ естественный законъ; они, быть можетъ, усомнились бы въ безпредѣльномъ совершенствованіи человѣческой природы. Но для нихъ разумъ былъ бы драгоцѣннымъ и деликатнымъ цвѣткомъ, культура котораго можетъ подготовить, если и не осуществить, всякій прогрессъ, и дать жизни новую прелесть и цѣну. Свобода стала бы представляться имъ прекраснымъ дѣломъ лишь тогда, если-бы была освѣщена разумомъ, столько же заботливымъ объ уваженіи чужихъ правъ, какъ о пользованіи своими. Равенство имъ казалось бы желательнымъ только въ томъ случаѣ, еслибы все болѣе приближало каждаго единичнаго человѣка къ тѣмъ, которые выше его пониманіемъ и нравственностью. Они любили бы свое отечество и стали бы по мѣрѣ силъ содѣйствовать его величію и обаянію. Но они не считали бы этимъ свое дѣло законченнымъ; они не забыли бы, что обитатели другихъ странъ—такіе же люди. По мѣрѣ возможности они стали бы бороться противъ предразсудковъ и недоразумѣній, вооружающихъ народы одинъ противъ другого. Изо всѣхъ своихъ силъ они стали бы противодѣйствовать возрастающему морю эгоизма; они стали бы своими совѣтами и своимъ примѣромъ показывать, что единственное средство сдѣлать существованіе снос-

нымъ—забывать о себѣ, чтобы думать о другихъ. Выше борьбы за существованіе, этого естественнаго закона живыхъ существъ, они поставили бы то идеальное братство, о которомъ грезили буддисты и стоики, ранніе христіане и философы XVIII вѣка. Они изучили бы природу и при помощи средствъ, даваемыхъ ею намъ въ руки, стали бы стараться о томъ, чтобы уменьшить страданія особей, сдѣлать борьбу между ними менѣе жестокой, уничтожить ихъ несовершенства и увеличить ихъ нравственное достоинство, и объ этомъ достоинствѣ они стали бы заботиться болѣе, чѣмъ о счастіи. Они признали бы, что для нашего прогресса необходимо принудить природу къ повиновенію; что необходимъ неустанный трудъ для того, чтобы сохранить достигнутыя завоеванія, сдѣлать новыя и заставить дѣйствительность служить осуществленію идеала.

Такую программу, не смотря на ея неопредѣленность, нельзя не признать превосходной, и ее можно было бы радостно привѣтствовать, еслибы она могла сдѣлаться достояніемъ общаго сознанія, какъ факторъ общественной жизни. Но она предполагаетъ вѣру въ разумъ и идеалъ, а та и другая одинаково подорваны. Если ни буддисты, ни стоики ни ранніе христіане, ни философы XVIII в. не могли осуществить мечты объ идеальномъ братствѣ, хотя сѣяли ее на воспріимчивую почву, то тѣмъ менѣе можно ее насадить на теперешней почвѣ, изрытой

сомнѣніями и разочарованіями. Для осуществленія этой мечты необходима прежде всего взаимная любовь, а гдѣ взять ее при „все возрастающемъ морѣ эгоизма?“

Предположимъ однако (говорятъ пессимисты), что реформы утопистовъ осуществлены; какой видъ должно принять это идеальное общество, гдѣ наиболѣе многочисленный классъ наслаждается всѣми благами ученой цивилизаціи, гдѣ промышленность сдѣлала изъ земли обширное мѣсто прогулки, котораго богатства доступны всѣмъ, гдѣ удивительно мудрая администрація, смѣнившая наши корыстолюбивыя и сварливыя правительства, заботится лишь о правильномъ распредѣленіи между отдѣльными лицами богатствъ, пріобрѣтенныхъ безъ труда сообща всѣми? Будутъ ли люди счастливы въ этой Икаріи?

Отдѣльный человѣкъ даже не замѣчаетъ всеобщаго благосостоянія: царство справедливости и изобилія, достигнутое усиліемъ, борьбой, самоотверженіемъ предшествующихъ поколѣній, ему кажется естественнымъ состояніемъ, необходимымъ условіемъ человѣческой жизни. Подобно современному человѣку, рожденному и воспитанному среди роскоши, онъ безъ удовольствія пользуется предметами нашихъ теперешнихъ желаній и другими, которыхъ мы еще не желаемъ и даже не подозрѣваемъ. Онъ не стѣсненъ требованіями законовъ, лишеніями, на

которыя насъ осуждаетъ наша немощь; его умъ освобожденъ отъ всякаго суевѣрнаго страха, его совѣсть—отъ всякаго безполезнаго обязательства; государство для него не враждебная сила, отнимающая у него время, деньги, а при случаѣ и жизнь, но покровительственное учрежденіе, способствующее его сношеніямъ съ ему подобными. Промышленность развилась настолько, прикладныя науки двинулись такъ далеко, торговля облегчила столько удивительныхъ сдѣлокъ и доставила такъ много новыхъ удобствъ, нашъ геній такъ хорошо побѣдилъ пространство и подчинилъ себѣ движеніе, что земля стала огромнымъ увеселительнымъ садомъ, въ которомъ самые скрытые и самые лучшіе углы намъ доступны; наши желѣзныя дороги кажутся таратайками нашихъ предковъ; корабли, въ сравненіи съ которыми наши лучшіе пароходы лишь первобытныя и грубыя модели, побѣдоносно пересѣкаютъ океаны; удивительныя машины летаютъ по воздуху, подобно огромнымъ благодѣтельнымъ птицамъ. Вредныя животныя истреблены; остались лишь тѣ, которыя подчинились человѣку или безсознательно оказываютъ необходимыя ему услуги. Отъ ядовитыхъ растеній уцѣлѣли только врачебныя, которыми пользуется медицина для уничтоженія боли и продолженія жизни. Всѣ виды животныхъ и растеній намъ принадлежатъ и измѣнены по нашему желанію; мы не ограничиваемся тѣмъ, что

уничтожаемъ змѣй и терніе, но создаемъ новые типы въ каждой животной расѣ, новые цвѣты въ каждомъ семействѣ растеній. Получается новое твореніе, медленно достигнутое нашими заботами и въ тысячу разъ болѣе совершенное, чѣмъ первобытное. Наконецъ, обрѣтенъ древній рай, но рай, котораго границы совпадаютъ съ границами земли, рай, гдѣ человѣкъ полновластный господинъ, рай безъ запрещенныхъ плодовъ, безъ невѣдѣнія, безъ искусителя и безъ Бога.

Человѣкъ достигъ своей цѣли и выполнилъ свою задачу: онъ побѣдилъ и поработилъ себѣ природу, среди которой онъ появился нагимъ и робкимъ и которой вѣчный сокъ онъ сосетъ какъ ненасытный вампиръ; долгая борьба окончена, вещи ему окончательно подчинены; его чудовищный эгоизмъ все поглотилъ и поглощаетъ; ничего изъ того, что произвела земля, отъ него не ускользаетъ, и ничего изъ того, что она впередъ можетъ произвести, отъ него не ускользнетъ. Онъ сталъ для себя богомъ, онъ побѣдилъ даже болѣзни, даже смерть, которая больше не приходитъ спѣшно съ сонмомъ ужасовъ и страданій, но появляется во время, подобно жданному гостю, когда изношенные органы готовы принять ее. Да, человѣкъ сталъ всемогущимъ и ничто внѣшнее его не стѣсняетъ.

Но какой странный разцвѣтъ мыслей долженъ образоваться въ его мозгѣ, гдѣ, словно въ призмѣ,

сосредоточиваются всѣ знанія! Какую тошноту, еще болѣе отвратительную, чѣмъ самое пресыщеніе, производитъ въ немъ это долгое обладаніе благами, которое ему омерзило! Какія потребности волнуютъ невѣдомымъ трепетомъ его организмъ, истощенный наслѣдственностью — борьбою и страданіями предковъ! Къ достиженію какихъ неуловимыхъ желаній толкаетъ его воображеніе, граничащее съ невозможнымъ! Какія отчаянныя пѣсни напѣваетъ ему сердце, старое сердце его расы, сердце вѣчно волнуемое и не умиротворяемое никакой наукой! Міръ ему принадлежитъ, и міръ ему противенъ, и его желанія все растутъ. У него есть все, но онъ желаетъ еще большаго, онъ хочетъ отъ чего то освободиться, отъ какого то давящаго его гнета, котораго онъ не можетъ устранить, и онъ въ отчаяніи бродитъ среди мрака, созданнаго изъ всего достигнутаго имъ свѣта. Въ своемъ долгомъ шествіи черезъ вѣка онъ не открылъ лѣкарства, которое могло бы въ немъ уничтожить ужасное чувство его существованія; онъ отрылъ всѣ тайны, но только не тайну самозабвенія. Теперь онъ на концѣ пути, онъ протягиваетъ руки и не находитъ ничего, кромѣ смерти, этой старой утѣшительницы его невѣжественныхъ и жалкихъ предковъ, кромѣ смерти, которая возвращаетъ его наконецъ тому, изъ чего создалось его существо: праху и безсознательности.

И теперь—соціалисты, реформаторы, гуманисты, утописты, мирные или жестокіе, палачи или жертвы, поджигатели или философы, утруждайте вашъ мозгъ, чтобы произвести новыя теоріи счастья, осуществляйте справедливость, идите на поиски благоденствія удивляйте или давайте законы, будьте побѣдителями или побѣжденными, говорите рѣчи въ кабакахъ или стенайте въ изгнаніи, торжествуйте на собраніяхъ или надъ вами осужденными: ваши усилія благословенны, вы работаете не попустому и умрете не даромъ! [1])

Читая эти и этимъ подобныя разсужденія, нельзя не согласиться, что наше время стало „добычей горькаго и мрачнаго пессимизма“, что „имъ, какъ чумой, зараженъ весь воздухъ“, и что мы повсюду вдыхаемъ эту заразу „полною грудью“ [2]). Нельзя также не признать, что такое настроеніе нездорово и что нужно противодѣйствовать распространенію заразы. Но какъ?

Очевидно прежде всего, что пессимизмъ—болѣзнь духа и что стало быть съ нимъ нужно бороться духовнымъ оружіемъ, а такъ какъ онъ распространяется литературой, то пессимистической литературѣ надо противопоставить другую. „Души (говорятъ) не принадлежатъ никому. Онѣ кружатся, ищутъ руково-

---

[1]) Rod, La course à la mort, pp. 200—206,

[2]) Ribert, Essai d'une philosophie nouvelle, p. 545.

дителя, подобно ласточкамъ въ бурю, когда, испуганныя холодомъ, мракомъ и шумомъ, онѣ стелятся по болоту. Попытайтесь имъ сказать, что есть пріютъ, въ которомъ принимаютъ и согрѣваютъ раненыхъ птицъ, и вы увидите, что онѣ соберутся, всѣ эти души, подымутся, полетятъ полнымъ размахомъ крылъ черезъ ваши безплодныя пустыни къ писателю, призывающему ихъ крикомъ сердца“ [1]). На вопросъ же, какъ это сдѣлать, никто не даетъ яснаго отвѣта. Выражаются лишь неопредѣленныя ожиданія и надежды. Тогда какъ одни вовсе отчаялись найти въ литературѣ средство для обновленія жизни, [3]) другіе говорятъ, что хорошо было бы, если бы появился какой нибудь „великій геній, который могъ бы указать намъ путь къ потерянной звѣздѣ“. Такого генія „современное сознаніе радостно бы привѣтствовало какъ своего глашатая и руководителя“. Но такъ какъ природа скупа на подобные дары, то вѣрнѣе „ожидать плеяду писателей съ здоровыми и благородными вѣяніями, способныхъ привести въ себя тѣ умы, которые по своей тонкой культурѣ должны чувствовать себя неловко, примыкая къ творцамъ упадка“ [3]). Какова утраченная нами звѣзда, въ чемъ собственно должны состоять здоровыя и благородныя вѣянія и откуда должны взяться желанные писатели — предоставляется каждому рѣшать по своему.

---

[1]) Vogüe, Roman russe, p. XXII (éd. 1897).

[2]) См. выше, гл. VI.

[3]) Ribert, тамъ же.

Дѣйствительность пока не способна внушать радужныхъ упованій. Господствующій теперь литературный потокъ сложился изъ трехъ теченій: скептицизма, пессимизма, натурализма.

Во главѣ отрицателей идетъ тѣнь великаго жреца ничтожества, Ренана, который своимъ удивительнымъ умомъ, своимъ гибкимъ талантомъ, всѣми своими неотразимыми чарами приковалъ къ себѣ лучшіе умы нашего поколѣнія, поселивъ въ нихъ полный и самодовлѣющій скептицизмъ. Недовольные этимъ скептицизмомъ находятъ пищу въ пессимизмѣ, основанномъ Шопенгауэромъ и ставшимъ достояніемъ общаго сознанія въ преувеличеніяхъ и искаженіяхъ, внесенныхъ послѣдователями этого философа. И тогда какъ скептицизмъ ослабляетъ волю, а пессимизмъ поселяетъ сухость сердца, эгоизмъ и ненависть къ человѣку, натурализмъ своимъ ограниченнымъ кругозоромъ, своимъ дѣтскимъ обожаніемъ положительныхъ знаній, своимъ поклоненіемъ факту лишаетъ жизнь идеальнаго содержанія. Эти различныя по силѣ теченія слились въ одну могучую рѣку, которая увлекаетъ если не всѣхъ, то почти всѣхъ. Одни, какъ Анатоль Франсъ, любезно предоставляютъ себя теченію и плывутъ въ вѣнкѣ изъ розъ, устраняя изъ своего ума мысль о возможности непріятныхъ стремнинъ; другіе несутся съ шумомъ и крикомъ, громко провозглашая превосходство своего направленія и сильно волнуясь

и двигаясь въ своемъ маленькомъ суднѣ: это натуралисты; иные борятся, пытаются противиться теченію, но не могутъ освободиться изъ подъ власти той силы, которой отдались раньше; таковъ Буржэ, отличающійся впрочемъ всего больше умѣньемъ находить великіе психологическіе законы въ юбкахъ своихъ героинь [1]); еще иные, съ Барресомъ во главѣ, приглашаютъ раздѣться до нага, сбросить съ себя всѣ одежды, сотканныя культурой, чтобы тѣмъ легче проявить свою энергію въ культѣ *я*, которое и безъ того слишкомъ ревностно культивируется [2]). А сколько плывутъ за ними, сколько бросаются въ воду изъ простого подражанія, но, какъ болѣе слабые, поглощаются первымъ водоворотомъ.

Для полноты картины нельзя ограничиваться только изложеніемъ отрицательныхъ ученій, какъ они представлены въ сочиненіяхъ нѣсколькихъ писателей, нужно изобразить дѣйствіе этихъ ученій на общественное сознаніе. Проникли они глубоко, и въ средствахъ измѣрить эту глубину нѣтъ недостатка: убѣдиться въ ней можно въ тѣхъ гостинныхъ, гдѣ за чаемъ любятъ толковать о нравственности и метафизикѣ; убѣдиться можно изъ справокъ въ своихъ собственныхъ воспоминаніяхъ, отыскивая

---

[1]) Rod, Idées morales du temps présent, pp. 295—301.

[2]) Le regard sur la prairie въ сборникѣ Du sang, de la volupté et de la mort, p. 320.

у себя въ памяти книги, которыя мы наиболѣе охотно читали, когда намъ было двадцать лѣтъ, тѣ вопросы, которые мы къ нимъ предъявляли, впечатлѣнія, которыя изъ нихъ выносили, спѣшность, наглость и пренебреженіе, съ которыми послѣ чтенія этихъ книгъ мы освобождались отъ всего груза нашихъ дѣтскихъ вѣрованій; убѣдиться можно—и это всего хуже—изъ тѣхъ громкихъ процессовъ, которые составляютъ скандальную хронику [1]).

Отъ всей этой болѣзни взялись спасти Францію члены „Общества нравственной дѣятельности", основаннаго въ 1892 году Полемъ Дежарденомъ. Въ манифестѣ, изданномъ основателемъ этого „Общества", говорится, что Франція отвращается отъ теоретическаго и практическаго позитивизма, отъ исканія счастья въ наслажденіи, отъ утонченнаго, отрицательнаго, скептическаго образа мыслей, ставшаго для нея причиной позора и національной слабости; что воздѣйствіе вожаковъ этого направленія на молодые умы падаетъ все больше; что корень общественнаго зла въ отсутствіи у большинства нравственнаго сознанія въ забвеніи божественнаго закона любви, и что поэтому „Общество" учредило добровольное воинство изъ французовъ, одинаково преданныхъ отечеству и прогрессу человѣчества, для ратованія въ христіанскомъ духѣ.

---

[1]) Rod, тамъ же. Fouillée, La France au point de vue moral (1900), pp. 83 сл.

„Призвать всѣхъ людей къ человѣчеству (говорится въ другомъ манифестѣ), дать имъ для этого вмѣстѣ съ сознаніемъ ихъ личнаго достоинства понятіе объ ихъ обязанностяхъ къ другимъ, познаніе многообразныхъ связей, соединяющихъ ихъ съ другими и дѣлающихъ изъ ихъ мимолетной жизни моменты великой жизни, которая ихъ покрываетъ и превосходитъ, и связать такимъ образомъ общественное чувство съ религіознымъ,—таковъ новый возвышенный идеалъ, до котораго можно подняться только усиліемъ всѣхъ, такъ какъ дѣло идетъ не о маловажномъ, но о томъ, что бы заставить всю человѣческую массу проникнуться вѣяніемъ духа". Эту программу члены „Общества" пытаются провести въ народное сознаніе, „стараясь быть откровенными, общедоступными, простыми, словомъ, человѣчными". Ни религіозной, ни нравственной практики программа не установляетъ. Впрочемъ, она оказывается больше на бумагѣ, чѣмъ на дѣлѣ: за восемь лѣтъ существованія „Общества" къ нему примкнуло лишь очень небольшое число лицъ. Но и среди нихъ нѣтъ единства, такъ какъ вслѣдъ за основаніемъ „Общества" между его членами возникла полемика, вызванная неопредѣленнностью программы, толкуемой каждымъ по своему, а извѣстно, что по вопросамъ общаго свойства воззрѣнія рѣдко сходятся. И можно ли не видѣть, что эта неопредѣленность и не способна повести ни къ чему, кромѣ разногласій, во всякомъ

случаѣ не желательныхъ для тѣхъ цѣлей, которыя ставитъ себѣ „Общество“ [1]).

Писатели манифестовъ „Общества“ заслуживаютъ признательности за свои добрыя намѣренія, но для врачеванія болѣзни однихъ манифестовъ недостаточно. Пока обнаружатся желанные врачеватели, что нужно дѣлать? „Пожелаемъ всѣмъ сердцемъ, чтобы для предохраненія массы умовъ, мало способныхъ къ самозащитѣ, появилась прозорливая и энергичная власть, которая бы законными мѣрами сумѣла поставить плотину противъ наводненія изъ оскорбленій, лжи, угрозъ, клеветы, болѣзненныхъ возбужденій, ставшаго съ нѣкоторыхъ поръ нашей повседневной жизнью“ [2]). Свобода, надо сознаться, не оправдала возложенныхъ на нея надеждъ, а тѣ хорошіе плоды, которые она принесла, испорчены дурнымъ и неумѣлымъ пользованіемъ ею [3]).

Короче: для борьбы со зломъ необходимо ограничить свободу, взять въ руки печать, защитить себя отъ ея безчинствъ рядомъ законодательныхъ мѣръ. Перо теперь стало хуже ружья и динамита [4]). Легкость и несвязность мысли и воли и такъ крупные недостатки французовъ, а печать уси-

---

[1]) Fierens-Gevaert, La tristesse contemporaine (1899), pp. 142—150.

[2]) Ribert, Essai d'une philosophie nouvelle. pp. 545—546.

[3]) Тамъ же, pp. 393—394.

[4]) Fouillée, La Françe au point de vue morale, p. 409,

ливаетъ ихъ еще больше. Она только и дѣлаетъ, лчто распространяетъ въ народѣ неопредѣленныя, ложныя, разрушительныя мысли и чувства еще худшія, чѣмъ мысли: отвращеніе отъ дѣльнаго и глубокаго, вкусъ къ поверхностному и забавному, личному и мгновенному. Современная литература—литература однодневокъ [1]). И мысль, переходя съ теоретической почвы на практическую, предлагаетъ длинный списокъ мѣръ для „укрощенія строптивой“, то есть самой себя [2]).

Требуя для себя отъ власти обузданія, можетъ ли она найти болѣе яркое выраженіе своего безсилія?

Впрочемъ, эти мѣры ею предлагаются только для того, чтобы быть отвергнутыми ея же критикой. Допустимъ, что стѣсненіемъ печати возможно противодѣйствовать нравственному разложенію. Развѣ не вѣрно то, что современное настроеніе не только создается текущей литературой, но и создано предшествующей? Что дѣлать съ этой послѣдней? „Уничтожить всѣ книги, которыя были напечатаны во Франціи съ начала девятнадцатаго вѣка, чтобы не осталось ни одной“ [3]). Но вотъ бѣда: содержаніе этихъ книгъ вошло намъ въ плоть

---

[1]) Тамъ же, p. 81.

[2]) Тамъ же, pp. 117—118.

[3]) Rod, Le sens de la vie, p. 268.

и кровь, такъ что, если мы и уничтожимъ книги, все таки „мертвецы будутъ въ насъ говорить". Самая „радикальная" мѣра оказалась бы поэтому недѣйствительной.

А если бы и было возможно уничтожить въ себѣ все прошлое, гдѣ увѣренность, что новое будетъ лучше стараго? Вмѣсто того, чтобы винить литературу за то, что она создала современнаго человѣка, не вѣрнѣе ли, наоборотъ, винить человѣка за то, что онъ создалъ современную литературу? [1])

Нѣтъ, отъ представителей современной мысли, отъ этихъ „лощеныхъ педантовъ, испорченныхъ ироніей, съѣденныхъ духомъ критики" и неспособныхъ къ оригинальному творчеству, нельзя ожидать ничего путнаго, и желанный геній не можетъ выйти изъ ихъ среды.

Пусть же на выручку намъ явится какой нибудь неожиданный избавитель, „пусть придетъ какой нибудь варварскій геній безъ чтенія, безъ критики, безъ обдумыванія, безъ оттѣнка, и ударами топора откроетъ наступающій вѣкъ среди яркаго пламени истины и реальности!" [2])

Вотъ простое рѣшеніе всѣхъ запутанныхъ вопросовъ.

---

[1]) Bourget, Nouveaux essais de psychologie contemporaine, p. 45.

[2]) Zola, Paris, p. 197.

## VIII.

Какъ бы ни отстаивали раціоналисты первенство разума, люди все-таки больше живутъ чувствомъ, чѣмъ умомъ, и человѣкъ, не находящій опоры въ разумѣ, охотно ищетъ ея въ чувствѣ, и притомъ больше всего въ религіозномъ—самомъ всеобъемлющемъ, самомъ глубокомъ изъ чувствъ и вмѣстѣ самомъ надежномъ оплотѣ отъ всѣхъ невзгодъ. Но если французы вообще мало склонны къ глубокому чувству, то найти опору въ глубинѣ религіознаго чувства для нихъ въ настоящее время тѣмъ менѣе возможно, что вся ихъ новѣйшая исторія ставила себѣ задачей подорвать это чувство. Отрицаніе всякой вообще религіи, кромѣ чисто раціоналистической,—одинъ изъ главныхъ элементовъ французскаго революціоннаго движенія. Хотя революція была вызвана главнымъ образомъ соціальными и политическими условіями, тѣмъ не менѣе (говоритъ Токвиль [1]) „однимъ изъ первыхъ ея дѣйствій было нападеніе на церковь, и среди страстей, порожден-

[1]) Oeuvres complètes, IV, pp. 7—8.

ныхъ этой революціей, первой зажглась и послѣдней погасла страсть противорелигіозная. Даже когда исчезло восторженное увлеченіе свободой, послѣ того какъ пришлось покупать спокойствіе цѣной рабства, возмущеніе противъ религіозной власти не прекращалось. Наполеонъ, сумѣвшій побѣдить либеральный духъ французской революціи, дѣлалъ безплодныя попытки сокрушить ея противохристіанскій геній, и еще въ наше время можно видѣть людей, которые считаютъ возможнымъ искупить свое раболѣпство передъ наименьшими дѣятелями политической власти нахальствомъ передъ Богомъ и которые, оставляя все, что было самаго свободнаго, самаго благороднаго и самаго гордаго въ ученіяхъ революціи, признаютъ себя вѣрными ея духу только потому, что остаются нерелигіозными". Причина этого противорелигіознаго движенія въ сознававшейся революціей необходимости очистить человѣческій духъ отъ всѣхъ тѣхъ идей, на которыя до той поры опирались уваженіе къ существующему строю и повиновеніе ему [1]). Старый строй, противъ котораго направлено это движеніе, оправдывалъ себя тѣмъ, что онъ существуетъ по волѣ или милости божіей. Новый строй опирается исключительно на принципы разума. Для полнаго торжества этихъ принциповъ необходимо было доказать неразумность и несостоя-

[1]) Тамъ же, p. 11.

тельность старыхъ. Къ осуществленію этой задачи прилагали силы всѣ видные представители революціоннаго движенія, не только въ области теоріи, но и на практикѣ—въ политической жизни. Какъ тѣсно связана противорелигіозная борьба во Франціи съ политическими идеалами, видно изъ того, что всякое правительство, желавшее дѣйствовать согласно съ революціонными принципами, прямо или косвенно противоборствовало христіанскому религіозному культу. Эта борьба лишь въ послѣдніе годы нѣсколько заглохла, но всѣмъ еще памятно, какой походъ немного лѣтъ тому назадъ теперешняя „третья“ республика предприняла противъ католическаго духовенства и религіознаго воспитанія.

Правительственная программа во Франціи по самому духу этого государства, всегда идетъ объ руку съ общественнымъ настроеніемъ. Въ доказательство противорелигіознаго настроенія французскаго общества, изъ недавняго прошлаго достаточно напомнить горячее сочувствіе, которымъ сопровождалась съ самаго начала и до нашихъ дней со стороны большинства дѣятельность Ренана, способствовавшаго религіозной расшатанности больше, чѣмъ кто либо другой. Впрочемъ, его совершенно неправильно считаютъ врагомъ религіи и христіанства; совсѣмъ напротивъ,—въ новой литературѣ трудно найти автора съ такимъ отзывчивымъ и подвижнымъ религіознымъ чувствомъ и такого горячаго поклонника Хри-

ста, какъ Ренанъ. Даже въ разцвѣтъ своей дѣятельности онъ, говоря его собственными словами, не переставалъ „чувствовать, что управляется той вѣрой, которую утратилъ“ [1]); въ глубинѣ его сердца не преставали „звучать колокола, призывающіе къ священной службѣ вѣрующихъ“, утратившихъ вѣру, и онъ охотно прислушивался къ этимъ „дрожавшимъ звукамъ“, которые, какъ ему казалось, „исходятъ изъ безконечной глубины, словно голоса иного міра“ [2]). Несмотря ни на что, онъ „оставался христіаниномъ“; его замѣтки, относящіяся къ началу его дѣятельности, проникнуты тѣмъ же чувствомъ, которое онъ „позднѣе пытался воспроизвести въ своей „Жизни Іисуса“, живою склонностью къ евангельскому идеалу и къ характеру Основателя христіанства“. Имъ „овладѣла мысль, что, оставляя церковь, онъ останется вѣренъ Іисусу“, и „еслибы — говоритъ онъ—я могъ вѣрить въ богоявленія, то я несомнѣнно бы увидѣлъ Іисуса, говорящаго: Покинь Меня, чтобы быть Моимъ ученикомъ“ [3]). Кто читалъ безъ предвзятой мысли „Жизнь Іисуса“, тотъ не увидитъ во всѣхъ этихъ заявленіяхъ ничего преувеличеннаго, такъ какъ это произведеніе дышетъ самой горячей любовью ко Христу, доходящей порой до лирическаго восторга. Да и могъ ли оста-

[1]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 12.

[2]) Тамъ же, p. 11.

[3]) Тамъ же, p. 312.

ваться равнодушнымъ къ христіанскому идеалу такой отзывчивый ко всему высокому и поэтическому человѣкъ, какъ Ренанъ, который долженъ былъ употреблять усилія, чтобы его слова не складывались въ стихотворную форму, и не писалъ стиховъ только потому, что не владѣлъ стихотворной техникой? [1]) Но, ставъ на почву раціонализма и позитивизма, онъ принудилъ себя смотрѣть на Христа съ точки зрѣнія критической мысли; не переставая обожать Христа, онъ пересталъ видѣть въ немъ Бога. Съ тѣхъ поръ христіанскій идеалъ сдѣлался для него однимъ изъ многихъ возможныхъ идеаловъ; и такъ какъ прежде, когда онъ вѣровалъ въ божественность Христа, христіанскій идеалъ наполнялъ все его существо какъ божественный и безусловный, [2]) то по утратѣ этой вѣры воспоминаніе объ утерянномъ безусловномъ идеалѣ заставляло его признавать всѣ остальные въ сравненіи съ нимъ одинаково недостаточными, а между собою равноправными. Отсюда это характерное для Ренана непрестанное перескакиваніе отъ одного идеала къ другому, отсюда и противорѣчія, переполняющія его міровоззрѣніе—всѣ эти качества, для которыхъ французская культура оказалась плодотворной почвой и Ренанъ впослѣдствіи подыскалъ философскія основанія. „Волей-неволей,—говоритъ онъ,—и несмотря на

---

[1]) Тамъ же, p. 16.

[2]) Тамъ же, p. 330. Avenir de la science, p. 313.

всѣ мои сознательныя попытки въ противоположномъ смыслѣ, я предназначенъ быть тѣмъ, что я теперь: я—романтикъ, протестующій противъ романтизма, утопистъ, проповѣдующій низменную политику, идеалистъ, дающій себѣ безполезный трудъ казаться мѣщаниномъ, сплетеніе противорѣчій, *козлолень* схоластиковъ, заключающій въ себѣ двѣ природы". Онъ „думаетъ какъ мужчина, чувствуетъ какъ женщина, дѣйствуетъ какъ ребенокъ", говорили про него, и онъ вполнѣ соглашался съ этой характеристикой, называя себя „на три четверти женщиной", а характеристику „великолѣпной". „Я не жалѣю объ этомъ—говорилъ онъ,—такъ какъ этотъ мой нравственный строй доставилъ мнѣ живѣйшія умственныя наслажденія, какія только возможно испытать" [1]). Но если онъ самъ, утративъ вѣру, не переставалъ руководствоваться нравственностью, почерпнутой изъ вѣры, подобно тому, пояснялъ онъ, какъ „курица, у которой вынутъ мозгъ, продолжаетъ при дѣйствіи извѣстныхъ возбудителей чесать себѣ носъ" [2]), и велъ безупречную жизнь, достойную мудреца [3]), то его теоретическія воззрѣнія стоятъ съ этой нравственностью и съ этой жизнью въ рѣзкомъ противорѣчіи [4]).

---

[1]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, pp. 73—74. Feuilles détachées, p. XXXI.

[2]) Тамъ же, pp. 342—343.

[3]) Тамъ же, pp. 347, сл.

[4]) Къ характеристикѣ Ренана и его міропониманія Lemaitre, Contemporains, I, pp. 192—215. IV, pp. 244—261. V, pp

Міропониманіе Ренана обращаетъ на себя особое вниманіе по различнымъ причинамъ. Оно служитъ памятникомъ единственной въ своемъ родѣ игры ума, заставляющей сталкиваться противоположные, взаимно отрицающіе себя элементы, такъ что оно въ концѣ оказывается религіей безъ вѣры, богословіемъ безъ Бога, философіей безъ принциповъ, нравственностью безъ правилъ, скептицизмомъ, порожденнымъ вѣрой въ науку, пессимизмомъ, возникшимъ на почвѣ жизнерадости, нигилизмомъ, подсказаннымъ положительными знаніями. Оно блещетъ пестротой самыхъ различныхъ свѣдѣній, до которыхъ дошла во всѣхъ областяхъ наука, и разнообразіемъ всевозможныхъ цвѣтовъ поэзіи. Оно представляетъ собою краснорѣчивое свидѣтельство современныхъ анархіи и смуты мысли, живую картину умственной болѣзни, которая постигла конецъ девятнадцатаго вѣка. Оно есть вмѣстѣ слѣдствіе и причина современнаго настроенія Франціи, имъ обусловлено и его обусловливаетъ, заключаетъ въ себѣ всѣ его элементы, оказываетъ по-

---

107—115. Bourget, Essais de psychologie contemporaine, pp. 35—110. Caro, L'ldée de Dieu, pp. 46—132. Rod, ldées morales du temps présent, pp. 11—39. Séailles, E. Renan, Essai de biographie psychologique (2 éd. 1895). Того же автора La méthode philosophique de Renan, Revue philosophique, t. XXVIII, 1894. Allier, La philosophie d'E. Renan (1895). Monod, Renan, Taine, Michelet. (3 éd. 1896). Darmesteter, La vie de Ernest Renan (3 éd. 1899). Съ враждебной стороны Desportes et Bournand, E. Renan, sa vie et son oeuvre (4 éd. 1898).

этому на умы исключительно сильное воздѣйствіе. Наконецъ, по сравненію съ жизнью самого Ренана, оно любопытно какъ выразительный примѣръ такъ называемаго раздвоенія личности, полнаго разлада между теоретическими воззрѣніями и житейской практикой одного и того же лица, какъ внушительное доказательство, что ни по нравственной жизни мыслителя нельзя судить объ его теоретическихъ воззрѣніяхъ, ни по теоретическимъ воззрѣніямъ объ его нравственной жизни. И такъ какъ жизнь народа слагается изъ жизни отдѣльныхъ лицъ, то это замѣчаніе примѣнимо въ извѣстной мѣрѣ и къ народной жизни—фактъ по характеру нашего очерка для насъ далеко не безразличный.

Мы остановимся поэтому на Ренанѣ съ должной обстоятельностью, откидывая однако частности его отношенія къ христіанству, стяжавшія ему печальную славу „европейскаго богохульника“.

Міровоззрѣніе Ренана есть особаго рода эпикурейство, которое признаетъ наличную дѣйствительность суетной и ничтожной, но, при надлежащемъ пользованіи ею, забавной и пріятной, и усматриваетъ высшую мудрость въ непринужденной игрѣ ума, открытаго для всякихъ знаній, воздѣйствій и перемѣнъ, лишь бы они могли служить источникомъ жизнерадости, и обращеннаго поэтому всегда на то, что нравится.

Основныя точки зрѣнія этого міропониманія могутъ быть сведены къ нижеслѣдующимъ:

1. Подлинная дѣйствительность, вѣчная, безконечная и безусловная, отъ насъ скрыта, мы ее чувствуемъ, но познать не можемъ [1]).

2. Она лежитъ въ самомъ мірѣ, составляетъ его основаніе и законъ и существуетъ лишь поскольку облекается въ форму конечнаго [2]). Ничего внѣмірнаго и сверхъестественнаго наше знаніе не удостовѣряетъ.

3. Отраженія дѣйствительности въ нашемъ сознаніи всегда измѣнчивы и условны, такъ что ни о чемъ не существуетъ никакого безусловнаго знанія.

4. Эта измѣнчивость и условность состояній нашего сознанія указываетъ на то, что и объекты этого сознанія, такъ называемыя вещи, только *бываютъ*, а не *существуютъ*, такъ что *бываніе* есть верховный законъ всѣхъ вещей [3]).

5. Поэтому единственно правильная форма постиженія дѣйствительности есть ея исторія. Человѣческая исторія есть обширное цѣлое, гдѣ все по существу неравно и различно, но все принадлежитъ къ одному и тому же порядку, происходитъ изъ однѣхъ

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 252.

[2]) Тамъ же, p. 310.

[3]) Тамъ же, pp. 25. 53 и др. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 251.

и тѣхъ же причинъ, подчинено однимъ и тѣмъ же законамъ. Наука о языкахъ есть исторія языковъ, наука о литературѣ и религіяхъ есть исторія литературы и религій, наука о человѣческомъ духѣ есть исторія человѣческаго духа [1]).

6. Строимыя нашей мыслью въ математикѣ, логикѣ, метафизикѣ, отвлеченныя, неизмѣнныя схемы, принадлежатъ исключительно области ума и не соотвѣтствуютъ никакой дѣйствительности, посторонней уму [2]).

7. При непрерывной измѣняемости состояній нашего сознанія и соотвѣтствующихъ имъ объектовъ, на каждую вещь можно смотрѣть съ различныхъ точекъ зрѣнія, каждая мысль и каждое слово имѣютъ различные оттѣнки, каждому положенію можно противопоставить равносильное отрицаніе, и ни о чемъ нельзя ничего утверждать рѣшительно и опредѣленно.

8. Въ нравственной области точно такъ же, какъ въ теоретической, нѣтъ ничего непоколебимаго, но все зыбко и условно.

9. Общій выводъ изъ предыдущихъ положеній тотъ, что все можетъ быть, что надо быть ко всему готовымъ, что всякая теорія есть игра ума, которая одинаково можетъ соотвѣтствовать и не соотвѣтствовать дѣйствительности, что надо наиболѣе вѣ-

---

[1]) Avenir de la science, p. 174.

[2]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 175.

роятнымъ считать то, что такимъ въ данное время кажется, а наилучшимъ то, что въ данное мгновеніе наиболѣе нравится.

10. При неизвѣстности, гдѣ лежитъ истина и какимъ путемъ къ ней идти, не должно никогда и ни въ чемъ насиловать своего ума, а такъ какъ мы всегда строимъ такое міропониманіе, которое намъ нравится, то высшимъ руководительнымъ правиломъ слѣдуетъ признать то, что намъ нравится.

11. Вещи могутъ намъ нравиться и содержаніемъ, и внѣшностью, но содержаніе мы только сознаемъ, а уловить мыслью не можемъ; напротивъ, наружность вещей, ихъ видъ или форма, представляются намъ съ полной ясностью и наглядностью. Поэтому при оцѣнкѣ вещей господствующее значеніе получаетъ ихъ внѣшность, и эта оцѣнка въ концѣ сводится къ эстетическому взгляду на жизнь, то есть къ воспріятію ея красоты, живописности, драматичности и т. д.

12. Этимъ взглядомъ опредѣляется не только содержаніе, но и цѣль мудрости. Цѣль эта состоитъ въ наслажденіи жизнью, главнымъ образомъ ея внѣшней стороной, въ забавѣ всѣми ея обнаруженіями, одинаково въ религіи, философіи, наукѣ, искусствѣ, нравственности и т. д., цѣнимыми какъ средство для такой забавы. Иными словами, мудрецъ долженъ быть любителемъ или дилетантомъ всѣхъ обнаруженій жизни, способныхъ доставить наслажде-

ніе, и высшая мудрость есть любительское отношеніе къ нимъ или *дилетантизмъ* [1]).

Эстетическій принципъ — радостное созерцаніе вселенной [2])—есть поэтому верховный въ міропониманіи Ренана.

Говоря образно, Ренанъ разсматриваетъ жизнь съ различныхъ точекъ зрѣнія сквозь многогранную призму, такъ что дѣйствительность дробится и множится на радужные оттѣнки, которые всѣ одинаково неполно отображаютъ одну и ту же истину, поэтому между собою равноправны и въ общемъ пробуждаютъ эстетическое чувство.

Такъ какъ дилетантизмъ есть умственная дѣятельность, всегда обращенная на пріятное, то его можно вкратцѣ опредѣлить какъ эпикурейство мысли [3]).

Для такой мысли вселенная представляется во всей прелести формъ, красокъ, звуковъ и ароматовъ.

---

[1]) Отъ итальянскаго dilettare. Философскій дилетантизмъ слѣдуетъ отличать отъ дилетантизма въ обычномъ значеніи этого слова. Дилетантизмъ въ обычномъ значеніи предполагаетъ увлеченіе наукой или искусствомъ безъ глубокаго знакомства съ ними. Философскій дилетантизмъ такого знакомства не исключаетъ. Но тотъ и другой сходятся въ основаніи — во взглядѣ на науку и искусство какъ на средства для личнаго наслажденія.

[2]) Apôtres, p. LV. Feuilles détachées, p. 168. Essais de morale et de critique, p. 100.

[3]) Amiel, Journal intime, II, p. 62.

Она есть праздникъ [1]), спектакль, который Богъ устроилъ себѣ [2]), огромный хоръ, въ которомъ всякое существо поетъ свою ноту [3]), убранная цвѣтами невѣста, ожидающая влюбленнаго въ нее жениха [4]), сіяющій гранями брилліантъ. Задача науки въ томъ, чтобы шлифовать эти грани, очищать ихъ отъ наростовъ и налетовъ. Философія ставитъ себѣ цѣлью охватить взоромъ всѣ эти грани заразъ, уловить обликъ совокупности вещей [5]), дать возможность вдыхать и смаковать ароматъ всѣхъ вещей [6]), представить ихъ эпопею [7]), и есть поэтому общій результатъ всѣхъ наукъ, звукъ, свѣтъ, дрожаніе, исходящее изъ божественнаго все заключающаго въ себѣ эѳира [8]), общая глава, центральный узелъ великой связки человѣческаго знанія, смыкающій всѣ знанія въ тожественномъ свѣтѣ [9]). Она есть приправа, безъ которой никакое блюдо не вкусно, но которая не состав-

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 132.

[2]) Reforme intellectuelle et morale, p. 205.

[3]) Nouvelles études d'histoire religieuse, p. XVI.

[4]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. IX. Feuilles détachées, p. 422.

[5]) Dialogues et fragments philosophiques, pp. 299—300. Avenir de la science, p. 148.

[6]) Avenir de la science, pp. 56. 148.

[7]) Avenir de la science, p. 57. Essais de morale et de critique, p. 73.

[8]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 290.

[9]) Тамъ же, p. 155. Essais de morale et de critique, p. 79.

ляетъ кушанья [1]). Она поэтому по существу тоже, что искусство и поэзія, и между нею, поэзіей и искусствомъ разница только въ формѣ. Религія есть частью чувственное, частью эстетическое настроеніе, вызываемое стремленіемъ къ идеалу, плодъ молчанія и сосредоточенности, синонимъ благородства [2]), совершеннѣйшій родъ поэзіи, наиболѣе полно достигающій основной цѣли искусства, то есть возвышенія человѣка надъ пошлостью и пробужденія въ немъ чувства его небеснаго происхожденія [3]), и состоитъ въ томъ, что каждый исполняетъ свое дѣло съ пѣніемъ, прославляетъ съ утра до вечера Бога радостью, добродушіемъ, кротостью [4]). Нравственность есть своего рода эстетика, измѣряетъ достоинства и недостатки дѣйствій ихъ красотой или безобразіемъ [5]). Нравственный человѣкъ, подобно художнику, черпаетъ изъ своей души красоту для воплощенія во внѣшней дѣйствительности и слѣдитъ за этимъ воплощеніемъ съ восхищеніемъ и спокойствіемъ [6]). Добродѣтель есть радостное и ревностное содѣйствіе высшему благу; порокъ—служеніе неуклюжее и ворчливое [7]). Красивое чувство стоитъ красивой

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, pp. 286—287.

[2]) Questions contemporaines, p. 469.

[3]) Études d'histoire religieuse, p. VI.

[4]) Nouvelles études d'histoire religieuse, p. XVI.

[5]) Avenir de la science, p. 177.

[6]) Тамъ же, p. 355.

[7]) Nouvelles études d'histoire religieuse, p. XV.

мысли, красивая мысль—красиваго дѣйствія. Система философіи стоитъ поэмы, поэма — научнаго открытія, жизнь, посвященная наукѣ—добродѣтельной жизни. Совершеннымъ былъ бы тотъ, кто былъ бы вмѣстѣ поэтомъ, философомъ, ученымъ, праведникомъ, притомъ не въ различное время, но вслѣдствіе полнаго взаимопроникновенія всѣхъ сторонъ духа во всѣ моменты жизни, былъ бы поэтомъ въ то же самое время какъ философомъ, философомъ въ то же время какъ ученымъ, у котораго, словомъ, всѣ элементы, слагающіе общечеловѣческую жизнь, слились бы въ высшую гармонію, какъ въ самой этой жизни [1]).

Погоня за безусловнымъ и вполнѣ опредѣленнымъ знаніемъ возможна лишь при узости кругозора. Безусловнымъ называется то, что такимъ въ данное время кажется, и такъ какъ воззрѣнія людей измѣняются, то все безусловное сводится къ условному. Равнымъ образомъ не можетъ быть и ничего опредѣленнаго: мысль постоянно колеблется и смыслъ словъ измѣняется. Поэтому выдающійся человѣкъ (homme distingué) не можетъ быть безъ примѣси скептицизма [2]). Онъ проникается взглядомъ, что въ этомъ мірѣ все суетно, все только знакъ и сим-

---

[1]) Avenir de la science, p. 11.

[2]) Antéchrist, p. 102.

волъ [1]), что по существу ни въ чемъ нѣтъ ничего важнаго [2]), что жизнь строится на предразсудкахъ и тщеславіи [3]), что всякая истина двулична [4]), что обо всемъ возможны двадцать предположеній [5]), и не довѣряетъ ничему, что ему кажется безусловнымъ и исключительнымъ [6]). Онъ смотритъ на міръ съ трансцендентнымъ презрѣніемъ [7]), способенъ увлекаться всѣмъ, но ничѣмъ въ особенности, улыбается на всякое свое дѣло [8]), входитъ въ намѣренія Предвѣчнаго съ ироніей [9]). Онъ вкушаетъ вселенную нѣкоторымъ всеобщимъ чувствомъ, благодаря которому онъ бываетъ печаленъ въ печальномъ городѣ, веселъ—въ веселомъ городѣ, наслаждается сладострастіемъ сладострастниковъ, разгуломъ гулякъ, свѣтскостью свѣтскихъ, святостью праведника, размышленіями ученаго, строгостью аскета, воображаетъ себя, посредствомъ нѣкотораго нѣжнаго

[1]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 72. Questions contemporaines, pp. 414—415.

[2]) Questions contemporaines, p. 467.

[3]) Drames philosophiques, p. 28.

[4]) Тамъ же, p. 256.

[5]) Тамъ же, p. 179.

[6]) Réforme intellectuelle et morale, p. 204. Feuilles détachées, p. 368.

[7]) Vie de Jesus, p. 123.

[8]) Antechrist, p. 102. Apôtres, p. LII.

[9]) Questions contemporaines, p. 467. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 152. Essais de morale et de critique, pp. 312 и др.

сочувствія, сознаніемъ этихъ людей. Открытія ученаго составляютъ его благо, торжество тщеславнаго — его праздникъ. Для него было бы непріятно, если бы чего нибудь недоставало въ этомъ мірѣ, который онъ весь обнимаетъ своимъ сознаніемъ. Единственной его скорбью было бы то, если бы современный ему человѣкъ палъ настолько, что не умѣлъ бы наслаждаться. Тогда онъ переносится въ прежніе вѣка; все, что было прекраснаго, милаго, справедливаго, благороднаго, составляетъ его рай. При такомъ настроеніи онъ презираетъ угрожающее ему несчастіе, такъ какъ носитъ въ себѣ очаровательный цвѣтникъ своихъ мыслей [1]).

Словомъ, такой человѣкъ всюду смотритъ и наслаждается [2]), а гдѣ дѣйствительность не даетъ наслажденія, онъ предоставляетъ просторъ воображенію, какъ источнику неоскудѣвающихъ очарованій [3]). Онъ обожаетъ идеалъ, ставитъ себѣ задачей отображать собою великолѣпіе вселенной и не вмѣшивается въ практическую жизнь, соприкосновеніе съ которой всегда оскверняетъ [4]).

Вслѣдствіе полной свободы духа, онъ способенъ проводить всякія философскія теоріи, не придавая

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, pp. 133—134.

[2]) Drames philosophiques, p. 195.

[3]) Feuilles détachées, p. 383.

[4]) Saint Paul, p. 568. Questions contemporaines, p. 237. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, pp. 339—340.

вѣры ни одной; возводить въ нравственные принципы всякія правила, какъ тѣ, которыя обыкновенно считаются нравственными, такъ и тѣ, которыя обыкновенно признаются за безнравственныя; поклоняться всѣмъ богамъ, не считая истиннымъ ни одного.

Онъ непрестанно мѣняетъ свои мнѣнія, во первыхъ, потому, что измѣняется міръ, во вторыхъ, потому, что измѣняется онъ самъ [1]); всегда готовъ повернуть руль своей мысли, какъ скоро мѣняется вѣтеръ его вѣры, и сказать истинѣ: влеки меня, куда хочешь, я готовъ [2]); всегда радъ ласкать свою мысль, какова бы она ни была [3]).

Первый его долгъ въ томъ, чтобы не воздѣйствовать на свои воззрѣнія, предоставлять дѣйствительности отражаться въ его духѣ какъ въ фотографической камеробскурѣ, присутствовать зрителемъ при внутренней борьбѣ, въ которую вступаютъ идеи въ глубинѣ сознанія. Онъ не вмѣшивается въ эту невольную работу и передъ внутренними измѣненіями своей умственной ретины остается страдательнымъ. Это не значитъ, что результатъ безсознательной эволюціи для него безразличенъ, но онъ не считаетъ себя въ правѣ желать, когда говоритъ разумъ; онъ ставитъ себѣ долгомъ слушаться, и только; онъ готовъ

[1]) Apôtres, p. 382.

[2]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 409.

[3]) Тамъ же.

увлекаться съ связанными руками и ногами туда, куда его тянутъ лучшіе доводы. Образованіе истины въ его душѣ кажется ему явленіемъ постороннимъ ему, происходящимъ въ немъ безъ его участія, нѣкотораго рода химическимъ осадкомъ, который онъ разсматриваетъ съ простымъ любопытствомъ. Отъ времени до времени онъ считаетъ полезнымъ остановиться, сосредоточиться, чтобы посмотрѣть, въ чемъ могъ измѣниться способъ человѣческаго воззрѣнія, какимъ путемъ при восхожденіи отъ вѣроятнаго къ достовѣрному могли слѣдовать предположенія, которыя люди дѣлаютъ основаніемъ своей жизни [1]).

Однако истина, вырабатываемая борьбой идей, есть всегда относительная, то есть всегда можетъ быть вытѣснена другой, болѣе убѣдительной, и восхожденіе отъ вѣроятности къ достовѣрности, если и можетъ быть завершено, то развѣ въ безконечности, въ которой примиряются всѣ противорѣчія, тогда какъ наличная дѣйствительность всегда полна ими [2]).

У всякаго ума, низменнаго или возвышеннаго, есть свой способъ понимать міръ; всякая мыслящая голова есть по своему зеркало вселенной; у каждаго живого существа есть своя мечта, которая

---

[1]) Feuilles détachées, pp. 401—402.

[2]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 178,

его чаруетъ, возвышаетъ, утѣшаетъ; величественная или ничтожная, низменная или возвышенная, эта мечта составляетъ его философію. Каждый человѣкъ родится съ своей философіей, точно такъ же, какъ съ своимъ слогомъ [1]). Было бы столь же нелѣпо требовать, что бы философская система заключала послѣднее слово о дѣйствительности, какъ отъ эпопеи, что бы она заключала всю область красоты. Эпопея тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ лучше отвѣчаетъ общечеловѣческимъ потребностямъ, но и послѣ самой совершенной эпопеи тема все таки остается новой и дозволяетъ безконечныя измѣненія, смотря по характеру поэта, вѣка или народности, къ которой поэтъ принадлежитъ. Да и какимъ образомъ чувствовать природу, свободно вдыхать ароматъ вещей, если разсматривать ихъ въ узкихъ неподвижныхъ формахъ системы [2])? На землѣ ничто не должно господствовать для исключенія противоположнаго; никакая сила не должна подавлять другихъ. Гармонія жизни происходитъ изъ свободнаго дрожанія самыхъ разнорѣчивыхъ звуковъ [3]). Всякій полный трудъ долженъ самъ себя опровергать. Въ немъ должна быть намѣчена обратная сторона каждой мысли, такъ что бы читатель могъ однимъ взо-

---

[1]) Тамъ же, pp. 287—288.

[2]) Avenir de la science, p. 57.

[3]) Apôtres, p. LXIII—LXIV

ромъ охватить оба противоположныя лица, изъ которыхъ слагается всякая истина [1]). Замкнутыми системами можно было довольствоваться прежде, когда ихъ было мало, и у всякаго была только своя собственная, съ которой онъ жилъ и умиралъ; теперь мы проходимъ послѣдовательно всѣ системы, или еще лучше—мы понимаемъ ихъ всѣ заразъ. [2]).

Кто охватилъ жизнь всеобщимъ опытнымъ изслѣдованіемъ, толкалъ свою мысль во всевозможныхъ направленіяхъ, исходилъ всѣ доступныя ему области, раскачивалъ и раскапывалъ всѣ вещи, бросалъ на вѣчно бѣгущій океанъ жизни всесторонній любопытный и любящій взглядъ, для того жизнь представляется качаніемъ всѣхъ вещей, тонкой тканью, широкимъ уравненіемъ, въ которомъ перемѣнная безпрестанно колеблется вслѣдствіе прибавленія все новыхъ данныхъ [3]). Для такого мыслителя схоластическая попытка создать теорію міра игрой пустыхъ формулъ кажется притязаніемъ столь же нелѣпымъ, какъ если бы ткачъ пожелалъ соткать полотно, заставляя ходить челнокъ безъ нити [4]). Наука наукъ, о которой мечтаетъ схоластика, была бы могилой для человѣческаго духа: давъ безусловную догму, она бы пресѣкла всякое движеніе духа, всякое из-

[1]) Drames philosophiques, p. 256.

[2]) Dialogues et fragments philosophiques, p. IX.

[3]) Avenir de la science, p. 90.

[4]) Essais de morale et critique, p. 82.

слѣдованіе. Скука схоластическаго неба была бы ничто въ сравненіи со скукой праздныхъ созерцателей однообразной, чуждой оттѣнковъ истины, которая по своей безличности ни для кого не была бы привлекательной и никѣмъ любимой [1]).

Слѣдуетъ отказаться отъ узкаго взгляда схоластики, принимавшей человѣческій умъ за орудіе совершенно точное и вполнѣ приспособленное для безусловнаго. Виды, очерки, освѣщенія, просвѣты, ощущенія, цвѣта, облики, наружность — вотъ формы, въ которыхъ духъ воспринимаетъ вещи. Одна только математика выражается въ аксіомахъ и теоремахъ. Въ остальномъ истина въ неопредѣленности [2]). Дозательства возможны лишь въ математическихъ наукахъ, гдѣ принципы просты и формальны. Напротивъ, въ наукахъ нравственныхъ принципы только приблизительные, выраженія несовершенныя. Здѣсь истина полагается болѣе или менѣе, но никогда не вполнѣ. Освѣщеніе мысли здѣсь единственно возможное доказательство, такъ что форма, слогъ, составляютъ три четверти мысли [3]). Истины нравственнаго порядка покоятся всецѣло на оттѣнкахъ, которые логика уловить не можетъ. Надѣяться въ такихъ зыбкихъ вопросахъ ухватить истину тяжело-

---

[1]) Dialogues et fragments philosophigues, p. 280.

[2]) Avenir de la science, p. 58. Apôtres, p. 381.

[3]) Тамъ же, p. 152.

вѣсными щипцами силлогизма все равно, что пытаться настигнуть крылатое насѣкомое дубиной [1]).

Впрочемъ, задача философіи не въ томъ, чтобы разрѣшать вопросы, а въ томъ, чтобы ихъ ставить и пробуждать самодѣятельность мысли [2]). Она служитъ однимъ изъ свидѣтельствъ о той безконечной тайнѣ, которая насъ окружаетъ и привлекаетъ къ ея изслѣдованію, хотя никакое изслѣдованіе насъ удовлетворить не можетъ [3]). Философская мысль не останавливается ни на какомъ рѣшеніи, не принимаетъ ни одного слова въ безусловномъ значеніи. Для нея Богъ, Провидѣніе, безсмертіе—такія же слова, какъ остальныя, только, быть можетъ, нѣсколько болѣе тяжеловатыя, но которыя философія будетъ истолковывать все въ болѣе и болѣе тонкомъ смыслѣ. [4]) Какъ прежде слово боги было оскорбленіемъ для Бога, такъ впослѣдствіи слово Богъ будетъ оскорбленіемъ для божественнаго [5]). Мысль можетъ составить цѣлую сокровищницу синонимовъ Бога [6]), но пытаться точно опредѣлить его

---

[1]) Essais de morale et critigue, p. 188.

[2]) Avenir de la science, p. 56. Dialogues et fragments philosophiques, p. 332.

[3]) Dialogues et fragments philosophiques, тамъ же.

[4]) Études d'histoire religieuse, p. 419.

[5]) Drames philosophiques, p. 305.

[6]) Тамъ же, p. 263.

существо не должна уже потому, что оно безконечно, а нашъ духъ ограниченъ [1]).

Этими замѣчаніями Ренанъ ясно устанавливаетъ свою точку зрѣнія. Богъ, Провидѣніе, безсмертіе, о которыхъ онъ говоритъ, открываются ему не непосредственнымъ религіознымъ сознаніемъ, какъ полная жизни дѣйствительность, но колеблются въ его сомнѣвающейся мысли какъ зыбкія и неясныя видѣнія. Онъ говоритъ тѣми же словами, какъ христіанскіе богословы, но придаетъ этимъ словамъ совершенно иной смыслъ. Его ученіе не религіозное, а философское, къ которому слѣдуетъ относиться такъ же, какъ къ ученіямъ, напримѣръ, гностиковъ—Карпократа, Василида, Валентина и пр., или же, если обратиться къ близкой намъ дѣйствительности, какъ къ ученіямъ любого независимаго новаго философа—Фихте, Шеллинга, Гегеля, Фехнера и проч. Богъ, о которомъ учатъ всѣ эти мыслители, есть построенный ихъ личнымъ умомъ вымыселъ, а не Богъ живого христіанскаго сознанія. Съ точки зрѣнія этого послѣдняго, философскія ученія оцѣниваются по большой или меньшей близости къ христіанскому идеалу. Но можно также ихъ оцѣнивать и по ихъ внутренней состоятельности. Религіозное ученіе Ренана одинаково ничтожно, съ какой бы точки зрѣнія мы на него ни смотрѣли: оно противо-

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p 253.

положно христіанскому сознанію, имъ поэтому отвергается какъ заблужденіе, но оно и само себя убиваетъ внутренними противорѣчіями.

Ренанъ пытается подойти къ понятію о Богѣ съ различныхъ сторонъ, но во всѣхъ случаяхъ одинаково безуспѣшно: Богъ, котораго онъ ищетъ, есть убѣгающій призракъ, вымыселъ, расплывающійся въ неопредѣленности.

Богъ для Ренана есть идея, которая все одушевляетъ и, стремясь къ самоосуществленію, толкаетъ все къ бытію, такъ какъ идея есть возможность, желающая быть [1]). Или иначе, Богъ есть идеалъ. Идеалъ существуетъ, онъ вѣченъ, но не вполнѣ еще осуществился, однако нѣкогда осуществится совершенно. Онъ осуществится сознаніемъ, подобнымъ человѣческому, но безконечно высшимъ. Всеобщая задача всего живущаго—создать совершеннаго Бога, содѣйствовать великому завершенію всѣхъ вещей. Разумъ, не принимавшій до сихъ поръ участія въ этомъ дѣлѣ, которое совершалось глухимъ стремленіемъ всего существующаго къ такой цѣли, возьмется нѣкогда за эту великую работу и, организовавъ человѣческую жизнь, организуетъ Бога [2]).

Жизнь вселенной совершается въ трехъ фазахъ: смутное сосуществованіе разнородныхъ эле-

[1]) Тамъ же, pp. 78—79. Avenir de la science, p. 37.

[2]) Тамъ же, p. 55.

ментовъ, обособленное существованіе вещей, сліяніе ихъ въ болѣе широкое единство. Развитіе первоначальнаго зерна разложеніемъ его членовъ и новое единство, происходящее изъ этого разложенія, таковъ законъ всего живущаго [1]).

Если бы мы пожелали построить „прекрасную эпопею о системѣ вещей, то должны были бы признать, что и развитіе божества должно слѣдовать тому же закону. Первичное единство было лишено жизни, такъ какъ жизнь существуетъ лишь при развертываніи и противоположеніи частей. Бытіе было такимъ, какъ будто его не было; въ немъ не было ничего раздѣльнаго и обособленнаго; жизнь началась въ моментъ, когда темное и смутное единство развилось во множество и стало вселенной. Но вселенная въ свою очередь не есть полная форма: въ ней не достаточно сказывается единство. Возвращеніе къ единству происходитъ посредствомъ духа, который есть единый результатъ многообразныхъ элементовъ. Исторія бытія завершится тогда, когда множество будетъ всецѣло превращено въ единство и когда изъ всего существующаго произойдетъ единый результатъ, который будетъ Богомъ, подобно тому, какъ въ человѣкѣ душа есть результатъ всѣхъ слагающихъ его элементовъ. Богъ будетъ тогда душою міра, и

[1]) Avenir de la science, p. 312.

вселенная будетъ тѣломъ Бога, и жизнь будетъ полной, такъ какъ всѣ части вселенной, существовавшія отдѣльно, созрѣютъ для единства. Кругъ тогда будетъ замкнутъ, и бытіе, пройдя чрезъ множество, снова успокоится въ единствѣ.

Весь этотъ процессъ выхожденія изъ единства во множество и возвращенія множества въ единство нуженъ потому, что жизнь не есть ни безусловное единство, ни разрозненное множество, но множество въ единствѣ, или, вѣрнѣе, множество, становящееся единствомъ [1]).

При переходѣ въ единство всѣ вещи сосредоточатся въ единомъ сознательномъ центрѣ; вселенная сведется тогда къ единичному существованію и вѣра въ единаго Бога будетъ истинной. Послѣднимъ предѣломъ боготворческой эволюціи можетъ быть всевѣдущее и всемогущее существо, которое можно представлять себѣ различно: или наслаждающимся чрезъ всѣхъ, какъ всѣ чрезъ него, согласно съ мечтой христіанскихъ мистиковъ, или какъ единичное существо, достигшее высшей мощи, или какъ произведеніе милліардовъ существъ, какъ гармонію, всеобщій звукъ вселенной.

Въ безконечномъ организмѣ этого вселенскаго существа будутъ объединены децилліоны дециллio-

---

[1]) Тамъ же, pp. 313—314.

новъ жизней, одновременно прошлыхъ и настоящихъ. Вся живая природа произведетъ единую центральную жизнь, подобно тому, какъ животное есть слѣдствіе милліарда клѣточекъ, дерево—милліона почекъ. Единое сознаніе будетъ создано всѣми, и всѣ въ немъ будутъ участвовать; вселенная будетъ безконечнымъ полипомъ, въ которомъ всѣ когда либо жившія существа будутъ спаяны ихъ основаніями и будутъ жить одновременно и своей собственной жизнью, и жизнью цѣлаго. Въ настоящее время организовано лишь немного матеріи и то, что организовано, организовано слабо; но можно предположить время, когда будетъ организована вся матерія, когда тысячи сомкнутыхъ солнцъ послужатъ къ образованію единаго существа, чувствующаго, наслаждающагося, поглощающаго своей пылающей глоткой потокъ сладострастія, который разольется бурной рѣкой жизни. Эта живая вселенная представитъ собою два полюса, образуемые всякой нервной массой—полюсъ мыслящій и полюсъ наслаждающійся. Теперь вселенная мыслитъ и наслаждается чрезъ милліоны особей. Нѣкогда колоссальныя уста будутъ вкушать безконечное; изъ нихъ ринется океанъ упоенія; неисчерпаемое изверженіе жизни, не знающее ни покоя, ни усталости, брызнетъ въ вѣчность. Для образованія этой божественной массы земля, быть можетъ, будетъ скомкана какъ кусокъ глины, кото-

рую мѣсятъ, не заботясь о скрытомъ въ ней муравьѣ или червѣ [1]).

По такой „эпопеѣ“ Богъ есть бываніе, онъ скорѣе будетъ, чѣмъ есть; но останавливаться на этомъ было бы очень не полнымъ богословіемъ. Онъ больше, чѣмъ совокупность бытія; онъ безусловное; онъ порядокъ, въ которомъ математика, метафизика, логика находятъ истину; онъ мѣсто, гдѣ пребываютъ идеалы; онъ живой принципъ блага, красоты, истины. Съ такой точки зрѣнія Богъ *есть* вполнѣ и безъ оговорокъ; онъ вѣченъ и неизмѣненъ, безъ прогресса, безъ бываніа [2]).

Можно, напротивъ, подходить къ понятію о Богѣ съ субъективной стороны. Съ этой стороны Богъ есть категорія идеала, то есть форма, подъ которой мы понимаемъ идеалъ. Другими словами, человѣкъ, поставленный предъ вещами прекрасными, благими и истинными, выходитъ изъ себя и, подъемлемый небеснымъ очарованіемъ, уничтожаетъ свою бренную личность, восторгается, себя поглощаетъ. Въ такомъ состояніи онъ обожаетъ, находитъ Бога [3]).

Основнымъ же принципомъ богословія должно служить то, что Богъ существуетъ и въ совокупности вселенной, и въ каждомъ изъ существъ, его сла-

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, pp. 126—128. Antéchrist, p. 479.

[2]) Тамъ же, pp. 184—185.

[3]) Études d'histoire religieuse, p. 419.

гающихъ. Однако, онъ не познаетъ себя одинаково во всѣхъ. Онъ познаетъ себя больше въ растеніи, чѣмъ въ камнѣ, въ животномъ больше, чѣмъ въ растеніи, въ умномъ человѣкѣ больше, чѣмъ въ неразумномъ, въ геніальномъ больше, чѣмъ въ умномъ, въ Сократѣ больше, чѣмъ въ геніальномъ, въ Буддѣ больше, чѣмъ въ Сократѣ, въ Христѣ больше, чѣмъ въ Буддѣ [1]).

Этимъ принципомъ подразумѣвается другой, что нѣтъ ничего внѣмірнаго и потому сверхъестественнаго и чудеснаго. Во вселенной, доступной нашему опыту, никогда не наблюдалось ни одного преходящаго факта, который бы зависѣлъ отъ воли или отъ волей существъ высшихъ человѣка. Хотя состояніе вселенной, открытое для нашего взора, есть результатъ развитія, начало котораго мы не постигаемъ; однако въ безконечныхъ звеньяхъ этой цѣпи мы не открываемъ ни одного свободнаго дѣйствія до появленія человѣка или вообще живыхъ существъ. Съ появленіемъ человѣка выступаетъ свободная причина, пользующаяся силами природы для желаемыхъ цѣлей; но эта причина сама произведеніе природы; это природа, которая себя находитъ, доходя до сознанія. Чего никогда не было видано, это вмѣшательства высшаго дѣятеля для исправленія или направ-

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 187.

ленія слѣпыхъ силъ, подготовленія путей къ осуществленію задуманнаго плана. Одного признака безусловной точности, свойственной такъ называемому матеріальному міру, достаточно для устраненія мысли о преднамѣренности, такъ какъ преднамѣренность всегда выдаетъ себя отсутствіемъ геометріи и приблизительностью. Это справедливо съ нѣкотораго рода экспериментальной достовѣрностью о нашей планетѣ, которой исторія намъ достаточно хорошо извѣстна, чтобы отъ насъ могла ускользнуть сколько нибудь значительная особенность ея образа жизни. Но то же можно утверждать безъ колебанія и обо всей солнечной системѣ, образующей вмѣстѣ съ землей одинъ маленькій міръ, и даже обо всей звѣздной системѣ, открываемой обитателямъ земли благодаря прозрачности воздуха и пространства, то есть примѣнимо ко всей наблюдаемой нами вселенной. Можно поэтому считать установленнымъ, что *бываніе* вслѣдствіе внутренняго развитія, безъ внѣшняго вмѣшательства, есть законъ всей вселенной, открытой для нашего взора. Безконечное число ударовъ дѣлаетъ то, что цѣли, достигаемыя случайно, кажутся достигнутыми намѣренно. Открытая для нашего опыта вселенная не управляется никакимъ сознающимъ себя разумомъ.

Но составляетъ ли эта вселенная совокупность бытія? Неравномѣрно распредѣленная золотая пыль, которую мы въ свѣтлую ночь видимъ надъ головами,

наполняетъ ли безконечное пространство? Можно ли быть увѣреннымъ, что въ пространствѣ нѣтъ такихъ мѣстъ, откуда глазъ бы видѣлъ съ одной стороны небо, населенное звѣздами, подобное видимому нами, съ другой — черную пропасть, лишенную всякаго свѣтила? Наша вселенная несомнѣнно огромна; но что значатъ децилліоны въ сравненіи съ безконечнымъ? И если бы и было удостовѣрено, что пространство, усѣянное солнцами, безпредѣльно, слѣдовало ли бы отсюда, что не существуетъ другихъ безконечностей высшаго или нисшаго порядка? Математическое ученіе о безконечно малыхъ, несомнѣнно, вращается только въ формулахъ, но эти формулы — выразительные символы. Существуютъ различные порядки безконечнаго, въ которыхъ нисшіе равны нулю относительно высшихъ. Этотъ кажущійся парадоксъ служитъ основаніемъ для вычисленій безусловной точности. Всякая конечная величина, прибавленная къ безконечной или отъ нея отнятая, равна нулю; всякая конечная величина есть ничто въ сравненіи съ безконечной. Наши понятія о пространствѣ и времени чисто относительныя. Разстояніе земли отъ Сиріуса огромно для нашихъ измѣреній. Пустоты, отдѣляющія атомы въ молекулѣ, могутъ быть столь же значительными для существъ, одаренныхъ другимъ мѣриломъ величины. Долговѣчность нашего міра можетъ въ глазахъ Бога казаться однимъ днемъ. Можно поэтому думать, что сово-

купность бытія составлена изъ міровъ, едва существующихъ одинъ для другого, изъ которыхъ каждый для себя безконечность. Міры, заключающіе въ себѣ міры, такъ что безконечно малое для одного есть безконечно великое для другого, вотъ въ чемъ, повидимому, истина. Наша дѣйствительность, въ которой мы живемъ и которая для насъ есть конечное, сложена изъ безконечностей нисшаго порядка и служитъ сама для созиданія безконечностей высшаго порядка. Она безконечно велика для того, что ниже ея, и безконечно мала для того, что выше ея, и находится посреди двухъ безконечностей. Мы знаемъ мало о порядкѣ безконечности, который насъ превосходитъ; но порядокъ безконечности нисшей насъ, міръ атома, молекулы, клѣточки, микроба, составленнаго изъ микробовъ, существуетъ столь же достовѣрно, какъ порядокъ конечнаго, служащій обычнымъ предметомъ нашихъ изысканій и размышленій. Мы не видимъ Бога въ этой вселенной; но, быть можетъ, эта вселенная подчинена другой; мы, быть можетъ, безбожны потому, что не видимъ достаточно далеко. Впрочемъ, существуетъ ли безконечное множество круговъ, господствующихъ одинъ надъ другимъ; существуетъ ли незыблемое и неподвижное безусловное, окружающее эти безконечные поясы измѣнчиваго и подвижнаго—мы совершенно не знаемъ.

Поэтому, если что нибудь не случалось даже въ огромный промежутокъ времени то мы не въ правѣ еще заключать, что этого не случится никогда. Быть можетъ, міръ есть игра высшаго существа, предметъ опыта какого нибудь внѣмірнаго ученаго, обладающаго послѣдними тайнами бытія. Допустимъ, что геніальный химикъ сумѣетъ когда нибудь разложить простой атомъ. Еще наканунѣ этого открытія сознательныя существа, которыя могутъ жить въ атомѣ, стали бы говорить, подобно намъ: „Міръ неизмѣненъ, вѣченъ“ и лишь въ моментъ открытія узнали бы свою ошибку. Конечно, въ атомѣ не болѣе сознанія, чѣмъ во вселенной,— по крайней мѣрѣ этого ничто не доказываетъ—но, подобно тому, какъ вселенная, безсознательная въ своемъ цѣломъ, заключаетъ въ себѣ сознанія, напримѣръ, человѣческія, которыя не ощущаются въ цѣломъ, точно также атомъ въ своихъ элементахъ можетъ заключать сознанія, не ощутимыя въ цѣломъ. Подобно такому геніальному химику, нѣкоторое высшее существо сдѣлаетъ, быть можетъ, покушеніе на законъ постоянства въ нашей вселенной, не болѣе заботясь о существахъ, ее обитающихъ, чѣмъ работникъ, который мѣситъ глину, заботится о насѣкомыхъ, ведущихъ тамъ свою маленькую жизнь. Возможно поэтому, что и на землѣ когда нибудь откроетъ себя Богъ. Вѣчность вселенной нельзя ставить внѣ сомнѣнія, какъ скоро мы въ

правѣ предположить ея конечность. Высшая безконечность можетъ располагать нисшей, пользоваться ею, примѣнять ее для своихъ цѣлей. „Природа имѣетъ своего виновника“, быть можетъ, не такое неосновательное предположеніе, какъ кажется. Все возможно, даже Богъ. Можно, правда, сказать, что исторія вселенной, на сколько человѣкъ знаетъ эту исторію, не даетъ никакого основанія для такого предположенія. Но изъ того, что Богъ не является въ мірѣ, который мы измѣряемъ и наблюдаемъ, не слѣдуетъ, что не существуетъ богоявленій въ безконечномъ времени. Человѣкъ видитъ не лживо, какъ думаютъ скептики и субъективисты, но ограниченно. Его вселенная велика и стара, но она— конечная величина, прибавленная къ безконечной, а потому равна нулю.

Такимъ образомъ, не невозможно, что за предѣлами познаваемой нами вселенной (все равно, конечной или безконечной), существуетъ безконечность другого порядка, для которой наша вселенная есть лишь атомъ. Эта безконечность, которая для насъ была бы Богомъ, можетъ себя открывать чрезъ промежутки, которые намъ кажутся крайне длинными, но незначительны въ лонѣ безконечнаго. Съ этой точки зрѣнія существованіе Бога съ особой волей, не открываемаго въ нашей вселенной, можетъ считаться возможнымъ въ лонѣ безконечнаго; во всякомъ случаѣ отрицать это столь же легкомысленно,

какъ утверждать [1]). „Мы не знаемъ“, вотъ все, что можно сказать ясно о томъ, что лежитъ за предѣлами конечнаго. Не будемъ ничего ни отрицать, ни утверждать, будемъ надѣяться на возможность того, чего желаемъ [2]).

Все это противорѣчиво, сбивчиво, неясно, порой совсѣмъ непонятно и даже нелѣпо. Невозможно, напримѣръ, понять того, какъ изъ неразумной матеріи образуется разумъ, какъ въ неразумной вселенной можетъ существовать идея, предполагающая собой разумъ, почему эта идея изъ простой возможности можетъ сдѣлаться дѣйствительностью, какимъ образомъ отсутствующій во вселенной Богъ можетъ быть ея идеей, то есть вмѣстѣ отсутствовать и присутствовать, какъ изъ случайности можетъ образоваться математическая точность, то есть закономѣрность, почему математическій порядокъ долженъ свидѣтельствовать противъ существованія въ природѣ направляющей ее разумной воли, тогда какъ въ нашемъ опытѣ такой порядокъ, наоборотъ, ее всегда предполагаетъ, нелѣпыми могутъ показаться разсужденія о боготворческомъ процессѣ, какъ о созиданіи вселенскаго полипа, о безконечномъ организмѣ, хотя организмъ по своему понятію есть законченное и потому ограниченное

---

[1]) Feuilles détachées, pp. 402—417.

[2]) Тамъ же, p. XVII.

цѣлое, о сознательныхъ существахъ въ атомѣ, сравненіе Бога съ ученымъ, производящимъ опыты надъ землей и т. д. Но нужно, по Ренану, помнить, что непослѣдовательность есть существенный элементъ во всѣхъ человѣческихъ дѣлахъ [1]), что всякій законъ, не служащій чистымъ выраженіемъ положительной научной истины, подверженъ капризамъ моды, такъ что формулы, которыя въ одно время кажутся высшимъ воззрѣніемъ на міръ, въ другое вызываютъ улыбку [2]). Главное же не слѣдуетъ забывать, что только что изложенная философія есть простая эпопея о совокупности сущаго и не имѣетъ никакого притязанія на истину [3]). Да и какимъ образомъ передать словами, которыя суть предѣлы, безпредѣльное? Возможно ли выразить невыразимое, сказать несказанное? Языкъ, осужденный на такую пытку, протестуетъ, воетъ, взрываетъ [4]). Поэтому всѣ, терпящіе кораблекрушеніе на морѣ безконечности, заслуживаютъ снисхожденія [5]). Безконечный хохотъ морей, ты ничто въ сравненіи съ тѣми волнами нагроможденныхъ грезъ, чрезъ которыя должны перейти люди, прежде чѣмъ они достигнутъ чего нибудь похожаго на разумъ [6]).

---

[1]) Averroes, p. 170.

[2]) M. Aurèle, p. 146.

[3]) Avenir de la science, p. 313.

[4]) Dialogues et fragments philosophiques, pp. 253—254. 324.

[5]) M. Auréle, тамъ же.

[6]) Drames philosophiques, p. 317.

Впрочемъ, признаться въ безсиліи познать Бога не значитъ его отрицать. Этотъ отказъ есть скорѣе слѣдствіе благочестія, трепещущаго богохульствовать, приписывая Богу то, что онъ не есть. Человѣческая природа трансцендентна: мы не знаемъ, каковъ Богъ, но онъ существуетъ. Этого не можетъ отвергуть никакая наука, напротивъ, всякая наука это утверждаетъ [1]). Никакой формулой нельзя рѣшить безконечныхъ задачъ о Богѣ и человѣческой судьбѣ; никогда не будетъ возможно для человѣка сказать по этимъ вопросамъ слова, которое не было бы по своему нелѣпо; но что важно замѣтить—это то, что отрицаніе въ этихъ вопросахъ еще нелѣпѣе [2]). Богъ истинный, Богъ человѣческаго сознанія—неоспоримъ. Основаніе его бытія—въ непобѣдимой вѣрѣ, а не въ болѣе или менѣе остроумныхъ разсужденіяхъ. Природа—безнравственна; солнце, не закрываясь, смотритъ на самыя вопіющія подлости, улыбается величайшимъ преступленіямъ. Но въ совѣсти возвышается священный голосъ, который говоритъ человѣку о совершенно иномъ мірѣ, о мірѣ идеала, истины, блага, справедливости. Если бы существовала только природа, то можно было бы спрашивать, необходимъ ли Богъ. Но, какъ скоро существуетъ хотя одинъ честный человѣкъ, существованіе Бога доказано. Кто посвящаетъ свою жизнь

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 317.

[2]) Тамъ же, p. 330.

благу, истинѣ, красотѣ, тотъ всего лучше это знаетъ [1]). Словомъ, истиннаго Бога открываетъ нравственное чувство. Если бы люди были только умными, они были бы безбожными; но великія расы нашли въ себѣ самихъ божественный инстинктъ, котораго сила, оригинальность, богатство сіяютъ въ исторіи неподражаемымъ блескомъ. Долгъ, преданность, самопожертвованіе, которыми полна исторія, не объяснимы безъ Бога. Если отвергнуть это великое свидѣтельство природы, нужно быть послѣдовательнымъ, нужно признать, что всѣ честные люди— глупцы, мученики — безумцы. Но утверждать это значило бы столь же формально противорѣчить свидѣтельству человѣческой природы, какъ отрицать правдивость чувствъ. Въ томъ и другомъ случаѣ цѣна отрицанія одинакова, умъ одинаково не можетъ сомнѣваться [2]). Иными словами, Богъ есть произведеніе нравственнаго сознанія, а не знанія и метафизики. Не разумъ, а чувство опредѣляетъ Бога. Поэтому искусство, поэзія и религія въ богословскомъ отношеніи выше философіи [3]). Религіозный человѣкъ тотъ, кто умѣетъ во всемъ находить божественное, а не тотъ, кто проповѣдуетъ о божествѣ какую нибудь сухую и непонятную формулу [4]).

---

[1]) Тамъ же, pp. 249—205.

[2]) Тамъ же, pp. 321—322.

[3]) Тамъ же, p. 323.

[4]) Тамъ же, p. 326.

Истинная религія есть плодъ молчанія и сосредоточенности. Она возникаетъ вмѣстѣ съ нравственной чуткостью въ то мгновеніе, когда добродѣтельный человѣкъ, погружаясь въ себя, прислушивается къ голосамъ, которые въ немъ скрещиваются. Среди этого молчанія успокаиваются всѣ чувства, всѣ внѣшніе звуки умолкаютъ, изъ души исходитъ нѣжный и вкрадчивый шопотъ и напоминаетъ, словно колоколъ отдаленной колокольни, о тайнѣ безконечнаго. Подобно заблудившемуся ребенку, напрасно старающемуся открыть тайну своего неизвѣстнаго рожденія, размышляющій человѣкъ чувствуетъ себя оторваннымъ отъ земли, возвышается надъ ея грязью къ залитымъ солнцемъ областямъ, обоняетъ благовоніе давно протекшихъ дней, и смерть въ образѣ странника стучится въ двери его души, начинающей чувствовать то, чего она не видала въ смутахъ жизни, что смерть для нея была бы сладкой. Она тогда питаетъ увѣренность, что ея дѣла за ней послѣдуютъ; истина ей представляется какъ награда за добрыя дѣла; она видитъ недостаточность всѣхъ преходящихъ формъ для выраженія идеала; слова „бытіе“ и „ничто“ теряютъ противорѣчивый смыслъ; она разсматриваетъ себя съ Богомъ въ отношеніяхъ сына къ отцу, и она возноситъ молитву въ родѣ „Отче нашъ“ [1]).

---

[1]) Questions contemporaines, pp. 469—470.

Говоря проще, религія есть слѣдствіе утонченнаго чувства, главнымъ образомъ эстетическаго, которое въ концѣ сводится къ личному вкусу, такъ что всякая религія есть дѣло вкуса [1]). Чѣмъ сильнѣе духомъ человѣкъ, тѣмъ сильнѣе его чувствс. Предположимъ человѣчество въ десять разъ болѣе сильное, чѣмъ наше; оно было бы безконечно болѣе религіозно. Правдоподобно даже, что, достигнувъ такой высоты, отрѣшившись отъ всякой матеріальной заботы и всякаго эгоизма, въ обладаніи совершеннаго такта и божественно утонченнаго вкуса, постигнувъ низость и ничтожность всего, что не истинно, благо и прекрасно, человѣкъ сдѣлался бы исключительно религіознымъ, былъ бы погруженъ въ непрестанное обожаніе, переходилъ бы отъ экстаза къ экстазу, родился, жилъ и умиралъ въ потокѣ сладострастія [2]).

Допуская, что человѣческій прогрессъ пойдетъ согласно съ предположеніями „философской эпопеи“, за судьбу религіознаго чувства въ ближайшемъ будущемъ нечего опасаться. Если въ настоящее время существуетъ раздоръ между религіей, поэзіей и наукой, то онъ долженъ найти гармонію въ полной рефлексіи. Первичная эпоха была религіозной, но не научной; срединная должна быть, какъ она есть теперь, науч-

---

[1]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. XV.

[2]) Apôtres, p. 385.

ной, но не религіозной; будущая сдѣлается вмѣстѣ религіозной и научной [1]).

Принижать религіозное чувство можно лишь при узости кругозора, отсутствіи жизненнаго опыта, сухости сердца, неспособнаго испытывать своеобразное мистическо-эстетическое наслажденіе, составляющее главное въ этомъ чувствѣ. Человѣкъ съ широкимъ опытомъ признаетъ и обожаетъ красоту всюду, гдѣ встрѣчаетъ оригинальность, откровенное изліяніе инстинктовъ человѣческой природы. Если бы Фейербахъ погрузился въ болѣе щедрые источники жизни, а не въ одинъ только свой исключительный и высокомѣрный германизмъ, то онъ воздержался бы отъ нападокъ на христіанство. Если бы, напримѣръ, сидя на развалинахъ Палатинской горы, онъ внималъ тому, какъ звонъ колоколовъ неумолчно откликается на холмахъ, гдѣ прежде стоялъ Римъ, или если бы онъ съ пустыннаго берега въ Лидо слышалъ, какъ замираетъ на лагунахъ перезвонъ колоколовъ св. Марка; если бы онъ видѣлъ Ассису съ ея мистическими чудесами, великую легенду второго Христа среднихъ вѣковъ, начерченную кистью Чимабуе и Джотто, тогда бы онъ не сталъ бросать позора на цѣлую половину человѣческой поэзіи и не восклицалъ бы такъ, какъ будто въ христіанствѣ желаетъ оттолкнуть отъ себя призракъ Искаріота [2]).

[1]) Avenir de la science, p. 308.

[2]) Études d'histoire religieuse, p. 408.

Да и могло ли произойти что нибудь кромѣ божественнаго въ той восхитительной обстановкѣ, въ которой была колыбель христіанства? Галилея, теперь сожженная солнцемъ и разоренная, была при рожденіи Христа настоящимъ раемъ, смѣющейся страной „Пѣсни пѣсенъ“, страной напѣвовъ любви. Она вся утопала въ зелени; сады были переполнены яблонями, орѣшниками и гранатниками; виноградники давали чудное вино; свѣжіе ручьи журчали по полямъ и въ тѣни деревьевъ. И какая тамъ была очаровательная жизнь. Въ весенніе мѣсяцы луга тамъ покрываются ковромъ цвѣтовъ съ неподражаемой откровенностью красокъ. Животныя тамъ маленькія и необыкновенно кроткія. Стройныя и бойкія горлицы, голубые дрозды, такіе крошечные, что не гнутъ подъ собою травы, хохлатые жаворонки, вьющіеся около самыхъ ногъ путника, маленькія рѣчныя черепахи съ живыми и добрыми глазами, аисты съ стыдливымъ и важнымъ видомъ, которые, сбрасывая съ себя всякій страхъ, подходятъ къ человѣку и, кажется, его къ себѣ подзываютъ. И ни въ какой другой странѣ міра горные хребты не развертываются съ большей гармоніей и не внушаютъ болѣе высокихъ мыслей [1]). И эти горы, и моря, и это лазурное небо, эти возвышенныя долины на горизонтѣ были для Основателя Христіанства не печаль-

[1]) Vie de Jesus, pp. 67—69.

нымъ зрѣлищемъ души, распрашивающей природу о своей судьбѣ, но достовѣрнымъ символомъ, прозрачной тѣнью незримаго міра и новаго неба [1]). Поэтому вся исторія нарождающагося христіанства сдѣлалась чѣмъ то вродѣ прелестной идилліи. Мессія на брачныхъ пиршествахъ, блудница и добрый Закхей, приглашаемые къ его столу, учредители небеснаго царства, словно толпа свадебныхъ дружекъ: вотъ на что Галилея дерзнула, вотъ что она заставила принять. Греція своей скульптурой и поэзіей начертала великолѣпныя картины человѣческой жизни, но безъ убѣгающаго фона и отдаленныхъ горизонтовъ. Галилея, гдѣ не было ни мрамора, ни выдающихся работниковъ, ни тонкаго и изящнаго языка, создала въ уровень народному воображенію самый возвышенный идеалъ, такъ какъ за ея идилліей волнуется судьба людей, и свѣтъ, озаряющій ея картину, есть свѣтъ царствія божія [2]).

Разумѣется, религія истинна только въ ея квинтэссенціи, и всякая религіозная форма несовершенна. Но религія не можетъ существовать безъ формы, и предъявлять къ религіи слишкомъ тонкія требованія значитъ ее разрушать. Если бы философъ, пораженный предразсудками, злоупотребле-

---

[1]) Тамъ же, p. 58.

[2]) Тамъ же, p. 70.

ніями, заблужденіями, вызванными формой, сталъ считать себя въ обладаніи истиной, убѣгая въ абстракціи, то это значило бы, что онъ замѣняетъ дѣйствительность тѣмъ, что никогда не существовало. Мудрецъ тотъ, кто вмѣстѣ видитъ и то, что все есть образъ, предразсудокъ, символъ, и то, что образъ, предразсудокъ, символъ необходимы, полезны и истинны. Догматизмъ есть самомнѣніе, такъ какъ, если среди лучшихъ людей, считавшихъ себя въ различныя времена въ обладаніи истиной, ни одинъ на дѣлѣ не былъ вполнѣ правъ, почему предполагать себя болѣе счастливымъ? Но подобно тому, какъ нельзя укорять художника въ допущеніи дѣтской безсмыслицы за то, что онъ изображаетъ Бога въ конечныхъ формахъ, точно также можно допустить и любить символъ, какъ скоро символъ занялъ свое мѣсто въ человѣческомъ сознаніи.

Пусть подъ религію вѣчно подкапывается одна сторона души, она будетъ вѣчно противостоять, находя опору въ другой. Если бы она была простымъ заблужденіемъ въ родѣ астрологіи, колдовства и другихъ химеръ, вызывавшихъ втеченіе вѣковъ всеобщую вѣру, она была бы сметена наукой, подобно тому, какъ теперь отошла въ нисшіе слои общества вѣра въ нечистыхъ духовъ и колдуновъ. Если бы, съ другой стороны, религія была плодомъ наивнаго разсчета, надѣющагося получить за гробомъ доходъ съ добродѣтели, помѣщенной въ этомъ

мірѣ, то человѣкъ къ ней обращался бы главнымъ образомъ въ минуты эгоизма. На дѣлѣ же человѣкъ бываетъ религіознымъ въ свои наилучшія минуты: лишь когда онъ добръ, можетъ онъ желать соотвѣтствія между добродѣтелью и вѣчнымъ порядкомъ; лишь когда онъ разсматриваетъ вещи безкорыстно, онъ находитъ смерть возмутительной и нелѣпой. Какимъ образомъ не предположить, что человѣкъ въ эти минуты видитъ лучше? Изъ двухъ людей, изъ которыхъ одинъ ведетъ эгоистическую и разсѣянную жизнь, а другой добръ и сосредоточенъ, кто больше правъ? Если бы, какъ желали итальянскіе софисты XVI вѣка, религія была изобрѣтеніемъ простаковъ и слабыхъ, какимъ образомъ могли бы наиболѣе религіозными быть наиболѣе одаренные природой? Скажемъ поэтому смѣло, что религія есть произведеніе нормальнаго человѣка, что человѣкъ бываетъ наиболѣе въ истинѣ, когда онъ наиболѣе религіозенъ и наиболѣе увѣренъ въ безконечной судьбѣ; но устранимъ всякое безусловное довѣріе къ образамъ, служащимъ для выраженія этой судьбы, и будемъ лишь думать, что дѣйствительность должна быть гораздо выше того, что чувству позволительно желать, а фантазіи воображать [1]).

Зная это, современное міропониманіе должно оставлять религіозную идею въ полной неопредѣ-

[1]) Questions contemporaines, pp. 414—416.

ленности и руководствоваться двумя соображеніями:

1) религія будетъ жить въ людяхъ вѣчно;

2) всѣ религіозные символы спорны и преходящи [1]).

Паденіе религіознаго чувства повело бы къ неизмѣримому пониженію нравственнаго и, быть можетъ, умственнаго уровня. Единичныя лица могутъ обходиться безъ религіи, такъ какъ за нихъ религіозны другія. Невѣрующіе увлекаются болѣе или менѣе вѣрующей массой; но въ тотъ день, когда масса утратитъ порывъ, самые храбрые стали бы вяло идти на приступъ. Изъ людей, не вѣрующихъ въ безсмертіе души, можно гораздо меньше извлечь пользы, чѣмъ изъ людей въ него вѣрующихъ. Цѣнность человѣка измѣряется религіознымъ чувствомъ, которое онъ выноситъ изъ ранняго воспитанія и которое разливаетъ благовоніе въ его жизнь. Да и гораздо лучше оставить на своихъ похоронахъ мѣсто музыкѣ и ладану [2]).

Враждебное отношеніе къ религіи нецѣлесообразно поэтому и съ практической точки зрѣнія. Если бы радикальная партія во Франціи была менѣе несвѣдуща въ религіозной исторіи, то она знала бы, что отъ религій легко получить все, если умѣть за нихъ взяться, и нельзя получить ничего, если на нихъ дѣйствовать открытой силой [3]).

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 329.

[2]) Feuilles détachées, pp. XVII—XVIII.

[3]) Histoire du peuple d'Israël, I, p. XXVII.

Всѣ эти разсужденія не могутъ не показаться неудовлетворительными: существо религіи оставляется ими неопредѣленнымъ, взглядъ на нее поверхностный и противорѣчивый, тонъ рѣчи невыдержанный и легкомысленный. Нельзя не найти, что виды Галилеи и встрѣчающіяся въ ней животныя и птицы стоятъ къ христіанству въ слишкомъ далекомъ отношеніи, а отожествленіе ранней исторіи христіанства съ идилліей нельзя не признать даже прямо нелѣпымъ, хотя бы уже потому, что идилліи не кончаются крестной смертью и не влекутъ за собой мученичества. Но Ренанъ въ свою защиту ссылается на то, что эти разсужденія подсказаны добрымъ намѣреніемъ—очистить и оживить религіозное чувство, которое можетъ сохранить за собою господство, лишь принявъ новую степень утонченности [1]). Впрочемъ, всякій служитъ дѣлу по мѣрѣ своихъ силъ и разумѣнія, разсуждаетъ такъ, какъ умѣетъ. Цѣль Ренана не столько въ томъ, чтобы сказать вѣское слово, сколько въ томъ, чтобы получились красивыя страницы, способныя нравиться, въ особенности женщинамъ [2]). Высшей его гордостью было бы, если бы онъ могъ надѣяться, что послѣ его смерти изъ этихъ страницъ составятъ маленькую книжку въ 18-ю долю, переплетутъ ее въ сафьянъ, и обтя-

[1]) Essais de morale et de critique, p. II. Histoire du peuple d'Israël, I, pp. XXVIII—XXIX. Vie de Jesus, p. 6.

[2]) Feuilles détachées, pp. 38—39.

нутая перчаткой стройная дамская ручка будетъ держать ее въ церкви вмѣсто молитвенника, книги несомнѣнно прекрасной, но которой судьба не вполнѣ оправдывается ея содержаніемъ [1]).

Этимъ признаніемъ Ренанъ такъ краснорѣчиво оцѣниваетъ свои религіозныя воззрѣнія, что всякая критика ихъ излишня. Писать о религіи главнымъ образомъ для того, чтобы получились страницы, пріятныя дамамъ—до такого легкомыслія не доходилъ никто другой. Можно, правда, сказать, что это шутка. Но что за шутки въ предисловіи къ научному труду? Впрочемъ, въ шуткахъ сказывается направленіе мысли. Мысль у Ренана, когда онъ обсуждаетъ религіозные вопросы, всюду такъ же поверхностна, какъ въ этой шуткѣ. Быть можетъ даже, послѣдняя глубокомысленнѣе иныхъ его замѣчаній—хотя бы, напримѣръ, того, что религія плодъ молчанія и сосредоточенности, дѣло личнаго вкуса и т. д. Во всякомъ случаѣ эта шутка самое опредѣленное и понятное изъ того, что Ренанъ говоритъ о религіи и по ея поводу.

Совѣсть Ренана совершенно спокойна. Онъ увѣренъ, что свободная мысль никогда не можетъ повредить дѣлу религіи. Человѣкъ никогда не дастъ себя убѣдить, что его судьба одинакова съ судьбою животнаго. Если бы даже это и было доказано, то этому не повѣрятъ. Необходимыя для насъ вѣрова-

---

[1]) Nouvelles études d'histoire religieuse, pp. XX—XXI.

нія стоятъ выше всякихъ нападокъ. Люди слушаютъ мыслителей лишь по скольку ихъ системы не противорѣчатъ сознанію долга и инстинктамъ. Поэтому можно говорить свободно все, что мы думаемъ. Женщина не прекратитъ отъ этого свою радостную пѣснь, дитя не сдѣлается болѣе озабоченнымъ и юность менѣе упоенной; добродѣтельный человѣкъ будетъ по прежнему добродѣтельнымъ; монахъ не перестанетъ изнурять свое тѣло, мать исполнять свои обязанности, птица пѣть, пчела приносить медъ. Свободно философствовать можно лишь тогда, когда знаешь, что философія ни къ чему не приведетъ. Звоните, колокола, звоните вволю. Если бы мы могли предполагать, что отъ нашихъ разсужденій они замолчатъ, тогда нужно было бы сдѣлаться робкимъ и скромнымъ [1]). Но нѣтъ, они не замолчатъ, радостная хвала природы будетъ раздаваться вѣчно, всегда будутъ чистыя души, чтобы пѣть гимны мистическаго брака. Вотъ великое, верховное, вѣчное утѣшеніе: думать, что составляешь часть цѣлаго, которое несомнѣнно идетъ къ своей цѣли, и что поэтому можно допускать всякія ошибки, не опасаясь повредить ладьѣ, на которой плывешь [2]).

Обсуждать съ полной свободой нравственные вопросы столь же безопасно, какъ и религіозные. Правда, рука дрожитъ, когда впервые дотрогиваешься

[1]) L'Ecclésiaste, pp. 87—89.

[2]) Dialogues et fragments philosophiques, pp. 32—33, 44.

до хрупкихъ устоевъ той шатающейся развалины, которую называютъ нравственностью; кажется чудомъ, что она могла противостоять столькимъ причинамъ, ведущимъ къ ея паденію и разложенію. Поэтому колеблешься содѣйствовать, хотя бы только на видъ, разрушителямъ плода столькихъ пожертвованій, столькихъ слезъ и крови. Но эти сомнѣнія при ближайшемъ разсмотрѣніи быстро разсѣиваются. Становится очевиднымъ, что кто усматриваетъ въ критикѣ и свободномъ развитіи ума враждебныя силы человѣческому счастью, тотъ не только не можетъ способствовать этому счастью, но идетъ прямо къ противоположной цѣли. Уничтоженіе критическаго духа необходимо влечетъ за собою отупѣніе и легкомысліе, равносильныя отрицанію всякой нравственности, достойной этого имени, и порождаетъ большее зло, чѣмъ то, за которое дѣлаютъ отвѣтственной свободную мысль [1]). Ясный взглядъ полезенъ всюду; знать истину всегда хорошо. Всякая ясно сознанная истина всегда дѣлаетъ сильнымъ или осмотрительнымъ—двѣ вещи безусловно необходимыя для всѣхъ тѣхъ, кого долгъ, неблагоразумное честолюбіе или злая судьба заставляютъ вмѣшиваться въ человѣческія дѣла. Да и можетъ ли истина нуждаться въ полумракѣ, безконечное опасаться вольнаго воздуха [2])? Съ другой стороны, если

[1]) Essais de morale et de critique, pp. VI—VII.

[2]) Drames philosophiques, pp. 262—264.

признать, что невѣжество есть необходимый удѣлъ человѣчества, то такое человѣчество недостойно того, чтобы существовать [1]). Впрочемъ, нельзя доказать, что страны, въ которыхъ духъ критики не развитъ или заглушенъ, нравственнѣе тѣхъ, гдѣ этотъ духъ царитъ. Все, что возвышаетъ человѣка и заставляетъ его заботиться о душѣ, всегда служитъ къ его улучшенію и очищенію; качество теорій при этомъ мало значитъ. Читатели, способные найти вкусъ въ сочиненіи, способны найти въ немъ и ядъ, если онъ тамъ есть. Если они возмущаются, тѣмъ лучше; это значитъ, что у нихъ чувство нѣжное и тонкое, а объ этомъ имъ нечего жалѣть. Они даже должны быть благодарны тому, кто искушаетъ ихъ вѣру; если они устоятъ въ ней, то они могутъ считать себя привилегированными, такъ какъ обладаютъ непоколебимой истиной [2]). Мины, подводимыя мыслителемъ, могутъ казаться опасными лишь для поверхностнаго взгляда: своими электрическими разрядами онѣ только пробуждаютъ людей, которые безъ этого бы спали [3]). Неустойчивость человѣческой нравственности не можетъ приводить дальновидный умъ въ смущеніе, такъ какъ онъ знаетъ, что благо и истина вопреки всему пролагаютъ себѣ дорогу среди того отвратительнаго болота, въ которомъ вопятъ и гніютъ

---

[1]) Feuilles détachées, pp. 436—437.

[2]) Essais de morale et de critique, pp. VII—VIII.

[3]) Discours et conférences, p. 226.

всѣ нелѣпости, всѣ грубости, всѣ нечистоты, переполняющія землю [1]).

Но въ чемъ заключается эта нравственность, къ обсужденію которой мы приступаемъ съ такими оговорками?

На этотъ вопросъ Ренанъ не даетъ никакого сколько нибудь состоятельнаго отвѣта. Въ нравственной области его мысль колеблется еще больше, чѣмъ въ религіозной, впадаетъ въ еще большій разладъ сама съ собою, дозволяетъ себѣ еще болѣе непринужденную вертлявость, мѣняющую смыслъ словъ по требованію капризной минуты. То подъ нравственностью онъ подразумѣваетъ добродѣтель, честность, искренность въ обычномъ значеніи этихъ словъ, то добродѣтель у него превращается въ обманъ или глупость, а нравственность отожествляется съ плутовствомъ и развратомъ. Въ концѣ онъ выдумываетъ нѣкоторую обоюдоострую мудрость, которая должна въ себѣ совмѣщать несовмѣстимое—нравственность и безнравственность. Разсматриваемое какъ опредѣленная теорія, все это ученіе на столько сбивчиво и противорѣчиво, что не можетъ быть названо ни нравственнымъ, ни безнравственнымъ, оно по своему содержанію просто ничтожно. Въ противность поклонникамъ Ренана, усматривающимъ мудрость въ каждомъ его словѣ, въ данномъ случаѣ

[1]) Drames philosophiques, p. 254.

приходится удивляться не его мудрости, но тому, какъ могъ его широкій и просвѣщенный умъ дойти до явныхъ нелѣпостей, исключающихъ даже возможность всякой критики. Къ какой бы эквилибристикѣ мысль ни прибѣгала, добродѣтель всегда будетъ обозначать совсѣмъ другое, а не обманъ и развратъ, точно такъ же, какъ огонь никогда не будетъ водой и вода огнемъ. Отожествлять, какъ это дѣлаетъ въ нижеслѣдующемъ Ренанъ, Предвѣчнаго съ тираномъ, занимающимся маккіавелевской политикой, говорить, что въ основаніи вселенной лежитъ обманъ и что все великое въ исторіи создано плутовствомъ, сравнивать вселенную съ банкирскимъ домомъ, котораго активъ есть міровое благо, объяснять безсмертіе души снимками съ негативовъ вещей, мечтать о водвореніи ада на землѣ, видѣть въ пьянствѣ „погруженіе въ идеалъ“, обоготворять половую любовь и пѣть ей нѣжныя пѣсни, чтобы въ концѣ погрузить всѣхъ и все въ пучину нигилизма—это ли не крайняя вершина скоморошества, до которой способна дойти мысль? И эта мудрость плѣняетъ въ Франціи лучшіе умы, дѣйствуетъ тамъ съ силой навожденія. Для лицъ, выросшихъ на другой почвѣ, такое скоморошество не только не кажется привлекательнымъ, оно отталкиваетъ. Ренанъ, желая удостовѣрить законность разврата, даетъ замѣтить, что развратъ въ исторіи тоже, что навозъ въ садоводствѣ, такъ какъ изъ разврата, словно изъ навоза,

выростаютъ прекрасные цвѣты [1]), что слѣдовательно и здѣсь цѣль оправдываетъ средства, и что если въ одномъ отношеніи развратъ и навозъ дурны, то въ другомъ хороши. Оставляя въ сторонѣ значеніе разврата въ исторической жизни, которое во всякомъ случаѣ пока подъ вопросомъ, нельзя не согласиться, что навозъ полезенъ для растеній. Однако въ немъ самомъ нѣтъ ничего плѣнительнаго, самъ по себѣ онъ просто зловонные отбросы. Да и не одни только прекрасные цвѣты выростаютъ изъ навоза; чаще появляются дурные и ядовитые. Дурманъ и бѣлена—обычное украшеніе навозной почвы. Теоріи Ренана—тѣ же дурманъ и бѣлена, только воздѣланные, съ вычурными цвѣтами и влекущимъ запахомъ.

Быть можетъ, кто нибудь пожалѣетъ, что въ лицѣ Ренана, когда онъ оправдываетъ развратъ, человѣческая природа становится ниже скотской. Скотъ даетъ волю всѣмъ своимъ склонностямъ, не сознавая того, что хорошо и что дурно, тогда какъ Ренанъ потворство дурнымъ влеченіямъ возводитъ въ правило. Не забудемъ однако, что онъ проводилъ свою мудрость только теоретически, а на практикѣ ей не слѣдовалъ и жилъ безупречно. Если такъ, то зачѣмъ эта проповѣдь? Въ тайникъ его души мы проникнуть не можемъ, но онъ защищаетъ эту проповѣдь тѣмъ, что истина не боится ника-

[1]) См. ниже, стр. 294.

кихъ разсужденій и что каковы бы ни были по качеству философскія теоріи, онѣ всегда цѣнны уже потому, что пробуждаютъ самодѣятельность мысли. Въ этомъ случаѣ Ренанъ вполнѣ правъ. Истина не мерцающій свѣтильникъ, гаснущій при всякомъ вѣяніи, но свѣточъ сильный, горящій тѣмъ ярче, чѣмъ больше его раскачиваютъ, и жизнь мысли не въ снѣ, а въ дѣятельности, и потому чѣмъ больше мыслитель тревожитъ мысль, тѣмъ лучше ей служитъ. Теоріи Ренана возмущаютъ умъ до самыхъ его заповѣдныхъ глубинъ и даютъ ему сильную работу, которая въ концѣ ставитъ его неминуемо на истинный путь—прямо противоположный тому, по которому шелъ Ренанъ, такъ какъ его направленіе ведетъ къ полному отрицанію, снимающему самого себя: если все ничтожно, то ничтожно и то, что все ничтожно. Но мысль безъ дѣятельности оставаться не можетъ и потому необходимо переходитъ на положительную почву.

Что такое нравственный долгъ? Какъ отличить хорошее отъ дурного? Должны ли мы быть эгоистами или отдавать себя на служеніе людямъ? И если нашъ долгъ служить людямъ, то какъ и чѣмъ мы должны служить? На эти вопросы, по Ренану, отвѣчаетъ личное чувство каждаго и не можетъ быть никакого общаго отвѣта.

Еще меньше можно опредѣлить, чѣмъ должна руководствоваться общественная жизнь. Какъ долго

національный духъ будетъ еще господствовать надъ индивидуальнымъ эгоизмомъ и кто въ ходѣ вѣковъ больше всего окажетъ услугу людямъ—патріотъ либералъ, реакціонеръ, соціалистъ, ученый—этого никто не знаетъ, хотя и было бы важно знать, такъ какъ то, что хорошо при одномъ предположеніи, дурно при другомъ. Люди направляются, не зная, куда желаютъ идти. Смотря по цѣли, которую ставятъ, то, что дѣлается, напримѣръ, теперь во Франціи, прекрасно и отвратительно. Политика есть какъ бы пустыня, по которой идутъ на угадъ, къ сѣверу, къ югу, такъ какъ нужно куда нибудь идти. Въ общественномъ порядкѣ никто не знаетъ, гдѣ благо. Утѣшительно по крайней мѣрѣ то, что непремѣнно придешь куда нибудь. Въ игрѣ стрѣльбы въ цѣль, забавляющей людей, точка, въ которую попадаютъ, кажется той, въ которую мѣтили. Поэтому у людей съ доброй волей совѣсть всегда покойна. Среди всеобщаго сомнѣнія, въ которомъ мы живемъ, несомнѣнную цѣну имѣетъ свобода, такъ какъ она есть способъ предоставлять дѣйствіе той тайной пружинѣ, которая движетъ людьми и волей неволей ихъ всегда влечетъ [1]).

Эта тайная пружина есть желаніе, вложенное въ насъ Провидѣніемъ. Всякое желаніе есть иллюзія, нѣтъ ни одного желаннаго предмета, въ которомъ

---

[1]) Avenir de la science, p. XVII.

мы бы не признали, послѣ овладѣнія имъ, совершенной тщеты, но вещи устроены такъ, что ничтожество желанія замѣчается лишь послѣ его удовлетворенія [1]). Поэтому всякій идеалъ есть всегда утопія, химера, иллюзія, обманъ. Однако жизнь безъ этого обмана была бы безцвѣтной, и потому люди охотно поддаются ему, любятъ, чтобы ихъ обманывали. Чѣмъ крѣпче вѣра въ обманъ, тѣмъ прозрачнѣй кажется намъ наша судьба и, наоборотъ, чѣмъ трезвѣе взглядъ на жизнь, тѣмъ большимъ мракомъ застилается ея цѣль и значеніе.

Благодаря непрерывной работѣ девятнадцатаго столѣтія, знаніе фактовъ значительно возросло. За то и человѣческая судьба сдѣлалась темнѣе, чѣмъ когда либо. Если не предположить возврата вѣры, то нельзя предусмотрѣть средства дать людямъ пріемлемый для нихъ катехизисъ. Возможно поэтому, что за паденіемъ вѣры въ сверхъестественное послѣдуетъ паденіе идеалистическихъ вѣрованій, и что фактическое пониженіе нравственности начнется съ того дня, когда люди увидятъ дѣйствительность. Силой химеръ удалось достигнуть отъ доброй гориллы удивительнаго нравственнаго напряженія; если отнять химеры, исчезнетъ часть дѣланной энергіи, которую онѣ пробуждали. Возьмите у работника

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 27.

водку, которою онъ подкрѣплялся, но не требуйте отъ него такого же количества работы [1]).

Всѣ крупныя историческія событія совершаются народомъ, но народъ любитъ, чтобы его обманывали, и потому во всякомъ великомъ движеніи скрываются такъ называемые плутовство и обманъ. Дельфійскій оракулъ, способствовавшій величію Греціи, былъ органомъ греческихъ мудрецовъ, вдохновлявшихъ Пиѳію, которую всѣ считали вдохновленной богомъ. Всѣ древніе законодатели выдавали свои законы за внушенные богами. Цезарь не вѣрилъ въ то, что онъ сынъ Венеры. Франція не была бы тѣмъ, что она теперь, если бы не вѣрила въ теченіе тысячи лѣтъ въ священный сосудъ въ Реймсѣ. Великіе люди становятся жертвой насилій, дѣлаемыхъ надъ ними ихъ вѣкомъ, и вынуждаются на уступки, которыхъ требуетъ преходящая необходимость. Такова судьба: всякая идея теряетъ кое что изъ своей чистоты, какъ скоро стремится къ осуществленію. Философъ, который, зная это, уединяется въ себя и окружаетъ себя траншеями своего благородства, несомнѣнно, заслуживаетъ высокой похвалы. Но нельзя порицать и того, кто принимаетъ человѣчество съ его иллюзіями и пытается дѣйствовать на него при его помощи. Намъ съ нашей немощью легко называть это обманомъ; гордые нашей трус-

[1]) Avenir de la science p. XVIII. Feuilles détachées, pp. 383—384.

ливой честностью, мы хулимъ героевъ, принявшихъ жизненную борьбу въ другихъ условіяхъ, отличающихся отъ нашихъ. Когда мы съ нашей щепетильностью сдѣлаемъ то, чего они достигли своимъ обманомъ, тогда мы будемъ въ правѣ относиться къ нимъ строго. Единственно виновными въ этомъ случаѣ бываютъ люди, которые желаютъ, чтобы ихъ обманывали. Исторія была бы невозможна, если бы не допускать для искренности различныхъ мѣрокъ. Вѣра не знаетъ другого закона кромѣ интереса къ тому, что признаетъ истиной. Преслѣдуемая ею цѣль кажется для нея безусловно святой, и она нисколько не стѣсняется приводить въ пользу своего тезиса дурные доводы, если хорошіе не ведутъ къ успѣху [1]).

Вѣрующіе живутъ тѣнью, мы, люди мудрости, живемъ тѣнью тѣни. Чѣмъ люди будутъ жить послѣ насъ [2])? Если мудрость отказывается утѣшать это бѣдное человѣчество, обездоленное судьбой, то пусть на это приключеніе попытается безуміе [3]).

Зачѣмъ этотъ обманъ? Должно быть, для блага. Конечный результатъ вселенной, надо думать, хорошъ, иначе эта вселенная, существовавшая безконечное время, давно бы разрушилась. Предположимъ

---

[1]) Vie de Jesus, pp. 263—264. 268—269.

[2]) Feuilles détachées, p. XVII. Dialogues et fragments philosophiques, p. XIX.

[3]) Apôtres, p. 13.

банкирскую контору, существующую отъ вѣчности. Если бы въ ея основаніи лежалъ хотя какой нибудь недостатокъ, она бы давно лопнула. Если бы балансъ вселенной не заключался съ прибылью для акціонеровъ, она давно перестала бы существовать. Изъ великаго оборота добра и зла получается прибыль, благопріятный остатокъ. Этотъ излишекъ добра и есть основаніе для существованія и сохраненія міра. Зачѣмъ существовать, если нѣтъ выгоды существовать? Такъ легко не существовать [1]).

Поэтому долгъ великаго человѣка содѣйствовать обману, положенному въ основаніе вселенной, а наилучшее примѣненіе генія въ томъ, чтобы быть соучастникомъ Предвѣчнаго, способствовать его политикѣ, сотрудничать ему въ устройствѣ таинственныхъ силковъ природы, помогать обманывать индивидовъ для блага цѣлаго, быть орудіемъ великой иллюзіи, все собой наполняющей [2]).

Предоставимъ же себя цѣлямъ природы, будемъ простаками, добровольными простаками въ ея коварствѣ; войдемъ въ ея цѣли, смиримся. Зло состоитъ въ возмущеніи противъ природы, когда мы замѣчаемъ ея обманъ. Да, конечно, она насъ обманываетъ, но подчинимся ей. Ея цѣль благая; будемъ желать того, чего она желаетъ. Добродѣтель есть

---

[1]) Feuilles détachées, p. 427.

[2]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 45. Feuilles détachées, p. 440.

настойчивый *аминь* въ подтвержденіе темныхъ цѣлей, которыя преслѣдуетъ для насъ Провидѣніе [1]).

Быть соучастникомъ природы въ обманѣ значитъ самому обманывать. Для блага цѣлаго необходимо проникнуться правиломъ, что цѣль оправдываетъ средства, нужно проповѣдовать людямъ добродѣтель, зная, что они не извлекутъ изъ этого никакой личной пользы, нужно быть какъ бы полководцемъ, ведущимъ бѣдныхъ людей на дѣло, котораго они не могутъ ни понять, ни оцѣнить [1]).

Впрочемъ, понять этого дѣла не можетъ никто, даже великій человѣкъ или геній. Мы работаемъ для нѣкотораго бога, но какого, не знаемъ, подобно пчелѣ, которая, сама того не зная, приготовляетъ медъ для человѣка. Пчелы перестали бы работать, если бы могли узнать, что у нихъ возьмутъ медъ или что ихъ убьютъ въ награду за ихъ труды. Человѣкъ, хотя понимаетъ, что трудится не для себя, а для другихъ, все таки идетъ впередъ. Мы подобны милліонамъ феллаховъ, работающихъ надъ пирамидой. Работа эта безъ названія, но продолжается [1]). Въ этой пирамидѣ блага, воздвигаемой послѣдовательными усиліями существъ, считается каждый камень. Мы живемъ соразмѣрно принимае-

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 46.

[2]) Тамъ же, p. 45.

[3]) Feuilles détachées, p. 440.

мому нами участью въ построеніи идеала. Задача людей—благая; кто способствуетъ торжеству блага, возсіяетъ словно звѣзда. Даже если земля послужитъ впослѣдствіи глыбой для возведенія будущаго зданія, мы будемъ въ родѣ геологической раковины въ камнѣ, предназначенномъ для построенія храма. Эта бѣдная улитка, которой слѣдъ остался въ толщинѣ нашихъ стѣнъ, еще живетъ тамъ немножко, составляетъ еще немножко часть нашего дома [1]).

Было бы, конечно, справедливымъ, если бы люди, какъ этого требуютъ рабочіе на фабрикахъ, были участниками въ прибыляхъ отъ вселенской работы, или бы по крайней мѣрѣ знали что нибудь о результатѣ своего труда. Но хотя мы допущены къ работѣ, мы не допущены къ дивидентамъ, мы даже не знаемъ, существуютъ ли они; да и самое жалованье намъ платятъ довольно плохо. Другіе бы составили стачку; но мы, мы все таки продолжаемъ [2]). Мы бываемъ добродѣтельны безъ увѣренности, что не поступаемъ глупо, но если бы мы и знали вполнѣ достовѣрно, что дѣлаемъ глупость, мы все таки стали бы ее дѣлать [3]). Мы должны утѣшаться тѣмъ, что нашими слезами создается нѣкоторый богъ [4]), что когда нибудь научное всемогущество

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, pp. 137—138.

[2]) Feuilles détachées pp. 440—441.

[3]) Drames philosophiques, p. 260.

[4]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 143.

будетъ сосредоточено въ рукахъ добраго и честнаго существа, которое пожелаетъ воскресить прошлое, чтобы загладить неисчислимыя неправды [1]).

Мы можемъ надѣяться на благость этого бога, котораго создаемъ. Онъ и теперь благъ, но не всемогущъ. Со временемъ, онъ будетъ всемогущъ. Онъ и теперь дѣлаетъ все, что можетъ для справедливости; но впослѣдствіи, когда онъ будетъ располагать капиталомъ всей вселенной, онъ будетъ въ состояніи сдѣлать все. Можно поэтому думать о великомъ удовлетвореніи, и такъ какъ сонъ въ милліонъ лѣтъ не болѣе продолжителенъ, чѣмъ сонъ въ одинъ часъ, то царство справедливости, о которомъ мы мечтаемъ, покажется намъ непосредственнымъ продолженіемъ часа смерти.

Такимъ образомъ воскресеніе мертвыхъ будетъ послѣднимъ актомъ міра, дѣломъ всемогущаго и всевѣдущаго Бога, который можетъ и желаетъ быть справедливымъ. Оно будетъ изъятіемъ, божественнымъ отборомъ, наградой, даруемой только тѣмъ, въ комъ царила любовь къ добру и истинѣ. Это будетъ чудомъ, то есть сознательнымъ божественнымъ дѣйствіемъ. Подобныя дѣйствія могутъ сдѣлаться закономъ вселенной, когда бытіе достигнетъ совершеннаго сознанія.

---

[1]) Тамъ же, p. 136.

Нужно думать, что все, существовавшее когда либо, существуетъ еще гдѣ нибудь какъ изображеніе, которое можетъ быть оживлено. Оттиски всѣхъ вещей сохраняются. Звѣзды на предѣлахъ вселенной получаютъ въ настоящій часъ образы дѣйствій, происшедшихъ вѣчность тому назадъ. Отпечатки всего существовавшаго хранятся въ различныхъ поясахъ безконечнаго пространства. Верховный фотографъ можетъ сдѣлать съ нихъ новые снимки. По своей мудрости, онъ оживитъ лишь то, что служило для блага и, слѣдовательно, для истины. Въ этомъ будетъ наша награда. Низшія души получатъ ее въ низшихъ наслажденіяхъ, которыхъ онѣ искали [1]),

Душа безсмертна потому, что, ускользая отъ рабскихъ условій матеріи, она достигаетъ безконечности, выходитъ изъ пространства и времени, вступаетъ въ область чистой идеи, въ міръ истины, блага, красоты, гдѣ нѣтъ ни предѣловъ, ни конца. Она сама создаетъ себѣ и безконечныя награды, такъ какъ познаетъ высшее наслажденіе въ добродѣтели, и безконечныя наказанія, такъ какъ передъ ея судомъ—единственнымъ, который чего нибудь стоитъ—низость и зло встрѣчаютъ лишь презрѣніе [2]). Пусть мы будемъ прахомъ втеченіе милліардовъ лѣтъ, пусть молекулы,

---

[1]) Feuilles détachées, pp. 391—394.

[2]) Essais de morale et de critique, p. 61.

составляющія наше существо, будутъ разъединены и испытаютъ неисчислимыя превращенія, мы воскреснемъ въ томъ мірѣ, созиданію котораго способствовали. Наше дѣло восторжествуетъ. Нравственное чувство получитъ тогда удовлетвореніе; вѣра, утверждающая вопреки видимости, будетъ оправдана, какъ предвидѣвшая истину; религія окажется истиной. Наше усиліе установить царство блага и истины будетъ камнемъ, положеннымъ въ фундаментѣ вѣчнаго храма [1]).

Мечты іудействующихъ христіанъ, ожидавшихъ въ концѣ человѣческой исторіи царствія божія, могутъ сдѣлаться истиной. Міръ, управляемый теперь слѣпымъ или безсильнымъ сознаніемъ, быть можетъ, будетъ нѣкогда управляться болѣе разумнымъ сознаніемъ. Тогда всякая несправедливость будетъ устранена, будутъ высушены всѣ слезы [2]).

Эти доводы въ пользу воздаянія за гробомъ очень шатки; но гдѣ взять другіе, болѣе убѣдительные? [3]). Впрочемъ, если бы надежды на загробную жизнь и не оправдались, все таки нѣтъ основанія быть пессимистомъ. Пусть добродѣтель есть западня, разставленная

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 188.

[2]) Feuilles détachées, pp. 441—442.

[3]) Drames philosophiques, p. 263.

для благородныхъ сердецъ, самыя святыя надежды только обманъ, человѣческая жизнь лишь сутолка, красота пустая иллюзія чувствъ, все таки чистое изслѣдованіе влечетъ своей прелестью. Предполагая даже, что міръ есть кошмаръ больного божества или случайное появленіе на лонѣ ничтожества,—станемъ ли мы его считать мечтой или дѣйствительностью, созданіемъ свѣта или тьмы,—онъ переполненъ тайнами, къ постиженію которыхъ мы неотразимо стремимся, О немъ можно говорить сколько угодно дурного, это ему не помѣшаетъ быть самымъ страннымъ и привлекательнымъ изъ зрѣлищъ [1]).

Возраженія пессимистовъ противъ господства во вселенной блага теряютъ силу противъ вѣрующихъ, что міръ предоставленъ произвольной игрѣ собственныхъ силъ. Природа есть какъ-бы паровикъ съ высокимъ давленіемъ, она выкидываетъ изъ себя все, что не удерживаетъ стѣна невозможнаго. Заблужденія пессимистовъ коренятся въ ихъ антропоцентризмѣ, наивномъ тщеславіи человѣка, оцѣнивающаго міръ съ точки зрѣнія человѣческаго благополучія, на подобіе того, какъ еслибы муравей сталъ строить теорію вселенной, принимая въ разсчетъ лишь удобства своего маленькаго общества [2]).

---

[1]) Essais de morale et de critique, p. 100.

[2]) Feuilles détachées, p. 389.

Въ человѣкѣ сознаніе обнаруживается наиболѣе ярко, но отсюда не слѣдуетъ, что человѣкъ есть цѣль или центръ міра. Возможно, что все человѣческое развитіе значитъ не больше, чѣмъ мохъ или плѣсень, появляющіеся на влажной поверхности [1]). Въ нашемъ міропониманіи мы не должны подражать тѣмъ смѣшнымъ провинціаламъ, которые не видятъ дальше своей колокольни и воображаютъ, что весь міръ заботится объ ихъ дѣлахъ. Люди во вселенной тоже, что муравейникъ въ лѣсу. Внутреннія революціи муравейника, его упадокъ и разрушеніе—происшествія второстепенныя въ исторіи лѣса [2]). Самыя крупныя событія въ человѣческой исторіи, если стать на точку зрѣнія всей земли, не болѣе важны, чѣмъ движенія въ осиномъ ульѣ или суматоха муравейника. Если стать на точку зрѣнія солнечной системы, то наши революціи едва ли получатъ широту колебанія атомовъ. Съ точки зрѣнія Сиріуса онѣ еще меньше. Съ точки зрѣнія безконечнаго онѣ ничто. Эта послѣдняя точка зрѣнія единственно правильная, только съ нея можно обсуждать человѣческую жизнь въ ея истинномъ значеніи [3]). Остережемся поэтому думать, будто наши требованія слу-

---

[1]) Avenir de la science, p. XIII.

[2]) Feuilles détachées p. 437.

[3]) Тамъ же pp. 156—157.

жатъ мѣрой истины. Природа не обязана сообразоваться съ нашими маленькими удобствами. На заявленіе человѣка, что онъ не можетъ быть добродѣтельнымъ безъ той или другой химеры, природа вправѣ отвѣчать: „Тѣмъ хуже для тебя. Твои химеры не могутъ меня побудить измѣнить порядокъ роковой необходимости“ [1]).

Если возможно говорить о томъ, что природа заботится о людяхъ, то развѣ въ томъ смыслѣ, что она стремится произвести самые разнообразные типы. Задача исторіи въ томъ, чтобы послѣдовательно углубить всѣ способы жизни, выдѣлить то, что они содержатъ истиннаго, и откинуть дурное и безполезное[2]). Жизнь особей при этомъ не принимается въ разсчетъ: важно то, что бы были представлены красивыя и характерныя формы и что-бы совершенство стало плотью [3]).

Характерныя формы человѣческой жизни находятъ наиболѣе полное выраженіе въ великихъ людяхъ. Поэтому можно сказать, что цѣль природы—создавать великихъ людей. Безъ такихъ людей не можетъ быть ничего великаго; спасеніе только черезъ

---

[1]) Тамъ же, p. 438.

[2]) Avenir de la science, p. 384.

[3]) Тамъ же, p. 386.

нихъ [1]). Дѣло не столько въ томъ, чтобы производить просвѣщенныя массы, сколько въ томъ, чтобы производить великихъ геніевъ и людей, способныхъ ихъ понимать. Если для этого необходимо невѣжество массъ,—тѣмъ хуже. Природа не останавливается передъ такими соображеніями, она жертвуетъ цѣлыми видами, что бы другіе получили необходимыя условія для жизни [2]). Что за дѣло, если милліоны ограниченныхъ существъ, обитающихъ нашу планету, не знаютъ или отрицаютъ истину; лишь бы разумные ее видѣли и ей поклонялись [3]). Природа на всѣхъ ступеняхъ заботится единственно о томъ, что-бы достигнуть высшаго результата посредствомъ пожертвованія низшими существованіями. Развѣ полководецъ или глава государства считаетъ бѣдныхъ людей, которыхъ онъ заставляетъ убивать? Міръ есть рядъ человѣческихъ жертвоприношеній; ихъ можно смягчить радостью и покорностью. Животныя, которыя служатъ пищей геніальному или добродѣтельному человѣку, должны были бы чувствовать себя довольными, если бы знали, кому служатъ. Все зависитъ отъ цѣли [4]). Эта цѣль

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 113.

[2]) Тамъ же, pp. 103—104.

[3]) Тамъ же, p. 98.

[4]) Тамъ же, pp. 128—129.

есть прогрессъ, который все узаконяетъ [1]). Вселенная поступаетъ съ нами какъ злокозненный тиранъ, подчиняетъ насъ своимъ цѣлямъ маккіавелевскими хитростями [2]). Мы должны подражать ей. Если бы католичество было истиной, то нашли бы полное оправданіе и жестокости Филиппа II, и костры Пія V, и вся политика инквизиціи [3]).

Личность не есть цѣль въ себѣ, но средство для достиженія цѣли—торжества разума. Кто больше содѣйствуетъ этой цѣли, тотъ и большаго стоитъ. Смерть француза есть событіе въ нравственномъ мірѣ; смерть казака есть лишь физіологическій фактъ: машина дѣйствовала и перестала дѣйствовать. А смерть дикаря—это фактъ не болѣе значительный для міра, чѣмъ простая поломка часовой пружины, и даже этотъ послѣдній фактъ можетъ имѣть болѣе важныя послѣдствія, такъ какъ часовой механизмъ опредѣляетъ время для человѣческой мысли и побуждаетъ культурныхъ людей къ дѣятельности [4]).

Ученый есть плодъ отреченія, напряженія, самопожертвованія нѣсколькихъ поколѣній; онъ выражаетъ собою огромную экономію жизни и силы. Необхо-

---

[1]) Avenir de la science, p. 381.

[2]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 30.

[3]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 299.

[4]) Avenir de la science, p. 522.

дима особая почва, что бы онъ могъ появиться [1]). Геній происходитъ изъ цѣлой части человѣчества, положенной подъ прессъ, дистиллированной, очищенной, сконцентрированной [2]). Низшіе люди должны терпѣливо сносить такой прессъ, сознавая, что они подготовляютъ почву для порожденія генія. Равенство, о которомъ мечтаетъ демократія, есть нелѣпица, такъ какъ природа не уравниваетъ вершины, а наоборотъ, ихъ воздвигаетъ. Наша жизнь была бы невозможной, еслибы мы не давали себѣ права подчинять себѣ животныхъ; не болѣе возможной она была бы и въ томъ случаѣ, если бы согласно съ демократической теоріей всѣ люди отъ рожденія получили равныя права на имущество и общественное положеніе. Такой порядокъ былъ бы справедливымъ только на видъ, на дѣлѣ же былъ-бы концомъ всякой добродѣтели [3]). Матеріальный трудъ есть и долженъ быть рабомъ умственнаго труда; низшія расы должны рабствовать высшимъ. Позволительно прибѣгать къ бичу, чтобы заставлять строить пирамиды, быть тираномъ, что-бы обезпечить духу торжество [4]).

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 102.

[2]) Тамъ же, p. 73.

[3]) Réforme intellectuelle et morale, p. 243.

[4]) Avenir de la science, p. 522.

Исторія должна, въ силу господствующаго въ ней прогресса, производить изъ человѣческой почвы наилучшіе цвѣты. Эти цвѣты не демократія, а аристократія. Демократія есть царство посредственности и слабости, уничтоженіе всякаго великаго почина, благосостояніе только кажущееся, а не дѣйствительное [1]). Все лучшее создано аристократіей духа. Она создала грамматическій языкъ, законы, нравственность, разумъ [2]), Отечество, честь, долгъ стали священными благодаря небольшому числу людей, выдвинувшихся изъ толпы, которая, какъ скоро предоставляется себѣ самой, все это священное покидаетъ или унижаетъ. Душа народности требуетъ для своей охраны оффиціальной коллегіи, на которую была бы возложена такая задача [3]). Французская революція, провозгласившая равенство, внесла въ жизнь разлагающій ядъ [4]). Народныя массы тѣмъ цѣннѣе, чѣмъ благопріятнѣе для развитія аристократіи духа. Лучше безнравственный народъ, чѣмъ народъ фанатическій, такъ какъ безнравственныя народныя массы не стѣснительны для аристократовъ ума, тогда какъ фанатическія одуряютъ міръ, а міръ, обреченный на глупость, не заслуживаетъ вниманія, пускай лучше погибнетъ [5]).

---

[1]) Essais de morale et de critique, p. X.

[2]) Drames philosophiques, p. 99.

[3]) Réforme intellectuelle et morale, p. 67.

[4]) Essais de morale et de critique, p. X.

[5]) Avenir de la science, p. X.

Лишь аристократъ обязанъ быть добродѣтельнымъ, народъ имѣетъ право быть безнравственнымъ; можно даже сказать, что обезпеченность нашей свободы въ веселой безнравственности народа [1]). Въ особенности теперь, когда вѣра въ загробную жизнь падаетъ, слѣдуетъ пріучать людей смотрѣть на жизнь какъ на сносную, иначе они возмутятся [2]). Современныя общества трезвости опираются на великолѣпныя намѣренія, но въ то же время и на недоразумѣніе. Вмѣсто того, чтобы уничтожать опьяненіе въ тѣхъ, кто въ немъ нуждается, не лучше ли было бы попытаться сдѣлать его кроткимъ, любезнымъ, проникнутымъ нравственнымъ чувствомъ? Такъ много людей, для которыхъ часы опьяненія, если не говорить о часахъ любви, бываютъ такими, когда они становятся наилучшими [3]). Зачѣмъ препятствовать имъ погружаться на мгновеніе въ идеалъ? [4])

Для пониманія смысла жизни, быть можетъ, нужно выдти изъ слишкомъ узкаго человѣческаго кругозора и искать справедливости, великаго умиротворенія, окончательнаго рѣшенія, полной гармоніи лишь въ болѣе обширномъ цѣломъ, подчиняющемъ себѣ человѣческую жизнь, въ томъ таинственномъ цѣломъ, которое будетъ пребывать, когда люди

[1]) Drames philosophiques, p. 374. Feuilles détachées, p. 383.

[2]) Feuilles détachées, 382.

[3]) Тамъ же, p. 384.

[4]) Drames philosophiques, p. 173.

исчезнутъ [1]). Можно мечтать о томъ, что когда нибудь появятся существа, въ сравненіи съ которыми человѣкъ будетъ столь же ничтоженъ, какъ животныя въ сравненіи съ человѣкомъ; что подобно тому, какъ люди произошли изъ животныхъ, изъ людей произойдетъ божество и что оно будетъ пользоваться человѣкомъ такъ же, какъ человѣкъ животнымъ. Человѣкъ не задумывается надъ тѣмъ, что каждый его шагъ, каждое его движеніе губитъ миріады маленькихъ животныхъ. Но съ умственнымъ превосходствомъ неразъемлемо превосходство религіозное; этихъ будущихъ нашихъ господъ мы должны воображать воплощеніемъ добра и истины, такъ что будетъ отрадно повиноваться имъ [2]).

Однако это возможно не для нашей планеты. На ней идеалъ и дѣйствительность не могутъ ужиться. Міръ, впредь до новаго распоряженія, отданъ немилосердно въ жертву пошлости и посредственности; дѣло, нравящееся благороднымъ душамъ, навѣрное будетъ побѣждено, и, то что кажется утонченнымъ людямъ истиннымъ въ литературѣ и поэзіи, оказывается всегда ложнымъ въ грубомъ мірѣ совершившихся фактовъ [3]), такъ какъ человѣческій духъ раздавленъ колоссальнымъ грузомъ глупости [4]).

---

[1]) Avenir de la science, p 387.

[2]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 119.

[3]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 122.

[4]) Тамъ же, p. XIV.

На землѣ первое мѣсто занимаютъ эгоизмъ великихъ, глупость народа, безсиліе мыслителей, безчестіе представителей религіи, обманъ патріотизма, иллюзіи либерализма, неизлѣчимая низость и подлость людей [1]). Чтобы водворить на ней царство разума, необходимо было бы учредить ужасающую власть, у которой въ распоряженіи былъ бы адъ, не вымышленный, а настоящій [2]). Тогда истина восторжествуетъ. Знаніе есть сила—это лучшее слово, которое когда либо было сказано. Теорія, которая построитъ страшныя машины, все укрощающія и все подчиняющія, неотразимо докажетъ свою мощь. Человѣческія силы могли бы такимъ образомъ сосредоточиться въ рукахъ небольшой лиги, способной распоряжаться даже судьбою планеты и держать въ страхѣ этой угрозой весь міръ. Въ тотъ день, когда нѣсколько привилегированныхъ разума будутъ обладать средствомъ разрушить планету, будетъ учреждено ихъ господство. Эти привилегированные станутъ властвовать безусловнымъ терроромъ, такъ какъ въ ихъ рукахъ будетъ жизнь всѣхъ; можно даже сказать, что они будутъ какъ боги. Тогда сила на дѣлѣ положитъ основаніе царству разума, не прибѣгая къ обману, этому оружію слабыхъ. Культъ разума будетъ тогда истиной, такъ какъ тотъ, кто

[1]) Drames philosophiques, p. 254.

[2]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 108.

станетъ противоборствовать наукѣ, кто не будетъ признавать ея царства, за это сейчасъ же поплатится жизнью. Это будетъ осуществленіемъ того мщенія боговъ, о которомъ мечтали раньше; но дѣйствительность будетъ выше сказки, такъ какъ мщеніе боговъ было медленно, недостовѣрно, несовершенно и, какъ мы теперь знаемъ, вымышлено, тогда какъ постановленія научнаго закона будутъ неизбѣжны, станутъ совершаться мгновенно и неотразимо, какъ дѣйствія природы [1]).

Такой деспотизмъ можетъ показаться безнравственнымъ. Но оцѣнивать жизнь только по руководству нравственности было бы одностороннимъ. Вѣрнѣе смотрѣть на нее съ эстетической точки зрѣнія. Задача исторіи въ томъ, чтобы развернуть пестроту всѣхъ формъ, на какія способно человѣческое существованіе. Чѣмъ живописнѣе исторія, тѣмъ она лучше. Кто понялъ это, тотъ не станетъ жалѣть о томъ, что какая нибудь оригинальная форма жизни была, есть или будетъ, а скорѣе сталъ бы печалиться, если бы такой формы не было, такъ какъ жизнь тогда была бы на одну своеобразность бѣднѣе [2]). Мыслитель стоитъ передъ міромъ не какъ проповѣдникъ или реформаторъ, но какъ простой зритель; онъ знаетъ, что міръ ему

---

[1]) Тамъ же, pp. 112—114.

[2]) Avenir de la science pp. 385. 523.

принадлежитъ только какъ предметъ изученія, и если бы онъ даже могъ его преобразовать, то быть можетъ, нашелъ бы теперешнее состояніе настолько интереснымъ, что для такой реформы у него не хватило бы духа [1]).

При такомъ взглядѣ на вещи многое изъ того, что для нравственной оцѣнки кажется дурнымъ, можетъ представляться прекраснымъ. Напримѣръ, для нравственнаго міропониманія едва ли можетъ быть что нибудь хуже Нерона, который былъ развратникомъ, предателемъ, злодѣемъ, совмѣщалъ въ себѣ всѣ пороки, и въ то-же время позволялъ себѣ жаловаться на отсутствіе добродѣтели у людей. Однако онъ выражаетъ собою нѣкоторый типъ, при томъ, если смотрѣть на исторію какъ на театральное представленіе, довольно законченный и красивый. Не будемъ поэтому имъ возмущаться; лучше назовемъ его бѣднымъ молодымъ человѣкомъ, или еще лучше, будемъ рукоплескать: онъ нуженъ былъ для довершенія драмы. Одинъ только разъ, тысячелицая природа, ты сумѣла найти актера, достойнаго такой роли! [2])

Даже шабашъ вѣдьмъ, если бы онъ существовалъ, представлялъ бы извѣстную цѣну, какъ одно изъ любопытныхъ проявленій жизни. Разумѣется, лицамъ съ щепетильной нравственностью туда ходить не слѣдовало бы, но можно было бы дорожить

---

[1]) Études d'histoire religieuse, p. XXI (1 éd).

[1]) Antechrist, pp. 313—314.

тѣмъ, что были люди, которые туда ходили, и можно бы съ удовольствіемъ читать ихъ живыя и картинныя описанія [1]).

Не одна только нравственность создаетъ совершенство; стремленія къ истинѣ и красотѣ точно также цѣнны. Образецъ человѣчества данъ самимъ человѣчествомъ. Самая совершенная жизнь та, которая представляетъ жизнь человѣчества во всей ея полнотѣ. Но культурное человѣчество не нравственное только; оно также ученое, любопытное, поэтическое, страстное [2]).

Пусть жизнь каждаго изъ насъ разцвѣтетъ какъ можно пышнѣе. Правда, не всѣ обнаруженія жизни одинаково прекрасны. Но возможна ли красота безъ разнообразія, пестроты, не лучше ли она выдѣляется по противоположности съ безобразіемъ? И какимъ образомъ провести рѣзкую грань между добромъ и зломъ, удовольствіемъ и страданіемъ, красотой и безобразіемъ, умомъ и безуміемъ, когда они переходятъ другъ въ друга такими же неразличимыми оттѣнками, какъ переливы на шеѣ голубя? [3])

Порокъ для нравственнаго сознанія дуренъ, но въ празднествѣ вселенной чувствовался бы недочетъ,

---

[1]) Feuilles détachées, p. 347.

[2]) Avenir de la science, p, 12.

[3]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 70.

если бы міръ былъ населенъ лишь фанатическими иконоборцами и добродѣтельными увальнями [1]). Мы должны служить намѣреніямъ великаго хороначальника, правящаго міромъ, заботиться о томъ, чтобы спектакль міра былъ какъ можно блестящѣе и разнообразнѣе. [2]) Такъ называемый развратъ на дѣлѣ часто бываетъ лишь болѣе полной и болѣе свободной жизнью, великимъ пробужденіемъ человѣческихъ силъ [3]). Міръ есть огромный кругъ, въ которомъ гніеніе происходитъ изъ жизни и жизнь изъ гніенія. Цвѣтокъ родится изъ навоза; превосходный плодъ образуется изъ соковъ, вытянутыхъ изъ нечистотъ. Бабочка при своихъ превращеніяхъ бываетъ то роскошной, то отвратительной. Во всемъ этомъ есть цѣль, и хотя нѣтъ доказательствъ, что міръ управляется разумомъ, есть достовѣрныя указанія на существованіе темнаго сознанія, глубокаго стремленія къ достиженію цѣли, поставленной въ безконечности. Великій слѣпой сѣятель разсыпаетъ сѣмена такъ щедро, что каждый хорошій уголъ земли приноситъ свой плодъ. Роковая игра, происходящая въ глубокихъ источникахъ жизни и дѣлающая то, что мозгъ выходитъ удачнымъ или негоднымъ, типъ

---

[1]) Antęchrist, qp. 140—141.

[2]) Questions contemporaines, p, 205.

[3]) Saint Paul, p. 334.

женщины очаровательнымъ или смѣшнымъ, повторяется такъ много разъ, что за красотой и истиной будущее обезпечено. Даже смерть не нарушаетъ прелести жизни. Чаша жизни восхитительна. Не разумно возмущаться тѣмъ, что въ ней видно дно. Въ томъ и существо чаши, что она можетъ быть исчерпана. Пусть атомы, изъ которыхъ мы сложены, требуютъ для себя свободы: имъ хочется сыграть пѣсенку въ другомъ мѣстѣ [1]). Посмотрите на цвѣты: можно ли не восхищаться ими? Но изъ нихъ только одинъ почти лишенъ красоты: это цвѣтокъ желтый, сухой, черствый, блеклый, такъ называемый безсмертникъ (иммортель). Гораздо лучше роза, хотя она и слишкомъ скоро отцвѣтаетъ [2]).

Всѣ наши помыслы, чувства, страсти вложены въ насъ природой. Но она—обнаруженіе божества, и потому къ нему можно найти доступъ всѣми путями, которые жизнь передъ нами открываетъ: религіей, нравственностью, удовольствіемъ, обожаніемъ красоты, любовью, поэзіей [3]). Красота въ глазахъ совершенной мудрости не пустое преимущество, опасность или неудобство; она есть даръ Бога, какъ и добродѣтель. Она стоитъ добродѣтели: красивая женщина столь же хорошо выражаетъ одну изъ сто-

---

[1]) Drames philosophiques, pp. 244—245. Histoire du peuple d'Ispaël, IV, p. 353.

[2]) Discours et conférences, p. 209.

[3]) Feuilles détachées, p. 426.

ронъ божественнаго плана, одну изъ божественныхъ цѣлей, какъ геніальный человѣкъ или добродѣтельная женщина [1]). Половая любовь, служащая предметомъ всякаго рода насмѣшекъ, нападокъ, издѣвательствъ, глумленій есть самое важное дѣло во вселенной. Она есть истинный Орфей, извлекшій человѣка изъ животнаго. Благодаря любви у всего живущаго есть свой часъ доброты, для самаго низкаго существа на мгновеніе разверзается свинцовое небо. Сила, создающая въ природѣ цвѣтокъ, въ мірѣ животномъ красоту, въ мірѣ человѣческомъ добродѣтель, очарованіе, стыдливость, должна быть великой, чистой и святой [2]). Разногласіе половъ, объединяющееся на должной высотѣ въ божественномъ созвучіи, откуда происходитъ совершенный аккордъ творенія, есть основной законъ міра. Въ растительномъ царствѣ эти таинственныя влеченія сказываются въ цвѣткѣ, этой не знающей себѣ равной загадкѣ, передъ которой наше легкомысліе проходитъ съ тупымъ невниманіемъ, въ цвѣткѣ, этомъ блестящемъ и очаровательномъ словѣ, которое есть какъ бы благоговѣніе земли передъ незримымъ женихомъ всегда по одному и тому же обряду. Маленькій цвѣтокъ, который человѣкъ едва замѣчаетъ, столь-же прекрасенъ, какъ большой цвѣ-

---

[1]) Marc Aurèle, p. 554.

[2]) Drames philosophiques, pp. 405—406.

токъ человѣческой красоты. Природа влагаетъ въ оба одинаковое качество; одно и то-же существо отражается въ обоихъ [1]). Въ философіи будущаго любовь несомнѣнно займетъ великое мѣсто, и тогда будетъ казаться одинаково глупымъ и пошлое любовное легкомысліе, и притворная щепетильность напускного стыда. Истина не должна подчиняться ничтожеству людей, измѣряющихъ все своими мелкими мыслями. Философъ не можетъ отвѣчать за глупость мужика, который проглотилъ бы великолѣпные духи вмѣсто того, что бы ихъ понюхать [2]). Для мыслителя любовь есть откровеніе безконечнаго, урокъ, научающій насъ божественному, путь къ божеству. Она есть священнодѣйствіе, религіозное мгновеніе, когда человѣкъ возвышается надъ своей обычной посредственностью, видитъ свои способности наслажденія и сочувствія доведенными до высшаго предѣла, и въ то же время передаетъ жизнь, общается этимъ съ безконечнымъ [3]). Любовь и религія по существу тожественны. [4])

Предположимъ людей наканунѣ внезапной и неизбѣжной катастрофы—конца міра. Какое чувство обнаружилось бы тогда съ полной искренностью? Любовь. Она бы вспыхнула тогда съ яростью, невозможной теперь, когда ее обуздываютъ различными мѣрами, необ-

[1]) Feuilles détachées, p. 421—422.

[2]) Drames philosophiques, p. 406.

[3]) Feuilles détachées, p. XXXIII.

[4]) Тамъ же, p. 65.

ходимыми въ цѣляхъ общественной нравственности. Но если бы люди стали вдругъ лицомъ къ лицу съ неотразимой смертью, то всѣ условности пали бы и заговорила бы только одна природа; самый могучій изъ порывовъ возвратилъ бы свои права; изъ всѣхъ грудей вырвался бы крикъ радости при сознаніи, что можно вполнѣ законно приступить къ дереву, окруженному столькими проклятіями. Спокойствіе, вызванное увѣренностью, что для любви не наступитъ завтра, породило бы чувство, способное въ нѣсколькихъ часахъ сосредоточить безконечное. Люди испили бы безъ задней мысли полную чашу могучаго любовнаго напитка, который бы заставилъ ихъ умереть отъ любви. Послѣдній ихъ вздохъ былъ бы словно поцѣлуемъ сочувствія вселенной и быть можетъ тому, что кроется за ея предѣлами. Смерть наступила бы среди самаго высшаго обожанія и среди самой совершенной молитвы [1]).

Любовь мимолетна, но изъ этого не слѣдуетъ, что она суета. Все мимолетно; но мимолетное бываетъ

---

[1]) Drames philosophiques, pp. 411—412, предисловіе къ L'Abbesse de Jouarre, въ которой эта беззастѣнчивая теорія изображена въ лицахъ. См. особенно act II, sc. II. Даже самые ревностные защитники Ренана вынуждены признать, что l'Abbesse de Jouarre (а сдѣдовательно и только что изложенная теорія) есть „плодъ заблужденія нравственнаго инстинкта у Ренана". Darmesteter, La vie de E. Renan, p. 277.

порой божественнымъ. Посмотрите на бабочку: она скорѣе цвѣтокъ другого существа, чѣмъ самостоятельное существо. Бабочка—цвѣтокъ червя, какъ цвѣтокъ—только мгновенье въ жизни растенія. Созданіе на первый взглядъ мало одаренное, бѣдное жизнью и сознаніемъ, какъ бы осужденное быть въ природѣ образцомъ безобразнаго и блѣднаго существованія, созданіе, которое составляетъ простое число и заполняетъ одну изъ пустотъ на безконечной лѣстницѣ—это созданіе вдругъ пробуждается. Тяжелое ползающее насѣкомое становится крылатымъ, идеальнымъ, вся его жизнь—воздушной; существо земное, вылѣпленное изъ грязной влаги, оно дѣлается гостемъ воздуха, сыномъ дня. Кто сотворилъ это чудо? Любовь Бабочка—это время любви. Не удивляйтесь, что она такъ разстилаетъ свои крылья, ласкаетъ всякій цвѣтокъ, всюду даетъ волю своей прихоти. Въ ея глазахъ все золото, все для нея утопаетъ въ этомъ пылающемъ воздухѣ, создающемъ красоту вещей. Счастливое существо! Оно въ извѣстный часъ разцвѣтаетъ, сбрасываетъ тяжелую одежду изъ грязи, ведетъ въ упоеніи нѣсколько мгновеній самую небесную жизнь, затѣмъ умираетъ. Оно цвѣтетъ лишь для того, чтобы умереть. Лишь только утолитъ оно свою жажду, лишь изопьетъ полную чашу радости, оно перестаетъ жить. Счастливица! Для нея любить—значитъ жить; полюбить—значитъ умереть. И въ сознаніи этого маленькаго существа сосредоточивается такъ

много страсти, что его мимолетная жизнь выше жизни самыхъ могучихъ существъ и цѣннѣе жизни огромнаго числа людей. Короткій сіяющій блескъ, цвѣтокъ одного дня, привѣтъ тебѣ, возлюбленная Богомъ, тебѣ, чья жизнь въ нѣсколькихъ часахъ содержитъ три божественныхъ состоянія—цвѣсти, любить, умирать. [2])

Поэзія точно также открываетъ намъ небо. Ея лучшіе созданія — словно истеченія свыше, которыя, падая въ душу капля за каплей, проходятъ чрезъ нея какъ воспоминанія объ иномъ мірѣ. Въ поэзіи скрещиваются всѣ ощущенія жизни, такія неопредѣленныя, такія глубокія и проницательныя, что если испытывать ихъ долго, кажется, можно умереть, не извѣстно отъ чего—отъ горечи или блаженства [2]).

Если многообразны пути къ божеству, то столь-же различны и пути къ спасенію. Всякій можетъ спасаться какъ хочетъ и умѣетъ. Средство спасенія не для всѣхъ одинаково. Для однихъ это добродѣтель, для другихъ пылъ къ истинѣ; для иныхъ—любовь къ искусству, еще для иныхъ—любопытство, честолюбіе, путешествіе, роскошь, женщины, богатство; на самой низшей ступени—морфій и вино. Добродѣтельные люди находятъ награду въ самой добродѣтели; у тѣхъ, кто ею не обладаетъ, есть удовольствіе [3]).

---

[1]) Drames philosophiques, pp. 30—32.

[2]) Essais de morale et de critique, p. 384.

[3]) Feuilles détachées, pp. 382—383.

О порокахъ могутъ скорбѣть лишь живущіе за тѣмъ великимъ пологомъ изъ полосатой парчи, ситца и коленкора, которымъ католичество скрываетъ міръ, но какъ скоро этотъ пологъ разорванъ, вселенная представляется въ своемъ безконечномъ блескѣ, природа въ полнотѣ своего величія [1]). Однако и за этимъ пологомъ можно вести пріятное существованіе: въ рай, какъ его изображаетъ схоластика, войти трудно, но и стремиться не за чѣмъ, такъ какъ тамъ скучно; въ чистилище попасть легко, а тамъ жизнь вполнѣ сносная. Если же попадешь въ адъ, то можно сочинить весьма тонкую челобитную, въ которой можно доказать, что не мы одни виновны въ нашихъ грѣхахъ, и вызвать этой челобитной снисхожденіе [2]).

Въ общемъ нельзя не признать, что въ человѣческой жизни нѣтъ такого положенія, куда бы не проникалъ лучъ солнца. Если дѣйствительность кажется очень дурной, то ее можно украсить воображеніемъ [3]). Кто считаетъ свою жизнь невыносимой, можетъ отъ нея освободиться [4]). При такомъ взглядѣ на вселенную нельзя не вкушать ее съ наслажденіемъ [5]).

---

[1]) Тамъ же, p. 370.

[2]) Тамъ же, p. 270. Также p. 79.

[3]) Тамъ же, p. 383.

[4]) Тамъ же, p. 385.

[5]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 373.

Конечно, можно было-бы желать, чтобы въ мірѣ разумъ проявлялся больше, чѣмъ теперь, что-бы въ немъ было поменьше болѣзней и страданій. Но современное состояніе міра таково, какимъ оно неизбѣжно должно быть въ силу царящей въ немъ необходимости; и болѣзни и страданія, непріятныя сами по себѣ, служатъ двигателемъ жизни. Словно сердце, переполненное безсильной и неопредѣленной любовью, вселенная живетъ въ вѣчныхъ мукахъ превращенія [1]). Лучшимъ ея подобіемъ и той степени сознанія, которую необходимо предположить въ ея цѣломъ, можетъ служить жемчужная улитка. Въ глубинѣ пучины темныя зерна создаютъ нѣкоторое сознаніе съ очень дурными служебными ему органами, но въ тоже время поразительно способное достигать своей цѣли. То, что называютъ болѣзнью этого маленькаго живого міра, производитъ выдѣленіе идеальной красоты, которое люди вырываютъ другъ у друга какъ драгоцѣнность. Общая жизнь вселенной точно такъ же, какъ жизнь этой улитки, неопредѣленна, темна, стѣснена и потому медленна. Страданіемъ создается духъ, умственное и нравственное движеніе. Болѣзнь міра, или, если хотите, перлъ міра, есть духъ, который есть цѣль, конечная причина, послѣдній и несомнѣнно самый блестящій плодъ обитаемой нами вселенной [2]).

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques, p. 23.

[2]) Feuilles détachées, pp. 442—443. Dialogues et fragments philosophiques, p. 23.

Предоставимъ поэтому, не сокрушаясь, свершать нашей планетѣ ея судьбы. Наши вопли тутъ безсильны, наше ворчанье было бы неумѣстнымъ. Нельзя быть увѣреннымъ, что судьба земли не будетъ неудачной, какъ это вѣроятно случалось для безчисленныхъ міровъ; возможно даже, что наше время впослѣдствіи будетъ считаться высшей точкой, перейдя которую люди начали опускаться. Но вселенная не знаетъ отчаянія; она вновь начнетъ свое неудавшееся дѣло; каждая неудача оставляетъ ее юной, проворной, полной самообмана. Смѣлѣй, смѣлѣй, природа. Продолжай, словно нѣмая и слѣпая морская звѣзда, прозябающая на днѣ моря, свою темную работу жизни; упорствуй, возобновляй въ милліонный разъ разрывающуюся петлю своей сѣти, оттачивай буравъ, сверлящій на послѣднихъ предѣлахъ достижимаго колодезь, изъ котораго брызнетъ живая вода. Стремись, стремись къ цѣли, въ которую ты не попадаешь отъ вѣчности. У тебя для опытовъ безконечное пространство и безконечное время. Когда имѣешь право безнаказанно ошибаться, можно всегда быть увѣреннымъ въ успѣхѣ [1]).

Часто создаютъ себѣ безпокойство разными нравственными сомнѣніями и вопросами. Но выйти изъ подобнаго рода затрудненій далеко не такъ трудно, какъ обыкновенно кажется. Нравственныя цѣли все-

---

[1]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. XX.

ленной скрыты отъ насъ, быть можетъ, самимъ Провидѣніемъ, въ полной темнотѣ. Въ этой области играютъ въ пари, вытаскиваютъ жребій, какой попадется, а въ дѣйствительности никто не знаетъ ничего. Мы готовы биться объ закладъ, что внутреннее вдохновеніе, заставляющее насъ признавать долгъ, есть нѣкоторый оракулъ, непогрѣшимый голосъ, идущій отвнѣ и соотвѣтствующій объективной дѣйствительности. Мы полагаемъ наше благородство въ этомъ настойчивомъ утвержденіи, и мы поступаемъ хорошо. Слѣдуетъ оставаться при такой привычкѣ даже вопреки очевидности. Однако, есть почти столько же вѣроятія, что истина въ прямо противоположномъ. Возможно, что эти возвышенные голоса происходятъ отъ благородныхъ иллюзій, поддерживаемыхъ привычкой, и что міръ есть лишь забавная шутка, о которой не заботится никакой богъ. Поэтому намъ слѣдуетъ устроиться такъ, чтобы при томъ и другомъ предположеніи не попасть вполнѣ впросакъ. Нужно слушаться этихъ возвышенныхъ голосовъ, однако такъ, что-бы въ случаѣ если второе предположеніе окажется истиннымъ, мы не очутились бы въ слишкомъ глупомъ положеніи. Если міръ не есть что нибудь важное, то легкомысленными окажутся догматики, а свѣтскіе люди, которыхъ богословы считаютъ вѣтрогонами, будутъ истинными мудрецами.

Цѣлесообразна поэтому нѣкотораго рода обоюдоострая мудрость, приспособленная одинаково для обѣихъ возможностей, нѣкоторый средній путь, на которомъ ни въ какомъ случаѣ намъ не пришлось бы говорить: „Значитъ, мы ошиблись.“ Въ особенности надо быть осторожнымъ за другихъ. За свой счетъ можно рисковать сильно; но у насъ нѣтъ права играть за другихъ. Когда заботишься о душахъ, нужно выражаться съ достаточной осторожностью, что бы, при предположеніи великаго банкротства, тѣ, которые имъ будутъ затронуты, не сдѣлались слишкомъ крупными жертвами.

На обѣ руки! Быть готовымъ ко всему, вотъ въ чемъ,быть можетъ, мудрость. Предаваться, смотря по времени, увѣренности, скептицизму, оптимизму, иронiи, вотъ средство быть увѣреннымъ; что по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыя мгновенія находишься въ истинѣ. Вы скажете, что и такимъ образомъ не будешь вполнѣ правымъ. Несомнѣнно, но такъ какъ нѣтъ никакого основанія думать, что такой удѣлъ достанется кому нибудь, то благоразумно успокоиться на болѣе скромныхъ притязаніяхъ.

Лишь при такомъ взглядѣ возможна веселость, а веселость есть философская мудрость, такъ какъ она какъ будто говоритъ природѣ, что мы ее точно такъ же ставимъ ни во что, какъ и она насъ; если міръ есть плохая шутка, то веселостью мы дѣлаемъ ее хорошей. Съ другой стороны, если вселен-

ной правитъ милостивая и благосклонная мысль, то мы войдемъ въ намѣренія этой верховной мысли много лучше радостнымъ смиреніемъ, чѣмъ мрачной сухостью раскольника и вѣчной плаксивостью вѣрующаго.

Теперь о философіи нельзя говорить иначе, какъ съ улыбкой. Мы должны быть добродѣтельными; но мы вправѣ къ добродѣтели присоединять, какъ личную поправку, иронію. Этимъ мы воздаемъ кому слѣдуетъ насмѣшкой за насмѣшку; мы играемъ такъ же, какъ съ нами играютъ. Мы хотимъ, что бы чувствовалось, что если мы принимаемъ обманъ, то сознательно и по доброй волѣ. Мы заранѣе готовы потерять проценты съ нашей добродѣтели; но мы не желаемъ быть смѣшными, если будетъ казаться, будто мы на нихъ слишкомъ разсчитывали. Говорить обо всемъ этомъ положительнымъ тономъ значило бы опасаться, какъ бы не показалось, что мы слишкомъ попались въ западню, разставленную для нашей простоты [1]).

Мудрецъ долженъ понять, что такъ какъ мы не способны рѣшить ни одной изъ метафизическихъ задачъ, которыя мы имѣли неблагоразуміе себѣ поставить, то въ войнѣ между религіями и системами ему остается воздерживаться, улыбаться, про-

---

[1]) Feuilles detachées, pp. 394—398. Drames philosophiques, p. 174.

повѣдовать терпимость, человѣчность, благодѣяніе безъ всякихъ претензій, веселость. Замѣнять одинъ предразсудокъ другимъ значитъ оказывать плохую услугу бѣдному человѣчеству. Радикальное средство дано Эпикуромъ, который однимъ ударомъ поканчиваетъ и съ религіей, и съ ея предметомъ, и со всѣми бѣдствіями, которыя она насаждаетъ [1]). Неизмѣримая рѣка забвенія насъ увлекаетъ къ безымянной пропасти. О, бездна, ты единственное божество. Слезы всѣхъ народовъ — истинныя слезы, мечты всѣхъ мудрецовъ содержатъ часть истины. На землѣ все символъ и сонъ. Боги преходятъ, какъ люди, и было бы дурно, если бы они были вѣчны. Наша вѣра не должна насъ сковывать. Мы воздаемъ ей должное, когда старательно завертываемъ ее въ пурпуровый саванъ, въ которомъ покоятся мертвые боги [2]).

Можно поэтому идти на встрѣчу своей судьбѣ другимъ путемъ — не путемъ веселья, но сожалѣнья и презрѣнья, основанными на безусловной скукѣ вслѣдствіе яснаго убѣжденія, что въ этомъ мірѣ все суетно и неосновательно. Кто проникнется такимъ убѣжденіемъ, тотъ достигнетъ совершенной доброты и вмѣстѣ совершеннаго успокоенія—буддійской нирваны. Движенія жизни въ душѣ

---

[1]) Marc Aurèle, pp. 376—377.

[2]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 72.

такого человѣка почти такъ-же тихи, какъ едва замѣтный шумъ воздуха въ гробѣ, и мудрецъ тогда можетъ смотрѣть съ улыбкой на смерть, которая утрачиваетъ для него смыслъ [1]).

Этой исповѣдью нигилизма, которой вѣнчается мудрость Ренана, мы заканчиваемъ анализъ его воззрѣній.

Нужно ли входить въ ихъ подробную критическую оцѣнку? Что можно сказать о религіи, священнодѣйствующей невѣріемъ, о философіи, отвергающей всякіе устойчивые принципы, о нравственности, оправдывающей развратъ, о политическихъ теоріяхъ, мечтающихъ о деспотизмѣ и дозволяющихъ для блага немногихъ избранныхъ спаивать народъ? Міропониманіе Ренана не только полно взаимноуничтожающихъ себя противорѣчій, которыя бросаются въ глаза всякому, но и подсѣкаетъ себя въ самомъ корнѣ своимъ основнымъ положеніемъ: все есть обманъ, все однаково истинно и не истинно, хорошо и дурно. Если все обманъ, то обманъ и то, что все обманъ; если все одинаково истинно, то истинно и то, что не все одинаково истинно; если все одинаково истинно и хорошо, то истинно и хорошо міровоззрѣніе прямо обратное проводимому Ренаномъ, а это послѣднее въ такомъ случаѣ должно быть ничтожнымъ и дурнымъ. Почва, на которой Ренанъ пытается обосновать свое міро-

[1]) Marc Aurèle, p. 482.

пониманіе, подобна непрерывно вертящемуся и ни къ чему не приводящему колесу. Мыслитель, старающійся держаться на такой почвѣ, долженъ быть очень искуснымъ эквилибристомъ. Такая эквилибристика можетъ быть остроумной, но она простая забава, впрочемъ невсегда безвредная. Для способныхъ отнестись къ ней критически она во всѣхъ случаяхъ безобидна, но для умовъ легкомысленныхъ она должна быть признана ядомъ, въ особенности когда примѣняется къ вопросамъ, касающимся устоевъ религіозной и нравственной жизни. Растлѣвающее дѣйствіе воззрѣній Ренана не въ безпредѣльной широтѣ его кругозора, внушающей къ нему удивленіе, и не въ смѣломъ полетѣ мысли, ставящемъ его въ ряды наиболѣе почтенныхъ поборниковъ ея свободы, но въ томъ, что, раздвигая до безконечности предѣлы своего міропониманія, онъ уничтожилъ въ прахъ все конечное и злоупотребилъ свободой мысли шутливымъ отношеніемъ ко всему, что люди привыкли считать святымъ и высокимъ, далъ понять, что такимъ отношеніемъ можно не только доставить себѣ дешевое удовольствіе, но и легко стяжать славу мудреца, и въ недалекихъ умахъ поселилъ ту отталкивающую заносчивость, которая для себя находитъ единственное оправданіе въ дерзости и наглости отрицанія. Словомъ, Ренанъ можетъ считаться однимъ изъ крупнѣйшихъ воспитателей современнаго распутства мысли, составляющаго худшую язву второй половины девятнадцатаго вѣка.

Но если ядовитъ плодъ диллетантизма, то самъ онъ съ его вычурными узорами, съ разноцвѣтными красками, съ тонкимъ благоуханіемъ, не можетъ не казаться восхитительнымъ. Развѣ не отрадно, не сладко, не изящно играть идеями, ласкать ими свой умъ, извлекать изъ нихъ драгоцѣнный ароматъ и умащать имъ всю жизнь? Вещи отъ этого удивительно измѣняются: онѣ становятся красивѣе, получаютъ смыслъ, понятный лишь намъ однимъ, говорятъ языкомъ, который мы въ нихъ влагаемъ, поютъ намъ хоромъ пѣснь о нашемъ превосходствѣ. Для другихъ, для толпы,—унизительная наивность принимать слова за то, что ими желаютъ сказать, вещи за то, чѣмъ онѣ обыкновенно кажутся; для насъ, мудрецовъ,—гордое удовольствіе снимать съ вещей и словъ ихъ безусловность, схватывать ихъ таинственные оттѣнки, заставлять играть ихъ многообразныя грани. Для другихъ, для толпы,—вѣчная пошлость разсматривать неизвѣстное словно сквозь плоское и безцвѣтное стекло; для насъ, мудрецовъ,—наслаждаться упоительнымъ зрѣлищемъ радужныхъ переливовъ этого неизвѣстнаго, сіяющаго для насъ подобно солнцу въ граняхъ алмаза. Для другихъ, для толпы,—молиться въ укромныхъ углахъ храма; для насъ, мудрецовъ,—обходиться съ Богомъ какъ съ ровней, снисходительно терпѣть его царство наряду съ нашимъ, чтобы онъ могъ быть свидѣтелемъ нашего превосходства [1]).

[1]) Rod, Le sens de la vie, pp. 256—257.

Общеизвѣстенъ фактъ, что чѣмъ поверхностнѣе философское міровоззрѣніе, тѣмъ больше сторонниковъ оно находитъ вслѣдствіе своей общедоступности, прикрывающей пустоту простотою. А у Ренана его разлагающая философія одѣта во всю роскошь поэтическихъ красокъ, выступаетъ во всей неотразимой прелести яснаго, свѣтлаго и музыкальнаго стиля. Своихъ воззрѣній Ренанъ не обосновываетъ никакими доказательствами, такъ что болѣе голословныхъ теорій отыскать едва ли возможно; тѣмъ не менѣе онѣ въ его изложеніи способны дѣйствовать вкрадчиво, главнымъ образомъ потому, что сильно говорятъ чувству художественной формой, своеобразной музыкой, какимъ то таинственнымъ перезвономъ, созвучіемъ словъ и идей [1]). Какъ художникъ слова, Ренанъ не знаетъ себѣ равнаго: тогда какъ обыкновенно ощущеніемъ вызываютъ чувство, онъ, наоборотъ, чувствомъ вызываетъ ощущеніе [2]). По всѣмъ его произведеніямъ проходитъ неподражаемая, неуловимая, но живо чув-

---

[1]) Ср. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 147: l'art d'amener le cliquetis des mots et des idées. Ренанъ работалъ цѣлый годъ надъ слогомъ Vie de Jesus, чтобы его сдѣлать блѣднѣе, à eteindre, à retrancher ces pendeloques et ces clinquants, qui réussissent chezd'autres et provoquent l'enthousiasme etc. Тамъ же, p. 355.

[2]) Séailles, E. Renan etc., p. 35.

ствуемая мелодія, плѣняющая мысль, хватающая за сердце и порой преслѣдующая долго и неустанно [1]).

Въ этой музыкальности не только главная сила, но и главное содержаніе многихъ твореній Ренана. По его собственному признанію, въ его мысли три четверти составляютъ слова [2]). Поэтому оцѣнивать

[1]) Лучшимъ образцомъ музыкальности можетъ служить посвященіе Vie de Jesus „чистой душѣ Генріетты", по стилистическимъ особенностямъ неподражаемо прекрасное, какъ можно убѣдиться хотя бы изъ первыхъ его строкъ: Te souviens tu, du sein de Dieu où tu reposes, de ces longues journées de Ghazir, où, seul avec toi, j'écrivais ces pages inspirées par les lieux que nous avions visités ensemble? Silencieuse à côté de moi, tu relisais chaque feuille et la recopiais sitôt écrite, pendant que la mer, les villages, les ravins, les montagnes se déroulaient à nos pieds. Quand l'accablante lumière avait fait place à l'innombrable armée des étoiles, tes questions fines et délicates, tes doutes discrets, me ramenaient à l'objet sublime de nos communes pensées etc. Ни у какого другого французскаго автора, ни даже у Руссо, нѣтъ подобнаго стилистическаго совершенства. Въ примѣръ эпизодовъ, дѣйствующихъ съ силой навожденія, можно привести вызовъ души той же Генріетты, — rêve de Léolin, въ L' Eau de Jouvence, вопль du coeur transverbéré. Наконецъ для поясненія cliquetis des mots et des idées можно указать на слѣдующую фразу изъ Prêtre de Nemi (acte II, scène IV): Innombrables rires des mers, vous n'êtes rien auprès des flots de rêves entassés que l'humanité traversera avant d'arriver à quelque chose qui ressembe à la raison. Можно ли не замѣтить здѣсь звукоподражанія, воспроизведенія игриваго звука волны на морскомъ берегу?

[2]) Avenir de la science, p. 152. См. выше, стр. 236.

эти творенія исключительно съ точки зрѣнія ихъ философской состоятельности было бы односторонним и неправильнымъ. Вѣрнѣе на нихъ смотрѣть какъ на поэтическія произведенія, блещущія самой разнообразной игрой мысли. Кто воспитанъ въ надлежащей терпимости ко всякимъ воззрѣніямъ и чутокъ къ прелести подобной творческой игры, каково бы ни было ея нравственное содержаніе, тотъ испытываетъ при чтеніи Ренана своеобразный наплывъ думъ, превосходно очерченный Анатолемъ Франсомъ. Когда перевертываешь листъ, то словно загорается свѣтильникъ, и вокругъ него тотчасъ же начинаютъ кружиться множество бабочекъ. Эти бабочки нескромны, но что дѣлать? Если ихъ отогнать, прилетаютъ другія. И вотъ передъ глазами цѣлый хоръ маленькихъ крылатыхъ существъ, то золотистыхъ и свѣтлыхъ какъ день, то голубыхъ и темныхъ какъ ночь; хрупкія, легкія, онѣ неугомонно вьются взапуски и словно нашептываютъ трепетомъ своихъ крыльевъ: „Мы маленькія Психеи; другъ, не гони насъ слишкомъ грубо. Безсмертный духъ животворитъ наши мимолетныя формы. Смотри: мы ищемъ Эроса, Эроса, котораго никогда не находимъ, Эроса—великую тайну жизни и смерти“ [1]). Ренанъ также пытался изловить эту тайну—не логикой, а музыкой мысли. Онъ не уловилъ неуловимаго, но

[1]) La vie litteraire, IV, pp. 317—318.

музыка остается музыкой. Разрушивъ въ себѣ вѣру, онъ не разрушилъ въ своей душѣ образъ храма, въ которомъ раньше привыкъ молиться, и въ этомъ храмѣ во всю его жизнь не прекращалъ гудѣть органъ, не переставали возноситься пѣснопѣнія. Этотъ образъ Ренанъ перенесъ на всю вселенную. Она ему представлялась необъятнымъ храмомъ [1]), а всѣ существа—хоромъ [2]), славословящимъ неизвѣстно чью благость [3]). Музыкальность твореній Ренана поэтому не внѣшній придатокъ, но самое ихъ существо.

Для правильнаго взгляда на дѣятельность Ренана необходимо помнить, что хотя она и служитъ бродиломъ современнаго умственнаго и нравственнаго разложенія, она не столько его причина, сколько слѣдствіе. Если въ Ренанѣ оно отразилось наиболѣе ярко, то это объясняется личными свойствами этого писателя — его воспріимчивостью, отзывчивостью, чувствительностью.

Диллетантизмъ, составляющій самую душу міропониманія Ренана, вызванъ двумя главными чертами современной французской культуры—столкновеніемъ въ ней всевозможныхъ идей и ея демократизмомъ.

Одинъ изъ признаковъ этой культуры (поясняетъ Буржэ) — смѣшеніе въ ней разнородныхъ идей и

---

[1]) Seailles, Ernest Renan etc., p. 56.

[2]) См. выше, стр. 227.

[3]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 375.

столкновеніе всевозможныхъ міровоззрѣній, выработанныхъ различными расами. Ренанъ служитъ какъ бы открытой сценой этой сутолки и вполнѣ искреннимъ истолкователемъ одного изъ ея слѣдствій. Одаренный отъ природы отзывчивымъ религіознымъ и нравственнымъ чувствомъ, онъ приложилъ принципъ ученой критики къ оцѣнкѣ тѣхъ разнообразныхъ рѣшеній, къ которымъ люди пришли въ вопросахъ религіи и нравственности. Онъ могъ поэтому преклонять свое воображеніе передъ всѣми алтарями, вдыхать ароматъ всѣхъ священныхъ благовоній, повторять молитвы всѣхъ литургій, раздѣлять пылъ всѣхъ культовъ. Его чувствительность дала ему возможность освободить духъ религіи отъ оковъ догматики и вкусить его успокоительную прелесть, и онъ вынесъ убѣжденіе, что подъ всѣми религіозными символами, какъ грубыми, такъ и тонкими, скрывается нѣкоторая истина, такъ что объявить преимущество одного изъ этихъ символовъ значитъ не отдавать должнаго уваженія другимъ. Одновременно съ этимъ проникновеніемъ въ таинственный смыслъ противоположныхъ богословій, онъ изучилъ нѣсколько литературъ, нѣсколько философскихъ системъ и всевозможные нравы и обычаи. Все, что онъ изучалъ, онъ, по своей воспріимчивости, переживалъ, всѣмъ увлекался, во всемъ прозрѣвалъ выраженіе одной и той же неуловимой истины. Отсюда и проклятія вѣрующихъ, упрекавшихъ Ренана за то, что онъ

не становится въ ихъ ряды, и посрамленіе отъ невѣрующихъ — этихъ вѣрующихъ наизнанку — не могущихъ ему простить его снисходительности къ химерамъ и предразсудкамъ и даже его благоговѣнія передъ ними.

Наглядным доказательствомъ, что диллетантизмъ составляетъ самую кровь современной французской культуры, служатъ, по Буржэ, нравы и общество, обстановка и разговоры. Не все ли здѣсь многообразно? Не все ли здѣсь побуждаетъ душу сдѣлаться мозаикой сложныхъ ощущеній? Не кажется ли,что голосъ диллетантизма слышится изъ каждаго угла тѣхъ модныхъ гостиныхъ, гдѣ даже изящество женщинъ есть что то выученное и сложное? Посмотрите на мебель: этотъ вышитый шелкъ, которымъ покрыты подушки, былъ когда то священнымъ облаченіемъ, его носили священнослужители на литургіи среди благоговѣйной сосредоточности вѣрующихъ, а теперь широкораспространенный капризъ покрываетъ имъ нѣмыхъ свидѣтелей ухаживанья и признаній. Этотъ другой шелкъ прибылъ изъ Японіи. Золотое шитье изображаетъ на немъ фигуры, блещущія вычурной фантазіей Востока. Посмотрите на картины: онѣ принадлежатъ самымъ разнообразнымъ художникамъ, совершенно отличнымъ одинъ отъ другого по техникѣ и замыслу. И повсюду, въ витринахъ, на столахъ, на этажеркахъ, обиліе иностранныхъ или древнихъ бездѣлушекъ: лакированныя вещицы изъ

Іеддо и бронза Возрожденія, серебро XVIII вѣка, подсвѣчники другой эпохи. Развѣ такая гостиная не музей, и развѣ музей не служитъ вполнѣ готовой школой для критическаго духа? Впрочемъ, эта обстановка создана по образцу тѣхъ людей, которые въ ней встрѣчаются, которые въ ея сложности видятъ отпечатокъ своей сложной личности. Разговоры здѣсь скрещиваются, перемѣшивая воспоминанія самыхъ разнообразныхъ чтеній и самыхъ отдаленныхъ путешествій. Изъ пятнадцати лицъ нельзя найти двухъ съ одинаковыми воззрѣніями на литературу, политику, религію. Есть только одна общая вѣра, вѣра въ приличіе. Но если идти дальше, тотчасъ же выступаютъ различія, дозволяющія любопытному найти на небольшомъ пространствѣ гостиной пятнадцать лицъ не только съ различными, но даже противоположными ощущеніями. Прежде, говорятъ, у общества были сходныя воззрѣнія по важнѣйшимъ вопросамъ жизни. Какимъ образомъ могло бы это быть теперь, когда поднялась демократическая волна, когда многочисленные повороты въ политикѣ, въ литературѣ, въ религіи, въ общемъ направленіи мысли, бросили въ духовное теченіе всякаго рода формулы правительства, эстетики и вѣры? Сюда надо присоединить наплывъ иностранцевъ въ Парижъ, словно въ каравансарай, гдѣ чувство жизни облекается въ тысячу обольстительныхъ и вычурныхъ формъ. Этотъ городъ—микрокосмъ современной

культуры. Возможно ли здѣсь сохранить единство чувства среди этого воздуха, наполненнаго противоположными электричествами, въ которомъ многообразныя воззрѣнія кружатся словно рой незримыхъ атомовъ? Дышать воздухомъ Парижа значитъ втягивать въ себя эти атомы, дѣлать свой умъ критическимъ, воспитываться въ диллетантизмѣ [1]).

Положительныхъ элементовъ здѣсь немного, за то отрицательныхъ сколько угодно. Наше время— время крушенія всякихъ религіозныхъ и метафизическихъ воззрѣній, обломками которыхъ теперь усѣяна вся почва. Теперь не только не существуетъ никакой общей вѣры, которая бы служила руководительницей для всѣхъ умовъ и принципомъ для всѣхъ дѣйствій, но утрачена даже сила отрицанія, одушевлявшая XVIII вѣкъ. Точки зрѣнія теперь на столько умножены, истолкованіе всего стало такимъ утонченнымъ, происхожденіе, а потому и законность всѣхъ ученій прослѣжены съ такимъ вниманіемъ, что мысль усматриваетъ нѣкоторую душу истины въ самыхъ противоположныхъ взглядахъ. И такъ какъ нѣтъ никакого высшаго предположенія, которое бы примиряло всѣ остальныя и принималось бы мыслью въ его цѣлости, то среди мыслящихъ людей водворилась единственная въ своемъ родѣ анархія. Наступилъ безпримѣрный въ исторіи скептицизмъ, сомнѣвающійся во

[1]) Bourget, Essais de psychologie contemporaine, pp. 67—74.

всемъ, даже въ самомъ сомнѣніи. Отсюда—колебанія воли, софистическія сдѣлки съ совѣстью, развязный и равнодушный диллетантизмъ [1]).

И какое міропониманіе можетъ всего лучше соотвѣтствовать французскому духу, вѣчно подвижному, вѣчно жаждущему новыхъ впечатлѣній, всегда готовому на иронію и насмѣшку, если не этотъ неустанно перескакивающій отъ одного къ другому диллетантизмъ, пестрѣющій всякими противорѣчіями и дрожащій насмѣшкой?

„Было бы интересно, а впрочемъ и довольно безполезно (говоритъ Лемэтръ [2]), составить списокъ противорѣчій Ренана. Его Богъ существуетъ и не существуетъ, личенъ и безличенъ. Безсмертіе, о которомъ онъ иногда мечтаетъ, то личное, то совокупное безсмертіе. Онъ вѣритъ и не вѣритъ въ прогрессъ. Его мысль печальна, духъ веселъ. Онъ любитъ историческія науки и ихъ презираетъ. Онъ благочестиво нечестивъ. Онъ очень цѣломудренъ, а довольно часто вызываетъ чувственные образы. Онъ мистикъ и лукавый насмѣшникъ. У него наивности рядомъ съ остротами, изъ которыхъ не выпутаешься. Онъ художникъ, а между тѣмъ нѣтъ слога менѣе пластичнаго. Этотъ слогъ кажется опредѣленнымъ, а иногда скользитъ, какъ вода между пальцевъ. Часто мысль ясна, а выраженіе

[1]) Тамъ же, pp. 198—199.

[2]) Contemporains, I, pp. 211—212.

темно, или наоборотъ. Подъ видомъ связи у него бываютъ неимовѣрные скачки мыслей, постоянное злоупотребленіе словами, непримѣтныя двусмыслицы, подчасъ восхитительная галиматья. Онъ отрицаетъ въ то самое время, какъ утверждаетъ. Онъ такъ боится поддаться своей мысли, что не можетъ высказать ничего сколько нибудь дѣльнаго, не прибѣгнувъ вслѣдъ за тѣмъ къ улыбкѣ и насмѣшкѣ. У него встрѣчаются утвержденія, которымъ минуту спустя онъ, повидимому, уже не вѣритъ, или же въ противоположность этому, ироническіе парадоксы, которыми онъ какъ бы обманываетъ себя. Но знаетъ ли онъ самъ въ точности, гдѣ начинается и гдѣ кончается его ирония? Его явныя мнѣнія до такой степени перепутаны съ его задними мыслями, что, вѣроятно, онъ самъ не можетъ въ нихъ разобраться и раньше насъ теряется въ непроницаемости этихъ оттѣнковъ".

Теоретическимъ основаніемъ для такого противорѣчиваго міропониманія послужилъ Ренану подсказанный Гегелемъ взглядъ, что философія должна отображать собою вселенную, всѣ элементы которой имѣютъ равноправное существованіе какъ проявленіе одного и того же начала, лежащаго въ основѣ міра. А вселенная не только въ ея исторіи, но и въ каждое мгновеніе, полна разнообразія, противоположностей, противорѣчій. Если даже взять только человѣческую жизнь, то развѣ не пестрѣетъ она нравами,

обычаями, религіозными воззрѣніями племенъ и народовъ? Развѣ религіи не взаимно себя отрицаютъ, развѣ нравственныя міропониманія народовъ не стоятъ въ рѣзкомъ противорѣчіи одно съ другимъ, развѣ философскія системы не отвергаютъ другъ друга какъ ложныя, развѣ можно найти хотя одну изъ нихъ, въ которой не было бы противорѣчій? Отчего же (думалъ Ренанъ) не признать законность этихъ противоположностей, противорѣчій, разнообразія въ единичномъ міропониманіи? Отвѣчать отрицательно на такой вопросъ можно съ различныхъ точекъ зрѣнія, напримѣръ, потому, что безпредѣльную жизнь вселенной нельзя сравнивать съ ограниченной попыткой единичнаго ума; что то, что полно смысла и значенія въ жизни вселенной, можетъ не имѣть ни того, ни другого въ этой единичной попыткѣ; что при невозможности охватить для постиженія вселенной всю ея исторію разомъ, мы вынуждены останавливаться на единичныхъ моментахъ этой исторіи, при томъ не на каждомъ безразлично, а на высшихъ въ каждомъ данномъ рядѣ, какъ наиболѣе выражающихъ смыслъ этихъ рядовъ; что если мысль и нравственное чувство сбиваются съ намѣченнаго пути даже у наиболѣе совершенныхъ людей, то изъ этого не слѣдуетъ, будто эти отклоненія отъ высшаго типа должно возводить въ правило и т. д. Во всякомъ случаѣ, этотъ взглядъ Ренана есть слѣдствіе не легкомыслія, а продуманной теоріи,

пусть даже несостоятельной. Легкомыслiе его обнаруживается не въ этомъ общемъ взглядѣ, но въ способѣ, какимъ онъ его развиваетъ. Впрочемъ, для насъ важно не философское значеніе теорій Ренана, но то, что онѣ отвѣчаютъ современности, утратившей идеалъ и признающей господство за фактами во всемъ ихъ разнообразіи.

Именно вслѣдствіе этого точнаго совпаденія міропониманія Ренана съ общими свойствами французскаго духа и современнымъ настроеніемъ, оно и оказываетъ широкое воздѣйствіе; а огромный литературный талантъ, которымъ располагалъ Ренанъ, дѣлаетъ это воздѣйствіе безпримѣрнымъ.

Темныя и отрицательныя стороны этого таланта, при всеобщемъ распутствѣ мысли, только способствовали успѣху. „Мы достигаемъ успѣха (говоритъ самъ Ренанъ) главнымъ образомъ благодаря нашимъ недостаткамъ. Когда я очень доволенъ собой, меня одобряютъ не болѣе десяти человѣкъ. Когда же я отдаюсь опаснымъ влеченіямъ и моя писательская совѣсть колеблется и рука дрожитъ, тысячи людей просятъ меня продолжать“ [1]).

Читателей у него больше, чѣмъ у какого либо другого изъ современныхъ мыслителей. „Жизнь Іисуса“ разошлась въ количествѣ значительно болѣе милліона

---

[1]) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, pp. 352—353.

экземпляровъ [1]). Съ научной точки зрѣнія это произведеніе совершенно ничтожно, такъ какъ Ренанъ допускаетъ въ немъ, при пользованіи текстами и истолкованіи данныхъ, самый широкій произволъ фантазіи. Но и въ художественномъ отношеніи оно, если не говорить объ отдѣльныхъ восхитительныхъ мѣстахъ, ниже критики. Обликъ Христа представленъ здѣсь въ колеблющихся и противорѣчивыхъ чертахъ, несовмѣстимыхъ не только съ исторической, но и съ художественной правдой [2]). Широкая слава этого произведенія, какъ, впрочемъ, и всей дѣятельности Ренана, объясняется больше отрицательными, чѣмъ положительными качествами, духомъ самодовольнаго, ничего не щадящаго разрушенія, вѣющимъ отъ всѣхъ его твореній и выступающимъ въ „Жизни Іисуса“ особенно ярко во всей его беззастѣнчивой развязности. Поклонниковъ этого духа повсемѣстно легіоны.

„Кто изучаетъ источники нравственной жизни, грубоко проникшіе въ возрастающее поколѣніе, тотъ (говоритъ Буржэ) встрѣтитъ повсюду воздѣйствіе автора „Исторіи происхожденія Христіанства“. Необходимо подождать по крайней мѣрѣ столѣтіе, чтобы измѣрить степень плодовитости этого воздѣйствія“ [3]).

---

[1]) Desportes et Bournand, Ernest Renan, p. 92.

[2]) Séailles, Ernest Renan etc. p. 133, сл.

[3]) Essais de psychologie contemporaine, p. 109.

„Ни одинъ писатель (добавляетъ Лемэтръ [1]) въ такой степени не занималъ, не обольщалъ, не смущалъ и не восхищалъ самыхъ тонкихъ изъ своихъ современниковъ, какъ Ренанъ. Поддаются ли ему или противятся, никто не умѣетъ лучше и съ большей силой завладѣть мыслью. Среди нынѣшнихъ молодыхъ людей у этого великаго скептика есть ревностные сторонники, какихъ могъ бы имѣть апостолъ или представитель какого нибудь ученія. Читая его, нельзя не переполниться признательностью и любовью къ самому вкрадчивому и очаровательному изъ нашихъ великихъ писателей".

Ренанъ (говоритъ другой авторъ [2]) „обладалъ самой необыкновенной способностью дѣйствовать внушеніемъ. Изъ своихъ капризныхъ странствій по очарованнымъ морямъ въ поискахъ за обѣтованной землей онъ принесъ волшебную тайну подчинять людей; никто кромѣ него не могъ произносить слова, которыя бы такъ восхищали, охватывали, оковывали. Онъ скорѣе вызывалъ душевныя состоянія, чѣмъ распространялъ точныя идеи. Онъ явился среди насъ, и какъ скоро начиналъ говорить своимъ медленнымъ и нѣсколько глухимъ тономъ, люди подпадали подъ его власть. Они чувствовали, какъ изъ ихъ души подымаются голоса—не всегда чистые—вторящіе волшебнику. Они были подъ обаяніемъ этой трудолюбивой жизни, всецѣло посвященной созер-

[1]) Contemporains, I, p. 193. IV, p. 261.

[2]) Allier, Philosophie d'Ernest Renan, pp. 180—181.

цанію истины и блага, подъ обаяніемъ этой неопредѣленной и вкрадчивой чувственности, подобной симфоніи, идущей изъ отдаленнаго міра, подъ обаяніемъ этой мысли, безконечно забавлявшейся среди затрудненій и противорѣчій, и вслѣдъ за очарователемъ готовы были идти къ самымъ отвратительнымъ пучинамъ. Даже тѣ, которые не подчинялись, не могутъ похвалиться цѣлостью и часто отъ самаго легкаго прикосновенія хранили съ трудомъ закрывающуюся рану".

„Обширныя знанія Ренана (свидѣтельствуетъ еще одинъ авторъ [1]), природа этого ума, образованнаго до утонченности, разнообразіе и величіе тѣхъ задачъ, на которыхъ съ любовью останавливается его мысль не столько для того, чтобы ихъ рѣшать, сколько для того, чтобы ихъ затронуть; таинственная прелесть, разлитая по всѣмъ его идеямъ; чары его слога, вмѣстѣ и очень изящнаго, и очень неопредѣленнаго; вся его литературная особенность— постоянная выставка на показъ духовной высоты, ясно намѣченное положеніе аристократіи духа, сладострастіе презрѣнія, какой то горькій лиризмъ, готовый разливаться по всякому поводу—все это обезпечиваетъ его трудамъ совершенно особенное воздѣйствіе на громадное число читателей, которыхъ онъ привлекаетъ и смущаетъ. У Ренана есть всѣ тайны, которыми располагаетъ литературное волшеб-

[1]) Caro, L'idée de Dieu, p. 46.

ство, и всѣми ими онъ пользуется. Это настоящій очаровательъ".

Не только въ настоящемъ, но и въ будущемъ сулятъ Ренану умственное господство. Послѣ Платона никто будто бы не написалъ столько важнаго по вопросамъ души и сердца. Думаютъ даже, что судьба Ренана будетъ нѣсколько походить на судьбу Платона: его будутъ много читать, много любить, много объяснять и мало понимать. Изъ крохъ его мысли образуютъ ереси, и, расширяя обрывки его грезъ, построятъ утопіи. Ученики будутъ проповѣдовать его вѣру новопосвященнымъ, которые найдутъ въ ней много такого, чему бы больше всѣхъ удивился онъ самъ Деспоты будущаго, о которыхъ мечталъ Ренанъ какъ объ учредителяхъ царства истины, посвятятъ свои досуги на устройство академіи въ честь Ренана, на подобіе академіи Лаврентія Великолѣпнаго. Тамъ, подъ сѣнью кедровъ и сикоморъ, на аллеяхъ, усыпанныхъ тонкимъ пескомъ, среди благоухающихъ цвѣтовъ и пѣнія птицъ, будутъ прогуливаться поэты, художники и артисты, разсуждая о сочиненіяхъ Ренана. Это будутъ прекрасные люди, съ рѣдкимъ изяществомъ духа, такіе же нравственно безупречные, какъ самъ Ренанъ. Тѣ изъ нихъ, у кого будетъ наибольшая потребность обожать, станутъ иногда въ честь Ренана сожигать благовонія, какъ это дѣлалъ во времена былыя въ честь Платона Фичино; менѣе ревностные удоволь-

ствуются переводомъ его сочиненій на новые языки, которые появятся къ тому времени. Вѣрные этой небольшой общины будутъ такимъ путемъ изъ вѣка въ вѣкъ оживлять то, что человѣческимъ духомъ создано самаго чистаго, самаго прекраснаго, самаго безкорыстнаго, самаго недостовѣрнаго, самаго спорнаго. Число ихъ будетъ различно, смотря по духу времени. Въ прекрасныя эпохи, когда человѣческій духъ соединитъ свои силы, чтобы устремиться въ безконечное, когда воздухъ будетъ трепетать отъ незримой музыки Аріеля, ихъ будетъ легіонъ, и около нихъ будутъ виться идеи какъ золотая пыль, и испаренія ихъ мысли будутъ распространять лучшія благовонія. Затѣмъ, подобно друзьямъ Фичино и Виссаріона, они будутъ разсѣяны новыми Лютерами, которые придутъ съ опредѣленными реформами, точными убѣжденіями, сильными мірскими страстями, и ихъ тяжелыя руки подкопаютъ стройное кружевное зданіе, слишкомъ высокое, слишкомъ хрупкое, и въ которомъ нѣтъ лѣсницы, ведущей на ихъ положительное небо. И то будетъ вѣчная борьба между мечтою и дѣйствительностью, между людьми, желающими завоевать безконечное, и тѣми, которые желаютъ устроить землю, между красотой идей и тираніей фактовъ [1]).

Исторія литературы можетъ указать немного писателей, которыхъ значеніе при ихъ жизни при-

[1]) Rod, Idées morales du temps présent, pp. 37—39.

знавалось бы современниками такъ единогласно, какъ значеніе Ренана. И если для знавшихъ его только по его трудамъ, онъ былъ худшихъ изъ людей, подобнымъ Іудѣ Искаріотскому [1]), то близкіе къ нему отзываются о немъ съ восторгомъ. Если оставить въ сторонѣ его теоріи, которымъ онъ самъ не слѣдовалъ, онъ соединялъ въ себѣ все, что составляетъ самое цѣнное въ человѣкѣ: и безупречную нравственную чистоту, и непоколебимую вѣрность долгу, и полную искренность, и благодушіе, и деликатность, и нѣжную отзывчивость, и горячую любовь ко всѣмъ твореніямъ духа, и всеобъемлющее образованіе, и огромный талантъ ученаго, писателя и поэта. Восторженнымъ отзывамъ о немъ поэтому нечего удивляться и еще неразумнѣе было бы негодовать на нихъ. Всякое философское міропоминаніе можно всегда оспаривать, такъ какъ самая душа философіи—въ непрестанной тревогѣ ума, вѣчно ищущаго и ни на чемъ не способнаго окончательно успокоиться. Но талантъ не стоитъ въ связи съ философскимъ міропоминаніемъ, и при всякихъ теоріяхъ можно вести безупречную жизнь. По справедливому замѣчанію самого Ренана, „философъ, ясно понимающій тщету всѣхъ вещей, способенъ быть вполнѣ честнымъ человѣкомъ и даже въ свое время—героемъ [2]). Истина хороша лишь для того, кто ее об-

[1]) Desportes et Bournand, Ernest Renan, p. 97.

[2]) Drames philosophiques, p. 261.

рѣлъ. Что служитъ пищей для одного, оказывается ядомъ для другого“ [1]).

Однако не всякій даже и крупный талантъ обезпечиваетъ за своими твореніями прочную будущность. Можно поэтому спросить, правы ли поклонники Ренана, предрекая его воззрѣніямъ безпредѣльно долгое-господство? Повидимому, надо утверждать противоположное.

„Какъ Макбетъ убилъ сонъ, такъ Ренанъ (говоритъ Лемэтръ [2]) двадцать, сто разъ въ каждой изъ своихъ книгъ убивалъ радость, убивалъ энергію, убивалъ миръ душевный и спокойствіе нравственной жизни. Примѣнять къ дѣлу добродѣтель съ тою скрытою мыслью, что добродѣтельный человѣкъ, можетъ быть, глупецъ; создавать себѣ „обоюдоострую мудрость“; говорить себѣ, что „добродѣтель есть нашъ долгъ, но что мы имѣемъ право присоединить къ ней иронію, какъ личную поправку, что этимъ мы воздаемъ кому слѣдуетъ шуткой за шутку“ и т. д.— все это мило, очень мило. Но никогда не дѣлать добра простосердечно, дѣлать его только ради изящества и съ такимъ множествомъ ухищреній, вкладывать столько остроумія въ доброту, когда вамъ случается проявлять ее, постоянно вносить въ добродѣтель, когда вы примѣняете ее на дѣлѣ, недовѣріе

---

[1]) Тамъ же, p. 360.

[2]) Contemporains, I, pp. 205—207.

и прозорливость господина, котораго не застигнешь врасплохъ и который поддается обману только потому, что онъ того хочетъ,—развѣ все это, если только возможно, не кажется вамъ плачевнымъ?... Не побоимся прослыть грубымъ, рѣшительнымъ умомъ, не признающимъ оттѣнковъ. Нѣтъ оттѣнковъ, которые не могли бы исчезнуть. Такъ сомнѣваться и такъ насмѣхаться—значитъ просто на просто отрицать, и этотъ нигилизмъ, при всемъ своемъ изяществѣ, не что иное, какъ бездна мрачной меланхоліи и безнадежности".

Въ такой безднѣ жизнь не только не можетъ быть здоровый, она на долго совсѣмъ не возможна, такъ какъ печаль и безнадежность подрываютъ ея силы. Но не теоріи господствуютъ надъ жизнью, а жизнь надъ теоріями, и она рано или поздно сметаетъ тѣ, которыя покушаются на ея силу.

Правда, самъ Ренанъ веселъ и даже очень веселъ, но это веселость могильщика [1]), настолько привыкшаго къ своему печальному ремеслу, что оно ему кажется забавнымъ. Однако не всѣ пригодны къ такому ремеслу и даже не всѣ могильщики способны пѣть, какъ въ Гамлетѣ, веселыя пѣсни. Нужно быть слишкомъ равнодушнымъ ко всему, чтобы обращать даже смерть въ шутку. Такихъ людей немного. Обыкновенно смерти боятся, при томъ не только

[1]) Тамъ же, p. 196.

въ физическомъ, но и въ нравственномъ мірѣ, такъ какъ легко ли похоронить всѣ своя вѣрованія и надежды, все то, чѣмъ душа питается и живетъ?

Въ началѣ своей дѣятельности Ренанъ самъ предсказалъ недолговѣчность того направленія, котораго онъ впослѣдствіи сдѣлался самымъ крупнымъ представителемъ.

„Насмѣшники (говорилъ онъ) никогда не будутъ царствовать. Не далекъ день, когда всѣ эти претенденты на утонченность окажутся настолько ничтожными передъ величіемъ событій, настолько неспособными къ плодотворной дѣятельности, что будутъ брошены словно пустые кошельки. Лишь вѣчное имѣетъ цѣну, а эти легкомысленные привязываются къ мимолетнымъ цвѣткамъ, хорошо зная, что они также кратковѣчны, какъ и эти цвѣтки. Эпикурейская литература можетъ нравиться только богатому классу, лишенному идеала, но никогда не будетъ народной; народъ искренъ, крѣпокъ, правдивъ. А эта легковѣсная литература отказывается съ радостью сердца видѣть въ человѣческой природѣ что либо великое; въ ней все въ нѣкоторомъ миражѣ мыслей и заднихъ мыслей; нѣтъ ничего прочнаго, только одно отсвѣчиваніе“ [1]).

Впрочемъ, безпредѣльное господство предсказывали Ренану только подъ обаяніемъ его живого слова. Послѣ его смерти, когда перестали слышать его „вол-

[1]) Avenir de la science, p. 443.

шебные колокола", тѣ же самые поклонники начали оплакивать тѣхъ, кого „коснулся злополучный диллетантизмъ" [1]), стали предостерегать отъ слишкомъ тонкихъ мыслей и призывать къ стародавней, созданной вѣками, мудрости [2]). Иные даже считаютъ вѣроятнымъ, что это царство прейдетъ очень скоро [3]). Лемэтръ, намекая на слова Ренана, что его любили феи и онъ ихъ любилъ [4]), говоритъ, что его богато одарили всякія феи, а фея Иронія ему сказала: „Ты примѣшаешь иронію къ самымъ естественнымъ и лучшимъ дѣйствіямъ, и иронія сдѣлаетъ твои творенія безконечно обольстительными, но вмѣстѣ съ тѣмъ несостоятельными и бренными" [5]). Надо думать, что эта фея была права.

---

[1]) Rod, Le sens de la vie, p. 256.

[2]) Rod, Au milieu du chemin, p. 324. См. выше, стр. 143.

[3]) Allier, Philosophie d'Ernest Renan, p. 181.

[4]) Souvenir d'enfance et de jeunesse, pp. 77—78.

[5]) Contemporains, I, p. 213.

## IX.

Въ то время, какъ Ренанъ подрывалъ религіозное сознаніе ученіемъ о равноправности всѣхъ идеаловъ, его знаменитый современникъ, Тэнъ [1]), способствовалъ тому же сведеніемъ духовной жизни къ матеріальной, отрицаніемъ идеала, какъ силы, стоящей выше наличной дѣйствительности, признаніемъ единовластія за фактомъ, „религіей совершившихся фактовъ".

Міровоззрѣніе Тэна подсказано взглядомъ на науку какъ самый могучій факторъ современной жизни.

„До послѣдняго времени (говоритъ онъ) мы въ своихъ сужденіяхъ о человѣкѣ брали себѣ въ наставники людей откровенія и поэтовъ и, подобно имъ, принимали за достовѣрныя истины благородныя мечты нашего воображенія и повелительныя внушенія нашего сердца.

---

[2]) Barzellotti, Ippolito Taine, Roma, 1895 (франц. перев. 1900) De Margerie, Taine (1894). Monod, Renan, Taine, Michelet (1896). Wetz, Ueber Taine, Zeitschrift fur französiche Sprache und Litteratur, Bd. XXI, pp. 114—251, (1899). Bourget, Essais de psychologie contemporaine, pp. 177—250. Faguet, Politiques et Moralistes du XIX Siècle, III, pp. 237—314. Caro, L'Idée de Dieu, pp. 133—206.

Мы привязывались къ пристрастію религіозныхъ догадокъ и неточности литературныхъ догадокъ и прилаживали наши ученія къ нашимъ инстинктамъ и нашимъ скорбямъ. Но вотъ наконецъ приближается наука, и приближается къ человѣку. Она высвободилась изъ предѣловъ зримаго и ощутимаго міра звѣздъ, камней, растеній, куда презрительно ее заточали; теперь она приступаетъ къ душѣ, вооруженная тонкими и проницательными орудіями, которыхъ точность доказана и значеніе измѣрено трехъсотлѣтнимъ опытомъ. Мысль и ея развитіе, подобающее ей положеніе, ея строеніе и принадлежности, ея глубокіе тѣлесные корни, ея безконечное прорастаніе въ исторіи, ея высокій разцвѣтъ на вершинѣ вещей—таковъ теперешній предметъ науки, который при медленномъ и увѣренномъ изслѣдованіи тѣми же методами, какими изслѣдуется внѣшній міръ, перемѣнится въ нашихъ глазахъ такъ же, какъ перемѣнился физическій міръ. Въ такомъ примѣніи науки и въ такомъ взглядѣ на вещи заключаются новыя искусство, нравственность, политика, религія и наша задача въ томъ, чтобы ихъ искать“ [1]).

Наука зиждится на экспериментахъ, а эксперименты—на фактахъ. Отсюда—поклоненіе факту.

Всякій фактъ есть сложное явленіе, разложимое на другія. Задача науки въ томъ чтобы въ

---

[1]) Histoire de la litterature anglaise, IV, pp. 421—423.

каждой группѣ фактовъ найти господствующій фактъ, подчиняющій себѣ другіе, для этого господствующаго—опять высшій, которому онъ въ свою очередь подчиненъ, для этого высшаго—еще болѣе высшій и такъ далѣе, пока не найдется такой, которому подчинены всѣ факты, но который самъ не подчиненъ ничему. Высшіе факты, подчиняющіе себѣ нисшіе, называются законами послѣднихъ. Наука стремится построить изъ частныхъ законовъ такой всеобщій законъ, изъ котораго могли бы быть выведены всѣ низшіе.

Факты каждой группы стоятъ въ причинной зависимости не только между собой, но и съ фактами остальныхъ группъ, такъ что вселенная есть неразъемлемая сѣть причинъ и слѣдствій, исключающая возможность всякой свободы.

Правильная философская метода, по Тэну, намѣчена германской метафизикой—главнымъ образомъ Гегелемъ. Метода эта состоитъ въ томъ, чтобы разсматривать факты въ ихъ исторіи или развитіи, то есть представлять себѣ всѣ части данной группы сплоченными и дополняющими одна другую, такъ что каждая часть дѣлаетъ необходимыми остальныя, а взятыя всѣ вмѣстѣ онѣ обнаруживаютъ своими послѣдовательностями и противоположностями ту внутреннюю причину, которая ихъ объединяетъ и производитъ.

Понятія и идеи системы Гегеля замѣнены у Тэна фактами [1]).

Такъ какъ всякій фактъ разложимъ на другіе и такъ какъ основной законъ міра—развитіе, то было бы ошибкой предполагать что либо пребывающее, неизмѣнное, незыблемое. Иными словами, нѣтъ никакихъ субстанцій или сущностей. Подъ этими словами подразумѣваются созданные нами призраки (fantômes). Всѣ духовныя явленія суть слѣдствіе ощущеній, ощущенія—слѣдствіе нервныхъ процессовъ, нервные процессы—слѣдствіе молекулярныхъ движеній.

Въ нашемъ *я* нѣтъ иной реальности, кромѣ вереницы происходящихъ въ немъ событій. Потокъ и связка ощущеній и побужденій, которыя, если ихъ разсматривать съ внѣшней стороны, суть также потокъ и связка нервныхъ колебаній—вотъ что такое духъ. Это — чрезвычайно разнообразный и сложный фейерверкъ, непрестанно подымающійся и возобновляющійся міріадами залповъ; но мы воспринимаемъ лишь вершину. Ниже и по другую сторону сознаваемыхъ нами идей, образовъ, ощущеній, побужденій, существуютъ міріады и милліоны состояній, которыя брызгаютъ и группируют-

[1]) Изложеніе этихъ методологическихъ воззрѣній составляетъ содержаніе перваго философскаго труда Тэна Les philosophes classiques du XIX siècle en France.

ся въ насъ, не достигая до нашего сознанія, такъ что большая часть нашего *я* остается внѣ нашего воспріятія и наше зримое *я* несравненно меньше, чѣмъ *я* темное. Темное или зримое, самое это *я* есть лишь предводитель рода, высшій центръ, подъ которымъ распредѣляются въ сегментахъ мозга и нервныхъ узлахъ множество другихъ подчиненныхъ центровъ, служащихъ театрами аналогичныхъ, но болѣе грубыхъ ощущеній и побужденій, такъ что весь человѣкъ есть какъ бы іерархія центровъ ощущеній и побужденій. Каждый изъ нихъ имѣетъ свой починъ, свою функцію и свою область подъ управленіемъ болѣе совершеннаго центра, который получаетъ отъ нихъ мѣстныя извѣстія, посылаетъ имъ общія приказанія и отличается отъ нихъ лишь болѣе сложной организаціей, болѣе широкимъ дѣйствіемъ и болѣе высокимъ положеніемъ.

Какъ духовная субстанція есть призракъ, созданный сознаніемъ, такъ матеріальная субстанція есть призракъ, созданный чувствами. Тѣла суть только двигающіеся двигатели (mobiles moteurs); поэтому движеніе есть ихъ единственная дѣйствительность. Но движеніе, разсматриваемое прямо само въ себѣ, сводится къ непрерывному ряду безконечно упрощенныхъ ощущеній. Это значитъ, что физическія событія суть лишь первоначальная форма духовныхъ событій, и мы приходимъ ко взгляду на тѣло по образцу духа. Тѣло и духъ суть потокъ однородныхъ

событій, которыя сознаніе называетъ ощущеніями, чувства называютъ движеніями, и которыя по своей природѣ всегда наканунѣ погибели и рожденія. На ряду съ свѣтлымъ снопомъ, образующимъ насъ, существуютъ другіе аналогичные, слагающіе тѣлесный міръ, различные по виду, но тожественные по природѣ, и которыхъ возвышающіяся одна надъ другой брызги наполняютъ вмѣстѣ съ нашимъ снопомъ безпредѣльность пространства и времени. Безконечное множество однородныхъ залповъ, которые, на различныхъ ступеняхъ сложности и высоты, неустанно и вѣчно подымаются и опускаются въ темнотѣ пустоты, вотъ что такое физическія и духовныя существа; каждое изъ нихъ есть лишь линія событій, въ которыхъ нѣтъ ничего продолжительнаго кромѣ формы, такъ что природу можно себѣ представить какъ великое сѣверное сіяніе. Всеобщее теченіе, неизсякаемая смѣна метеоровъ, горящихъ лишь для того, чтобы потухнуть и опять загорѣться и опять потухнуть безъ перемежки и безъ конца— таковы характерныя черты міра; по крайней мѣрѣ таковы характерныя черты міра въ первый моментъ созерцанія, когда онъ отображается въ маленькомъ живомъ метеорѣ, нашемъ *я*, если для воззрѣнія на вещи этотъ метеоръ располагаетъ лишь многообразными воспріятіями, неопредѣленно соединенными другъ съ другомъ.

Но у насъ есть другое средство понимать вещи, и съ этой второй точки зрѣнія, дополняющей первую, міръ принимаетъ иной видъ. Посредствомъ абстракціи и языка мы уединяемъ пребывающія формы, неизмѣнные (fixes) законы, то есть *пары универсаловъ*, спаянныхъ не случаемъ, а природой, которыя въ силу своей устойчивой связи подразумѣваютъ собой неопредѣленное множество встрѣчъ. Точно такимъ же способомъ послѣ этихъ первичныхъ паръ мы уединяемъ другія, болѣе простыя, которыя, подобно формулѣ кривой, сосредоточиваютъ въ общемъ законѣ неопредѣленное множество частныхъ законовъ. Также мы поступаемъ и съ этими общими законами, пока наконецъ природа, разсматриваемая въ своей пребывающей основѣ, не окажется для нашихъ предположеній чистымъ абстрактнымъ закономъ, который развертывается въ подчиненные законы и завершается на всѣхъ пунктахъ пространства и времени непрестаннымъ вылупленіемъ особей и неисчерпаемымъ потокомъ событій [1]).

На высочайшей вершинѣ вещей, на самой высотѣ свѣтлаго и недосягаемаго эѳира, произносится вѣчная аксіома, и продолжительный отзвукъ этой творческой формулы слагаетъ своими неисчерпаемыми волненіями безпредѣльность вселенной. Всякая форма, всякое измѣненіе, всякое движеніе, всякая идея

[1]) De l'Intelligence, I, pp. 7—10.

есть одно изъ ея дѣйствій. Она существуетъ во всемъ и не ограничена ничѣмъ. Матерія и мысль, планета и человѣкъ, громоздящіяся другъ надъ другомъ солнца и трепетаніе насѣкомаго, жизнь и смерть, скорбь и радость,—нѣтъ ничего, чтобы выражало эту формулу вполнѣ. Она наполняетъ время и пространство и остается выше времени и пространства; она не заключена въ нихъ, и они происходятъ изъ нея. Вся міровая жизнь есть одинъ изъ ея моментовъ, каждое существо одна изъ ея формъ; вереницы вещей исходятъ изъ нея, связанныя, въ силу ненарушимой необходимости, божественными звеньями ея золотой цѣпи. Равнодушная, недвижная, вѣчная, всемогущая, творческая—она не исчерпывается никакимъ наименованіемъ, и когда открывается ея спокойный и величественный ликъ, нѣтъ такого человѣческаго духа, который бы не склонился, не палъ ницъ отъ восхищенія и ужаса. Но въ то же мгновеніе этотъ духъ воздымается; онъ забываетъ о своей смертности и своемъ ничтожествѣ; онъ наслаждается этой безконечностью, которую мыслитъ и въ величіи которой участвуетъ [1]).

Таковъ Богъ. Его царствомъ, которое есть царство необходимости, исключается изъ нашей жизни всякая нравственная отвѣтственность. Каковы бы

[1]) Les philosophes classiques, p. 184.

ни были факты—физическіе или духовные, все равно—они всегда имѣютъ причину; для тщеславія, для храбрости, для правдивости точно такъ же есть причины, какъ для пищеваренія, для мускульнаго движенія, для животной теплоты. Порокъ и добродѣтель суть такія же естественныя произведенія, какъ купоросъ и сахаръ, и всякое сложное явленіе происходитъ изъ встрѣчи другихъ явленій, болѣе простыхъ, отъ которыхъ оно зависитъ [1]). Постиженіе жизни какъ съ ея физической, такъ и духовной стороны есть задача механики. Единственное различіе между задачами, принадлежащими къ духовной области, и принадлежащими къ физической, въ томъ, что въ первой направленіе и величина силъ не можетъ быть опредѣлена и вычислена, какъ во второй. Хотя потребность, способность, суть величины, допускающія степени, подобно давленію или тяжести, однако эти величины не могутъ быть измѣрены такъ же, какъ давленіе или тяжесть. Но если средства обозначенія фактовъ не тожественны въ духовныхъ и физическихъ наукахъ, то матерія въ обѣихъ одна и та же, въ обѣихъ она одинаково слагается изъ силъ, направленій и величинъ, и потому можно сказать, что въ физической и духовной области конечный результатъ получается по одному и тому же правилу [2]).

[1]) Histoire de la littérature anglaise, I, p. XV.

[2]) Тамъ же, p. XXXI.

Характеръ нашей дѣятельности всегда обусловленъ нашей расой, средой, въ которой мы живемъ, и моментомъ, въ который мы дѣйствуемъ. Раса есть врожденное, наслѣдственное предрасположеніе, различное у различныхъ народовъ, обусловленное особенностями темперамента и строенія тѣла. Среда есть совокупность обстоятельствъ, создаваемыхъ природой, а также обстоятельствъ политическихъ и общественныхъ, которыя разстраиваютъ или пополняютъ естественное предрасположеніе и такимъ образомъ измѣняютъ воздѣйствіе, оказываемое внутреннимъ строеніемъ расы. Подъ моментомъ подразумѣвается особый родъ причины, слагаемый изъ скорости, пріобрѣтенной отъ постояннаго дѣйствія расы, и изъ результата, произведеннаго той средой, въ которой она живетъ [1]).

Человѣкъ есть укрощенный звѣрь. Онъ и по природѣ, и по строенію звѣрь плотоядный, и ни природа, ни строеніе никогда не даютъ сгладиться этой первоначальной складкѣ. У него клыки, какъ у собаки и лисицы, и, подобно собакѣ и лисицѣ, первобытный человѣкъ вонзалъ ихъ въ мясо другихъ. Его потомки убивали другъ друга каменными ножами изъ за куска сырой рыбы. И теперь человѣкъ не сталъ инымъ, онъ только смягчился. Война царствуетъ какъ и прежде, только она стала частной

---

[2]) Тамъ же, рр. XXIII, сл.

и ограниченной [1]). Правда, этотъ первичный человѣкъ для поверхностнаго взгляда мало похожъ на то искусственное существо, которое мы вмѣсто него встрѣчаемъ, на существо, обезображенное незапамятно долгимъ господствомъ принужденія и обмана, стѣсненное наслѣдственной сбруей изъ суевѣрій и подчиненій, ослѣпленное религіей и истомленное миражами, выжимаемое правительствомъ и воспитываемое силой ударовъ, живущее всегда на привязи, всегда употребляемое для безсмыслицъ и вопреки природѣ,—каково бы ни было его стойло, возвышенное или низменное, каковы бы ни были его ясли, полныя или пустыя,—то примѣняемое для рабскихъ занятій, подобно отупѣвшей лошади, которая съ завязанными глазами вертитъ мельницу, то для глупыхъ парадовъ, подобно ученой собакѣ, которая въ мишурномъ украшеніи показываетъ публикѣ свои прелести. Но устраните мыслью мишуру, помѣхи, стойла человѣческой конюшни, и передъ вами появится новый человѣкъ, человѣкъ первобытный, нетронутый и здоровый умомъ, душой и тѣломъ [2]).

Посмотрите на большой городъ, на этотъ муравейникъ дѣльцовъ, которые тамъ сталкиваются. Каждый выходитъ на охоту утромъ съ своимъ семействомъ, своими слугами, своими покровителями,

---

[1]) Graindorge, p. 267. Ancien régime, pp. 315, сл.

[2]) Révolution, II, pp. 81—82.

одни вокругъ него, другіе у него подъ рукою. Какъ скоро вдалекѣ покажется добыча, семейство и слуги, друзья и покровители, всѣ приготовляются и становятся въ рядъ. Снаряды, приманки, сѣти, оружія дозволенныя и порой оружія недозволенныя, всякаго рода охотничьи собаки, весь домъ и весь домашній арсеналъ работаютъ съ хозяиномъ во главѣ, такъ какъ нужно обѣдать. Но добыча рѣдка и охотниковъ много. Отсюда заповѣдь: вставай раньше другихъ, ложись позже, ходи скорѣе, обладай болѣе тонкимъ чутьемъ, собирай больше собакъ, сѣтей, друзей и оружія, закрывай, возвращаясь съ охоты, старательно свою сумку и держи оружіе наготовѣ, чтобы изъ за угла лѣса какой нибудь охотникъ съ пустой сумкой у тебя не похитилъ добычу; пускай знаютъ, что ты храбръ и умѣешь дать отпоръ; даже при первомъ нападеніи защищайся какъ можно сильнѣе; пускай тебя уважаютъ; этой цѣной и только этой можешь ты пообѣдать [1]).

Развѣ это не борьба всѣхъ противъ всѣхъ? Отъ первобытной она разнится лишь пріемами и тѣмъ, что совершается не на свободѣ, но подъ бдительнымъ надзоромъ жандарма. Какія бы люди ни измышляли формы общежитія, изъ какихъ бы колесъ государственную машину ни строили, за этими формами и колесами всегда видна основная пружина, самый главный инструментъ—жандармъ, во-

[1]) Graindorge, p. 268.

оруженный противъ дикаря, злодѣя и безумца, которыхъ каждый изъ насъ скрываетъ усыпленными или связанными, но всегда живыми, въ пещерѣ своего сердца [1]).

Не смотря на это, человѣкъ не уродъ и не чудовище: у него есть свое мѣсто и онъ завершаетъ собой извѣстный рядъ. Будемъ наблюдать за его рожденіемъ и ростомъ, и мы перестанемъ его осмѣивать или проклинать. Онъ есть продуктъ, какъ и всѣ остальныя вещи, и потому онъ вполнѣ правъ быть тѣмъ, что онъ есть. Его врожденное несовершенство входитъ въ порядокъ вещей, подобно постоянному недозрѣванію какой нибудь тычинки въ растеніи или неправильностямъ граней въ кристаллѣ. То, что мы принимаемъ за безобразіе (difformité), есть на дѣлѣ форма; что намъ кажется нарушеніемъ закона, есть выполнененіе нѣкотораго закона. Можно ли негодовать на такую геометрію? [2])

Выполненіемъ нѣкотораго закона мы должны признать, между прочимъ, то, что въ нашей жизни обыкновенно лишь малая доля принадлежитъ разуму. Онъ не есть прирожденный намъ даръ, изначальный и устойчивый, но позднѣйшее пріобрѣтеніе, хрупкое и сложное, зависящее отъ не менѣе неустойчивыхъ мозга, нервовъ, крови и желудка. Можно даже сказать, что человѣкъ по природѣ безумецъ точно такъ

---

[1]) Ancien régime, p. 316.

[2]) Histoire de la littérature anglaise, IV, pp. 422—423.

же, какъ его тѣло по природѣ больное. Во всякомъ случаѣ, разумъ въ общечеловѣческой жизни не господинъ, а слуга. Истинные наши господа—нашъ физическій темпераментъ, тѣлесныя потребности, животные инстинкты, наслѣдственные предразсудки, воображеніе, страсти, главнымъ образомъ интересъ личный, семейный, кастовый или партійный. [1]). Идеи находятся въ подчиненіи у этихъ господъ. Если онѣ способны служить нашему звѣрству, то онѣ могутъ дѣйствовать съ силой навожденія въ особенности въ умахъ узкихъ, въ которыхъ общая идея нерѣдко заполняетъ собой все поле сознанія [2]). Наглядным доказательствомъ всѣхъ этихъ истинъ служитъ терроръ французской революціи, котораго теоріи были задуманы фанатиками, то есть безумцами, а приведены въ исполненіе безумцами и кровопійцами [3]). Революція эта кажется привлекательной только издали въ той пышной одеждѣ, въ которую нарядило ее воображеніе. Если приглядѣться къ ней ближе, чары спадаютъ. Она основана на культѣ человѣка, а божество этого культа не лучше того, которому покланялись въ древнемъ Египтѣ. По словамъ Климента Александрійскаго, святое святыхъ египетскихъ храмовъ было прикрыто золотыми тканями; если войти въ глубину

---

[1]) Ancien régime, pp. 811—314.

[2]) Révolution, III, pp. 69—70,

[3]) Этотъ взглядъ проведенъ Тэномъ во всемъ его трудѣ о революціи.

храма, гдѣ находится изображеніе божества, то выступаетъ важной походкой жрецъ, поющій гимны, и приподнимаетъ слегка покровъ, чтобы показать бога. Что же тамъ оказывается? Египетскій крокодилъ или другой хищный звѣрь. Вотъ онъ богъ Египтянъ: это звѣрь, валяющійся на пурпурѣ. Не зачѣмъ ходить въ Египетъ и справляться такъ далеко съ исторіей, чтобы познакомиться съ культомъ крокодила: этотъ культъ видѣли во Франціи въ концѣ восемнадцатаго вѣка. Крокодилъ этотъ— французскій народъ, возведенный въ государя. Расходныя книги говорятъ намъ о стоимости культа: можно приблизительно вычислить, сколько въ десять лѣтъ сожрали священные крокодилы, назвать ихъ повседневныя блюда и ихъ лакомые куски. Естественно, что божество выбирало тучныя жертвы; но оно было такъ прожорливо, что глотало и худыхъ, и притомъ больше, чѣмъ жирныхъ; впрочемъ, въ силу своихъ инстинктовъ и своего положенія оно разъ или два въ годъ пожирало и себѣ подобныхъ, если только само не пожиралось ими. Поучительный культъ! [1]).

Но эти ужасы, при современномъ положеніи вещей, состояніе исключительное. Обыкновенно человѣкъ проводитъ свое лучшее время въ томъ, что спитъ, обѣдаетъ, зѣваетъ, работаетъ, словно ло-

[1]) Révolution, III, pp. I—III.

шадь, забавляется, какъ обезьяна. Не будемъ поэтому къ нему несправедливы. Перестанемъ также возмущаться его глупостью. Будемъ помнить, что онъ животное; что, если оставить въ сторонѣ нѣсколько исключительныхъ мгновеній, имъ руководятъ его нервы, его кровь, его инстинкты. Сюда нужно присоединить еще рутину; необходимость бьетъ его хлыстомъ, и скотина подвигается. Такъ какъ она тщеславна и одарена воображеніемъ, то она вымышляетъ, что идетъ по собственной волѣ, что никакого хлыста нѣтъ, что во всякомъ случаѣ хлыстъ рѣдко дотрогивается до ея реберъ, что по крайней мѣрѣ ея стоическая спина можетъ сдѣлать такъ, какъ будто хлыстъ не чувствителенъ. Она своимъ воображеніемъ наряжается въ великолѣпныя попоны, она чванно выступаетъ размѣреннымъ шагомъ, полагая, будто несетъ священныя реликвіи и попираетъ коверъ изъ цвѣтовъ, тогда какъ въ общемъ она топочется въ грязи и несетъ на себѣ пятна и запахъ навоза. Не забавно ли дотронуться до ея облѣзлой спины, ткнуть ей въ глаза мѣшками муки, которыми она нагружена, и кнутомъ, который заставляетъ ее идти?

Такъ смотрѣлъ на человѣческую комедію Байронъ, и онъ былъ правъ [1]).

---

[1]) Histoire de la littérature anglaise, IV, pp. 410—411.

Міровоззрѣніе Тэна принадлежитъ къ „крайней лѣвой мысли“. Въ то же время оно и крайне несостоятельное обнаруженіе мысли. Нѣтъ болѣе достовѣрной истины чѣмъ та, что человѣкъ во всю свою жизнь сознаетъ себя однимъ и тѣмъ же. Это сознаніе единства личности немыслимо безъ предположенія нѣкоторой неизмѣнной духовной сущности, пребывающей въ насъ среди потока нашихъ состояній или, если выражаться словами Тэна, среди непрерывной смѣны происходящихъ въ насъ событій. Но Тэнъ вовсе отвергаетъ всякія сущности, признаетъ одни только потоки. По его словамъ, понятіе о сущности есть призракъ, но онъ не въ силахъ пояснить, почему этотъ призракъ необходимо подсказывается нашимъ сознаніемъ. Еще хуже то, что отвергая въ этомъ случаѣ убѣдительность очевидности, онъ рушитъ довѣріе ко всякой очевидности. Если очевидность единства нашего сознанія насъ обманываетъ, то мы не въ правѣ вѣрить никакой очевидности, мы вырываемъ изъ подъ себя всякую почву, мы не можемъ строить никакихъ доказательствъ, такъ какъ всякія доказательства опираются на очевидность, и, слѣдовательно, мы должны признать бездоказательными и потому равно ничтожными всякія теоріи, то есть стать на почву скептицизма, сметающаго, какъ несостоятельныя, всякія построенія мысли. Къ тому же, не признавая сущностей, то есть неизмѣннаго бытія, нельзя говорить и о потокахъ событій. Всѣ наши

понятія соотносительны: о перемѣнномъ мы можемъ говорить лишь по отношенію къ постоянному, о постоянномъ лишь по отношенію къ перемѣнному. Когда для поясненія теорій о безусловномъ потокѣ приводятъ въ примѣръ рѣку, то забываютъ, что въ рѣкѣ вода мѣняетъ только форму, но по химическимъ свойствамъ остается неизмѣнной, а это постоянство химическаго состава воды и есть ея сущность. И Тэнъ, отрицая сущности, вынужденъ признать пребывающія формы или законы вещей, и при томъ тѣмъ болѣе, что, если всеобщая измѣняемость есть законъ міра, то неизмѣннымъ долженъ быть по крайней мѣрѣ этотъ законъ: иначе, при измѣняемости этого закона, закономъ міра могла бы быть не измѣняемость вещей, а прямо противоположное—ихъ неизмѣнность. Какимъ однако образомъ, если нѣтъ никакихъ сущностей, могутъ пребывать законы или формы? Всякую форму и всякій законъ мы всегда мыслимъ въ чемъ нибудь, то есть предполагаемъ для нихъ носителя. Неизмѣнное можетъ пребывать только въ неизмѣнномъ; если есть неизмѣнные міровые законы, то должна быть и неизмѣнная міровая сущность. Тэнъ и говоритъ о „пребывающемъ основаніи природы“, руша этимъ пребывающимъ основаніемъ всѣ свои отрицанія сущностей. А въ своей „Исторіи англійской литературы“, построенной по всѣмъ правиламъ намѣченной имъ методы, онъ въ увлеченіи чуднымъ стихотвореніемъ

Шелли „The Sensitive Plant“, въ которомъ вся природа живетъ и дышетъ, скорбитъ и радуется, не можетъ удержаться отъ признанія, что „несомнѣнно есть душа во всякой вещи, есть она и во вселенной; каково бы ни было существо, косное или мыслящее, опредѣленное или смутное, всегда за чувственной формой сіяетъ тайная сущность и нѣчто божественное, которое мы прозираемъ среди внезапнаго просвѣщенія, но которое остается для насъ навсегда недостижимымъ и непроницаемымъ“ [1]). Почему же эта тайная божественная сущность должна отсутствовать въ одномъ только человѣкѣ, хотя присутствіе ея въ насъ удостовѣряется нашимъ сознаніемъ еще убѣдительнѣе, чѣмъ во внѣшней природѣ, о которой мы всегда судимъ по аналогіи съ нашимъ существомъ? Болѣе рѣзкую непослѣдовательность едва ли можно себѣ представить.

Безпомощность теоретической мысли обыкновенно сказывается въ необходимости, за отсутствіемъ доводовъ, прибѣгать къ образамъ и сравненіямъ. Тэнъ сравниваетъ наше *я* съ свѣтящимся снопомъ, всю природу, одинаково духовную и физическую, съ изготовленнымъ изъ одного и того же матеріала фейерверкомъ, всю ея жизнь съ непрестанными залпами этого фейерверка. Въ другомъ мѣстѣ отношеніе между духовной и физической жизнью онъ уподобляетъ вполнѣ соотвѣтствующимъ одинъ друго-

[1]) IV, p. 329.

му тексту и междустрочному переводу одной и той же книги [1]). Сравненія красивыя, но ничего не объясняющія. Если духъ и матерія по существу тожественны, гдѣ причина этого различія между *я* и *не я*, между текстомъ и переводомъ? И какимъ образомъ можно матерію, пространственно опредѣлимую и вѣсомую, отожествлять съ духомъ, который не можетъ быть ни взвѣшенъ, ни смѣренъ? И если нѣтъ въ мірѣ неизмѣннаго разумнаго начала, то откуда эти неизмѣнные законы вещей? По Тэну, вслѣдствіе фейерверка вещей. Но говорить о фейерверкѣ значитъ объясняться притчами, и на притчу о фейерверкѣ можно отвѣчать другой, очень древней и не въ примѣръ болѣе убѣдительной—притчей о буквахъ алфавита. Вообразимъ (говоритъ эта притча), что существуютъ въ безчисленномъ количествѣ всѣ буквы алфавита, двигающіяся непрестанно, но какъ попало. Возможно ли думать, что, ударяясь о землю, онѣ способны напечатлѣть на ней какую нибудь поэму или даже одинъ стихъ поэмы? На этотъ вопросъ никто не отвѣтитъ утвердительно. Во сколько же разъ нелѣпѣе думать, что благоустроенный міръ или, вѣрнѣе, безчисленное множество благоустроенныхъ міровъ могутъ быть слѣдствіемъ какой нибудь случайной игры. Если такимъ путемъ образуются міры, отчего также не воздвигаются портики, храмы, дома, города, построеніе которыхъ много

[1]) De l'Intelligence, I, pp. 334—336.

легче? [1]). Иными словами, для постиженія мірового порядка необходимо признать разумную причину. Обыкновенно противъ этого возражаютъ, что разсуждать такъ о природѣ значитъ судить объ ея жизни по аналогіи съ человѣческой жизнью. Но вѣдь и фейерверкъ взятъ изъ обихода человѣческой жизни. Да и можетъ ли человѣкъ судить не по аналогіи со своей жизнью? Требовать, чтобы онъ судилъ не съ человѣческой точки зрѣнія, значитъ требовать, чтобы онъ пересталъ быть человѣкомъ, то есть требовать безсмыслицы.

Ученіемъ о фейерверкѣ вещей устраняется въ человѣкѣ всякая свободная воля. И однако сознаніе свободы воли—безспорный фактъ, на столько очевидный, что противъ него безсильны всякія теоріи, такъ какъ онѣ каждое мгновеніе *фактически* опровергаются. Прежде чѣмъ выставлять теоріи о всеобщей безусловной необходимости, нужно было бы посчитаться съ этимъ фактомъ, но Тэнъ скользитъ мимо него, отлагая его обсужденіе на будущее время [2])— пріемъ, конечно, очень удобный, но и совершенно ничтожный, какъ едва ли нужно пояснять.

Разумѣется, если все по существу едино, если въ всемъ царитъ одна и та же необходимость, то человѣкъ по существу ничѣмъ не отличается не

[1]) Cicero, De Deor. nat. II, 37, 93—94.

[2]) Monod, p. 129. Тэнъ предполагалъ написать особый трудъ о волѣ, который долженъ былъ завершить его систему, но не успѣлъ выполнить этого намѣренія.

только отъ звѣря, но даже отъ дерева и камня. Разумѣется также, что въ такомъ случаѣ безсмысленно говорить о нравственности и безнравственности. Но нравственное сознаніе въ человѣкѣ засвидѣтельствовано всей нашей исторіей. Пусть у человѣка клыки, какъ у собаки и лисицы, пусть онъ ихъ порой вонзаетъ въ тѣло ближняго, пусть онъ зараженъ самомнѣніемъ и топочется въ грязи,— онъ не только кровожадный, но и любвеобильный звѣрь, способный (какъ многократно признаетъ и самъ Тэнъ) не только на звѣрство, но и на самые высокіе подвиги, его самомнѣніе не мѣшаетъ ему преуспѣвать умственно и нравственно, чтобы все больше и больше вырываться изъ той грязи, въ которой онъ топочется. Развѣ поступательный ходъ исторіи вымыселъ, развѣ культура пустой звукъ? Ни прогресса, ни культуры не отрицаетъ и Тэнъ. Но все это, говоритъ онъ, обусловлено однимъ только хлыстомъ, которымъ бьютъ человѣческую скотину. Однако у этой скотины есть клыки, она, по Тэну, прежде всего кровожадна. Отчего же она не пожираетъ тѣхъ, кто ее бьетъ, отчего она даетъ надъ собою властвовать? Если люди главнымъ образомъ кровожадные звѣри, созданные природой, чтобы вонзать другъ въ друга клыки, отчего они до сихъ поръ не перегрызли другъ друга? Подобныя теоріи во всякомъ случаѣ односторонни.

Но всего менѣе вразумительно ученіе Тэна о Богѣ. Гдѣ то далеко, неизвѣстно гдѣ, кѣмъ то про-

износится какая то аксіома, которая своими отзвуками творитъ міръ. Кто можетъ понять такое богословіе? Какое бы нелѣпое представленіе о божествѣ мы ни взяли, пусть даже изъ самой нелѣпой религіи, оно едва ли сравнится по нелѣпости съ этимъ воззрѣніемъ Тэна.

Всякій въ правѣ имѣть какія угодно убѣжденія, но въ данномъ случаѣ печально то, что весь этотъ вымыселъ Тэна о мірѣ и Богѣ принимается во Франціи, благодаря огромному авторитету Тэна, за послѣднее слово науки, и что за это послѣднее слово тамъ возводятъ на науку обвиненіе, какъ на причину и разсадникъ умственной неустойчивости [1]), хотя наука съ подобными вымыслами имѣетъ общаго лишь то, что они прикрываются ея именемъ. А что у Тэна много чисто личнаго не только въ его философской теоріи, но и во всѣхъ его трудахъ, не исключая и историческихъ, это вынужденъ признать всякій безпристрастный ихъ цѣнитель.

„Такъ какъ опытъ даже самаго ученаго человѣка всегда ограниченъ, то (вполнѣ вѣрно говоритъ Лемэтръ [2]) всякое объясненіе сколько нибудь значительной совокупности явленій, хотя бы и внушенное опытомъ, по необходимости становится творчествомъ. Умъ въ началѣ прилаживается къ частицамъ дѣй-

[1]) Выше, стр. 99, сл.

[2]) Contemporains, VI, pp. 308—310.

ствительности, которыя могъ схватить; но какъ скоро дѣло идетъ о болѣе широкой дѣйствительности или обо всей дѣйствительности, мы ее прилаживаемъ къ нашему уму; нашъ умъ дополняетъ факты, ихъ комкаетъ, предполагаетъ между ними отношенія для оправданія законовъ. Всякая философія есть поэзія. И не найдется никого другого, кто бы дѣлалъ чаще, чѣмъ Тэнъ, не то, что думалъ дѣлать, а совсѣмъ иное; никто больше его не чувствовалъ и не воображалъ, тогда какъ ему казалось, будто онъ только воспринимаетъ, наблюдаетъ, распредѣляетъ... Онъ искажаетъ факты только потому, что, не зная ихъ всѣхъ, приводитъ ихъ въ стройность".

Не смотря на явную несостоятельность теоретическихъ воззрѣній Тэна, они оказали „почти чудесное воздѣйствіе" [1]). Причина этого прежде всего въ ихъ яркой радикальной окраскѣ, а затѣмъ—въ необыкновенной прямотѣ, честности, убѣжденности, сосредоточенности мысли, въ огромномъ авторитетѣ Тэна, пріобрѣтенномъ обиліемъ и разнообразіемъ свѣдѣній, стремленіемъ всегда держаться на почвѣ фактовъ, его трудолюбивой и безупречной жизнью, всецѣло отданной наукѣ, въ блестящихъ литературныхъ качествахъ его трудовъ.

Его мі опониманіе проникало въ общественное сознаніе не посредствомъ однихъ только его со-

[1]) Bourget, Essais de psychologie contemporaine, p. 230.

чиненій, но и чрезъ вдохновленный имъ современный реализмъ и натурализмъ, гланымъ образомъ чрезъ натуралистическій романъ Зола и его школы, служащій драматическимъ изложеніемъ философіи Тэна, для которой романъ есть вѣрное изображеніе нашей жизни во всѣхъ ея разновидностяхъ, положеніяхъ, разцвѣтѣ и вырожденіи [1]). Зола выступилъ на свое громкое поприще писателя „экспериментальныхъ романовъ“ подъ щитомъ извѣстнаго изреченія Тэна о добродѣтели [2]) и остается, за нѣкоторыми колебаніями, вѣренъ духу этого изреченія до сихъ поръ. Правда, Тэнъ не отвѣтственъ за тѣ излишества, которыя допускаютъ современные натуралисты и которыя внушали ему отвращеніе [3]), но основныя черты ихъ міровоззрѣнія, механическое толкованіе жизни, взглядъ на человѣка, какъ на едва прикрытаго культурой скота, стремленіе останавливаться главнымъ образомъ на низменныхъ сторонахъ жизни несомнѣнно подсказаны Тэномъ. Однако Тэнъ былъ не родоначальникомъ этого направленія, а только наиболѣе виднымъ и талантливымъ выразителемъ его теорій. Оно коренится въ условіяхъ французской культуры, утратившей вѣру въ идеалъ и признавшей дѣйствительность лишь за фактами. Въ то время, какъ Тэнъ выступилъ

---

[1]) Bourget, Oeuvres complètes, Romans, Préface, p. V.

[2]) Выше, стр. 341.

[3]) Lemaitre, Contemporains, VI p. 312.

съ своими натуралистическими теоріями, натурализмъ уже нашелъ въ литературѣ блестящихъ представителей въ Бальзакѣ и Флоберѣ, стоявшихъ на той же почвѣ, какъ Зола, хотя и менѣе грязной. Тэнъ былъ только философомъ натурализма, созданнаго жизнью [1]).

Въ концѣ своей дѣятельности Тэнъ оттолкнулъ отъ себя многихъ поклонниковъ своими политическими воззрѣніями, больше всего своимъ отрицательнымъ отношеніемъ къ великой революціи, перешедшимъ напослѣдокъ въ гнѣвъ къ ея дѣятелямъ, и сочувствіемъ религіи, главнымъ образомъ христіанству, какъ благотворной исторической силѣ.

Политическія теоріи Тэна, по вѣрному объясненію Буржэ [2]), коренятся въ его взглядѣ на государство какъ организмъ. Если личныя здоровье и сила пріобрѣтаются сознательнымъ или безсознательнымъ подчиненіемъ законамъ физіологическаго организма, то и общественныя здоровье и сила должны пріобрѣтаться сознательнымъ или безсознательнымъ подчиненіемъ законамъ общественнаго организма. Организмъ этотъ—произведеніе разнообразныхъ, но одинаково неизбѣжныхъ и непоправимыхъ условій. Въ созиданіи его принимали участіе раса, среда, совокупность историческихъ обстоятельствъ. Каковъ бы онъ ни былъ, хорошъ или дуренъ, восхитителенъ или отврати-

[1]) Brunetière, Évolution de la poésie lyrique en France au XIX siècle, II, p. 163.

[2]) Essais de psychologie contemporaine, pp. 241—242.

теленъ, онъ дѣйствуетъ точно такъ-же, какъ существуетъ,—въ силу непобѣдимой необходимости. Мудрость состоитъ въ принятіи этой необходимости, какъ факта. Признать всѣ условія общественнаго организма, котораго мы составляемъ часть, признать, но не подчиняться имъ—таковъ залогъ прогресса, такъ какъ улучшить положеніе можно лишь испытавъ и понявъ его. „Надъ природой можно властвовать только повинуясь ей", сказалъ Бэконъ [1]), и это его изреченіе должно быть примѣнено и къ управленію народами. Уважать не только устои, но и предразсудки своей расы, такъ какъ „наслѣдственный предразсудокъ есть слѣпая форма разума[2])"; сохранять, какъ живыя части живого организма, не одни лишь полезныя учрежденія, но и тѣ, которыя кажутся дурными; не измѣрять интересовъ государства ни логическими требованіями нашего ума, ни благородными влеченіями нашего сердца, такъ какъ ни нашъ умъ, ни наше сердце не служатъ правиломъ для дѣйствительности; словомъ, обходиться съ обществомъ подобно тому, какъ обходится врачъ съ больнымъ, не рѣзко и не спѣша, но съ медленной и боязливой осторожностью, вызванной сознаніемъ безконечной сложности функцій—таковъ общій духъ политической философіи Тэна.

Въ ней Тэнъ остается вѣренъ своимъ основнымъ воззрѣніямъ, но подрываетъ ею все зданіе, воздви-

[1]) Novum Organon, I, 3.

[2]) Ancien régime, p. 275.

гнутое революціей, которая дѣйствовала какъ разъ наперекоръ только что приведеннымъ правиламъ. Отсюда недоброжелательство къ Тэну, какъ реакціонеру. Однако онъ не только не желалъ возврата къ старому строю, но видѣлъ въ немъ самомъ причину его гибели. Якобинцы, которыхъ онъ такъ не любитъ, по его словамъ, были „наслѣдниками и палачами стараго строя, и если присмотрѣться къ тому, какъ онъ ихъ породилъ, вывелъ на свѣтъ, вскормилъ, возвелъ въ санъ, поставилъ на битву, то нельзя не разсматривать его исторію какъ долгое самоубійство“ [1]). Идеаломъ для Тэна былъ государственный организмъ, сложенный изъ самодѣятельныхъ и развивающихся центровъ. Идеалъ этотъ былъ имъ только намѣченъ, но не очерченъ подробно.

Воззрѣнія Тэна на христіанство, съ которыми мы встрѣтимся ниже [2]), не были слѣдствіемъ его мнимаго возврата къ вѣрованіямъ дѣтства: они были подсказаны яснымъ сознаніемъ великаго и благотворнаго значенія христіанства въ жизни народовъ, вынесеннымъ изъ изученія исторіи. Въ исторіи онъ слишкомъ много видѣлъ людскаго звѣрства, такъ что подъ конецъ сталъ бояться людей.И ему хотѣлось, что бы они руководствовались добродѣтелями, разубѣдить въ которыхъ была особенно пригодна

[1]) Ancien régime, p. 522.

[2]) См. слѣдующую главу.

его философія [1]). Онъ желалъ этого тѣмъ болѣе, что самъ былъ совсѣмъ не похожъ на того звѣря, какимъ ему представлялись люди. По отзывамъ его лично знавшихъ, онъ былъ человѣкъ добрый, кроткій, скромный, деликатный и безупречно нравственный [2]). Его кажущаяся черствость объясняется желаніемъ неуклонно идти къ намѣченной цѣли. Или, выражаясь его подлинными словами, „слѣдовать своему призванію, искать на великомъ полѣ работы мѣсто, гдѣ можно принести наибольшую пользу; копать свою борозду или могилу, вотъ въ чемъ на его взглядъ главное; остальное безразлично“ [3]). Но какимъ образомъ (спрашиваетъ Буржэ [4]) рыть эту глубокую и широкую борозду, не вырывая съ корнемъ много цвѣтовъ?

И въ Тэнѣ, какъ въ Ренанѣ, мы видимъ примѣръ раздвоенія личности, свидѣтельство, что ни по теоретическимъ воззрѣніямъ мыслителя нельзя судить объ его нравственной жизни, ни наоборотъ.

Тогда какъ одни изъ поклонниковъ Тэна отдалились отъ него вслѣдствіе его консервативныхъ взглядовъ, другіе, въ особенности послѣ его смерти,

---

[1]) Lemaitre, Contemporains, VI, p. 312.

[2]) Характеристика у Моно въ указанномъ выше сочиненіи, а также у Вогюэ въ Devant le Siècle, въ посвященномъ Тэну отдѣлѣ (1896) и у Барреса въ Déracinés, ch. VII, Visite de Taine à Roemerspacher.

[3]) Les philosophes classiques, p. 347.

[4]) Essais de psychologie contemporaine, p. 250.

стали ясно сознавать на ряду съ его величіемъ и его односторонность.

„Онъ очень великъ (говоритъ о немъ Лемэтръ [1]). Это мозгъ, который въ этомъ вѣкѣ въ себѣ вмѣстилъ, быть можетъ, наибольшее количество фактовъ и привелъ ихъ въ стройный порядокъ съ наибольшей строгостью. Онъ—одинъ изъ нашихъ наставниковъ. Позитивистическій періодъ нашей литературы, начавшійся съ 1855 года и теперь заканчивающійся, хранитъ глубоко его отпечатокъ. Но великія истины не могутъ быть открыты иначе, какъ сильно предвзятыми взглядами, влекущими за собою большія ошибки. Что за важность? Истины остаются. Тэнъ—писатель, заставившій насъ особенно сильно чувствовать и понимать животное и машину, которыми всегда остается человѣкъ. Но эту истину мы достаточно видѣли, и теперь насъ готовы больше увлекать нѣсколько иныя истины. Поэтому съ Тэномъ случится тоже, что съ другими великими изобрѣтателями или оживителями идей: его втеченіе тридцати лѣтъ оставятъ,—чтобы къ нему возвратиться“.

Если Ренанъ расшатывалъ религіозное сознаніе диллетантизмомъ, Тэнъ — поклоненіемъ факту, то Леконтъ де Лиль [2]) обнаруживалъ такую же наклонность поэтическою проповѣдью объ одинаковомъ ни-

[1]) Les Contemporains, VI, pp. 312—313.

[2]) P. Monceaux, Leconte de Lisle, Revue bleue, 1895, pp. 725—729.

чтожествѣ всѣхъ идеаловъ. Этотъ геніальный поэтъ— одно изъ наиболѣе типичныхъ созданій современнаго французскаго духа, и исторія его умственной жизни есть какъ бы сжатый очеркъ исторіи современнаго французскаго сознанія.

Онъ былъ рожденъ подъ тропическимъ небомъ острова Бурбона съ горячимъ и нѣжнымъ сердцемъ, жаждавшимъ взаимности и любви. Но онъ встрѣчалъ повсюду холодность и эгоизмъ и вынужденъ былъ скрывать свои лучшія чувства. Въ концѣ онъ возненавидѣлъ и сталъ презирать людей столь же сильно, какъ раньше ихъ любилъ. Подобно большинству своихъ современниковъ, онъ вѣрилъ въ безконечное совершенствованіе человѣческой природы и думалъ, что дѣйствительность должна подчиниться теоріи, что общественное зло можетъ быть искоренено усиліями разума. Существовавшее на его родномъ островѣ рабство глубоко возмущало его. Переселившись въ Парижъ, онъ подговорилъ креоловъ ходатайствовать объ уничтоженіи рабства, но былъ за это жестоко наказанъ: его соотечественники отъ него отвернулись и даже родители отказались. Тогда онъ попытался содѣйствовать осуществленію идеала свободы силой и сталъ во время февральской революціи въ ряды возставшихъ, но былъ арестованъ и заточенъ въ тюрьму. Разочаровавшись во всемъ человѣческомъ, онъ надѣялся найти счастье въ религіи. Послѣдовательно онъ изучилъ всѣ религіи, чтобы извлечь изъ нихъ все,

что въ нихъ истиннаго и справедливаго. Но его разочарованное сердце не нашло въ нихъ ничего кромѣ эгоизма и обмана. Дольше всего онъ молитвенно склонялся передъ образомъ Христа, предъ Его страданіями и заповѣдями. Но онъ не могъ не видѣть, какъ тѣсно связанъ христіанскій идеалъ съ церковью, и не могъ не знать, какъ пользовалась католическая церковь христіанскимъ идеаломъ. Къ среднимъ вѣкамъ съ ихъ религіознымъ фанатизмомъ онъ проникся глубокою ненавистью; и такъ какъ настоящее неразрывно связано съ прошлымъ, то христіанство представлялось ему въ такомъ же мрачномъ свѣтѣ, какъ и остальныя религіи. И вотъ онъ проклинаетъ то, что раньше превозносилъ до небесъ. Отъ людей и отъ боговъ онъ отвернулся къ природѣ и искалъ успокоенія въ ея культѣ. Она его не обманула. Но, чтобы почитать ее во всей ея чистотѣ, онъ освободилъ ее отъ всего, что вложено въ нее человѣкомъ, и воображалъ ее себѣ не иначе, какъ далеко отъ европейской культуры, подъ безконечнымъ сіяніемъ солнца Востока. Безсознательно съ раннихъ лѣтъ онъ вкушалъ блаженное подавленіе существа подъ тропическимъ небомъ; лежа на берегу своего острова, созерцая безконечное жгучее голубое небо, онъ чувствовалъ сліяніе своей души съ душою міра. И чѣмъ дольше онъ жилъ, чѣмъ больше предавался этимъ созерцаніямъ, тѣмъ больше его разочарованная мысль толкала его на путь пантеистическаго міропониманія, погружающаго все конеч-

ное въ пучину безконечнаго. Отсюда его склонность къ брамаизму и буддизму; отсюда его любовь къ наукѣ, свидѣтельствующей о подчиненіи природы неизбѣжнымъ роковымъ законамъ; отсюда же, наконецъ, и его религія небытія, какъ послѣдній оплотъ изстрадавшагося и извѣрившагося сердца.

Его міровоззрѣніе не сложно. Оно сводится къ одному общему взгляду: человѣку не на что надѣяться. Вся жизнь есть пустая мечта, иллюзія и обманъ. Природа смѣется надъ его страданіями; созерцая лишь свое собственное величіе, она повсюду расточаетъ свои верховныя силы и оставляетъ для себя спокойствіе и блескъ [1]). Еще меньше можно возлагать упованія на религію. Всѣ религіи законны въ свое время; но для современнаго просвѣщеннаго человѣка время религіозныхъ вѣрованій прошло невозвратно. Свѣтло и лучезарно сіялъ передъ людьми образъ Христа; похоронивъ Его, они погребли своего послѣдняго Бога [2]). И въ концѣ все и всѣхъ—и природу, и боговъ, и людей—ожидаетъ одинъ конецъ—разрушеніе въ вѣчномъ круговоротѣ жизни.

„Ты замолкнешь, зловѣщій голосъ живущихъ! Бѣшеныя проклятія, разносимыя вѣтрами, крики ужаса, крики ненависти, крики неистовства, ужасные

[1]) La fontaine aux lianes (Poèmes barbares).

[2]) Dies irae (Poèmes antiques).

вопли вѣчнаго кораблекрушенія, вопли мученій, преступленій, раскаяній, отчаянныя рыданія, духъ и тѣло людей—наступитъ день, и вы замолкнете! Все замолкнетъ, боги, цари, каторжники, гнусныя толпы, глухой ропотъ остроговъ и городовъ, лѣсные звѣри, горы и моря, все, что летаетъ, прыгаетъ и пресмыкается въ этомъ аду, все, что трепещетъ и бѣгаетъ, все, что убиваетъ и пожираетъ, начиная отъ земного червя, раздавленнаго въ грязи, и до молніи, блуждающей въ непроницаемости ночей! Природа сразу прекратитъ свой шумъ. И то не будетъ подъ великолѣпнымъ небомъ отвоеванное счастье древняго рая, ни бесѣда Адама и Евы среди цвѣтовъ, ни божественный сонъ послѣ столькихъ страданій; но когда нашъ земной шаръ со всѣмъ, что въ немъ живетъ, будетъ вырванъ изъ своей неизмѣримой орбиты, какъ безплодная глыба, безсмысленная, слѣпая, полная умирающихъ стенаній, съ каждымъ мгновеніемъ все болѣе и болѣе тяжелая и растерянная, и когда онъ ударится о какую-нибудь неподвижную въ своей силѣ вселенную и размозжитъ о нее свою старую и жалкую кожуру, то чрезъ тысячи зіяющихъ пропастей прольетъ онъ свой внутренній огонь и свои океаны и оплодотворитъ своими гнусными остатками борозды пространства, въ которыхъ среди броженія зарождаются міры“ [1]).

[1]) Solvet saecla (Poèmes barbares).

Но и этотъ всепоглощающій круговоротъ жизни есть въ основаніи полное ничтожество, онъ не существуетъ, онъ только мерещится, а на дѣлѣ нѣтъ ничего, кромѣ иллюзіи, вѣчнаго обмана, который опять таки есть ничто:

„Тайна жизни въ закрытыхъ могилахъ: то, чего больше нѣтъ, стало такимъ потому, что раньше было, и конечное ничтожество существъ и вещей есть единственное основаніе для ихъ существованія.

„О, старая иллюзія, первая изъ причинъ! Зачѣмъ пробуждать насъ отъ нашей вѣчности, если—какъ скоро ты сама только призракъ и тщета—тайна жизни въ закрытыхъ могилахъ.

„Люди, звѣри и боги, и безпредѣльный міръ, все это возникаетъ и умираетъ отъ твоихъ превращеній. Въ вѣкахъ, которые ты заставляешь нарождаться и разлагаешь, то, чего больше нѣтъ, стало такимъ потому, что раньше было.

„Во всѣ времена, и сіяющія и мрачныя, духъ, эта быстрая молнія, уносимая ихъ полетомъ, неотразимо познаетъ свою собственную пустоту и конечное ничтожество существъ и вещей.

„Да, безъ тебя, которая сама ничто, ничего бы не было: ни любви, ни преступленій, ни добродѣтели, ни ядовъ, ни розъ. Исчезнувшая мечта о порожденныхъ тобою созданіяхъ есть единственное основаніе ихъ дѣйствительности.

„Не оставайся въ бездѣйствіи передъ закрытыми дверями, человѣкъ! Умѣй умирать, чтобы больше не быть, и внѣ таинственнаго вихря вещей ищи въ глубинѣ твоей могилы тайну жизни въ ея дѣйствительности“ [1]).

Трудно нагляднѣе выразить нигилистическое міропониманіе и трудно найти болѣе мрачное міровоззрѣніе. Но это міровоззрѣніе въ то же время и вполнѣ ничтожное. Стара истина, что легко разрушать, но трудно созидать. Безъ отрицанія устарѣвшаго и отжившаго невозможенъ прогрессъ, но безусловное отрицаніе не можетъ имѣть никакого положительнаго значенія, кромѣ развѣ свидѣтельства объ изворотливости ума. Какъ бы мы далеко ни простирали отрицаніе, жизнь остается положительнымъ и неотрицаемымъ фактомъ, и она требуетъ отъ насъ не отрицательной игры мысли, а положительныхъ данныхъ, положительныхъ знаній, положительныхъ правилъ. Оттого міровоззрѣніе полнаго отрицанія всегда безплодно, и мудръ не тотъ, кто безъ всякихъ положительныхъ идеаловъ отрицаетъ, но кто способствуетъ положительному міропониманію—хотя-бы отрицаніемъ того, что слѣдуетъ отрицать.

За то, какіе повсюду у Леконта де Лиля восхитительные образы, какіе плѣнительные звуки, какая очаровательная мелодія, напримѣръ, въ только что приведенномъ стихотвореніи:

[1]) Le Secret de la vie (Poèmes tragiques).

Le secret de la vie est dans les tombes closes:
Ce qui n'est plus n'est tel que pour avoir été;
Et le néant final des êtres et des choses
Est l'unique raison de leur réalité.

O vieille Illusion, la première des causes!
Pourquoi nous éveiller de notre étérnité,
Si, toi même n'étant que leurre et vanité,
Le secret de la vie est dans les tombes closes?

Hommes, bêtes et Dieux et monde illimité,
Tout cela jaillit, meurt de tes métamorphoses,
Dans les siècles, que tu fais naître et décomposes,
Ce qui n'est plus n'est tel que pour avoir été.

A travers tous les temps, splendides ou moroses,
L'esprit, rapide éclaire, en leur vol emporté,
Conçoit fatalement sa propre inanité
Et le néant final des êtres et des choses.

Oui! sans toi, qui n'est rien, rien n'aurait existé:
Amour, crimes, vertus, les poisons ni les roses.
Le rêve évanoui de tes oeuvres écloses
Est l'unique raison de leur réalité.

Ne reste pas inerte au seuil des portes closes,
Homme! Sache mourir afin d'avoir été;
Et, hors du tourbillon mystérieux des choses,
Cherche au fond de la tombe, en sa réalité,
Le secret de la vie.

И этотъ огромный талантъ не нашелъ для себя лучшаго примѣненія кромѣ проповѣди всеобщаго ничтожества. Для тѣхъ, кто умѣетъ вдумчиво смотрѣть на жизнь, здѣсь кроется глубокій трагизмъ.

Признаніе всѣхъ идеаловъ равноправными, отрицаніе ихъ ради факта и проповѣдь тщеты не единственныя направленія, подтачивающія религіозное сознаніе во Франціи. Существуетъ еще третье, наименѣе достойное разума,—глумленіе.

Типичнымъ образцомъ этого направленія служатъ „Богохульства“ Ришпэна. Одного заглавія книги довольно, чтобы судить объ ея содержаніи. Авторъ поставилъ себѣ цѣлью „вызвать скандалъ среди всѣхъ благочестивыхъ, всѣхъ вѣрныхъ той или другой религіи, какова бы она ни была“. Онъ одинаково подымаетъ на смѣхъ „и деистовъ, и поклонниковъ Высшаго Существа, и поклонниковъ мірового сознанія, и поклонниковъ вселенной,—всѣхъ безъ изъятія, начиная отъ свободныхъ мыслителей и кончая пантеистами“. Но онъ не ограничивается издѣвательствомъ надъ религіей; онъ въ то же время дѣлаетъ вызовъ и „скептикамъ, и матеріалистамъ, и позитивистамъ, и простымъ добрымъ людямъ, чуждымъ философскихъ претензій, но которые царственно чванятся своимъ достоинствомъ человѣка и бьютъ себѣ въ лицо кадиломъ подъ предлогомъ почитанія разума“; поэтъ „плюетъ на это глупое кадило“, какъ и на всѣ остальные „цвѣты людскихъ мечтаній“ и предразсудки—на право, собственность, семью, общество, нравственность и т. д., желая показать ничтожество всѣхъ вещей [1]). Было бы излишнимъ

[1]) Blasphèmes, préface.

приводить образцы такихъ „плевковъ“. Лемэтръ, говоря о Ришпэнѣ, причисляетъ его къ разряду поэтовъ—фигляровъ или паяцевъ, подобно тому, какъ бываютъ поэты-живописцы, парфюмеры, кокотки, музыканты [1]) и т. д. Съ этой характеристикой трудно не согласиться. О томъ, представителемъ какой „свободы духа“ служитъ Ришпэнъ, можно судить по тому, что даже въ свободной Франціи онъ вынужденъ былъ за свою беззастѣнчивость просидѣть мѣсяцъ въ тюрьмѣ. Онъ самъ разсказываетъ объ этомъ въ „Chanson des Gueux“, гдѣ въ стихотвореніи „Gueux des champs“ замѣняетъ тѣ стихи, за которые долженъ былъ поплатиться, двумя слѣдующими:

Ici deux gueux s'aimaient jusqu'a la pâmoison,
Et cela m'a valu trente jours des prisons.

Невозможно отрицать громаднаго таланта этого фигляра, но нельзя не признать, что это крупное дарованіе расточается безобразно, безсмысленно и безплодно. Глумленіе всегда мелко, а въ сравненіи съ такими возвышенными стремленіями, какъ религіозныя и нравственныя, оно кажется не только мелкимъ, но и глупымъ.

Самъ Ришпэнъ смотритъ на себя, какъ на передового просвѣтителя. Въ великолѣпныхъ стихахъ сравниваетъ онъ свой умъ съ лихимъ наѣздникомъ, мчащимся на черныхъ буйныхъ коняхъ мысли для

[1]) Contemporains, III, p. 313.

преслѣдованія всякихъ ложныхъ страховъ, гнѣздящихся въ дебряхъ человѣческаго духа, чтобы вонзить въ эти предразсудки по самую рукоятку свѣтлый ятаганъ стиховъ:

En ce temps où le vent des folles aventures
Ne souffle plus dans nos poumons,
Je n'irai pas chercher les victoires futures
A travers les vaux et les monts.

Mais dans l'intelligence humaine, ensemencée
D' un tas de mots intimidants,
Je lancerai les noirs chevaux de ma pensée,
Ventre à terre et le mors aux dents;

Et malgré les fourrès obscurs pleins de racines,
Les fondis où l'on disparaît,
Les étangs croupissants aux plantes assassines,
Malgré tout, fouillant la forêt,

J'y donnerai la chasse à la bête hagarde
Qu'elle cache en ses antres verts,
Afin de lui plonger au coeur jusqu'à la garde
Le clair yatagan de mes vers. [1])

Вопросъ однако въ томъ, гдѣ въ нравственной области граница между истиной и предразсудкомъ, между тѣмъ, что можно сокрушать безъ оглядки и безъ опасенія за настоящее и будущее, и тѣмъ, къ чему ради прошлаго, настоящаго и будущаго слѣдуетъ относиться съ осторожностью? Признаемъ, что наша жизнь поросла предразсудками и что для большинства людей въ нихъ вся жизнь. Если ихъ

[1]) Blasphèmes, Hallali.

вырвать, что остается? Чѣмъ насадить пустыню? Надъ этимъ вопросомъ наѣздники въ родѣ Ришпэна не любятъ задумываться: разрушать, и только; будущее должно само показать, что выростетъ на развалинахъ. Цѣль, которую они себѣ ставятъ, теперь достигнута: куда ни посмотри, однѣ развалины.

„Горе, горе (можно сказать про французскій народъ словами хора въ „Фаустѣ"), ты разбилъ его, этотъ прекрасный міръ, могучимъ кулакомъ, онъ рушится, онъ разваливается". Сокрушены одинаково всѣ и всякія вѣрованія—и въ любви, и въ наукѣ, и въ философіи, и въ искусствѣ, и въ общественной жизни, и въ нравственности, и въ религіи. Что остается среди этихъ развалинъ? Наше *я*, которое ихъ производитъ. За отсутствіемъ чего либо другого, болѣе цѣннаго, не естественно ли цѣнить и возвеличивать это *я*, ему поклоняться, возводить это поклоненіе въ культъ?

Проповѣдникомъ этого культа выступилъ Морисъ Барресъ, апостолъ религіи *я*, „ультра-ренанистъ и неодиллетантистъ" на подкладкѣ изъ Тэна [1]).

[1]) Le Goffic, Les romanciers d'aujourd'hui (1890), pp 146—162. Anatole France, Vie littéraire (1892), IV, pp. 223—230. Lemaitre, Contemporains (1892), V, pp. 318—320. Lazare, Figures contemporaines (1895), pp. 15—19. Doumic, Les jeunes (1896), pp. 85—100. Recolin, L'Anarchie littéraire (1898), pp. 127—143. Remy de Gourmont, Le II Livre des Masques (1898), pp. 79—89. Bordeaux, Les Écrivains et les moeurs (1900), pp. 225—235. Réné Jaquet, Notre maître Maurice Barrés (1900).

Катехизисъ этой религіи безъ вѣры и Бога сводится къ слѣдующему.

Цѣль культа *я* дать внутренней жизни правило, которое бы могло замѣнить всякія системы, оказавшіяся всѣ одинаково безсильными поставить человѣка на путь достовѣрности. Людей слѣдуетъ раздѣлять 1) на *я* и 2) на варваровъ. *Я* есть совокупность свойственныхъ каждому способовъ чувствовать и разсуждать, или иначе, прирожденныхъ каждому предрасположеній. Подъ варварами подразумѣваются всѣ тѣ, чей взглядъ на жизнь противоположенъ создаваемому нашимъ *я*. Этимъ словомъ не обозначается ничего грубаго, дикаго, способнаго обидѣть, но оно примѣняется въ томъ же смыслѣ, въ какомъ употребляли его греки, считавшіе варварами всѣхъ иностранцевъ. До познанія нашего *я* мы доходимъ, уединяя его отъ соприкосновенія съ варварами, которые его стѣсняютъ. Это *я* не неизмѣнно, но способно къ усовершенствованію; нашъ долгъ каждодневно его защищать и создавать. Не слѣдуетъ принимать его цѣликомъ, но мы должны очищать его отъ чуждыхъ ему элементовъ, непрестанно вводимыхъ въ него жизнью, и обратно— присоединять къ нему то, что съ нимъ тожественно, что имъ можетъ быть усвоено, какъ ему родное, все то, что съ нимъ сливается, когда оно безъ противодѣйствія отдается силѣ своихъ инстинктовъ. Слагается наше *я* главнымъ образомъ изъ инстинктовъ нашей расы, такъ что оно есть какъ

бы отраженіе или моментъ жизни этой расы. Какъ скоро наше *я* нами сознано, наша дѣятельность должна состоять въ томъ, чтобы простосердечно созерцать вселенную, искать наиболѣе удобнаго пути для развитія нашего міровоззрѣнія, для разцвѣта нашей чувствительности, и для защиты всего этого отъ варваровъ. Однако культъ *я* не есть окончательная религія. Главное для человѣка въ томъ, чтобы найти достовѣрность. Культъ *я* ставитъ себѣ цѣлью способствовать этому, желаетъ служить почвой для выжиданія болѣе твердыхъ убѣжденій, если они появятся [1]).

Высшимъ основаніемъ для этого культа служитъ истина, что внѣшняго міра не существуетъ и что мы сами создаемъ вселенную. Точнѣе, наша душа и вселенная ничѣмъ не отличаются: оба эти слова обозначаютъ одно и то же—сумму возможныхъ для насъ волненій. Поэтому мы можемъ дѣйствовать только на наше *я*, и цѣль нашей дѣятельности въ томъ, чтобы оно развернуло свое естественное единство на тысячи слагающихъ его частей. [2]) По мѣрѣ этого развитія наше міровоззрѣніе перестаетъ быть неопредѣленнымъ и печальнымъ облакомъ и становится огромной и роскошной картиной [3]). Отсюда выводъ: *я* открываетъ всеобщую гармонію

[1]) Le Culte du Moi отдѣльной брошюрой и подъ заглавіемъ Examen des trois volumes въ предисловіи къ Sous l'oeil des Barbares. Сжатое изложеніе у Жакэ, pp. 121—124.

[2]) Toute licence sauf contre l'amour, p. 10.

[3]) Homme libre, p. 87.

тѣмъ больше, чѣмъ шире и глубже сознается имъ міръ. Лишь бы оно существовало, лишь бы не было отблескомъ варваровъ, и во вселенной, которая есть совокупность его мыслей, воцарится прекрасный порядокъ, такъ что всѣ воззрѣнія *я* по необходимости приладятся одно къ другому [1]).

Но среди развалинъ, которыми *я* себя окружаетъ, остается ли оно само нетронутымъ? Разсѣкая все своей мыслью, щадитъ ли оно себя? Нѣтъ, не щадитъ, и оно разваливается. Не даромъ Барресъ говоритъ, что въ немъ тысяча душъ, смѣняющихъ одна другую и взаимно себя отрицающихъ, и что онъ страдаетъ отъ этого расщепленія [2]), не даромъ пишетъ цѣлый романъ, чтобы открыть и утвердить существованіе *я* [3]). Существуетъ ли оно у самого Барреса? Надо думать, что существуетъ, но уловить *я* у проповѣдника культа *я* трудно, едва ли даже возможно. Все, что отъ Барреса въ его культѣ *я* исходитъ, можетъ служить образцомъ зыбкости мысли, недосказанности взглядовъ, недоконченности содержанія, ироніи, поѣдающей все, не исключая себя самой. Замкнуть это *я* въ рамки литературнаго портрета было бы тщетной попыткой: оно изъ нихъ сейчасъ же убѣгаетъ. Насколько возможно уловить неуловимое, это лучше другихъ удалось Анатолю Франсу.

[1]) Sous l'oeil des Barbares, p. 38.

[2]) Jardin de Bérénice, pp. 94. 134. 139 etc.

[3]) Первый въ серіи романовъ Le culte du Moi, т. е. Sous l'oeil des Barbares. См. Jacquet, pp. 133 сл.

Для Барреса (по характеристикѣ этого критика) внѣшній міръ не существуетъ; для него единственная реальность—чистая мысль; онъ интересуется только душами; онъ испорченный идеалистъ. Внѣшняя красота его не волнуетъ. Если онъ рисуетъ прекрасныя картины природы, то эти картины онъ беретъ изъ себя, онѣ—состоянія его души. Какую же религію или философію онъ исповѣдуетъ? Никакой ни религіи, ни философіи. Онъ не вѣруетъ и не надѣется. Онъ ходитъ въ умственной области безъ нравственной опоры. Или нѣтъ, у него есть религія—религія *я*, культъ внутренней личности, созерцаніе самого себя, божественный *эготизмъ*. Онъ восхищается тѣмъ, что живетъ; это литературный и политическій божокъ ничтожества несравненно отмѣнныхъ качествъ. Онъ поучаетъ насъ свѣтской мудрости—изящному равнодушію къ вещамъ. Онъ насъ наставляетъ въ томъ, что бы мы искали въ насъ самихъ „внутревое“ (internelle) утѣшеніе и хранили наше *я* какъ сокровище. И онъ желаетъ, что бы это считалось аскетизмомъ, чтобы въ ревнивой защитѣ нашего *я* отъ всякихъ на него посягательствъ была добродѣтель. Шамиссо написалъ когда то глубокомысленный разсказъ о томъ, что преступно продавать не только свою мысль, но даже свою тѣнь. Барресъ проникся истиной этого символа. Онъ говоритъ, что слѣдуетъ во что бы то ни стало себя охранять, себѣ принадлежать, оставаться устойчивымъ среди потока явленій, упорно себя

осуществлять въ разнообразіи вещей, и если бы мы были даже простой тѣнью, не продавать этой тѣни ни Богу, ни чорту, ни женщинамъ.

Барресъ какъ будто говоритъ: Человѣкъ, я—мечтатель всеобщей мечты. Міръ только кусочекъ опіума, который я курю въ своей маленькой серебряной трубкѣ. Все, что я вамъ показываю—только дымъ моихъ грезъ. Я самый лучшій и счастливый изъ людей. Мудрость моихъ западныхъ собратьевъ кажется мнѣ совсѣмъ недостовѣрной и близорукой. Они считаютъ себя скептиками, тогда какъ на дѣлѣ они переполнены наивной довѣрчивостью. Меня называютъ m-lle Ренанъ. Но я—я устрашенъ грузомъ тяжелыхъ вѣрованій, обременяющихъ душу моего духовнаго отца. Ренанъ стѣсненъ всякаго рода вѣрностями, исповѣдованіями, проповѣдованіями, символами. Я вѣрую только въ *я*. Одно только меня затрудняетъ, что *я* предполагаетъ собою *не я*, такъ какъ, если міръ отражается во мнѣ, то онъ все таки долженъ обладать нѣкоторой хотя бы неопредѣленной дѣйствительностью. Но если онъ существуетъ, это его дѣло, а не мое. Я и такъ очень занятъ тѣмъ, что поддерживаю дѣйствительность своего *я*, которое постоянно готово расплыться.

И Барресъ здѣсь правъ. Его *я* обладаетъ необыкновеннымъ стремленіемъ раскидываться въ безпредѣльности. Оно прелестно, это *я*, но слишкомъ изящно, тонко, неопредѣленно. Оно все состоитъ изъ изнеможеній, изъ смущеній, изъ колебаній, и

настолько сложно, что удерживать его—героическая работа. Непрестанная иронія его испепеляетъ и пѣдаетъ. Это *я* жидкое и очаровательное, тревожащее своей жидкостью. Это *я* обладаетъ блескомъ туманностей и заставляетъ думать о тѣхъ хрупкихъ свѣтилахъ, о тѣхъ кометахъ, для которыхъ астрономы всегда предвидятъ возможность какого нибудь ужаснаго небеснаго приключенія. И эти страхи не напрасны. Многія изъ этихъ тонкихъ свѣтилъ затерялись въ своемъ гиперболическомъ бѣгѣ, другія разсѣклись пополамъ. Теперь они два *я*, которыя не могутъ соединиться. Чтобы предотвратить подобную непріятность, Барресъ прибѣгаетъ къ различнымъ средствамъ. Онъ не ограничивается тѣмъ, что сосредоточиваетъ свое *я* въ изящныхъ психическихъ романахъ, онъ дѣйствуетъ, онъ ставитъ опыты. Онъ выступаетъ кандидатомъ въ палату депутатовъ, его избираютъ, онъ находитъ для своего *я* поддержку въ практикѣ [1]).

Кто же въ концѣ концовъ Барресъ? Пессимистъ, скептикъ, эгоистъ, атеистъ, анархистъ, нигилистъ? И да, и нѣтъ. Его зыбкое, вѣчно убѣгающее міропониманіе не укладывается ни въ какое опредѣленіе. Несомнѣнно одно, что онъ отрицатель, способный наводить нерадостныя мысли даже на жизнерадостныхъ.

---

[1]) Vie littéraire, IV, pp. 225—229.

„Прочитавъ вашу книгу, Барресъ, (пишетъ Анатоль Франсъ[1]) я открылъ окно и сталъ смотрѣть на звѣзды, трепетавшія на весеннемъ небѣ, только что освобожденномъ отъ зимнихъ тумановъ. И тайна этихъ сіяющихъ неизвѣстностей еще разъ меня заставила волноваться и такъ же горько, какъ прежде, такъ какъ я окончилъ неутѣшительное чтеніе. И я думалъ: быть можетъ, жизнь, какъ мы ее видимъ и понимаемъ здѣсь, жизнь органическая, жизнь животныхъ и людей, только особаго рода случайность, свойственная исключительно этому незначительному міру, который мы называемъ землею. Быть можетъ, эта маленькая планета испорчена, сгнила, и все, что мы видимъ на ней, не исключая и насъ самихъ, есть лишь слѣдствіе болѣзни, исказившей этотъ плохой плодъ. Смыслъ вселенной отъ насъ всецѣло ускользаетъ; быть можетъ, мы только болѣзненныя бациллы во всеобщемъ порядкѣ, какіе нибудь ужасные вибріоны. Быть можетъ"...

„Быть можетъ (надо на это отвѣчать съ точки зрѣнія Барреса), все это вамъ кажется только потому, что вы живете въ Парижѣ, гдѣ слишкомъ много варваровъ, которые васъ стѣсняютъ и раздражаютъ, и слишкомъ много всякихъ системъ, направленій, вѣяній, проникающихъ въ ваше *я*, мѣшающихъ вамъ увлекаться безсознательнымъ[2]). Главная

---

[1]) Тамъ же.

[2]) Excuses à Bérénice въ сборникѣ Du sang, de la volupté et de la mort, p. 121.

ваша бѣда въ томъ, что вы слишкомъ долго сидѣли въ храмѣ „вѣчной мудрости“, начинялись всякими міровоззрѣніями и міропониманіями. И я туда заходилъ, и знаю, что это за храмъ. Тамъ разлитъ холодный застоявшійся свѣтъ на толпу мудрецовъ, увлекаемыхъ рѣкой противорѣчій; и этотъ незапамятный потокъ измываетъ разныя группы, цѣпляющіяся за различныя убѣжденія; онъ раздѣляетъ и соединяетъ; онъ разбиваетъ упорствующихъ въ идеалѣ, качаетъ наиболѣе благородныхъ, отдающихся ему съ улыбкой; онъ бросаетъ ко всякимъ берегамъ системъ, краснорѣчій и треснувшихъ череповъ; иногда, словно робкая пѣна на волнѣ, появляется достовѣрность, что бы тотчасъ же скрыться. Всѣ эти вещи—тщеславіе для людей; отсюда для любителей выходитъ несравненная гармонія [1]).

„Среди всѣхъ этихъ противорѣчій есть ли хоть одно слово, которое бы могло объединить жизнь? До сихъ поръ этимъ словомъ была любовь. И я до вступленія въ храмъ былъ знакомъ съ нею. Правда, не совсѣмъ, такъ какъ храмъ настолько переполненъ мудростью, что она сама собою льется изъ него и заражаетъ даже тѣхъ, которые въ немъ не бывали [2]), но все же образъ любви былъ для меня живымъ и дѣйствительнымъ. Что же сталось съ нимъ, когда я

---

[1]) Sous l'oeil des Barbares, p. 124.

[2]) Тамъ же, pp. 78, сл.

сидѣлъ въ храмѣ мудрости? Словно дымъ изъ кадила, вылетало изъ моей души видѣніе моей любви, и съ грудью и съ бедрами, и съ длинными рѣсницами, осѣнявшими щеки, но тонкое и прозрачное. Хрупкое видѣніе! Въ этомъ облакѣ легкихъ паровъ ты казалось тихимъ пѣніемъ, однозвучнымъ славословіемъ совершенствъ напрасной любви, выдохшимся запахомъ далекаго цвѣтка, вздохомъ легкаго горя, развѣваемымъ въ дыханіи [1]).

„Вотъ и у васъ изъ головы отъ мудрости словно дымъ подымаются видѣнія и застилаютъ вамъ глаза. Оттого вамъ и кажется, будто всѣ мои мысли— дымъ, будто я курильщикъ опіума, а я не курю опіума, я говорю, что вмѣсто того, что бы сидѣть въ чаду мудрости, много лучше быть съ природой, жить гдѣ нибудь среди огорода въ уютномъ домикѣ, окруженномъ собачникомъ, конюшней, курятникомъ. Здѣсь въ воздухѣ, свободномъ отъ всякихъ мертвыхъ мыслей, могли бы воспитываться молодыя особи, которыя, вдыхая только живое, стали бы содѣйствовать разцвѣту новой чувствительности, способной дать міру новый видъ [2]). И не думайте, будто я приглашаю къ скотской жизни: я призываю отказаться отъ пережевыванья формулъ, отъ копанья въ себѣ, что бы полной грудью втягивать свѣжее

---

[1]) Тамъ же, pp. 127—129.

[2]) L'Ennemi des lois, p. 291.

вѣяніе, идущее отъ вселенной. Когда я, сидя въ своей кельѣ, рылся въ себѣ, меня занимали мои несовершенства, и эта тонкая работа поселила во мнѣ тошноту. Теперь я хочу дать тому человѣку, каковъ я въ дѣйствительности, ту красоту, какую я бы желалъ въ немъ видѣть, пролить на подвластную мнѣ вселенную весь воображаемый мною блескъ, сдѣлать нѣкотораго рода учетъ совершенства, котораго достигнетъ мое существо въ потокѣ вѣковъ,— если, какъ предполагаетъ мой разумъ, существуетъ безконечный прогрессъ,—и тотчасъ же этимъ совершенствомъ воспользоваться. Словомъ, мнѣ нужно поставить предъ собою, какъ образецъ жизни, мою мечту, созданную изъ всѣхъ тѣхъ намековъ на красоту, которые меня порой смущаютъ до того, что заставляютъ любить смерть, какъ ускорительницу будущаго. Я лишь точка въ развитіи моего существа. До сихъ поръ я смотрѣлъ позади себя, а теперь стану обращать взоръ къ будущему. И подобно матери, одаряющей своего сына всѣми достоинствами, которыя она смутно воображаетъ, я создаю свой идеалъ изъ всѣхъ тѣхъ вздоховъ, которыми меня наполняетъ житейская пошлость“ [1]).

Впрочемъ, для каждаго изъ насъ міръ таковъ, каковы мы сами: дѣйствительность мѣняется съ людьми, такъ какъ она есть совокупность нашихъ

---

[1]) Homme libre, pp. 204—205.

привычекъ видѣть, чувствовать, разсуждать [1]). Для радостнаго все радостно, для печальнаго все печально. Пусть каждый культивируетъ свое *я* въ обстановкѣ ему сродной. Пусть каждый знаетъ, что ничего не можетъ быть лучше наслажденія понимать, развиваться, колебаться, создавать гармонію между собою и міромъ, наполнять себя неопредѣленными и глубокими образами: это—прекрасные глаза, которые ты видишь внутри себя, полные страсти, знанія и наслажденія; они тебя опьяняютъ, отъ тебя убѣгая, и они изъ всей своей тайны открываютъ только одно: „Мы того же рода, какъ ты, пламенные и разочарованные“ [2]). Для чего заботиться о томъ, истинны ли, велики, или справедливы наши мысли? Ихъ названія мѣняются, смотря по человѣку, который ихъ оцѣниваетъ, но кто полонъ жизни, тотъ заключаетъ въ себѣ всѣ существа, трепещетъ отъ радости, и подобно матери, готовой породить міръ, самъ не знаетъ, что родится въ немъ [3]).

Если ты склоненъ къ грустной мечтательности, живи тамъ, гдѣ стелятся туманные болотистые пруды, и твоя душа найдетъ соотвѣтствіе въ этихъ мрачныхъ и лихорадочныхъ прудахъ, въ этихъ лунныхъ странахъ, полныхъ безпредѣльныхъ грезъ и кроткой печали [4]). Если же тебя изломала судьба,

[1]) Sous l'oeil des Barbares, p. 59.

[2]) Тамъ же, pp. 266—267.

[3]) Тамъ же, p. 269.

[4]) Jardin de Bérénice, pp. 117—118.

если не устойчиво твое *я*, ступай туда, гдѣ жизнь бьетъ ключемъ, гдѣ все полно силы, гдѣ нѣтъ ни тоски, ни отчаянія. Вы, истомленные жизнью, идите въ Испанію, сядьте на закатѣ солнца въ садахъ, гдѣ бѣжитъ Гвадалквивиръ, вблизи Кордовы, благоухающей жасминомъ, который носятъ въ волосахъ ея женщины [1]). Ярко свѣтитъ солнце въ Испаніи, пышно цвѣтутъ тамъ и женщины, и цвѣты, полонъ страстью испанскій народъ. Но всякій человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, пусть даже дитя природы, все таки не то, что ты, онъ для тебя другой—онъ для тебя варваръ. Полно твое сердце любви, хочешь дать волю нѣжности? Возьми мула съ большими глазами, пусти его на свободѣ щипать цвѣты у Гвадалквивира, и, когда онъ вернется къ тебѣ домой, цѣлуй его большіе глаза, которыхъ кротость и важность милѣе всякихъ взоровъ любви [2]). Или еще лучше—будь съ растеніями, и ты почувствуешь къ нимъ естественное родство. Желтый жасминъ, опьяняющій благовоніемъ, большіе цвѣты ладанника, бѣлые, чистые, съ золотыми тычинками, трепещущими среди непорочныхъ лепестковъ, и особенно вы, огромныя магноліи, пышно цвѣтущія могучими цвѣтами, вы лучше всякихъ лю-

---

[1]) Sur la volupté de Cordoue, въ сборникѣ Du Sang etc., p. 125.

[2]) Les bijous perdus, тамъ же, p. 139.

бовницъ. Вы даете понять, какимъ страданіемъ должно быть совершенное счастье. Въ соприкосновеніи и дружбѣ съ вами развѣваются всѣ страданія, такъ что въ Кордовѣ слезы выступаютъ на глазахъ безъ причины и безъ страданія, просто потому, что нужно пролить извѣстное количество слезъ, данное всякому существу [1]).

Чѣмъ ближе къ природѣ, къ безсознательному, тѣмъ лучше. Пора сбросить все дѣланное, все намъ навязанное, яснымъ взоромъ окинуть вселенную, и потечетъ жизнь, какъ свободный потокъ, сами собой явятся и сила, и счастье. Величайшимъ изъ философовъ слѣдуетъ признать Винчи, а лучшимъ руководителемъ жизни—Вагнера. Винчи обладалъ самой тонкой чувствительностью, разнообразіемъ знаній, совмѣщалъ въ себѣ всякія противорѣчія и смотрѣлъ на жизнь какъ любознательный и прозорливый наблюдатель, примирившійся съ необходимостью и потому не способный ни изумляться, ни негодовать [2]). Вагнеръ своей музыкой призываетъ къ природѣ, своимъ міропониманіемъ отстаиваетъ культъ *я* [3]).

Вспомнимъ будемъ всегда держать въ памяти то мѣсто въ Парсивалѣ, когда Кундри выступаетъ

[1]) Sur la volupté de Cordoue, тамъ же, pp. 130—131.

[2]) Trois stations de psychothérapie, pp. 1—14. Sous l'oeil des Barbares, p. 28. Homme libre, pp. 195, сл.

[3]) Къ міропониманію Вагнера Lichtenberger, Richard Wagner, poète et penseur (1898), Rod, Études sur le XIX siècle (1894), pp. 99—116. Louis, Die Weltanschauung Richard Wagners (1893).

на сцену и, облокотившись на перила, безмолвно созерцаетъ лугъ. Безсмертная минута, неизгладимое благодѣяніе, высшее мгновеніе, заставляющее исчезать все наше страстное волненіе и отдающее все наше существо во власть высокаго.

Откуда это спокойствіе, которое божественно умиротворяетъ твое сердце, Кундри?

Въ глубинѣ вѣковъ его испытывали и боги, и люди, и, подобно тебѣ теперь, расточали его людямъ.

Это умиротвореніе Сократа въ его темницѣ и Того, кто страдалъ въ саду оливъ. Среди своего молчанія, о чемъ они мыслили? Сократъ долго созерцалъ Аѳины; онъ думалъ, что гражданинъ не долженъ уклоняться отъ исполненія законовъ, хотя бы и несправедливыхъ; онъ принесъ себя въ жертву государству. Іисусъ воздымалъ очи къ небу; Онъ призывалъ Своего Отца и приносилъ себя въ жертву божественной волѣ.

Но ты, что ты видѣлъ на лугу, взоръ Кундри? Дикіе цвѣты, простые, покорные природѣ.

На этомъ лугу нѣтъ ни мистической оливы религій, ни оливы законовѣдовъ. Ни государства, ни Бога, которые бы налагали на насъ законы. Кундри слушается только своего природнаго влеченія. „Чистый, простой, покорный своему сердцу“—въ этомъ вся мудрость Парсиваля.

Этотъ лугъ, гдѣ не ростетъ ничего изъ человѣческой культуры, это та гладкая, неисписанная доска,

о которой говорятъ философы. Вагнеръ сбрасываетъ всѣ одежды, всѣ формулы, которыми культурный человѣкъ окутанъ, отягощенъ, обезображенъ. Онъ требуетъ прекраснаго первичнаго человѣческаго существа, въ которомъ жизнь была могучимъ сокомъ. Ахъ, жизнь тогда уносила всякаго къ его совершенству. Человѣкъ ей не противился. Всякое его дѣйствіе расширяло біеніе его сердца.

Вагнеръ прославляетъ естественное влеченіе, ту силу, которая заставляетъ насъ дѣйствовать, прежде чѣмъ мы успѣваемъ приложить къ ней критику. Онъ превозноситъ гордое созданіе, стоящее выше всѣхъ формулъ, не склоняющееся ни передъ какой, но находящее законъ въ себѣ самомъ.

Своимъ самопожертвованіемъ Сократъ провозглашаетъ законы государства, Іисусъ—законы Бога, любви.

Что основываютъ Кундри, Тангейзеръ, Тристанъ, раздирающіе герои Вагнера? Законы единичнаго человѣка.

Одинъ законъ силенъ—тотъ, который мы исторгаемъ изъ нашего искренняго сердца. Чтобы идти къ совершенству, нѣтъ нужды сообразоваться съ правилами государства, религіи. Гражданинъ? Вѣрующій? Быть единичной личностью—вотъ ученіе Вагнера.

Но пусть никто не обманывается. Это не ученіе о легкихъ наслажденіяхъ. Культура *я* точно

такъ же, какъ культъ Бога и государства, требуетъ жертвъ.

Не слѣдуетъ подчинять нашу природу никакой другой, но не слѣдуетъ и удовлетворять нашихъ влеченій тѣмъ, что насъ недостойно [1]).

Прощайте законы, прощайте, кодексы. Будемъ чистымъ и праведнымъ сердцемъ прислушиваться къ тому, что говоритъ красота природы [2]). Состоянія духа, а не законовъ, требуетъ теперь современность, преобразованія умственнаго, а не матеріальнаго. Пора бросить мечты о томъ, будто людей можетъ привести къ счастью какое либо правило, нужно внушить имъ состояніе духа, заключающее въ себѣ счастье [3]). Законы нужны были людямъ на первыхъ порахъ, когда, превратившись изъ четвероногихъ въ двуногихъ, они еще не привыкли ходить на двухъ ногахъ. Ими пользовались какъ костылями. Законы дали намъ возможность быть тѣмъ, что мы теперь. Бросимъ теперь снарядъ для насъ ненужный и стѣснительный. Догматы и кодексы влили намъ въ кровь сердоболіе и справедливость. Теперь, когда мы все лучшее изъ нихъ усвоили, они только обременяютъ насъ своими формулами [4]).

---

[1]) Le regard sur la prairie въ сборникѣ Du Sang etc., pp. 319—322.

[2]) L'Ennemi des lois, p. 288.

[3]) Тамъ же, p. 230.

[4]) Тамъ же, p. 278.

Отвергнемъ самые священные принципы. Въ этомъ кажущемся нечестіи нѣтъ ничего неудобнаго. Все, что было въ нихъ живого, срослось съ нашимъ существомъ и изъ него не можетъ быть изгнано; но откинемъ то, что нами не можетъ быть усвоено— всю эту груду вымысловъ, утратившихъ сокъ, предразсудковъ, которые насъ тормозятъ, застилаютъ намъ взоръ, создаютъ мнимые пороки и узаконяютъ дѣйствительные [1]). Говорить это не значитъ отрицать общественную жизнь. Общественную форму слѣдуетъ прилаживать къ свободнымъ склонностямъ каждаго. Для всякаго человѣка существуетъ дѣятельность, которая можетъ быть полезна обществу, а ему способна принести счастье [2]). Быть свободнымъ въ дѣйствіяхъ, слѣдовать безпрепятственно указаніямъ своей души, облагороженной столькими вѣками нравственнаго воспитанія, воспользоваться наконецъ свободно всѣми этими накопленными сокровищами, вотъ путь къ счастливой жизни [3]). Задача современности въ томъ, чтобы устроить по истинѣ свободное общество, въ которомъ никакое единичное *я* не было бы подчинено ничему, ни даже общему *я*. Само по себѣ такое общество произведетъ только великолѣпныя дѣйствія. На той степени цивилизаціи, до которой довели насъ кодексы и законы, осво-

[1]) Тамъ же, рр. 280—281.

[2]) Тамъ же, р. 97.

[3]) Тамъ же, р. 286.

божденное отъ нихъ *я* нашихъ потомковъ будетъ развиваться, не нанося ущерба никому. Не тогда ли получатъ счастливое разрѣшеніе всѣ нравственные и связанные съ ними экономическіе вопросы, когда счастье другихъ будетъ представляться каждому какъ условіе его личнаго счастья [1]). Для такихъ людей другія *я* существуютъ въ той же мѣрѣ, какъ ихъ собственное, такъ что условія счастья другихъ сливаются съ условіями ихъ личнаго счастья. Они не станутъ портить цвѣтовъ, которыхъ благовоніе вдыхать имъ пріятно; страданіе этихъ цвѣтовъ уменьшило бы ихъ удовольствіе; утонченная чувствительность этихъ людей исключаетъ всякую безнравственность [2]).

Наша болѣзнь происходитъ отъ того, что мы живемъ въ общественномъ строѣ, навязанномъ намъ мертвецами, а не избранномъ нами самими. Эти мертвецы отравляютъ намъ жизнь. Если бы только мы могли, опуская ихъ въ могилу, возратить въ ихъ окоченѣлыя руки тѣ опасныя сокровища, которыя изъ нихъ выпадаютъ! Все наше воспитаніе въ томъ, что мы кормимъ дѣтей предразсудками, но эти предразсудки идутъ въ разрѣзъ съ ихъ личной способностью чувствовать [3]).

Однако, хорошо ли стремиться къ, у ничтоженію законовъ въ наше время, когда оно, напротивъ, нуждается

---

[1]) Тамъ же, pp. 281—282.

[2]) Тамъ же, pp. 263—294.

[3]) Тамъ же, pp. 5—6.

въ нихъ для защиты слабыхъ? [1]) И что должно образоваться на мѣстѣ развалинъ? Быть можетъ, и нехорошо, и можно разрушать, не зная, чѣмъ замѣнить старое. Когда у насъ жмутъ сапоги, мы заботимся только о томъ, какъ бы ихъ снять поскорѣе [2]). Впрочемъ, весь этотъ походъ противъ законовъ—утопія. Понимать ее буквально нельзя, и кто умѣетъ читать между строкъ, увидитъ, что она вся дрожитъ отъ насмѣшки. Нечего сказать, до хорошаго состоянія довели насъ кодексы и законы, чтобы мы могли теперь обойтись безъ нихъ; но хороши эти кодексы и законы, доведшіе насъ до теперешняго состоянія. У насъ теперь въ крови сердоболіе и справедливость; мы стали совершенствомъ, и только кодексы и законы мѣшаютъ объявиться этому совершенству во всей его прелести. Если же отказаться отъ всякихъ принциповъ, и прежде всего отъ самыхъ священныхъ, если предоставить полную свободу всѣмъ и каждому, тогда сами собой получатся наилучшіе плоды. Не трудно догадаться, что это значитъ; всѣ читали исторію; у всѣхъ есть глаза, чтобы наблюдать; только не у всѣхъ есть уши, чтобы уловить тонкую насмѣшку. Имѣющій такія уши пусть слышитъ. Усиливать краски, по Барресу, порой не мѣшаетъ: когда проповѣдникъ желаетъ подготовить людей

---

[1]) Тамъ же, p. 7.

[2]) Тамъ же, p. 25.

къ чистилищу, онъ долженъ имъ внушать добродѣтели рая. Однако Барресъ не признаетъ себя проповѣдникомъ: его цѣль не въ томъ, чтобы доказать какую либо теорію или въ ней убѣдить, но лишь въ томъ, чтобы описать чувствительность тѣхъ изъ его современниковъ, которые живутъ наиболѣе напряженной и нарядной жизнью [1]). Въ рисуемыхъ имъ образахъ должны признать себя большинство современныхъ молодыхъ людей — аналитики, прислушивающіеся къ самимъ себѣ, любопытные, страстно отыскивающіе причины всѣхъ дѣйствій, космополиты, странствующіе по человѣческой культурѣ [2]). Онъ хорошо знаетъ, что описанная имъ система превосходна для отдѣльныхъ лицъ, но была бы плачевной для всей человѣческой массы, которая, впрочемъ, никогда ее и не усвоитъ, такъ какъ для этого нужно было бы слишкомъ много такта и слишкомъ просвѣщенный взглядъ [3]). Да и къ чему проповѣдовать теоріи? Заблуждается тотъ, кто думаетъ, будто счастье лежитъ въ чемъ нибудь опредѣленномъ: къ нему существуютъ пути, но результатовъ нѣтъ. Волненія, которыя мы испытывали вчера, сегодня уже намъ не принадлежатъ. Желанія, пылъ, влеченія составляютъ все, цѣль—ничто. Только въ простотѣ сердца можно воображать, что

---

[1]) Тамъ же, pp. 7—8.

[2]) Les trois stations de psychothérapie, p. XVII.

[3]) Homme libre, p. 287.

придешь куда нибудь; кто мыслитъ, тотъ всю жизнь будетъ ставить новые опыты [1]).

Наше возвышенное чувство смысла жизни создано изъ непрерывнаго безпокойства. Мы не знаемъ, на какой ногѣ намъ плясать. Искать постоянно мира и счастья, сознавая, что ихъ не найдешь никогда, вотъ все рѣшеніе, которое можно предложить. Слѣдуетъ искать своего благополучія въ опытахъ, которые мы ставимъ, а не въ плодахъ, которые, по нашему мнѣнію, они должны принести. Будемъ забавляться средствами, не заботясь о цѣли. Мы такимъ путемъ избавимся отъ непріятнаго чувства, возникающаго отъ несоотвѣтствія между цѣлью, которую себѣ ставимъ, и тѣмъ, чего вмѣсто нея достигаемъ. Не сказалъ ли Лайола въ концѣ своихъ „Духовныхъ упражненій", предлагающихъ путь къ душевному умиротворенію: „И теперь вѣрующій долженъ начинать снова". Вотъ превосходно! Вы работаете цѣлые мѣсяцы, чтобы обрѣсти счастье, вы думаете, что его наконецъ нашли, и опять начинать сначала! Будемъ строить мечты каждое утро, и при томъ возможно энергичнѣе, но будемъ помнить, что онѣ ни къ чему не приведутъ. Будемъ вмѣстѣ и пылкими, и скептическими. Это очень легко съ тѣмъ прекраснымъ темпераментомъ, которымъ мы всѣ обладаемъ. Нужно только убѣдиться,

---

[1]) Тамъ же, p. 286.

что въ мірѣ нѣтъ ничего важнаго, что существуютъ только точки зрѣнія, что каждая изъ нихъ противорѣчитъ остальнымъ, и что мы можемъ при нѣкоторой ловкости смотрѣть со всѣхъ нихъ на одну и ту же вещь. Такимъ способомъ мы ослабимъ наши непріятныя чувства, такъ какъ увидимъ ничтожество ихъ причинъ, и будемъ страдать весьма мало [1]).

Лишь бы прирожденныя намъ добродѣтели были въ насъ закрытымъ садомъ, невоздѣланной почвой, лишь бы не омрачали насъ пошлыя горести [2]). Остальное все приложится. Однако и эти мечты не много значатъ: рано или поздно, наша жизнь кончается смертью; да и среди этой скоротечной жизни мы не можемъ быть увѣренными въ томъ, что нашъ сегодняшній идеалъ не уступитъ завтра мѣста другому. При томъ же ясныя мысли у насъ бываютъ рѣдко, такъ что можно сомнѣваться даже и въ самомъ лучшемъ, что въ насъ есть [3]).

Все это можетъ показаться печальнымъ. Но къ такимъ взглядамъ приводитъ анализъ жизни. А впрочемъ, признаемся откровенно: хотя мы и называемъ себя аналитиками, мы просто—нигилисты, сухія души, мозги, неспособные мыслить сильно и послѣдовательно, организованные исключительно для отрицанія [4]).

---

[1]) Тамъ же, pp. 2—6.

[2]) Тамъ же, p. 288.

[3]) Тамъ же, p. 290.

[4]) Trois stations de psychothérapie, p. XVI.

Среди всеобщей недостовѣрности, благоразумно не дозволять себѣ отрываться отъ отечественной почвы, на которой мы выросли. Иначе наша жизнь утратитъ корень, и мы будемъ словно деревья, вырванныя съ корнемъ (Déracinés [1]). Да и не въ томъ ли весь смыслъ борьбы противъ „вѣчной мудрости", противъ всеобщихъ системъ, универсальныхъ принциповъ, что эта мудрость своей отвлеченностью отрываетъ насъ отъ родной почвы, дѣлаетъ насъ гражданами міра, заставляетъ насъ забывать о нашемъ отечествѣ? Будемъ сильны и дѣятельны, что бы служить его процвѣтанію. Признаемъ въ этой общей работѣ и нашу долю и, ту, которая выпадаетъ нашимъ сосѣдямъ. Да благоугодно будетъ природѣ, чтобы мы отъ рожденія были направлены къ хорошему, и чтобы ничто внѣшнее не посягало слишкомъ сильно на нашу свободную волю. Будемъ по мѣрѣ силъ держаться на водѣ той рѣки, по которой плывемъ; пойдемъ вмѣстѣ съ потокомъ нашихъ современниковъ. И наше, и ихъ существованіе—лишь одно мгновеніе въ движеніи болѣе общемъ, которое отъ насъ ускользаетъ. Милліоны существъ приносятся въ жертву природой только потому, что она въ своихъ пучинахъ создаетъ изъ нихъ нѣчто великое. Единичные люди могутъ вести очень дур-

[1]) Названіе перваго романа въ новой серіи романовъ озаглавленной Del'énegrie nationale. Другой—L'Appel au Soldat.

ную жизнь, но жизнь всѣхъ людей есть народная сила, и когда эта сила въ движеніи, всѣ отдѣльные люди мыслятъ благородно [1]).

Виноградарь, сажающій лозы, поступаетъ безспорно хорошо, но тотъ, кто пьетъ съ товарищами вино и съ каждымъ стаканомъ проникается къ нимъ все болѣе братскими чувствами, превращаетъ лозы въ чувство, дѣлаетъ то, безъ чего усилія виноградаря не имѣли бы смысла. Дадимъ же смыслъ работѣ нашихъ отцовъ, создадимъ наши нравы изъ скопленной ими мудрости. Сообразуемся съ той красотой, которую внушаютъ намъ всѣ ихъ старыя нравственныя понятія, положенныя подъ жомъ [2]).

Безъ сомнѣнія, мы чувствуемъ себя очень не по себѣ среди всѣхъ унаслѣдованныхъ формулъ и предразсудковъ, но все таки будемъ жить современной жизнью, вмѣстѣ пылко и осмотрительно, признаемъ всѣ ея оттѣнки и станемъ надѣяться, что она сама собой произведетъ изъ себя и новую нравственость, и новыя обязанности [3]).

А пока провозгласимъ высшимъ закономъ любовь. Не она ли единственный двигатель, заставляющій насъ выходить изъ нашего *я*, покидать нашу обособленность? Пусть же она будетъ и нашимъ единственнымъ закономъ. „Во всемъ произволъ, но

[1]) Déracinés, pp. 449—450.

[2]) L'Ennemi des lois, p. 290.

[3]) Les trois stations de psychothérapie, pp XIX—XX.

только не противъ любви"—таково должно быть наше руководительное правило [1]).

Если въ своей проповѣди культа *я* Барресъ даетъ полный просторъ иронiи, такъ что здѣсь можно уловить только общее направленiе его мысли, а въ частностяхъ нельзя различить, гдѣ кончается дѣйствительная мысль и начинается насмѣшка, то въ призывѣ къ нацiональной жизни онъ сбрасываетъ съ себя всякую иронiю. И для него, какъ для другихъ французовъ, благоденствiе Францiи, ея цѣлость, возвращенiе утеряннаго, выше всякихъ теорiй, споровъ и сомнѣнiй. Культъ *я*, не щадящiй остальныхъ культовъ, ни даже самого себя, дѣлаетъ для культа нацiональнаго величiя Францiи исключенiе. Этотъ культъ пока единственный, объединяющiй всѣхъ французовъ въ чувствѣ дѣйствительно всеобщемъ. Нужно ли пояснять, что у Барреса онъ только пристегнутъ къ культу *я*? Если даже жизнь каждаго изъ насъ и есть только моментъ въ жизни нашей расы, какъ учитъ Барресъ [2]), то какъ скоро каждый будетъ заботиться лишь о своемъ *я*, культъ нацiи падаетъ самъ собою. Зачѣмъ однако выискивать противорѣчiя? Бросить безполезное, держаться за существенное—вотъ въ чемъ, по Барресу, конечная тайна [3]). Существенно—величiе Францiи, остальное

[1]) Toute licence sauf contre l'amour, pp. 77—81.

[2]) Выше стр. 374, сл.

[3]) L'Ennemi des lois, p. 291.

всякій можетъ принимать или отвергать. Нужны для Франціи реформы? Но общество скорѣе преобразуетъ себя силою своего безпокойства и побужденіемъ обстоятельствъ, чѣмъ логикой, слѣдуя за своими апостолами [1]).

По словамъ Анатоля Франса, Барресъ „произвелъ на молодыхъ людей новѣйшаго поколѣнія глубокое воздѣйствіе, нѣкотораго рода очарованіе“ [2]). Отзывы о немъ поклонниковъ дышутъ неподдѣльнымъ восторгомъ. Они приводятъ нѣсколько основаній, почему они „его любятъ и будутъ за нимъ слѣдовать“:

1. Барресъ—восхитительный стилистъ, очистившій французскую литературу отъ снотворныхъ картинъ и тяжелыхъ пріемовъ натуралистовъ.

2. Онъ освободилъ душу и умъ тѣхъ, кто за нимъ слѣдуетъ, отъ рабства философскимъ кодексамъ, провозгласивъ верховность единичной личности, установивъ культъ *я*. Для каждаго изъ его сторонниковъ стала закономъ личная чувствительность: раньше они были отблескомъ нѣкоторой педагогіи, а теперь стали самими собою.

3. Онъ далъ имъ средство энергіи. Благодаря ему, они теперь могутъ кричать подобно мученикамъ, отдаваемымъ на терзаніе звѣрямъ: „Что значатъ

---

[1]) Тамъ же, pp. 3—4.

[2]) Vie littéraire, IV, p. 230.

для насъ матеріальныя условія существованія! Вы можете, варвары, изобрѣтать для насъ пытки: мы оставимъ въ вашихъ рукахъ только жалкія отребья: но чего вы не можете себѣ подчинить, это—нашу душу, нашу мысль. Всегда у насъ будетъ удовольствіе васъ презирать и радость бытъ ироническими".

4. Онъ поднялъ въ своихъ сторонникахъ духъ расы и такимъ образомъ ихъ еще сильнѣе привязалъ къ родинѣ. И онъ это свое ученіе подтвердилъ собственнымъ примѣромъ, перейдя отъ метафизики къ практикѣ.

5. Онъ самъ переболѣлъ той нравственной болѣзнью, которою страдаютъ молодые люди нашего времени, и онъ поэтому сдѣлался ихъ другомъ и довѣреннымъ. Когда врачъ, придя къ больному, съ перваго взгляда узнаетъ его незримую болѣзнь, больной говоритъ: „Этотъ врачъ—ученый; я въ хорошихъ рукахъ". Барресъ явился среди молодежи, дотронулся до ея больныхъ мѣстъ и сказалъ: „Я тоже страдалъ этимъ". Вотъ почему она вѣруетъ въ него. Онъ сдѣлалъ больше: онъ прописалъ ей отъ ея недуговъ лѣкарство. Всякій свободенъ слѣдовать за нимъ или его презирать, но онъ заслуживаетъ сочувствія уже потому, что открылъ формулу тѣхъ чувствъ, которыя современные молодые люди испытываютъ, но, предоставленные себѣ самимъ, сознаютъ лишь несовершенно [1]).

[1]) Jacquet, Notre maître Maurice Barrès, pp. 257—260.

Болѣе трезвые, всецѣло признавая большія художественныя достоинства въ произведеніяхъ Барреса и безъ оговорокъ присоединяясь къ его „націоналистской“ политикѣ, относятся къ его культу *я* сдержаннѣе. Для нихъ ясно, что если призывъ къ полной свободѣ духа и служитъ вполнѣ законнымъ возраженіемъ противъ того гнета, которымъ обременяетъ насъ современная культура, вносящая въ жизнь не только цѣнные, но и излишніе элементы, то полное потворство, безъ всякихъ ограниченій, личнымъ склонностямъ каждаго необходимо должно повести къ отрицанію всякой культуры и анархизму. Мечта о свободной жизни, построенной на безпрепятственномъ развитіи каждой личности, не только заманчивый, но въ основаніи и вполнѣ здоровый идеалъ. Только нельзя забывать, что мы живемъ не одни, а въ сообществѣ съ другими, и что поэтому, прежде чѣмъ проповѣдовать свободу каждаго *я*, необходимо найти такія условія, чтобы свобода каждаго не могла быть въ ущербъ свободѣ всѣхъ и чтобы свобода всѣхъ была совмѣстна съ стройностью и порядкомъ, нужными для общественной жизни. Но Барресъ смотритъ на свое ученіе не какъ на выработанную программу, а лишь какъ на „маленькій толчокъ“ [1]), цѣль котораго способствовать

[1]) Petite Secousse—другое названіе для героини романа Jardin de Bérénice, Вереники.

людямъ—не всѣмъ, а только нѣкоторымъ, избраннымъ, весьма немногимъ—проникнуться той глубокой правдой, что наше истинное счастье, наше высшее благо въ полной свободѣ духа, не раболѣпствующаго ни передъ внѣшней средой, ни передъ мнѣніями и желаніями, ни своими, ни чужими, и всегда открытаго для всего великолѣпія вселенной. И этотъ „маленькій толчокъ“ у него тѣмъ завлекательнѣе, что мечту о свободной жизни переноситъ далеко отъ „варварскихъ“ шумныхъ и душныхъ городовъ туда, гдѣ стелятся озаренныя луной туманныя озера, гдѣ надъ водяными лиліями вьются стрекозы, гдѣ щиплютъ траву украшенные цвѣтами мулы и гдѣ пышно цвѣтутъ и розы, и левкой, и магнолія и жасминъ.

## X.

Каковы бы ни были усилія подорвать религіозное чувство, оно въ культурномъ обществѣ живетъ такъ глубоко, что съ корнемъ вырвано быть не можетъ. На низшихъ ступеняхъ культуры существуютъ племена съ едва замѣтными проблесками религіознаго сознанія, но культурные народы, жившіе религіозными вѣрованіями тысячелѣтія, столь же мало способны вполнѣ отказаться отъ этихъ вѣрованій, какъ человѣкъ, жившій всю свою жизнь идеалами, способенъ считать себя на склонѣ лѣтъ вполнѣ удовлетвореннымъ дѣйствительностью. Силою отрицательныхъ движеній религіозное чувство можетъ быть подавлено; оно можетъ замирать, но умереть не можетъ. Или, какъ выражается Зола, „религіи могутъ умирать; религіозное чувство создаетъ новыя, даже при наукѣ“ [1]). И чѣмъ полнѣе жизнь горестей и превратностей, тѣмъ сильнѣе человѣкъ (если только онъ не дошелъ до полнаго отчаянія) склоненъ искать опоры въ религіозномъ

[1]) См. выше, стр. 17. О религіозныхъ воззрѣніяхъ современныхъ писателей Delfour, La Religion des contemporains, I—II, 1895—1899.

чувствѣ. Не мудрено поэтому, что и девятнадцатый вѣкъ, несмотря на всѣ бури и сомнѣнія, и даже именно вслѣдствіе ихъ, обращается къ религіи, надѣясь въ ней найти то руководство, котораго не нашелъ ни въ нравственномъ, ни въ научномъ сознаніи.

„Вотъ уже почти цѣлое столѣтіе (говоритъ одинъ французскій авторъ [1]), какъ Франція и Европа ищутъ новаго бога и стараются въ каждомъ вѣяніи уловить отзвукъ грядущей благой вѣсти. Онѣ нуждаются въ этой благой вѣсти не только потому, что для людей нужна вѣра, но главнымъ образомъ потому, что для нихъ нужно руководящее правило. Всякій разъ, какъ падаетъ религія, пусть даже въ пользу лучшей вѣры, она увлекаетъ за собою въ пропасть и нравственность, и современное сознаніе, вырывая съ корнемъ христіанство, вырываетъ съ корнемъ само себя.

„Отсюда наполняющая нашъ вѣкъ жалоба, жалоба сироты, потерявшаго Отца небеснаго, который его руководилъ и съ нимъ говорилъ. Эта жалоба проходитъ отъ одного конца вѣка до другого, среди грома войнъ и революцій, среди восторженныхъ кликовъ науки, среди сарказмовъ эгоизма и скептицизма, среди вѣчнаго шума жизни, идущей своимъ русломъ...

---

[1]) Darmesteter, Prophetes d'Israel, pp. III—IV.

„Двадцать вѣковъ тому назадъ, среди подобнаго же кризиса, волновавшаго сознаніе небольшого полудикаго племени Іудеи, одинъ голосъ взывалъ:

„Вотъ, наступаютъ дни, говоритъ Господь Богъ, когда я пошлю на землю голодъ,—не голодъ хлѣба, не жажду воды, но жажду слышанія словъ Господнихъ.

„И будутъ ходить отъ моря до моря и скитаться отъ сѣвера къ востоку, ища слова Господня, и не найдутъ его.

„Въ тотъ день истаивать будутъ отъ жажды красивыя дѣвы и юноши“ [1]).

„Точно также и теперь прелестныя молодыя дѣвы и молодые люди тщетно обращаютъ взоры отъ одного моря къ другому: ни изъ какой скалы не пробивается источникъ, въ которомъ можно было бы утолить духовную жажду... и ни съ сѣвера, ни съ юга не приходитъ свѣтъ“.

Краснорѣчивый авторъ утѣшаетъ себя, подобно многимъ другимъ, тѣмъ, что „современная душа лучше, чѣмъ ея ученіе, и что подъ тиной на поверхности источникъ идеала течетъ такъ же глубоко, какъ и прежде“ [2]), и, подобно многимъ другимъ, указываетъ на выходъ—такой же химерическій, какъ и всѣ остальные, предлагаемые теоретической мыслью

---

[3]) Ам. VII, 10—14.

[1]) Darmesteter, Тамъ же, p. XI.

выходы изъ современной умственной и нравственной сумятицы. И нигдѣ безпомощность современнаго сознанія не сказывается очевиднѣе, чѣмъ въ исканіи новаго религіознаго идеала. Извѣрившійся въ себя разумъ, утратившій христіанство—изъ всѣхъ религіозныхъ идеаловъ безспорно самый высокій и человѣчный—какой можетъ обрѣсти новый религіозный идеалъ? Куда идти впередъ, онъ не знаетъ, и онъ долженъ, вопреки закону историческаго развитія и потому вопреки себѣ, идти вспять. Нашъ авторъ предлагаетъ (кто бы повѣрилъ?) возвратиться къ религіи ветхозавѣтныхъ пророковъ. Совѣтъ нелѣпый, но заслуживающій вниманія какъ яркое свидѣтельство о современной безпомощности и указаніе на то, чего жаждетъ современное сознаніе.

Духъ ветхозавѣтныхъ пророковъ (поясняетъ онъ) въ современной душѣ. Не много значитъ, что они говорили во имя своего Бога, Іеговы, а нашъ вѣкъ говоритъ во имя человѣческой мысли, такъ какъ ихъ Іегова былъ лишь обоготвореніемъ человѣческой души, ихъ собственнымъ нравственнымъ сознаніемъ, проектированнымъ въ небеса. Они любили все то, что любимъ мы, и ничего въ ихъ идеалѣ не было въ ущербъ ни разуму, ни нравственному сознанію. Они поставили въ небесахъ Бога, который не желаетъ ни алтарей, ни всесожженій, ни пѣснопѣній, но „чтобы правда точилась какъ вода и справедливость текла какъ неизсякаемая рѣка“. Они сдѣлали изъ

права силу, изъ идеи—фактъ, притомъ такой, передъ которымъ сглаживается всякій другой фактъ; силою своей вѣры въ справедливость они ввели ее какъ факторъ въ исторію. У нихъ былъ кликъ жалости ко всѣмъ несчастнымъ, кликъ возмездія всѣмъ притѣснителямъ, кликъ мира и союза для всѣхъ народовъ. Они не говорили человѣку: „Этотъ міръ ничего не стоитъ". Они ему сказали: „Міръ благъ, и ты будь добръ, будь справедливъ, будь чистъ". Они говорили богатому: „Ты не долженъ удерживать жалованія рабочимъ", судьѣ: „Ты долженъ наказывать, не унижая", мудрецу: „Ты отвѣтственъ за душу народную", и они многихъ наставили жить и умереть за правду безъ надежды на Елисейскія поля. Они поучали народъ, что безъ идеала „будущее виситъ передъ нимъ словно лохмотья", что только идеалъ даетъ жизнь, и что идеалъ не въ славѣ завоевателя, не въ богатствѣ и не въ могуществѣ, но въ томъ, чтобы воздвигнуть, словно свѣтъ посреди народовъ, примѣръ лучшихъ законовъ и возвышенной души. Наконецъ, они перекинули въ будущее, надъ бурями настоящаго, радугу неизмѣримой надежды: сіяющее видѣніе лучшаго человѣчества, болѣе свободнаго отъ зла и смерти, которое не будетъ знать ни войнъ, ни негодныхъ судей, гдѣ божественное знаніе наполнитъ землю, подобно тому, какъ воды покрываютъ дно океана,

и гдѣ матери не будутъ раждать для внезапной смерти. Грезы ясновидцевъ, теперь грезы ученыхъ [1]).

Жажда новаго сказывается въ этомъ объясненіи такъ сильно, что застилаетъ глаза на истины очевидныя и общеизвѣстныя. Не говоря о чисто формальномъ взглядѣ на культъ Іеговы какъ на обоготвореніе души, какъ на проектированное въ небеса нравственное сознаніе (замѣчаніе, примѣнимое ко всякой религіи и потому ничего не объясняющее), не говоря о произвольномъ сопоставленіи Іеговы съ мыслью и столь же произвольномъ истолкованіи національнаго идеала ветхозавѣтныхъ пророковъ въ универсальномъ смыслѣ, — кому не извѣстно, что христіанское нравственное сознаніе исторически завершаетъ пророческое движеніе и что поэтому оно, какъ высшая ступень развитія, заключаетъ въ себѣ не только все цѣнное, что завѣщано ветхозавѣтными пророками, но и самостоятельные болѣе цѣнные элементы? Кому не извѣстно, что, сколь ни возвышенно пророческое ученіе, Нагорная проповѣдь еще возвышеннѣе; сколь ни много оно говоритъ нашему сердцу, образъ Распятаго говоритъ еще больше? И еслибы и возможно было противопоставлять идеалъ пророческаго движенія, какъ самостоятельный, христіанскому, то однихъ радужныхъ обѣщаній, подсказываемыхъ этимъ идеаломъ и не находящихъ въ отторгнутой отъ хри-

[1]) Тамъ же, pp. XV—XVI.

стіанства дѣйствительности никакой фактической опоры, было бы достаточно, чтобы современную проповѣдь такого идеала отнести къ разряду тѣхъ попытокъ убаюкивать себя несбыточнымъ, которыми такъ богатъ конецъ девятнадцатаго вѣка. Очевидно, что если проектированное въ небеса христіанское нравственное сознаніе не обнадеживаетъ насъ счастливымъ будущимъ, то не можетъ обнадежить имъ и проектированное въ небеса нравственное сознаніе ветхозавѣтныхъ пророковъ. Конечно, современный скептицизмъ мало склоненъ проектировать сознаніе въ небеса; но этой склонности не могутъ вселить и ветхозавѣтныя пророческія книги, которыя для тѣхъ, кто не исповѣдуетъ еврейской религіи или утратилъ христіанство, не могутъ имѣть никакого авторитета.

Если проповѣдуютъ подобныя несообразности люди съ основательной и широкой ученостью, то чего должны мы ожидать отъ полуобразованныхъ религіозныхъ просвѣтителей, которыми изобилуетъ современная Франція? Намъ поэтому незачѣмъ входить въ подробности о такъ называемыхъ „малыхъ религіяхъ въ Парижѣ“—объ язычникахъ, сведенборгцахъ, теософахъ, свѣтопоклонникахъ, винтраистахъ, ессеяхъ, гностикахъ, поклонникахъ Изиды, сатаны, антихриста, и пр. Судя по тѣмъ свѣдѣніямъ, какія проникли объ этихъ религіяхъ въ печать, онѣ—либо простое фиглярство, либо представляютъ ин-

тересъ не столько для исторіи культа, сколько для психопатологіи [1]). Наиболѣе своеобразенъ и знаменателенъ культъ сатаны, но мы вынуждены уклониться отъ разоблаченія его таинствъ [2]).

Напротивъ, нельзя не остановиться на „астрономической религіи“, которую болѣе тридцати лѣтъ ревностно проповѣдуетъ Фламмаріонъ. Она заслуживаетъ вниманія не потому, что состоятельнѣе другихъ попытокъ въ этомъ родѣ, но какъ наиболѣе краснорѣчивое свидѣтельство о тщетѣ всѣхъ усилій въ этомъ направленіи. Фламмаріонъ совмѣщаетъ въ себѣ всѣ качества, способныя плѣнять умы и сердца: и свѣтлый умъ, и обширное образованіе, и отзывчивое чувство, и крупный литературный талантъ. И не смотря на все это, плоды его стараній маловажны въ сравненіи съ его замыслами: онъ содѣйствуетъ распространенію астрономическихъ знаній, подготовляетъ почву для правильнаго философскаго міропониманія, но не насаждаетъ никакой астрономической религіи—прежде всего потому, что такой религіи не существуетъ.

Человѣкъ (говоритъ Фламмаріонъ) носитъ въ себѣ такую настоятельную потребность остановиться

---

[1]) Bois, Les petites religions de Paris (1894).

[2]) Эти разоблаченія составляютъ содержаніе романа Гюисманса Là bas. Подробный обзоръ вопроса у Bois, Le Satanisme et la Magie. Сюда же принадлежитъ Stanislas de Guaita, Le Temple de Satan.

на какомъ нибудь религіозномъ убѣжденіи, что если его не удовлетворяетъ никакая вѣра, онъ чувствуетъ необходимость доказать себѣ, что Бога не существуетъ, и ищетъ успокоенія въ ученіи о ничтожествѣ. Поэтому волнующій теперь насъ вопросъ не въ обсужденіи философскихъ споровъ, но въ томъ, существуетъ Богъ, или нѣтъ.

Въ мыслящемъ обществѣ господствуютъ по этому вопросу два прямо противоположныхъ теченія. Тогда какъ представители положительной науки, занятые изученіемъ матеріальныхъ фактовъ, заявляютъ, что присутствіе Бога никогда не обнаруживается въ ихъ опытахъ, ученые богословы, копаясь въ пыльныхъ книгахъ, выносятъ изъ нихъ такую мудрость о Богѣ, которая никого удовлетворить не можетъ. Первые считаютъ себя представителями философіи двадцатаго вѣка, вторые—свято хранятъ преданія пятнадцатаго. Независимый наблюдатель не можетъ не спросить себя, нельзя ли, минуя всѣ эти односторонности, обратиться непосредственно къ природѣ, чтобы посмотрѣть, не открываетъ ли себя въ ней Богъ.

Его присутствіе въ ней сказывается всюду какъ внутренняя сила вещей. Въ самыхъ скромныхъ твореніяхъ природы вѣчное Слово говоритъ о себѣ краснорѣчивѣе, чѣмъ люди въ своихъ самыхъ пышныхъ гимнахъ [1]).

---

[1]) Dieu dans la nature, pp. III—V,

Религіозное чувство лежитъ въ стремленіи души къ истинѣ, въ жаждѣ познать нашу будущую судьбу, въ признаніи духовнаго бытія. Оно либо искренно, либо вовсе не существуетъ. И такъ какъ объ одномъ и томъ же не можетъ быть противоположныхъ истинъ, то необходимо, чтобы наши религіозныя вѣрованія согласовались съ нашими научными знаніями. Эти послѣднія удостовѣряютъ существованіе нѣкотораго направляющаго Духа. Наблюдаемые факты, гнѣзда птицъ, заботливость матери, вылупленіе мухи или бабочки, влеченіе половъ, устройство организмовъ—все это указываетъ на существованіе цѣли и плана. Безпредѣльность неба, неисчислимое множество солнцъ и солнечныхъ системъ свидѣтельствуютъ о величіи, передъ которымъ человѣкъ ничто. Исторія земной жизни, начиная отъ древнѣйшихъ геологическихъ эпохъ и до нашихъ дней, говоритъ о постоянномъ и постепенномъ прогрессѣ, господствующемъ надъ природою, а это—законъ разумнаго порядка. Наша способность считать, отвлекать, наши чувства справедливости и несправедливости, истины и лжи, добра и зла, не могутъ быть произведеніемъ химіи мозга. Духовный міръ существуетъ столь же достовѣрно, какъ матеріальный [1]).

Отъ матеріи мы восходимъ къ силамъ, которыя ею управляютъ, отъ силъ къ законамъ, которымъ

[1]) Stella, pp. 363—364.

онѣ подчинены, отъ законовъ къ ихъ Виновнику. Не внимать гармоніи, наполняющей міръ аккордами, не признавать величія мірового строя, не видѣть повсюду разлитаго божественнаго сіянія значитъ быть безумцемъ или глупцомъ, гордецомъ или невѣждой. Если радостная и плодотворная сила жизни трепещетъ всюду, отъ солнца до однодневнаго мотылька, отъ вѣкового дуба до весенней фіалки, если великолѣпіе природы сказывается во всемъ—зачѣмъ отрицать красоту, закрывать глаза на благо, не признавать разума? Для чего омрачать непорочный свѣтъ неба [1])?

Мнимые ученые, полагающіе, будто создаютъ науку, не признавая ничего кромѣ матеріальныхъ фактовъ, своею сухостью доказываютъ, что не способны чувствовать красотъ и величія природы. И однако созерцаніе этой природы доставляетъ не только великія очарованія, но порой и неожиданныя откровенія. Химія остается химіей и механика—механикой; но для чуткаго взора въ движеніи атомовъ обнаруживается сила, въ основаніи смѣняющихся явленій очевиденъ направляющій законъ. Красота природы вызываетъ въ умѣ эстетическую идею Бога, волнующую душу цѣлымъ сонмомъ откровеній, которыя не могутъ быть ни выражены, ни опредѣлены, но заставляютъ признать для этой

[1]) Dieu dans la nature, pp. 33—34.

красоты причину—вмѣстѣ прекрасную и благую, могучую и великую, мудрую и предусмотрительную, любящую и заботливую [1]).

Можно ли думать, что всѣ потребности души, всѣ чувства сердца, всѣ влеченія мысли не идутъ дальше ощущеній и чувственности? Если вы любили на очаровательной зарѣ вашей юности, если грезы вашей весны убаюкивали на своихъ крылахъ идеальное существо, которое ласкала ваша душа, скажете ли вы, что любовь есть только прикосновеніе двухъ оболочекъ? Если вы изучали природу, небо, въ которомъ безчисленные міры тяготѣютъ другъ къ другу въ лонѣ свѣта и жизни; если вамъ извѣстны великіе законы и общій механизмъ всей этой природы, можете ли вы не привѣтствовать верховный Разумъ, громко говорящій чрезъ матеріальный покровъ? Если среди краснорѣчиваго молчанія звѣздныхъ ночей вы давали вашей душѣ въ безграничномъ полетѣ увлекаться къ этимъ сіяющимъ очагамъ неизвѣстной жизни, если вы задумывались порой о будущей судьбѣ, о томъ, что наши идеалы не осуществляются въ этомъ мірѣ, не трепетали ли вы при мысли о безконечности и вѣчности, которыя васъ ожидаютъ? Если вы были свидѣтелями самопожертвованія и сердоболія, проливающихъ утѣшеніе на душу страдальцевъ, не пришли ли вы къ

[1]) Тамъ же, pp. 73—76.

убѣжденію, что чувственность и эгоизмъ не исчерпываютъ нашего сердца? Если вы когда нибудь въ вечерній часъ испытывали упоеніе музыкой, отдавали вашу душу во власть ея чуднымъ звукамъ, не приходило ли вамъ на мысль, что есть слова и гармоніи, которыхъ не слыхало никакое человѣческое ухо и для которыхъ земныя мелодіи лишь слабые отзвуки? Если вы, наконецъ, жили жизнью души, этой жизнью, которая мучится скорбями сердца и однако умѣетъ попирать предразсудки и стоять выше матеріальнаго вздора, не стало ли вамъ понятно, что у души есть свои потребности, отличныя отъ потребностей тѣла [1])?

Вы скажете: это реторика, наборъ фразъ. Нѣтъ это не реторика; это—выраженіе чувства, это—поэзія. Наука и поэзія тѣсно связаны при созерцаніи природы, и намъ незачѣмъ стѣснять поэтическаго чувства при такомъ созерцаніи [2]). Да и вообще умъ и чувство неразлучны на пути къ истинѣ. Если умъ ищетъ, то сердце находитъ [3]). Вечернія тѣни, волнующіяся по склонамъ горъ, благовоніе, идущее изъ лѣса, склоненныя чашечки цвѣтовъ, глухой неумолчный шумъ океана, глубокая тишина звѣздныхъ ночей, вы говорите о Богѣ краснорѣчивѣе и убѣдительнѣе человѣческихъ книгъ [4]).

[1]) Тамъ же, pp. 365—367.

[2]) Тамъ же, p. 491.

[3]) Stella, p. 305.

[4]) Dieu dans la nature, p. 404.

Но каково это существо божіе, открываемое природой? На этотъ вопросъ нельзя дать точнаго и опредѣленнаго отвѣта. Кто отваживается на такой отвѣтъ, допускаетъ такую же ошибку, какъ тотъ, кто отрицаетъ существованіе Бога [1]). Наша умственная жизнь, какъ и вся остальная, подчинена прогрессу; поэтому у насъ не можетъ быть законченныхъ и замкнутыхъ понятій. По мѣрѣ развитія нашихъ знаній о природѣ развивается и наше понятіе объ ея Виновникѣ [2]). Важно то, что наука не только не устраняетъ понятія о Богѣ, а, напротивъ, все болѣе и болѣе его утверждаетъ, дѣлая его все болѣе достойнымъ того величія, которое имъ выражается [3]).

Всѣ наши знанія вершатся въ знаніи общаго мірового строя. Этотъ строй изучаетъ астрономія, и потому она есть вѣнецъ науки. Въ своемъ истинномъ всеобъемлющемъ значеніи она состоитъ не въ одномъ только опредѣленіи орбитъ и положенія небесныхъ свѣтилъ, но главное въ изысканіи условій жизни на различныхъ планетахъ, какъ нашей, такъ и другихъ солнечныхъ системъ. Эта жизнь на другихъ мірахъ важна для насъ не только потому, что можетъ походить на нашу, но особенно

---

[1]) Тамъ же, p. XX.

[2]) Тамъ же, p. 13.

[3]) Тамъ же, p. 516.

потому, что измѣняетъ наши воззрѣнія о небѣ, открывая намъ во всѣхъ областяхъ безконечнаго пространства, въ настоящемъ, прошедшемъ или будущемъ, обители живыхъ и мыслящихъ существъ, одаренныхъ различными ступенями разумѣнія. Это новое научное небо должно замѣнить старое богословское небо [1]).

Къ вопросу о всеобщей жизни и объ отношеніи ея къ земной примыкаетъ другой—о судьбѣ души, о томъ, безсмертна она, или нѣтъ, и не можетъ ли она послѣ земной жизни продолжать существованіе на другихъ планетахъ. Вопросы эти—необходимое дополненіе астрономіи. Если человѣкъ умираетъ совершенно, то почему его можетъ интересовать безпредѣльность вселенной? Наука въ такомъ случаѣ оказалась бы обманомъ, точно такъ же, какъ и самая жизнь, смѣшной и глупой шуткой. Словомъ, астрономія важна прежде всего своимъ философскимъ значеніемъ. Что такое вселенная? Что происходитъ во всѣхъ этихъ мірахъ, которыми усѣяно

[1]) Stella, p. 135. Эту и связанныя съ ней мысли, съ которыми сейчасъ встрѣтимся, Фламмаріонъ подробно развиваетъ въ цѣломъ рядѣ трудовъ и очерковъ, главнымъ образомъ въ Pluralité des mondes habités, Les mondes imaginaires et les mondes réels, La planète Mars, Les terres du ciel, Recits de l'Infini, Uranie, Fin du monde, Stella и проч. Сводомъ его міровоззрѣнія служитъ его Astronomie populaire, выдержавшая больше 100 изданій.

небо? Какое наше истинное мѣсто, наше назначеніе въ этомъ чудесномъ цѣломъ? Эти вопросы несомнѣнно способны волновать много больше, чѣмъ логариѳмическое вычисленіе положенія какой нибудь звѣзды [1]).

Кругозоры, открываемые астрономіей, безконечны: небеса за небесами, солнечныя системы за солнечными системами безъ начала и безъ конца— безконечный кругъ, гдѣ центръ всюду и окружности нѣтъ нигдѣ. А философское истолкованіе данныхъ астрономіи заставляетъ признать во вселенной безконечный динамизмъ [2]), безконечное царство движенія, незнающее никакой мертвой точки, безначальную, безконечную, вѣчно юную жизнь, только на видъ потухающую, что бы въ то же мгновеніе загорѣться вновь.

Зримая вселенная для философской мысли есть лишь отображеніе, отблескъ незримой. Незримы силы, заставляющія тяготѣть въ лонѣ безконечнаго міры одинъ къ другому, незримы законы, господствующіе надъ этими силами, незримъ Духъ, дающій эти законы и правящій вселенной,—котораго присутствіе сказывается всюду, и во всемъ міровомъ порядкѣ и цѣлесообразности, и во всей міровой

---

[1]) Тамъ же, pp. 135—136. Подобное же въ Uranie, pp. 44, сл. Les terres du ciel, pp. 4, сл.

[2]) Uranie, p. 115.

жизни, отъ движенія звѣздныхъ системъ до колебанія атомовъ въ молекулѣ, и во всемъ нашемъ разумѣніи, и во всей нашей наукѣ. Но міръ незримый, лежащій въ основаніи зримаго, не есть сверхъестественный, онъ міръ естественный, открытый для науки. Сверхъестественнаго не существуетъ. Религія будущаго—есть религія науки [1]). Астрономъ, наблюдающій среди молчанія ночи свѣтила и размышляющій о вселенной, есть истинный жрецъ Предвѣчнаго [2]).

Храмъ этого жреца—вселенная, небо, которому онъ служитъ,—безконечность, земля, на которой онъ совершаетъ это служеніе,—одно изъ безчисленныхъ небесныхъ свѣтилъ, вѣчно колеблемыхъ и уносимыхъ міровыми силами, воздушный шаръ, безконечно малый въ безконечно великой вселенной.

Уединенная въ пространствѣ, подобно мыльному пузырю, колыхающемуся въ воздухѣ, и даже еще болѣе уединенная, чѣмъ этотъ пузырь, такъ какъ онъ поддерживается воздухомъ, а міры тяготѣютъ въ пустотѣ, земля служитъ игрушкой для незримыхъ міровыхъ силъ, которымъ она повинуется точно такъ же, какъ мыльный пузырь послушенъ всякому дуновенію. Если взять только одни главныя движенія, тревожащія землю, то и ихъ больше десятка: дви-

---

[1]) Stella, p. 374.

[2]) Тамъ же, p. 329.

женіе вокругъ солнца и вокругъ оси, вращеніе этой оси и колебанія въ ея наклонѣ, движеніе самого солнца, измѣненіе формы орбиты, перемѣщеніе орбиты, нутація, вращеніе полюса земного экватора, перемѣщеніе центра тяжести земли, возмущенія, производимыя планетами. А сколько движеній второстепенныхъ. Для луны, которая, повидимому, такъ спокойно совершаетъ свой обходъ, математическій анализъ открылъ болѣе шестидесяти причинъ различныхъ движеній [1]).

И земля не всегда была и не всегда будетъ такою, какъ теперь, она не вѣчна, не неизмѣнна, она постепенно и непрестанно измѣняется. Она возникла постепенно изъ небесной туманности, постепенно охладилась, постепенно покрылась корой, постепенно сдѣлалась поприщемъ жизни отъ органической слизи до человѣка [2]), постепенно погаситъ эту жизнь, и она неустанно идетъ на встрѣчу своей судьбѣ— превращенію опять въ туманность, изъ которой породятся новыя свѣтила, съ новой жизнью, съ новыми существами, съ новой исторіей, чтобы и эти свѣтила испытали такую же игру, и такъ безъ конца. Въ своемъ бѣгѣ по безпредѣльности небесъ она

[1]) Uranie, pp. 307—313.

[2]) Подробное освѣщеніе постепеннаго роста земли въ прекрасномъ трудѣ Фламмаріона Le Monde avant la création de l'homme. То же ученіе о всѣхъ вообще планетахъ солнечной системы послѣдовательно проведено въ Les terres du ciel.

встрѣтится когда нибудь съ другой планетой, и въ глубокой ночи пространства эти два шара зажгутъ своимъ столкновеніемъ огромное небесное пламя, широкую газовую туманность, которая сначала заколеблется какъ блудящій огонь и затѣмъ улетитъ къ неизвѣстнымъ небесамъ. Все, что было землей, водой, воздухомъ, камнями, растеніями, животными, людьми, все то, что имѣло плоть, глаза, всѣ трепетавшія любовью сердца, всякая соблазнительная красота, руки, державшія мечъ, побѣдители и побѣжденные — все это сдѣлается огнемъ. Точно то же станется и съ Марсомъ, и Венерой, и Юпитеромъ, и Сатурномъ и всѣми ихъ собратьями. И это будетъ воскресеніемъ видимой природы, служащей тиглемъ, въ которомъ неустанно вырабатывается духовная природа. Великая туманность, плавая въ небесахъ, своею силой начинаетъ вращаться вокругъ себя. И въ поясахъ сгущенія этой туманности начнутъ возникать новыя свѣтила, какъ это было на зарѣ земного міра. И то будетъ началомъ новаго міра, бытіемъ, о которомъ будутъ повѣствовать новые Моисеи и новые Лапласы. И твореніе будетъ продолжаться, новое, отличное отъ того, которое на землѣ, на Марсѣ, на Сатурнѣ, отъ того, которое освѣщается нашимъ солнцемъ, совсѣмъ особое, не человѣческое, неизсякаемое. И появятся другія человѣчества, другія культуры, другія тщеславія; другіе Вавилоны, другія Ѳивы, другія Аѳины, другіе Римы, другіе Парижи; иная слава,

иная любовь. И во всемъ этомъ не будетъ никакихъ остатковъ земли, которой образъ разсѣется, какъ призрачная тѣнь. И эти міры прейдутъ въ свою очередь. И другіе ихъ смѣнятъ, и безпредѣльное пространство всегда будетъ населено мірами и звѣздами, и всегда вѣчность будетъ продолжаться, такъ какъ у нея нѣтъ ни начала, ни конца [1]).

Гдѣ же неподвижная точка, на которой мысль могла бы остановиться? Солнце ли, этотъ огромный очагъ, заставляющій землю крутиться вокругъ него и дающій ей жизнь? Но оно само въ вѣчномъ потокѣ бываніе, оно измѣняется ежечасно, ежемгновенно, оно не покоится, оно вертится, оно несется въ пространствѣ къ созвѣздію Геркулеса. Звѣзды этого созвѣздія также движутся, одна звѣздная система тянетъ другую, другая третью, и такъ безъ конца. Отъ звѣздъ къ звѣздамъ, отъ однѣхъ міровыхъ системъ къ другимъ, отъ береговъ одного океана къ берегамъ другого—наша мысль проносится передъ неисповѣдимыми величинами, передъ ошеломляющими движеніями, скорость которыхъ превосходитъ всѣ наши понятія. Солнца въ тысячи, въ милліоны разъ болѣе тяжелыя, чѣмъ земля, несутся чрезъ неизмѣримыя пустоты съ головокружительной быстротой, вращаются въ безпредѣльности небесъ, тяготѣя одни къ другимъ. И всѣ эти милліоны, милліарды солнцъ, планетъ, звѣздныхъ ско-

[1]) Fin du monde, pp. 415—418.

пищъ, туманностей, міровъ возникающихъ, міровъ умирающихъ, все это стремится къ невѣдомой цѣли съ силой и напряженіемъ, передъ которыми ничто порохъ и динамитъ.

Какая причина этихъ движеній? Кто ихъ поддерживаетъ? Кто ихъ направляетъ? Всеобщее тяготѣніе, незримая сила, властвующая надъ зримой вселенной. Но тяготѣніе не объясняетъ происхожденія движенія. Если бы существовало отъ вѣчности только тяготѣніе, вселенная была бы сплошной массой. Происхожденіе движенія предполагаетъ первую причину, Перваго Двигателя.

Зримый строй звѣздной вселенной открываетъ просвѣтъ въ незримый строй единичныхъ тѣлъ. Всякое тѣло, органическое и неорганическое, сложено изъ молекулъ, не соприкасающихся между собою и находящихся въ непрерывномъ движеніи. Эти молекулы въ свою очередь сложены изъ атомовъ, опять отдѣленныхъ одинъ отъ другого. Каждый изъ нихъ безконечно малъ, незримъ не только подъ микроскопомъ, но даже и для мысли. Всѣ эти атомы, всѣ эти молекулы движутся точно такъ же, какъ свѣтила, дѣйствіемъ тѣхъ же силъ, и пространства, ихъ отдѣляющія, сравнительно съ атомами такъ же огромны, какъ отдѣляющія міры одинъ отъ другого. И въ единичныхъ тѣлахъ нѣтъ неподвижности и покоя. Мертвой точки нѣтъ нигдѣ; чѣмъ больше ее ищешь, тѣмъ дальше она отодвигается,

такъ что послѣднее усиліе нашей мысли находитъ для себя послѣднюю опору, верховную дѣйствительность—въ безконечномъ [1]).

За то во вселенной очевидно единство, открываемое во всемъ—и въ единствѣ тѣхъ силъ, которыя въ ней проявляются, и въ единствѣ тѣхъ законовъ, которымъ эти силы подчинены, и въ единствѣ плана, по которому все въ ней построено, и въ единствѣ жизни, которая все собою наполняетъ. Зная это единство, можно ли думать, что жизнь сосредоточена на одной только землѣ, что на одной только этой планетѣ есть разумныя существа? Нѣтъ, жизнь разлита повсюду. На однѣхъ планетахъ она въ полномъ цвѣту, на другихъ—только еще расцвѣтаетъ, на иныхъ отцвѣтаетъ или отцвѣла, чтобы положить начало новой [2]). Какъ жизнь обнаруживается на Марсѣ, Венерѣ, Юпитерѣ, Сатурнѣ, Нептунѣ, на планетахъ другихъ міровъ? На нѣкоторыхъ изъ нихъ должны быть обитатели. Похожи ли они на земныя существа? На какой изъ планетъ разумъ царитъ больше, на какой меньше, чѣмъ на землѣ? Какое широкое и привлекательное поле для воображенія!

Это поле расширяется еще болѣе и становится еще очаровательнѣе, какъ скоро мы начинаемъ задумываться о нашей будущей жизни. Только без-

[1]) Uranie, pp. 302. 315—327.

[2]) Тамъ же, p. 126.

смыслiе можетъ отвергать существованiе души, только недомыслiе можетъ отрицать ея безсмертiе. Не говорятъ ли тѣ самые матерiалисты, которые не признаютъ души, которые видятъ въ ней отложенiе мозга, не говорятъ ли они, и при томъ вполнѣ основательно, что во всемъ нашемъ тѣлѣ, не исключая и мозга, происходитъ непрерывная смѣна веществъ, непрестанно обновляющая наше физическое существо? Непрерывно, безъ остановки и безъ отдыха, во всемъ нашемъ организмѣ, въ нашихъ артерiяхъ, въ нашихъ венахъ, въ нашемъ мозгу, все вращается, все движется, все несется въ вихрѣ жизни, сравнительно столь же быстромъ, какъ круговоротъ небесныхъ тѣлъ. Молекула за молекулой, нашъ мозгъ, нашъ черепъ, наши глаза, наши нервы, все наше тѣло неустанно возобновляется и при томъ такъ быстро, что въ нѣсколько мѣсяцевъ становится совершенно новымъ [1]). Если бы душа была только произведенiемъ мозга, то какимъ образомъ было бы возможно, при непрерывной смѣнѣ веществъ въ самомъ мозгѣ, сознанiе единства нашей личности, не покидающее насъ отъ младенчества до старости?

Не тѣло создаетъ душу, а душа образуетъ тѣло, даетъ ему единство. Она выбираетъ изъ окружающей среды все нужное для образованiя тѣла, соединяетъ атомы, служащiе для ея цѣли, устра-

[1]) Тамъ же, p. 113.

няетъ препятствующіе этой цѣли и, отправляясь отъ незримой точки, строитъ зримые организмы [1]). Посадите рядомъ сѣмена различныхъ растеній. Каждое изъ нихъ разовьется въ опредѣленный организмъ. Точно также и изъ сѣмени животнаго всегда выходитъ опредѣленное животное. Кто производитъ это чудо? Дѣйствующая въ растеніи и животномъ сила, ихъ душа. Но сила не сокрушима, она не возникаетъ, не преходитъ. Когда мы умираемъ, наше тѣло не уничтожается, а принимаетъ новыя формы жизни. Что дѣлается съ нашей душой? Какова ея внутренняя природа, къ какимъ обнаруженіямъ она способна, въ какихъ формахъ она можетъ жить, сохраняетъ ли она неизмѣнно сознаніе своего единства, свою память, какія пространства она можетъ преодолѣвать, какое умственное сродство существуетъ между различными планетами одной и той же системы, какова производительная сила, осѣменяющая міры, будемъ ли мы когда нибудь въ состояніи войти въ сношеніе съ сосѣдними мірами, проникнуть въ глубокую тайну судебъ? Все это загадка теперь. Но то, что было тайной вчера, открывается нынче. Одно безспорно: во всѣ вѣка, у всѣхъ народовъ, подъ самыми различными религіозными проявленіями, кроется идея безсмертія. Воспитаніе даетъ ей тысячи формъ, но сама она не измѣняется.

---

[1]) Тамъ же, рр. 118, 343.

Всякое человѣческое существо при появленіи на свѣтъ приноситъ съ собой эту идею, это чувство, это желаніе, эту надежду [1]).

Такъ какъ душа безсмертна, но мы обыкновенно видимъ ее въ тѣлесной оболочкѣ, то надо думать, что души послѣ смерти воплощаются, создаютъ новые организмы сообразно съ своей природой, своими способностями, своей судьбой [2]). При этомъ нѣтъ основанія предполагать, будто души навсегда прикованы къ землѣ. Звѣздная вселенная образуетъ одно великое тѣло, одинъ организмъ, въ которомъ солнца и міры лишь атомы и молекулы. Наша оцѣнка разстояній чисто относительная. Міры находятся другъ къ другу въ такомъ же положеніи, какъ атомы въ кускѣ желѣза, въ деревѣ или человѣческомъ тѣлѣ. И здѣсь атомы точно такъ же не соприкасаются, точно такъ же колеблются, непрестанно движутся, какъ свѣтила въ небесномъ пространствѣ. Души вращаются изъ одного міра въ другой какъ истеченія, животворящія вселенную; иначе міры были бы неодушевленными. Духовныя силы точно такъ же, какъ физическія, преодолѣваютъ пространства. Пространство, какъ и все остальное, воспринимаемое нашими чувствами, само по себѣ совсѣмъ не таково, какимъ оно намъ кажется.

---

[1]) Тамъ же, р. 123.

[2]) Тамъ же, рр. 241—242.

Наша жизнь есть какъ бы сонъ. Дѣйствительность, которую мы видимъ вокругъ себя, какъ доказываютъ химія, физика и астрономія, есть лишь обманчивый призракъ. При жизни у насъ нѣтъ сознанія нашихъ прежнихъ существованій; когда мы видимъ сонъ, мы не помнимъ прежняго. Но, покидая жизнь, мы сбрасываемъ чувственный покровъ и вспоминаемъ прошлое [1]). На землѣ есть неисчислимое множество душъ еще тяжелыхъ, грубыхъ, едва освободившихся отъ матеріи, неспособныхъ понимать умопостигаемую дѣйствительность. Но есть другія, живущія наукой, созерцаніемъ, культурой духовнаго міра. Такія души могутъ и не оставаться въ земной темницѣ; ихъ ожидаетъ небесная жизнь (vie uranique). Онѣ и во время земныхъ воплощеній живутъ въ мірѣ безусловномъ, божественномъ. Онѣ знаютъ, что каждый житель земли есть небожитель, такъ какъ земля—небесное свѣтило [2]). Въ нравственномъ мірѣ справедливость царитъ такъ же, какъ равновѣсіе въ физическомъ, и судьба душъ есть лишь плодъ ихъ способностей, ихъ влеченій, слѣдовательно—*ихъ дѣлъ*. Небесный путь (voie uranique) открытъ для всѣхъ, но душа бываетъ дѣйствительно небесной лишь тогда, когда совершенно освобождается отъ бремени матеріальной жизни. Со временемъ такое состоя-

---

[1]) Stella, pp. 396—399.

[2]) Uranie, p. 240.

ніе будетъ общимъ удѣломъ, такъ какъ надъ міромъ царитъ прогрессъ [1]). Восхожденіе есть верховный законъ для всего существующаго: онъ вывелъ сначала души растеній, потомъ души животныхъ, затѣмъ души людей. Люди на землѣ лишь недавно, наши души ожидаетъ лучшая судьба [2]). Настанетъ день, когда на землѣ не будетъ другой вѣры, другой религіи, кромѣ познанія міровой жизни и убѣжденія въ безсмертномъ существованіи души среди безконечныхъ областей вселенной, составляющихъ вѣчную собственность души [3]).

Наступитъ это однако не скоро. Земля еще долго будетъ обителью не безплотныхъ духовъ, но существъ очень и очень обремененныхъ грязью. Конечно, если посмотрѣть на нее издали, то нельзя не признать, что въ общемъ она прелестна, эта маленькая планета, освѣщаемая своимъ небольшимъ солнцемъ, съ своей крошечной луной, словно микроскопической точкой. Носимая въ лонѣ незримаго божественными законами притяженія, атомъ, плавающій въ безграничной гармоніи небесъ, она занимаетъ подобающее ей мѣсто и кажется съ другихъ планетъ ангельскимъ островкомъ на небесной лазури. Но вблизи... Что на ней за обитатели! Какое среди

---

[1]) Тамъ же, p. 126.

[2]) Тамъ же, p. 296.

[3]) Тамъ же, pp. 249—250. 259 и др.

нихъ невѣжество, какая грубость, какое варварство. Они не понимаютъ даже своего положенія во вселенной, не знаютъ, что земля небесная планета, что они сами небожители, плавающіе по раздолью небесъ на воздушномъ кораблѣ. Имъ до этого нѣтъ дѣла, они совсѣмъ увязли въ глупости, они лучшее время проводятъ въ бездѣліи, въ пустякахъ, въ удовлетвореніи мелочнаго тщеславія, или еще хуже— въ томъ, что истребляютъ другъ друга или къ этому готовятся. На землѣ, на этомъ небесномъ островѣ, солдатъ столько же, сколько жителей [1]).

Счастлива поэтому душа, покидающая земную обитель. Но куда она отъ земли устремитъ свой полетъ? Души, успѣвшія вовсе освободиться отъ земной оболочки, уносятся прямо къ надзвѣзднымъ областямъ. Другія совершаютъ странствіе отъ одной планеты къ другой, все дальше отъ земли. Какія восхитительныя поприща протекаетъ душа при этихъ своихъ полетахъ и переселеніяхъ. Какими причудливыми солнцами любуется она съ различныхъ планетъ, то голубыми, то красными, то зелеными, то желтыми, то одиночными, то двойными, сіяющими разноцвѣтными огнями. Какія удивительныя луны вращаются около этихъ планетъ—и большія и малыя, и въ одиночку, и по нѣскольку, и тихо, и быстро. И что за обитатели, что за растенія, что за животныя.

---

[3]) Тамъ же, рр. 295—297.

На землѣ ихъ можно видѣть только во снѣ. Но всего любопытнѣе посмотрѣть издали на землю—эту маленькую свѣтящуюся точку, которая, по мѣрѣ восхожденія души, кажется ей все блѣднѣе и блѣднѣе, пока не исчезнетъ отъ взора совсѣмъ, такъ что не могла бы быть зрима даже помощью самаго могучаго земного телескопа. Ближайшимъ пріютомъ для души при ея бѣгѣ отъ земли служитъ Марсъ, слѣдующая за землей планета въ сторону отъ солнца. Кто побывалъ на Марсѣ—во снѣ, разумѣется—кто созерцалъ тамошнихъ обывателей, живущихъ въ воздухѣ и воздухомъ, проводящихъ все время въ научныхъ и философскихъ размышленіяхъ, одаренныхъ неизвѣстными на землѣ чувствами, кто слышалъ музыку, навѣваемую ихъ крылами, кто видѣлъ свѣтъ, который отъ нихъ исходитъ, кто наслаждался разлитымъ вокругъ нихъ благовоніемъ, тотъ не захочетъ вернуться на землю никогда! [1]).

Собирайся же, душа, въ небесный путь. Постиженіемъ Бога въ природѣ, изученіемъ законовъ вселенной, размышленіями о своей будущей судьбѣ очищайся все больше и больше отъ земныхъ пыли, грязи и копоти, чтобы какъ можно дальше улетѣть отъ земли.

Фламмаріонъ—одинъ изъ наиболѣе читаемыхъ авторовъ не только во Франціи, но и во всемъ образованномъ мірѣ. За его трудами невозможно не

---

[1]) Тамъ же, рр. 10, сл. и мн. др.

признать огромнаго просвѣтительнаго значенія. Міропониманіе можетъ быть просвѣщеннымъ лишь тогда, когда смотритъ съ научной точки зрѣнія на вселенную и наше положеніе въ ней. Эта научная точка зрѣнія подсказывается астрономіей, дающей намъ знаніе о вселенной въ цѣломъ, и ученіемъ о развитіи, открывающемъ основной господствующій во вселенной законъ, который есть ея исторія, а Фламмаріонъ самый краснорѣчивый и талантливый проповѣдникъ и глашатай какъ астрономіи, такъ и ученія о развитіи. Его главная заслуга въ горячей борьбѣ противъ застарѣлаго и упорнаго заблужденія, будто земля есть центръ мірозданія, будто жизнь сосредоточена только на ней, будто человѣкъ есть вѣнецъ всякаго возможнаго творенія, и будто небо противоположно землѣ. Землѣ онъ отводитъ должное мѣсто: она небольшая планета въ солнечной системѣ, которая сама вмѣстѣ съ землей только уничтожающаяся величина въ небесахъ, заключающихъ въ себѣ всю эту систему какъ свою безконечно малую часть. Она постепенно возникла и постепенно прейдетъ—со всѣми нами и съ нашимъ взглядомъ на нее какъ на центръ міра. И насколько наивенъ этотъ взглядъ, настолько же наивно думать, что помимо земли нѣтъ нигдѣ жизни, или же, что если она и есть гдѣ нибудь, то она должна быть ниже земной, и что поэтому человѣкъ, какъ вѣнецъ земной жизни, есть перлъ вселенной. Все указываетъ на то, что жизнь не только можетъ, но и

должна быть и на другихъ мірахъ, какъ нашей, такъ и другихъ солнечныхъ системъ—а ихъ безчисленное множество, такъ какъ всякая звѣзда есть солнце, подобное нашему,—и нѣтъ никакихъ данныхъ предполагать, будто условія ея развитія на землѣ благопріятнѣе, чѣмъ гдѣ либо во вселенной. И на другихъ планетахъ могутъ быть не только такія же разумныя существа, какъ люди, но даже еще болѣе одаренныя разумомъ. При такомъ взглядѣ, впрочемъ далеко не новомъ—его до Фламмаріона отстаивалъ длинный рядъ мыслителей, между ними и Кантъ, одинъ изъ его горячихъ поборниковъ [1])—совершенно измѣняются понятія и о небѣ, и о землѣ, и о значеніи человѣка. А между тѣмъ какое неисчислимое множество людей даже съ широкой ученостью остается при старомъ заблужденіи, и сколько вслѣдствіе этого наговорено даже крупными умами вздорнаго, нелѣпаго, ни къ чему не нужнаго. Не утверждалъ ли, напримѣръ, Гегель, этотъ гигантъ мысли, что въ его системѣ открывается Абсолютное и что дальше ея идти некуда? И много ли осталось бы отъ всей метафизики безъ этого предразсудка, подсказывающаго человѣку, что для него, какъ для центра вселенной, должна быть открыта полная истина? Впрочемъ, держаться за

[1]) Сводъ воззрѣній своихъ предшественниковъ Фламмаріонъ даетъ въ Les mondes imaginaires et les mondes réels и въ Pluralité des mondes habités.

него заставляетъ людей не одно невѣжество, но главное—самомнѣніе и гордыня, такъ какъ трудно отказаться человѣку отъ притязанія на царственное положеніе во вселенной. Но нѣтъ такого заблужденія, которое бы рано или поздно не уступило мѣста просвѣщенному взгляду. Настанетъ несомнѣнно день, когда считать землю центромъ вселенной и единственной носительницей жизни и противополагать ее небу будетъ столь же отсталымъ, какъ утверждать, что солнце вертится вокругъ земли. Фламмаріонъ, какъ передовой и горячій борецъ противъ этихъ предразсудковъ, занимаетъ среди современныхъ ревнителей просвѣщенія одно изъ первыхъ и самыхъ почетныхъ мѣстъ.

Эту свою просвѣтительную дѣятельность Фламмаріонъ разсматриваетъ вмѣстѣ и какъ религіозную. Онъ выступаетъ проповѣдникомъ не только научной астрономіи, но и астрономической религіи. На этой послѣдней почвѣ его усилія не могутъ не остаться безплодными. Основной признакъ религіи тотъ, что она видитъ въ себѣ безусловое, а такимъ можетъ быть только сверхъестественное, такъ какъ все естественное условно. Фламмаріонъ можетъ считать свое міропониманіе выше всякихъ другихъ, но оно все таки человѣческое и потому не безусловное. Къ тому же оно не удовлетворяетъ и другимъ требованіямъ, предъявляемымъ къ религіи историческимъ опытомъ. Всякая религія всегда ставитъ для вѣрующихъ опредѣленную цѣль и указываетъ къ ней опредѣленные

пути. Христіанство учитъ о Царствіи Божіемъ, магометанство о раѣ наслажденій, буддизмъ—о нирванѣ, браминская религія—о погруженіи въ Браму, и всѣ эти религіи предписываютъ для достиженія полагаемыхъ ими цѣлей исполненіе опредѣленныхъ заповѣдей и правилъ. Фламмаріонъ не намѣчаетъ никакой опредѣленной цѣли. Единственно, что въ его ученіи напоминаетъ подобную цѣль—это рисуемыя имъ картины восхожденія души отъ земли. Но это восхожденіе такой очевидный вымыселъ, что если оно и можетъ быть принято за цѣль, то развѣ немногими. Точно также и средства къ достиженію этой цѣли у Фламмаріона чисто призрачныя. Люди должны, по его ученію, презрѣвъ земной вздоръ, заниматься исключительно наукой и философскими размышленіями. У многихъ ли для этого досугъ и способности? Что бы всѣ люди могли превратиться въ астрономовъ и философовъ, имъ пришлось бы еще при жизни переселиться на Марсъ, гдѣ, по Фламмаріону, обитатели питаются воздухомъ. И стоитъ ли заботиться о восхожденіи на другія планеты? Если на землѣ плохо, то, быть можетъ, на другихъ планетахъ еще хуже, а не лучше, какъ мечтаетъ Фламмаріонъ. Впрочемъ, самое это восхожденіе не отвергается ли имъ какъ призракъ? По его неоднократному объясненію, вселенная безконечна, въ ней нѣтъ ни верха, ни низа, и, слѣдовательно, не можетъ быть ни восхожденія, ни нисхожденія. Или это вос-

хожденіе простая метафора? Не даромъ же Фламмаріонъ говоритъ иногда о томъ, что души, сбросивъ съ себя земной покровъ и совершенствуясь все болѣе при своихъ странствіяхъ по планетамъ, въ концѣ совсѣмъ очищаются и „оживаютъ въ Богѣ“ [1]). Но говоря это, онъ смотритъ на Бога какъ на существо внѣмірное, то есть сверхъестественное, (такъ какъ если Богъ не отличимъ отъ міра, то о какомъ можно говорить очищеніи?) забываетъ поэтому свое отрицаніе сверхъестественнаго и переходитъ на христіанскую точку зрѣнія. Въ такомъ случаѣ, къ чему странствіе души по планетамъ? Къ чему вся астрономическая религія? О землѣ, какъ о временномъ пристанищѣ души, которая исходитъ отъ Бога и къ нему возвращается, христіанскіе мыслители говорили и до Фламмаріона, не справляясь ни съ какой астрономіей, напримѣръ, Вордстворъ въ прекрасныхъ словахъ, которыя могутъ служить сжатымъ выраженіемъ всего возвышеннаго во взглядѣ Фламмаріона на душу:

Our birth is but a sleep and a forgetting;
The Soul that rises with us, our life's Star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar:
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,

[1]) Fin du monde, p. 416.

But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home:
Heaven lies about us in our infancy etc. [1]).

Впрочемъ, ученіе о душепереселеніи не лежитъ въ центрѣ міропониманія Фламмаріона. Этотъ центръ—ученіе о безконечности вселенной. Здѣсь именно Фламмаріонъ и усматриваетъ главный религіозный смыслъ своей философіи. Созерцаніе этой безконечности безспорно можетъ наполнить душу благоговѣніемъ. Кантъ былъ правъ, что чѣмъ больше углубляется философская мысль, тѣмъ все болѣе возрастающимъ благоговѣніемъ наполняютъ ее двѣ вещи: звѣздное небо надо мною и нравственный законъ во мнѣ [2]). Но созерцаніе звѣзднаго неба способно наполнить благоговѣніемъ не всякую душу, а только ту, въ которой есть склонность къ идеальному міропониманію. Такая душа не нуждается ни въ какой религіозной проповѣди, такъ какъ религіи жаждутъ именно тѣ, которые сознаютъ въ себѣ отсутствіе этого міропониманія и надѣются его въ себѣ насадить или пробудить религіей. Эти послѣдніе, если и

---

[1]) Intimations of immortality: „Наше рожденіе есть лишь сонъ и забвеніе; душа, восходящая вмѣстѣ съ нами, звѣзда нашей жизни, имѣла заходъ въ другомъ мѣстѣ и приходитъ издали: не съ совершеннымъ забвеніемъ и не въ полной наготѣ, но влача облака славы, приходимъ мы отъ Бога, нашей обители; небо насъ окружаетъ въ нашемъ младенчествѣ“ и пр.

[2]) Kritik der praktischen Vernunft, Beschluss.

станутъ смотрѣть на звѣздное небо, будутъ испытывать не религіозное просвѣщеніе, но, говоря словами Платона [1]), то же состояніе, какъ при разсмотрѣніи украшеній на потолкѣ, то есть чисто земныя чувства.

Къ тому же созерцаніе безконечности можетъ внушать не одно только благоговѣніе, но и сознаніе ничтожества человѣческаго существованія. Такое сознаніе способно поселять въ однихъ ужасъ, въ другихъ—блаженство, смотря по духовному строю созерцателя. Фламмаріонъ признается откровенно, что изображаемая его ученіемъ безконечность приводитъ въ ужасъ, и этимъ своимъ признаніемъ онъ рушитъ весь построенный имъ храмъ, такъ такъ много ли найдется желающихъ идти на встрѣчу ужасу?

„Часто (говоритъ онъ [2]) я останавливался неразрѣшимымъ вопросомъ, почему существуетъ міръ? И всегда въ мою душу западали пустота и молчаніе. Увы, если сознаться, то я могъ бы еще прибавить, что за этимъ вопросомъ порой слѣдуетъ другой, еще болѣе страшный и еще болѣе тревожный, чѣмъ предыдущій. Слѣдя за безстрастнымъ движеніемъ природы, моя душа иногда опережала время и спрашивала себя, гдѣ она будетъ черезъ сто лѣтъ? И слѣдя взоромъ далѣе, она спра-

---

[1]) De Rep. 529 A, сл.

[2]) Dieu dans la nature, pp. 487—488.

шивала себя съ неопредѣлимымъ чувствомъ ужаса, гдѣ она будетъ черезъ тысячу лѣтъ. Продолжая свой полетъ, она видѣла, что черезъ сто тысячъ лѣтъ она все таки будетъ существовать, и спрашивала себя, чѣмъ она будетъ въ то время. Проникая въ пучину все больше и больше, она неутомимо неслась къ милліону лѣтъ. И за предѣломъ этой линіи, за предѣломъ этой точки, неуловимой даже для самой мысли, она воображала другую линію такой же длины; затѣмъ послѣ второго милліона лѣтъ она видѣла послѣдовательно третій, четвертый, десятый, сотый. И уже въ вѣчности постигала она, что времени не существуетъ и что вѣчность неподвижна... Сказать ли, что иногда эта мысль о неизбѣжной ожидающей насъ судьбѣ становилась столь ужасной, что заставляла исчезать чувство моей личности, какъ будто бы эта невыносимая картина приглашала искать успокоенія въ смерти, или же какъ будто это созерцаніе, слишкомъ обширное для человѣческаго мозга, разбивало мой мозгъ и исключало меня изъ числа существъ мыслящихъ. Да, эта неизмѣримая задача объ общемъ назначеніи міра насъ втягиваетъ своей глубиной, и мы не можемъ ни судить о ней, ни ее разрѣшить. Мы ею уносимся подобно микроскопической инфузоріи, потерянной въ лонѣ морей, которая бы пыталась дать себѣ отчетъ въ приливѣ и отливѣ воды“.

„Астрономъ (говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ [1]), уединенный передъ лицомъ безконечности, созерцая какъ вокругъ него вращаются небеса и міры, и пытаясь остановить свою мысль на незримомъ порядкѣ, которымъ управляется міръ, чувствуетъ, что онъ самъ уносится въ неумолимомъ движеніи вещей. Когда смолкаетъ всякій шумъ, смѣняющая его безусловная тишина иногда какъ бы бросаетъ созерцателя въ безпредѣльность пространства и отдаетъ его ничтожеству".

Лишь немногіе находятъ въ чувствѣ безконечности источникъ наслажденія. Сюда принадлежатъ всѣ тѣ, которые слишкомъ сильно движутъ тайными пружинами своей души [2]), влачатъ съ собой непрестанно тяжкій грузъ своихъ думъ и чувствъ и испытываютъ поэтому, при погруженіи своего безпокойства въ безконечное, истинное умиротвореніе и блаженство. Объ этомъ пути къ блаженству отъ крупныхъ мыслителей приходится слышать неоднократно. Его пламенно проповѣдуетъ Бруно [3]), въ немъ находитъ цѣль жизни Спиноза [4]), о немъ говоритъ стономъ

---

[1]) Stella, pp. 329—330.

[2]) Who stirr too strongly the soul's secret springs.
Byron Childe Harold, III, XLII—XLIII.

[3]) Del Infinito, pp. 302, sg. Delag.

[4]) Tract. Pol. I, 4. Eth. P. IV. Prop. L. Schol.

сердца Руссо [1]). Его съ любовью рисуетъ мрачная мысль Байрона въ великолѣпныхъ стихахъ:

There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society, where none intrudes,
By the deep Sea, and music in its roar:
I love not Man the less, but Nature more,
From these our interviews, in which I steal
From all I may be, or have been before,
To mingle with the Universe, and feel
What I can ne'er express, yet can not all conceal [2]).

---

[1]) Lettre (117) à Malesherbes 21 janv. 1762 (X, 306 éd. Hachette): „Bientôt de la surface de la terre j'élevois mes idées à tous les êtres de la nature, au système universel des choses, à l'être incompréhensible qui embrasse tout. Alors, l'esprit perdu dans cette immensité, je ne pensois pas, je ne raisonnois pas, je ne philosophois pas, je me sentois, avec une sorte de volupté, accablé du poids de cet univers, je me livrois avec ravissement à la confusion de ces grandes idées, j'aimois à me perdre en imagination dans l'espace, mon coeur resserré dans les bornes des êtres s'y trouvoit trop à l'étroit; j'étouffois dans l'univers; j'aurois voulu m'elancer dans l'infini".

[2]) Childe Harold IV, CLXXVIII. Также III, LXXII—LXXIII, „Есть удовольствіе въ непроходимыхъ лѣсахъ, есть восхищеніе на пустынномъ берегу, есть общество, въ которое никто не вторгается, у глубокаго моря, и есть музыка въ его шумѣ. Я не мало люблю человѣка, но больше природу за тѣ наши свиданія, въ которыхъ я укрываюсь отъ всего, чѣмъ я могу быть или чѣмъ былъ прежде, чтобы слиться со вселенной и чувствовать, чего я никогда не могу ни выразить, ни утаить вполнѣ".

Его изображаетъ съ величавымъ спокойствіемъ Гете:

Im Gränzenlosen sich zu finden,
Wird gern der Einzelne verschwinden,
Da löst sich aller Ueberdruss;
Statt heissem Wünschen, wildem Wollen,
Statt läst'gem Fordern, strengem Sollen
Sich aufzugeben, ist Genuss [1]).

Его проповѣдуетъ музыка Вагнера. Опера „Тристанъ и Изольда", пользующаяся во Франціи большой любовью, заканчивается краснорѣчивымъ призывомъ потеряться въ безконечности вселенной:

In des Wonnemeer
Wogendem Schwall,
In der Duft-Wellen,
Tönendem Schall,
In des Welt-Atems
Wehendem All
Ertrinken
Versinken
Unbewusst
Höchste Lust!

Но живое и непосредственное сознаніе безконечности—все равно мучительное или радостное—доступно лишь немногимъ. Для большинства безконечность—темное и мало говорящее слово. Если бы были правы тѣ, которые (напримѣръ, Максъ Мюллеръ) объясняютъ происхожденіе религіи живущимъ въ насъ чувствомъ безконечности, то почему въ рели-

[1]) Eins und Alles.

гіозныхъ культахъ это безконечное тотчасъ же заслоняется конечнымъ и для большинства въ немъ исчезаетъ?

Коренная ошибка религіозной философіи Фламмаріона въ томъ, что онъ считаетъ возможнымъ установить религію на чувствѣ, свойственомъ лишь немногимъ, тогда какъ она, по самому значенію слова (отъ religare) есть связь для объединенія въ общій союзъ множества умовъ всякаго происхожденія и всякой широты. „Чтобы сдѣлать въ него доступъ возможнымъ и для наинисшихъ, необходимо (вполнѣ правильно замѣчаетъ Вогюэ [1]) считаться съ ихъ темными взглядами, съ ихъ потребностью въ символизмѣ, посредничествѣ, внѣшнемъ благочестіи; слѣдуетъ дать имъ лѣстницу отъ земли къ небу. Вопросъ не въ томъ, предпочтительнѣе ли чистое созерцаніе истины, но въ томъ, способно ли его выносить большинство людей. Опытъ даетъ отрицательный отвѣтъ. Это понимали всѣ великіе культы, господствовавшіе въ мірѣ, отъ Индіи, Египта и до Греціи. Ихъ миѳы были необходимой лѣстницей, на которой истолкованіе истины очищалось съ каждой ступенькой, сообразно съ умственной силой посвященныхъ. Когда въ свою очередь христіанская церковь собрала души, она точно также отнеслась съ снисходительной жалостью къ язычес-

[1]) Souvenirs et visions, pp. 109—110. Подобное же у Тэна, Ancien régime, pp. 272—274. См. стр. 463.

кимъ остаткамъ, ихъ обременявшимъ; желая быть всеобщей, она не приходила въ отчаяніе ни отъ какой слабости и оставляла для слабыхъ опоры, нужныя имъ для восхожденія къ Богу".

Все это слѣдовало бы знать современнымъ апостоламъ новыхъ вѣрованій, а главное нужно было бы помнить, что для насажденія новой религіи недостаточно однихъ желаній и стараній; для этого необходимы сложныя условія, которыя могутъ быть раскрыты лишь изученіемъ исторіи религій въ свѣтѣ общей культуры тѣхъ странъ, гдѣ онѣ возникаютъ и распространяются.

Если религіозная проповѣдь Фламмаріона остается безуспѣшной, то его ученіе о разлитой по всей вселенной жизни приноситъ плоды. Оно пролагаетъ себѣ понемногу путь не только въ сознаніе представителей науки, философіи, поэзіи, но и въ сознаніе простыхъ людей. Теперь трудно найти сколько нибудь обстоятельный очеркъ астрономіи, въ которомъ бы не обсуждался вопросъ объ этой жизни[1]). Къ этому вопросу одинаково неравнодушны и философы и поэты. Имъ интересуется и такъ называемая „большая публика".

„Вселенная (говоритъ одинъ изъ новѣйшихъ французскихъ философовъ[2]) не есть несвязное со-

[1]) Напримѣръ, ограничиваясь лишь вышедшими за послѣдніе годы: Meyer, Weltgebäude (1898), pp. 660 f. Plassmann, Himmelskunde (1898), pp. 395 f.

[2]) Ribert, Essai d'une philosophie nouvelle, suggérée par la science. p. 431.

браніе существъ загадочныхъ другъ для друга и въ частности для людей. Она населена человѣчествами, быть можетъ различными по формѣ; но что значитъ форма, если души тождественны? Мощные доводы заставляютъ думать, что принципы нашей мысли, столь простые, столь ясные и столь элементарные, лежатъ въ основѣ всѣхъ умовъ, и это убѣжденіе въ свою очередь укрѣпляетъ въ увѣренности, съ которой мы это утверждаемъ. Не безразлично, смотрѣть ли на проявленія разума какъ на свойственныя только одной расѣ, или же какъ на свойственныя всѣмъ; въ послѣднемъ случаѣ возможно утверждать, что та истина, та красота и то благо, которымъ мы поклоняемся, не простыя земныя созданія, преходящіе идолы, измышленные человѣчествомъ, но самое благородное въ природѣ вещей, чистыя и безсмертныя сущности, словомъ, истинные боги, которыхъ признаютъ всѣ умы во вселенной.

„И на сколько возвышаются въ присутствіи звѣзднаго неба чувства тѣхъ, которые умѣютъ его созерцать и понимать! Эти огни, къ которымъ странникъ философъ устремляетъ взоръ съ палубы своего земного корабля,—онъ къ нимъ не напрасно обращается съ вопросомъ; они въ его глазахъ какъ бы сигналы незримыхъ флотовъ, которые уносятъ черезъ пространство неизвѣстныхъ странниковъ, одаренныхъ способностями сходными съ его, подверженныхъ подобнымъ же испытаніямъ и живу-

щихъ одинаково съ нимъ среди горя и радости. Но онъ не останавливается на этомъ первомъ впечатлѣніи; онъ думаетъ о томъ, что привѣтъ, посылаемый во всѣ стороны лучами его собственной планеты, понимается въ другихъ мірахъ; онъ мечтаетъ о дружественныхъ мысляхъ, которыя скрещиваются съ его собственной въ лонѣ безднъ, и онъ испытываетъ спокойную радость, раздѣляя эту научную вѣру, болѣе ясную, чѣмъ свѣтъ солнцъ, и болѣе сильную чѣмъ ихъ притяженіе, которая изъ глубинъ небесной тьмы вызываетъ легіоны духовъ, уничтожаетъ раздѣляющее ихъ пространство и ихъ призываетъ къ идеальному общенію подъ величественнымъ сводомъ храма ночи".

Авторъ не указываетъ источника своего вдохновенія, но духъ Фламмаріона вѣетъ здѣсь изъ каждой строки.

Не въ примѣръ глубже, чѣмъ во Франціи, обсуждается навѣянный этимъ духомъ вопросъ въ другихъ странахъ. Въ послѣднее время вышло нѣсколько замѣчательныхъ работъ, разсматривающихъ его съ различныхъ точекъ зрѣнія. Тогда какъ одни видятъ въ ученіи о безконечномъ множествѣ обитаемыхъ міровъ безобидную для нашихъ обычныхъ воззрѣній проповѣдь [1]), другіе, напротивъ, ставятъ

---

[1]) Pohle, Die Sternenwelten und Ihre Bewohner (1899), 2. Aufl. Bettex, Symbolik der Schöpfung (1899), 3-te Aufl.

съ полнымъ основаніемъ на видъ, что отрицая за землей значеніе центра, оно рушитъ все міропониманіе, которымъ живутъ массы, такъ какъ это міропониманіе всецѣло подсказано взглядомъ на человѣка, какъ центръ мірозданія [1]).

Изъ поэтовъ отстаиваемыя Фламміономъ воззрѣнія усвоилъ Сюлли Прюдомъ, облекшій въ блестящую стихотворную форму:

Pourquoi dans l'infini plein d'innombrables flammes,
Parmi tant de globes mouvants,
N'en serait-il qu'un seul visité par des âmes
Et peuplé par des corps vivants?

Pourquoi seule la terre, obscure et si petite,
Aurait-elle entre tous l'honneur
De porter une argile où la pensée habite,
Où veille un souffle apte au bonheur?

La tombe ferme un ciel pour en ouvrire un autre
Sur un astre meilleur! etc. [2]).

О томъ, въ какой мѣрѣ западаетъ ученіе Фламміонъ въ сознаніе толпы можно судить по любопытному отчету Флурнуа о сомнамбулѣ, путешествующей по Марсу и говорящей на языкѣ тамошнихъ обитателей [3]).

---

[1]) Troels Lund, Himmelsbild und Weltanschauung im Wandel der Zeiten (1900). Schneidewin, Die Unendlichkeit der Welt (1900).

[2]) Résurrection.

[3]) Des Indes à la planète Mars, étude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie (1900). 2 éd. См. особ. pp. 136, сл. 246.

Не смотря на всѣ свои недочеты, міровоззрѣніе Фламмаріона своей горячей вѣрой въ Бога, безсмертіе и прогрессъ составляетъ отрадное исключеніе среди современнаго безвѣрія. Но оно этими своими лучшими сѣменами попадаетъ во Франціи на неблагодарную почву. Скептики находятъ Фламмаріона слишкомъ самоувѣреннымъ, пессимисты—слишкомъ жизнерадостнымъ. Кругъ его почитателей составляютъ не передовые мыслители, но лица средняго уровня, съ сердцемъ, всегда открытымъ для того что нравится, но съ мало развитой критикой. Передовые умы, когда имъ приходитъ на мысль искать въ религіи отвѣта на волнующіе ихъ вопросы, обращаются не къ мнимымъ религіямъ, въ родѣ „астрономической“, но къ религіямъ дѣйствительнымъ. Изъ такихъ религій для извѣрившихся умовъ стоятъ повсюду въ Европѣ на первомъ мѣстѣ двѣ—браминская и буддійская. Обѣ эти религіи какъ нельзя болѣе соотвѣтствуютъ современному настроенію, браминская—своимъ ученіемъ о призрачности всего сущаго, кромѣ всеобъемлющей сущности, которую, при ея неопредѣленности, можно отожествлять съ какимъ угодно изъ „основныхъ принциповъ“—и съ матеріей, и духомъ, и жизнью, и силой и т. д., и такимъ образомъ дѣлать опорой для какого угодно міропониманія, буддизмъ—своимъ нигилизмомъ и пессимизмомъ. Воспитанное на универсальныхъ принципахъ современное пессимистиче-

ское и нигилистическое сознаніе охотно увлекается этими религіями. Но увлеченіе религіей не есть религіозное сознаніе; современный христіанинъ, утратившій вѣру во Христа, очевидно не можетъ вѣровать и въ божественность Будды и Брамы. Однако въ характерѣ увлеченія сказывается настроеніе и съ этой точки зрѣнія увлеченіе браминской и буддійской религіями заслуживаетъ вниманія. Наиболѣе краснорѣчивымъ глашатаемъ этихъ религій во Франціи былъ Леконтъ де Лиль, создавшій въ ихъ духѣ рядъ геніальныхъ произведеній. Но Леконтъ де Лиль по сосредоточенности своей мысли и по строгости формы не былъ общедоступнымъ поэтомъ. На большую публику почитателей Брамы и Будды разсчитываетъ сборникъ стихотвореній, вышедшій подъ псевдонимомъ Жана Лагора и озаглавленный „Иллюзія". Сборникъ этотъ былъ встрѣченъ единодушнымъ восторгомъ. Лемэтръ относитъ его къ числу наилучшихъ произведеній, созданныхъ литературой во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, а его успокоительное дѣйствіе сопоставляетъ съ дѣйствіемъ „Подражанія Христу" [1]). Если это сопоставленіе имѣетъ значеніе чисто личнаго взгляда, то высокія поэтическія достоинства сборника внѣ спора. Мы уже имѣли случай привести одинъ образецъ изъ этого сборника, какъ характеристику современнаго нрав-

[3]) Contemporains, IV, p. 308.

ственнаго міропониманія [1]). Теперь мы приведемъ другой, чтобы показать, какого рода браминско-буддійскія стихотворенія встрѣчаютъ сочувствіе:

„Размышляй о божественномъ цвѣткѣ лотоса, этомъ образѣ міра, о цвѣткѣ съ бѣлымъ сердцемъ, который возвышается, словно Венера, поверхъ волны.

„Онъ выставляетъ свои листья и свою чистую чашечку на водахъ большой рѣки и открываетъ себя цѣлый день для поцѣлуевъ лазури, упояющей его свѣтомъ.

„Звѣзды небесныя и луна, сіяющая блѣдными лучами сквозь пальмы, расточаютъ на его сердце, когда наступитъ ночь, воздухъ спокойныхъ странъ.

„И тихо онъ спитъ надъ зіяющей бездной, не зная о причинахъ, взявшихъ его у ничтожества, куда возвращаются всѣ вещи, чтобы снова туда погрузить и его“.

Переводъ не даетъ понятія о своеобразной прелести подобныхъ стихотвореній, дѣйствующихъ не столько содержаніемъ, сколько формой. Приводимъ поэтому стихотвореніе въ подлинникѣ:

Médite sur la fleur divine du lotus,
Cette image du monde,
Sur la fleur au coeur blanc, perçant comme Vénus
La surface de l'onde.
Elle étale sa feuille et son calice pur
Sur les eaux d'un grand fleuve,

[1]) Стр. 34, сл.

Et s'ouvre tout le jour aux baisers de l'azur,
Qui de clartés l'abreuve;
Les étoiles du ciel, et la lune qui luit,
Pâle à travers les palmes,
Répandent, sur son coeur, lorsque descend la nuit,
L'air des régions calmes;
Et tranquille elle dort sur l'abîme béant,
Ignorante des causes,
Qui, pour l'y replonger, l'avaient prise au néant,
Où rentrent toutes choses.

Можно ли не замѣтить грустной и убаюкивающей мелодіи этого стихотворенія?

Какъ понимать это и подобныя ему произведенія, сейчасъ увидимъ.

Поэтъ называетъ свое міровоззрѣніе „героическимъ пессимизмомъ“ и поясняетъ его въ предисловіи [1])— одномъ изъ наиболѣе любопытныхъ документовъ современной мысли.

„Иллюзія“ (по словамъ автора) есть исторія души, которая съ высотъ, сіяющихъ вершинъ пантеистической вѣры, погрузилась въ ночь, въ отчаяніе, въ смерть философіи сомнѣнія и нигилизма. Хотя эта исторія свойственна весьма многимъ, тѣмъ не менѣе такая ночь, такая смерть испугали поэта; онъ попытался изъ нихъ выйти, и вышелъ, и для него важно, чтобы другіе, низошедшіе до такого же мрака, могли

---

[1]) Предисловіе это помѣщено не въ сборникѣ стихотвореній, а въ Revue bleue, 1893, pp. 243—246.

изъ него выйти такъ же, какъ онъ. Поэтому его книга, несмотря на противоположную видимость, быть можетъ, заключаетъ въ себѣ нѣкоторое нравоученіе, которое одно способно придать ей цѣну, такъ какъ авторъ держится того взгляда, что, если произведеніе искусства, въ основаніи или нѣкоторыхъ отношеніяхъ, пусть даже одной своей красотой, не содѣйствуетъ прогрессу и возвышенію человѣка, оно есть дѣло ничтожное и пустое.

Анализъ и опытъ показали поэту, что весьма похожа на ничто наша человѣческая жизнь, эта мгновенная жизнь, обыкновенно столь пустая или униженная тѣмъ, что ее занимаетъ, эта жизнь, для которой, быть можетъ, нѣтъ завтра, такъ такъ физіологія и патологія раскрываютъ ничтожество души, которую унижаютъ или погашаютъ болѣзнь и старость и которая не болѣе какъ простое случайное явленіе, какъ простой свѣтъ лампы, освѣщающей мракъ въ извѣстное мгновеніе. Онъ увидалъ, что иллюзія, вѣчная Майя, насъ безпрерывно обольщаетъ; что человѣкъ не болѣе какъ животное среди животныхъ; что вѣчно звѣрскій и дурной, онъ сынъ скота, а не сынъ Бога, какъ его величало тщеславіе прежнихъ временъ. Ничтожество, которое поэтъ обрѣлъ въ себѣ, онъ обрѣлъ во всей жизни, и отъ ничтожества всѣхъ частей заключилъ къ ничтожеству вселенной, и къ ничтожеству Бога, того безконечнаго, котораго, по Писанію, мы служимъ подобіемъ.

Вмѣстѣ съ Дарвиномъ поэтъ въ правѣ сильнаго призналъ законъ, господствующій надъ отношеніями между существами; но въ то же время онъ не могъ не замѣтить, что этотъ законъ противоположенъ идеѣ справедливости. Отсюда слѣдуетъ, что пессимизмъ не есть субъективное мнѣніе нѣсколькихъ больныхъ умовъ, но печальное признаніе вѣчнаго и всеобщаго закона природы (насколько вообще возможенъ законъ природы).

До такого пониманія вселенной человѣчество, взятое въ цѣломъ, еще не дошло, но оно можетъ дойти, и поэтому мудрые люди должны спѣшить съ подобной проповѣдью, если только хотятъ предохранить человѣка отъ внутренняго угнетенія, желаютъ въ немъ спасти нравственную вѣру и жизнь.

Единственное средство возстановить въ людяхъ вѣру въ самихъ себя, если только не въ Бога — пессимизмъ, а какимъ образомъ пессимистъ можетъ, не допуская непослѣдовательности, сохранять радость, сохранять и умножать свои энергіи, вѣрить въ благо и его желать, это понять не трудно. Стоитъ только посмотрѣть на окружающую насъ природу и вникнуть въ нашу внутреннюю жизнь.

Пусть жизнь представляется намъ мрачной и дурной, на ея поверхности все-таки есть блескъ, который насъ привлекаетъ, упояетъ и будетъ упоять всегда. Мы можемъ обожать, не вѣруя въ предметъ обожанія; можемъ обожать, не только сомнѣваясь,

но и презирая. Подобно женщинѣ, которой душа насъ смущаетъ и безпокоитъ, но которой возвышенная красота поддерживаетъ обожаніе, а притворная любовь доводитъ до безумнаго влюбленія, жизнь, твореніе съ своей улыбкой, своими украшеніями, богатствомъ своихъ формъ, съ своимъ золотымъ покрываломъ, съ своими одеждами изъ солнца и луны, наброшенными на ея безобразіе, можетъ, и притомъ до конца вѣковъ, очаровывать, ослѣплять, смущать, наполнять страстью многія души.

Сверхъ того та мысль, что мы должны умереть и притомъ, безъ сомнѣнія, вполнѣ, не должна ли она сдѣлать болѣе напряженными наши ощущенія, наши чувства, какъ это бываетъ съ умирающими, которые въ послѣдній разъ созерцаютъ свѣтъ, красоты земли, моря и неба, поразительное очарованіе вечеровъ, всѣ эти зрѣлища, въ извѣстные часы поистинѣ восхитительныя и для умирающихъ исчезающія навсегда?

Такимъ образомъ, пессимизмъ не только не вноситъ въ жизнь отчаянія, а, напротивъ, побуждаетъ тѣхъ, кто любитъ, любить еще больше, тѣхъ, которые борются, бороться еще настойчивѣе, тѣхъ которые наслаждаются, благодаря своему мозгу или своей душѣ, умножать и возвышать всѣ душевныя энергіи, такъ какъ въ эту краткосрочную жизнь, которая намъ дана, необходимо вмѣстить, насколько это возможно, безконечность любви, грезъ, мыслей, подобно

тому, какъ въ алмазѣ сосредоточивается свѣтъ, въ каплѣ воды весь блескъ небесъ.

Пессимистъ не отрицаетъ красоты вещей въ этой вселенной, гдѣ все возможно, даже счастье, даже красота; но онъ полагаетъ, что по большей части только иллюзія и человѣческая мечта создаютъ счастье живыхъ существъ и красоту вещей, и зная, что въ дѣйствительномъ мірѣ зрѣлище красоты весьма рѣдко и даже совершенно исключительно, онъ этимъ зрѣлищемъ, быть можетъ, еще больше удивленъ, больше тронутъ, больше упоенъ, чѣмъ всякій другой.

Все это пока касается лишь единичныхъ людей. Но нашу индивидуальную жизнь, столь бренную, столь узкую и жалкую, должна все больше и больше замѣщать великая жизнь вида; такимъ образомъ мы пріобрѣтаемъ надежду или иллюзію безсмертія (такъ какъ это безсмертіе есть лишь болѣе продолжительная жизнь вида, который точно такъ же, какъ и все остальное, долженъ погибнуть); такимъ образомъ мы можемъ безпредѣльно расширять наше мгновенное существованіе, умножая нашу жизнь, нашу душу, наши жизненныя и духовныя силы всѣми силами вида, въ которомъ мы живемъ и который живетъ въ насъ, такъ какъ онъ—мы сами, наше *я* безъ границъ. Это создаетъ новыя радости, новое тщеславіе, новыя торжества; душа обогащается этими тысячами и милліонами душъ, жизнь и трепетъ которыхъ человѣкъ чувствуетъ въ своей душѣ

благодаря данной ему симпатіи. Но эти радости не чужды страданій: въ душѣ пессимиста въ то же время отражаются всѣ страданія живыхъ существъ, и такимъ образомъ въ его глазахъ не становится безразличнымъ ничто человѣческое, ничто живое.

Зрѣлище ужаса и зла внушаетъ ему любовь къ добру, и, быть можетъ, только одинъ онъ обладаетъ такой страстью къ добру, которой ничто не удерживаетъ и не ослабляетъ. Оптимизмъ предполагаетъ довольство, а какъ скоро человѣкъ доволенъ, онъ не можетъ желать никакихъ измѣненій ни въ себѣ, ни въ остальномъ мірѣ, который для оптимиста представляется лучшимъ изъ возможныхъ міровъ.

Напротивъ, пессимистъ, приведенный въ ужасъ всеобщимъ зломъ, желаетъ съ нимъ бороться; удрученный всеобщимъ страданіемъ, онъ желаетъ его уменьшить, утѣшить, исцѣлить. Онъ видитъ всю глубину мерзости и звѣрства, которыя въ насъ пребываютъ; онъ знаетъ, до чего могутъ дойти скотство, глупость, низость, пошлость въ человѣкѣ, и именно потому онъ *желаетъ другого*, именно потому онъ призываетъ новое человѣчество и требуетъ его.

Такъ создаются наши идеальныя стремленія, наши идеалы. Благодаря собственнымъ силамъ человѣка, благодаря чудесамъ подбора, благодаря искусству, волѣ, генію, тираніи и т. д., мало-по-

малу втеченіе вѣковъ среди жалкой и ничтожной человѣческой жизни образовалась аристократія ума, и задача каждаго изъ насъ состоитъ въ томъ, чтобы принадлежать къ этой аристократіи или же идти дальше ея. *Да, идеалъ въ настоящее время возлагается на насъ и предписываетъ намъ обязанности*, такъ какъ *необходимо, обязательно* [1]), послѣ того какъ произошло различіе между скотомъ и человѣкомъ, быть человѣкомъ, а не скотомъ. Этотъ идеалъ заключаетъ въ себѣ справедливость, полную справедливость, то-есть непрерывное принесеніе нѣкоторыхъ изъ нашихъ интересовъ, нашихъ потребностей, въ жертву общему интересу или общей потребности; и мы такимъ путемъ возстановляемъ то понятіе, которое образуетъ самую сущность всякой возвышенной религіи—понятіе о жертвѣ.

Пессимистъ, обладающій такимъ идеаломъ, есть вмѣстѣ умственный аристократъ и геній, такъ какъ онъ произошелъ вслѣдствіе отбора и подавилъ въ себѣ низшія склонности по руководству высшихъ.

Героическій пессимизмъ призываетъ къ себѣ всѣхъ, кто работаетъ и борется для завоеванія высшей жизни: ученыхъ, которые, отыскивая истину и примѣняя къ дѣлу свои познанія, торжествуютъ надъ естественной необходимостью, покоряютъ природу, творятъ подобно ей, вскорѣ побѣдятъ

---

[1]) Курсивъ въ подлинникѣ.

смерть; художниковъ и поэтовъ, которые, среди безобразія и пошлости вещей, создаютъ идеальную вселенную чистыхъ видѣній и формъ, служатъ отголоскомъ, сознательнымъ выраженіемъ океана душъ безсознательныхъ или нѣмыхъ и посредствомъ этого отголоска, то есть своихъ возвышенныхъ произведеній, благородно воспроизводятъ томленіе этихъ душъ, поставленныхъ лицомъ къ лицу съ загадкою міра; наконецъ, больше всего онъ призываетъ героевъ и святыхъ, которые дошли до такой высокой степени человѣчества, что отдаютъ свою жизнь за всѣхъ, теряютъ ее въ общей жизни, чувствуютъ, что отдѣльный человѣкъ бываетъ великимъ, сильнымъ и долговѣчнымъ лишь въ томъ случаѣ, если вѣчно соединяетъ свою жизнь и душу съ жизнью и душой отечества или человѣчества и участвуетъ такимъ образомъ въ существованіи болѣе широкомъ, въ жизни болѣе продолжительной отечества или человѣчества.

Осуществленіе всѣхъ этихъ идеаловъ для человѣка вполнѣ возможно, такъ какъ, хотя наше тѣло единосущно съ безконечной Сущностью, а наша мысль, наша душа съ неопредѣленной Мыслью, неопредѣленной Душой вещей; хотя наше конечное *я* тожественно съ Я безконечнымъ; хотя часть цѣлаго тожественна съ цѣлымъ, такъ что человѣкъ совершенное подобіе вселенной, тѣмъ не менѣе наша душа можетъ то, чего вселенная, безъ сомнѣнія, не

можетъ, она можетъ на одинъ часъ, который поэтому становится возвышеннымъ, создавать безусловное въ прекрасномъ, въ справедливомъ и благомъ; и то, что *она можетъ*, она здѣсь *должна дѣлать*; и такимъ образомъ человѣческая мечта становится болѣе чистой и болѣе великой, чѣмъ мечта или бредъ вещей.

Итакъ, если будущая наука не обрѣтетъ Бога, который есть имманентная справедливость міра, то, обходясь безъ Бога, мы создадимъ *божественное* и изъ хаотической ночи заставимъ брызнуть свѣтъ, и будемъ какъ Богъ.

Таково міровоззрѣніе этой книги, которую лучшій, наиболѣе талантливый, наиболѣе умѣренный и безпристрастный изъ современныхъ французскихъ критиковъ приравниваетъ, по ея успокоительному дѣйствію, къ безсмертному „Подражанію Христу“. Нужно ли входить въ подробныя разъясненія, чтобы показать полную несостоятельность такого міропониманія, несомнѣнно навѣяннаго Ренаномъ и Тэномъ? Если все одинаково ничтожно, можетъ ли не быть ничтожнымъ и „героическій пессимизмъ“? И онъ дѣйствительно ничтоженъ, такъ какъ на всѣ самые сложные вопросы жизни, религіи и нравственности отвѣчаетъ „по геройски“, съ размаху, голословно, не думая и не сомнѣваясь, и потому отвѣчаетъ ничтожно. Въ человѣкѣ единичная жизнь *должна* мало-

по-малу смѣняться всеобщей; пессимистическая міровая радость и скорбь объясняются тѣмъ, что человѣкъ *одаренъ* симпатіей; вслѣдствіе *чудесъ* отбора появляется умственная аристократія и создаются идеалы, которые *должны быть* осуществлены, такъ какъ человѣкъ не скотъ и т. д. И что за сплетеніе противорѣчій! Человѣкъ — тожественная вселенной часть ея и въ то же время можетъ то, чего она не можетъ; несмотря на то, что весь міръ—измѣнчивый призракъ, въ немъ существуютъ имманентная справедливость и идеалы, которые должны быть осуществимы, т.-е. должны быть не призраками; хотя все преходитъ, наука скоро одержитъ побѣду надъ смертью; Богъ или вселенная есть ничто, человѣкъ лишь ничтожная часть этого ничтожества, и однако онъ выше вселенной и Бога, и хотя онъ произошелъ отъ скота и признаетъ одинаковое ничтожество всего сущаго, слѣдовательно и всѣхъ идеаловъ, онъ стремится, по руководству высшихъ идеаловъ, столь же ничтожныхъ, какъ и все остальное, уподобиться Богу, то-есть ничтожеству; нашу жизнь, быть можетъ, не ожидаетъ завтра, но въ то же время мы, безъ сомнѣнія, вполнѣ умираемъ, хотя наука и сдѣлаетъ насъ вскорѣ безсмертными и т. д. При ближайшемъ разсмотрѣніи весь этотъ „героическій пессимизмъ“ оказывается простой реторикой, наборомъ мало продуманныхъ и недостаточно связанныхъ фразъ.

Но если плохо обосновано міровоззрѣніе, то восхитительны стихотворенія; неубѣдительное для разума можетъ ласкать наши чувства. Современный человѣкъ усталъ разсматривать дѣйствительность въ яркомъ, но не грѣющемъ свѣтѣ отвлеченной мысли, наскучили ему отрѣшенныя отъ жизни умозрительныя построенія, ему хочется снова жить полною жизнью, а пока — отдохнуть въ сумеркахъ сознанія, прислушаться къ нѣжнымъ и грустнымъ звукамъ, оплакивающимъ утраченный смыслъ жизни. И воспитанное пессимизмомъ воображеніе охотно переносится на Востокъ, къ далекой родинѣ пессимизма. Тамъ дремлютъ первобытные лѣса, ярко улыбается небесная лазурь въ зеркальныя озера, звѣри не боятся человѣка, огромные цвѣты раскрываютъ по ночамъ свои чашечки для поцѣлуевъ мѣсяца. Тамъ повсюду тишина и покой, и для усталой души отрадно задремать подъ эти грезы и въ грезахъ убаюкаться пѣснью, что все—греза.

Среди всѣхъ этихъ колебаній мысли при исканіи религіознаго идеала, на твердой исторической почвѣ стоитъ лишь воззрѣніе, указывающее на возвратъ къ христіанству, какъ на единственно возможный выходъ изъ современной нравственной расшатанности.

Въ этомъ смыслѣ раньше другихъ высказался Тэнъ. Его мнѣніе особенно любопытно потому, что онъ былъ самымъ горячимъ проповѣдникомъ вѣры въ

науку, какъ сокровищницу всякой истины—одинаково эстетической, нравственной, политической, религіозной. Въ послѣдній періодъ своей дѣятельности онъ молчаливо признаетъ односторонность этого взгляда, оттѣняя огромное воспитательное значеніе религіи, въ особенности христіанства.

Если существуютъ (говоритъ онъ) вѣскія основанія узаконять обычай, то еще болѣе вѣскія—считать религію священной. Для пониманія ея значенія слѣдуетъ разсматривать ее не съ общихъ точекъ зрѣнія и не по руководству отвлеченныхъ понятій, а въ ея живой дѣйствительности. Въ религіи открываются тѣ черты истины, которыя только однѣ доступны пониманію расы, группы расъ, части всего человѣчества. Ея ученіе есть то слово, которое умы и сердца желаютъ слышать, которое приспособлено къ глубокимъ потребностямъ, къ накопленнымъ чаяніямъ, къ наслѣдственнымъ способностямъ, ко всему умственному складу народовъ и расъ. Только чрезъ нее для милліоновъ людей, для сотенъ поколѣній возможенъ путь къ божественнымъ вещамъ. Религіозное чувство близко къ озаренію, видѣнію, экстазу, вызываетъ въ душѣ божественные образы, можетъ выражаться только въ символахъ, необходимо предполагаетъ свое воплощеніе въ культѣ, легендѣ, церемоніяхъ и именно благодаря этой своей осязаемой формѣ способно своимъ полнымъ и могучимъ вѣсомъ входить въ

сознаніе всѣхъ и каждаго—и женщинъ, и дѣтей, и простыхъ людей, и людей практики, всего человѣческаго духа, неизбѣжно выражающаго мысли образами, и такимъ способомъ противодѣйствовать эгоизму, сглаживать бѣшеный напоръ грубыхъ страстей, отнимать человѣка у него самого для служенія истинѣ и для служенія ближнему, создавать аскетовъ и мучениковъ, сестеръ милосердія и миссіонеровъ. Словомъ, религія во всякомъ обществѣ есть орудіе вмѣстѣ естественное и драгоцѣнное. Исчезновеніе ея повело бы къ болѣзненной пустотѣ въ жизни. Впрочемъ, вырвать ее съ корнемъ нельзя; руки, посягающія на нее, могутъ коснуться только ея оболочки; послѣ кровавой операціи она оживетъ вновь; ея зерно лежитъ въ душѣ слишкомъ глубоко, чтобы его можно было заглушить [1]).

На почвѣ христіанскаго міропониманія мы родились, на ней выросли и безнаказанно съ нея сойти не можемъ. Всякій разъ, какъ историческая жизнь ее покидала, человѣкъ нравственно падалъ, возвращался къ звѣрскому состоянію. Никакіе споры и раздоры въ христіанствѣ не могли коснуться его существа, и теперь оно, какъ и въ былыя времена, остается великой нравственной силой.

„Повсюду, на обоихъ материкахъ, отъ Урала до Скалистыхъ горъ, среди русскихъ мужиковъ и амери-

[1]) Ancien régime, pp. 272--274.

канскихъ поселенцевъ, христіанство дѣйствуетъ такъ же, какъ дѣйствовало прежде среди галилейскихъ ремесленниковъ, тѣмъ же самымъ способомъ, тѣмъ способомъ, который замѣняетъ любовь къ себѣ любовью къ другимъ. Ни его существо, ни его примѣненіе не измѣнились. Подъ своей оболочкой греческой, католической или протестантской, оно еще остается для четырехъ сотъ милліоновъ человѣческихъ существъ духовнымъ орудіемъ, великой парой крыльевъ, необходимыхъ для того, чтобы поднять человѣка выше его самого, выше его пресмыкающейся жизни и его ограниченныхъ кругозоровъ, чтобы вести его чрезъ терпѣніе, смиреніе и надежду къ успокоенію, чтобы увлекать его дальше воздержанія, чистоты, доброты до преданности и самопожертвованія. Всегда и повсюду, втеченіе восемнадцати вѣковъ, какъ скоро эти крылья слабѣютъ или ихъ разбиваютъ, общественная и частная нравственность понижается. Въ Италіи во времена Возрожденія, въ Англіи при Реставраціи, во Франціи при Конвентѣ и Директоріи можно было наблюдать превращеніе человѣка въ язычника, какъ въ I вѣкѣ; тотчасъ же онъ оказывался такимъ же, какъ при Августѣ или Тиберіи, то есть сладострастнымъ и жестокимъ; онъ злоупотреблялъ другими и собою; снова бралъ перевѣсъ звѣрскій или разсчетливый эгоизмъ; свирѣпость и чувственность выступали на показъ; общество становилось разбойничьимъ при-

тономъ развратнаго дома. Когда люди давали себѣ это зрѣлище, можно оцѣнить вкладъ, сдѣланный христіанствомъ въ наше современное общество, сколько оно внесло стыдливости, кротости, человѣчности, на сколько оно поддерживаетъ честность, добросовѣстность, справедливость. Ни философскій разумъ, ни художественная и литературная культура, ни даже феодальная, военная и рыцарская честь, никакой кодексъ, никакая администрація, никакое правительство не можетъ замѣнить его въ этомъ служеніи. Только оно способно удержать насъ на нашемъ естественномъ склонѣ, затормозить нечувствительное сползаніе, которымъ непрерывно всей своей первоначальной тяжестью наша раса движется назадъ къ своимъ низинамъ; и старое Евангеліе, какова бы ни была его теперешняя оболочка, остается и теперь лучшимъ пособникомъ общественнаго инстинкта“ [1]).

Изъ всего, что было въ послѣднее время сказано по поводу современной религіозной смуты, эти слова несомнѣнно самое дѣльное. Огромное преимущество Тэна сравнительно съ другими въ томъ, что онъ не отрывается отъ фактической почвы и разсматриваетъ жизнь въ свѣтѣ исторіи, а не по внушеніямъ „чистаго разума“, который передъ лицомъ фактовъ нерѣдко оказывается не лучше неразумія.

[1]) Régime moderne, III, pp. 146—147.

На той же точкѣ зрѣнія, какъ Тэнъ, стоитъ извѣстный французскій критикъ, редакторъ журнала „Revue des deux Mondes“, академикъ Брюнетьеръ главнымъ образомъ въ обратившей на себя общее вниманіе статьѣ „Послѣ визита въ Ватиканъ“ [1]); эту же мысль проводитъ, рисуя свое личное настроеніе, Гюисмансъ въ романахъ „По пути“ и „Соборъ“; она же, какъ отраженіе сознанія части французскаго общества, положена въ основаніе романовъ Зола „Лурдъ“ и „Римъ“; ею же воодушевлены манифесты „Общества нравственной дѣятельности“ [2]). Относительно того, въ какой формѣ возможно возвращеніе къ христіанству, мнѣнія расходятся. Тэнъ по этому вопросу не высказался. Извѣстно однако, что онъ, хотя и былъ католикомъ, распорядился похоронить себя по протестантскому обряду [3]). Но считалъ ли онъ эту форму христіанства вообще предпочтительнѣе, чѣмъ католичество, остается невыясненнымъ. Брюнетьеръ, оттѣняя примирительный характеръ современнаго католичества и его нравственныя преимущества передъ протестантизмомъ, не колеблется „утверждать, что изъ всѣхъ формъ христіанства всего болѣе можетъ способствовать возрожденію нравственности католичество“; католичество же подразумѣваетъ и Гюисмансъ, разсказывая

[1]) Revue des deux Mondes, t. 127, 1895, p. 113

[2]) См. выше, стр. 210, сл.

[3]) Monod, Renan, Taine etc., p. 146.

о своемъ, впрочемъ, чисто внѣшнемъ, возвращеніи въ „лоно Церкви“; напротивъ, Зола ставитъ на видъ отрицательныя стороны католичества и даетъ понять, что если и возможно возрожденіе въ духѣ христіанской нравственности, то исключительно лишь по руководству изначальнаго христіанскаго идеала, сообразованнаго съ потребностями нашего времени. Члены „Общества нравственной дѣятельности“ видятъ въ христіанствѣ нравственную силу и религіозной формы не касаются. Главный вопросъ—какъ можетъ быть осуществленъ такой поворотъ, остается открытымъ.

Въ то время, какъ извѣрившіеся умы ищутъ пристанища въ различныхъ новыхъ религіяхъ, тысячи тысячъ остаются вѣрными старой. Призывно гудитъ колоколъ, толпою стекаются въ храмъ богомольцы. Что испытываетъ среди этой толпы невѣрующій, но жаждущій вѣровать, пришедшій въ храмъ въ надеждѣ пробудить въ себѣ давно забытыя ощущенія и вмѣстѣ съ ними давно забытую вѣру?

Чувства сложныя и для современнаго настроенія знаменательныя.

„Богослуженіе (такъ приблизительно исповѣдуетъ эти чувства одинъ изъ нихъ) кажется мнѣ великолѣпнымъ зрѣлищемъ, дѣйствуетъ на меня не только роскошью обстановки, но и цѣлымъ сонмомъ осаждающихъ меня мыслей, частицей безконечнаго, которое вдругъ во мнѣ открывается. Свѣчи, ладанъ, громкій гулъ органа, пѣніе пѣвчихъ и возгласы священнослужителей

распространяютъ въ моей душѣ смущеніе, еще болѣе увеличивающееся захватывающей меня вѣрой колѣнопреклоненной толпы. Впечатлѣніе оказывается много сильнѣе и совсѣмъ инымъ, чѣмъ я думалъ. Сначала объемлетъ какой то таинственный ужасъ, переходящій въ головокруженіе, такъ что все въ моихъ глазахъ сливается; затѣмъ ужасъ и головокруженіе прекращаются, и мнѣ кажется, что я не только не колеблюсь въ различныя стороны по волѣ противоположныхъ вѣтровъ, но стою на твердой почвѣ, подъ кровомъ твердой достовѣрности. Кругомъ меня волнуется міръ со своими химерами, своими прихотями, своими бурями; могущество государствъ разрушается словно старыя стѣны; общественные строи, великіе люди исчезаютъ въ забвеніи, насиліе разрушаетъ дѣло насилія въ непрестанной смѣнѣ началъ и концовъ; одна только Церковь остается неизмѣнной—утвержденная волей людей или Бога, не все ли мнѣ равно?— Она торжествуетъ въ концѣ надъ всѣми своими врагами, расширяетъ неудержимо границы своего царства, поглощаетъ рано или поздно въ свое широкое лоно самыхъ непокорныхъ отступниковъ. Она побѣдила расколъ, ереси, невѣріе; она уничтожила гнилыя зерна, которыя ее разлагали; къ ея ногамъ пали царства; она покорила оскорблявшіе ее народы; она смѣло идетъ на встрѣчу наукѣ, которой условности разбиваются объ ея безусловность. Она въ центрѣ вихря, она неподвижна, тогда какъ вокругъ нея бушуетъ буря. И стоитъ только

на мгновеніе войти въ ея кругъ, чтобы избѣжать этой бури, которая и кружитъ, и бьетъ и разрушаетъ. Она неподвижна, а все остальное преходитъ: объ этомъ поютъ торжественные звуки органа, эту истину огненными буквами чертятъ горящія въ темнотѣ свѣчи. Я это знаю и въ то же время слышу, какъ за стѣной глухо шумитъ міръ, который скоро опять меня возьметъ, и я умноженными чувствами наслаждаюсь этой минутой вѣры, этой остановкой вѣчно странствующаго жида или этой отсрочкой осужденнаго. Какъ бы мнѣ хотѣлось понимать то, что поютъ, потеряться въ смыслѣ молитвъ, шептать тѣ же слова, которыя вьются у всѣхъ на устахъ. Увы, я не знаю молитвъ, я позабылъ ихъ языкъ, и я вынужденъ въ себѣ самомъ найти слова своей молитвы. И вырывается изъ моей груди нечестивый гимнъ, хулящій Бога за созданный имъ дурной міръ, благодарящій его за рѣдкія отрадныя мгновенія въ жизни, славословящій его за тотъ обманъ, которымъ она окружена и становится отъ этого сносной. И возносится этотъ мой нечестивый гимнъ на крылахъ благочестивыхъ пѣснопѣній, наполняющихъ храмъ.

„Но вотъ толпа начинаетъ расходиться подъ торжественные звуки органа, гремящаго великолѣпными аллилуіями. Пустой храмъ кажется мнѣ теперь міромъ, его своды — небомъ. Нѣсколько вѣрующихъ еще остаются колѣнопреклоненными у исповѣди, еще не ушли священнослужители. И я

остался искать Бога въ его домѣ, я раздумывалъ о томъ, какъ найти путь къ пристани, открытой для всѣхъ кораблей, размышлялъ о томъ дѣйствіи воли, которое нужно свершить для того, чтобы мой корабль сталъ разсѣкать волны въ желанномъ направленіи. Нужно только прогнать послѣднія сомнѣнія, нужно только замѣнить мой нечестивый гимнъ одной изъ тѣхъ смиренныхъ молитвъ, которыя вѣра лепечетъ устами младенца. Я чувствовалъ, что этотъ часъ для меня такой же рѣшительный, какъ для Павла на пути въ Дамаскъ, и въ двойномъ усиліи воскресить въ своей памяти забытыя молитвы и освободить свою мысль отъ гнетущаго ее духа отрицанія, я сталъ шептать—устами только, увы, только устами: „Отче нашъ"... [1]).

„Горе мнѣ, я слишкомъ долго увлекался дилетантизмомъ, отравилъ имъ и сердце, и мысль. Теперь мнѣ наскучили, опротивѣли всѣ его призрачныя радости; я усталъ наконецъ отъ всѣхъ этихъ радугъ, которыя во всѣхъ вещахъ зажигаются призмами моего духа; мнѣ бы хотѣлось посмотрѣть на природу чрезъ обыкновенное стекло, увидать ее простой и зеленой, успокоить на ея наивности свой утомленный взоръ; но стекло превращается въ алмазъ и раздражаетъ глаза игрой своихъ граней. Я слишкомъ часто извращалъ значеніе словъ, слишкомъ часто допытывался до сокровеннаго смы-

[1]) Rod, Le sens de la vie, pp. 305—312. Подобное же у Fierens-Gevaert, La tristesse contemporaine, pp. 149—150.

сла вещей, слишкомъ долго и много отыскивалъ и находилъ во всемъ противорѣчія, и теперь эти противорѣчія меня мучаютъ и осаждаютъ, и я брожу въ глубокой темнотѣ, которую самъ создалъ, желая зажечь не въ мѣру много свѣта. Какъ бы отрадно было мнѣ помолиться въ укромномъ мѣстѣ храма, сложить тамъ свое страданіе, какъ бы хотѣлось вѣрить, что Богъ меня услышитъ, какъ бы желалъ я найти утѣшеніе въ надеждѣ на другой міръ. Увы, въ моемъ нечестіи мнѣ кажется, что Богъ меня такъ же отвергаетъ, какъ я его раньше отвергалъ, что онъ мнѣ ставитъ такіе же неразрѣшимые вопросы, какіе я ему прежде предлагалъ, воздаетъ мнѣ ироніей за иронію. И я не нахожу другого средства облегчить свою душевную муку кромѣ чистосердечнаго признанія, что дилетантизмъ зло и тщета, что трижды злополученъ тотъ, кого коснулась эта язва [1])".

Но признать тщету ложной мудрости не значитъ ли стать на путь, кажущійся правильнымъ? Отрицая отрицаніе, не переходимъ ли мы на положительную почву? Умъ, извѣрившійся во все, даже въ свое невѣріе, но жаждущій вѣрить, такъ какъ не можетъ оставаться безъ содержанія, не способенъ ли воскресить въ себѣ старую вѣру, если желаетъ этого всѣми своими силами? Не всегда, но при нѣкоторыхъ условіяхъ,

[1]) Тамъ же, pp. 256—259.

которыя однако ускользаютъ отъ нашей аналитической мысли, несомнѣнно способенъ.

Нижеслѣдующій разговоръ, приводимый Родомъ [1]), живо и наглядно изображаетъ бореніе въ современной душѣ, въ ея стремленіи къ вѣрѣ, между мыслью невѣрующей, но жаждущей вѣрить, и мыслью, возвратившейся отъ полнаго невѣрія къ прежней вѣрѣ.

—„Вы разсуждаете такъ (говоритъ невѣрующій), какъ могъ бы разсуждать не мыслитель, а богословъ; мысли, подобныя вашимъ, можно поддерживать только съ библіей въ рукахъ, и онѣ могутъ найти оправданіе только въ религіозныхъ убѣжденіяхъ...

—„Вы совершенно правы (отвѣчаетъ вѣрующій)... Въ томъ состояніи духа, въ какомъ я былъ, когда вы меня знали, я могъ наслаждаться и тѣми свирѣпыми книгами, которыя яростно нападаютъ на общество, и тѣми играми дилетантовъ, въ которыхъ мысли летаютъ какъ пухъ, съ такимъ же непостоянствомъ. Но я измѣнился... И нынче для меня было бы такъ же невозможно ихъ цѣнить, какъ вчера ихъ порицать... Да, я покончилъ съ безплодными отрицаніями, я уже не тотъ скептикъ, какимъ вы меня раньше знали...

—„Вы очень счастливы, и я вамъ завидую... Но я не иду той же дорогой; и однако-же, если я и не нашелъ, въ противоположность вамъ, равновѣсія, я

---

[1]) Тамъ же, рр. 268—276.

пришелъ къ тому же взгляду, какъ вы, что наше вчерашнее, а мое еще и сегодняшнее, міропониманіе плачевно и, если оно не истинно, то преступно... Только я не знаю, какъ изъ него выйти... Точно такъ же, какъ я, вы не легкомысленно пришли къ невѣрію: лишь послѣ долгой работы вашъ разумъ освободилъ васъ отъ тѣхъ узъ, которыми связывала васъ вѣра. Эту работу, которую онъ свершилъ съ усиліемъ и болью, какимъ образомъ могъ онъ ее разрушить? Какими преобладающими и побѣдоносными доводами, которые раньше отъ него ускользали?...

—„Я не *разсиждалъ*, я *размышлялъ*. Я размышлялъ, и я видѣлъ, что общество разрушено неуваженіемъ, что оно еще болѣзненнѣе порабощено духомъ отрицанія, чѣмъ когда бы то ни было самымъ нетерпимымъ фанатизмомъ... Отъ общества я перешелъ къ отдѣльнымъ лицамъ, и я нашелъ, что здѣсь тѣ же причины производятъ тѣ же опустошенія... Я сталъ думать о всѣхъ этихъ бѣдныхъ душахъ, блуждающихъ безъ равновѣсія и отдыха по волѣ страстей, желаній и пагубныхъ идей, объ этихъ погибшихъ душахъ, отдавшихся неотпускающему ихъ вихрю, объ этихъ страдающихъ душахъ, которыхъ болѣзненный вопль я слышалъ... Я разслѣдовалъ самого себя и увидѣлъ, что и я унесенъ этимъ вихремъ такъ же, какъ онѣ... Тогда я понялъ, что вѣра необходима, что она *должна быть*; и я ее обрѣлъ...

—„Очень хорошо, прекрасно... Но въ этой цѣпи недостаетъ одного звена: вѣра *должна быть*, и вы ее *обрѣли*. Между тѣмъ и другимъ—пропасть; вы не объясняете, какимъ способомъ вы ее перешли... Мой вопросъ остается всецѣло, и для отвѣта на него недостаточно установленнаго вами нѣсколько тонкаго различія между *разсужденіемъ* и *размышленіемъ*...

—„Вы теперь въ томъ же заблужденіи, въ какомъ и я былъ слишкомъ долго: вы сводите безконечное къ конечному, вы желаете обсуждать *естественными* доводами *сверхъестественные* вопросы... Доказать Бога, не правда ли?... Нѣтъ, повѣрьте, ключъ къ загадкѣ въ томъ различіи, на какое я вамъ указалъ и которое вы поймете лучше, если я вамъ скажу, что вѣра не зависитъ ни отъ какого разсужденія, что она есть *дѣло воли*...

—„Но ваше открытіе только видоизмѣненіе давно извѣстнаго *Credo quia absurdum* [1]).

—„Нѣтъ, не *quia*...

---

[1]) „Вѣрую, такъ какъ нелѣпо". Этими словами обыкновенно характеризуютъ основную точку зрѣнія Тертулліана, вѣроучителя II вѣка. У самого Тертулліана этого изреченія не встрѣчается. Подлинныя слова его, по смыслу тожественныя съ только что приведеннымъ изреченіемъ, слѣдующія: Crucifixus est Dei filius; non pudet, quia pudendum est. Et mortuus est Dei filius; prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile est. De carne Christi, c. 5.

—„Ну такъ *quamvis.*[1]) Вѣдь это почти одно и то же.

—„Если хотите; но что за важность?... Что за важность, если то, во что вѣруешь, кажется нелѣпымъ, лишь бы только вѣровать?...

—„Все таки остается одинъ пунктъ сомнительнымъ. Я допускаю, что дѣйствіемъ воли, совершеннымъ вслѣдствіе вашихъ размышленій и съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, вы пришли, чтобы дать большую стойкость вашему характеру и работать болѣе плодотворно на благо людей, къ призраку вѣры. Но самая вѣра, есть ли она у васъ, иное ли она что нибудь у васъ, чѣмъ вымыселъ, хитросплетеніе?... Я не могу вообразить, чтобы она могла придти такъ легко, когда ее призываютъ, словно хорошо выдрессированный пудель, и я думаю, что всякій разъ, когда вы размышляете о вашихъ новыхъ вѣрованіяхъ, вы должны находить сидящаго въ ихъ основаніи и подтачивающаго ихъ червя,—сомнѣніе обойденное, но не разрѣшенное, отрицаніе, обманутое фокусомъ воли, спрятавшей разумъ къ себѣ въ карманъ... Вы дѣлаете, какъ будто бы вы вѣровали, пусть будетъ такъ; но вы не вѣруете...

—„Вы забываете глубокое слово библіи: „помогай себѣ, и Богъ тебѣ поможетъ“... Когда человѣкъ сдѣлаетъ все усиліе, какое только можетъ сдѣлать,

[1]) Хотя.

Богъ отъ него не требуетъ большаго, и остальное дѣлаетъ самъ... Очевидно, втеченіе болѣе или менѣе долгаго и болѣе или менѣе тягостнаго періода, когда я подготовлялся къ дѣйствію, о которомъ я вамъ говорю,—я не вѣровалъ. Но впослѣдствіи, когда я твердо установилъ въ своемъ сознаніи, что я *хочу* вѣровать,—я сталъ вѣровать... Если отъ васъ ускользаетъ *какъ*, это меня не удивляетъ: оно ускользаетъ и отъ меня... Существуетъ много другихъ *какъ* и другихъ *почему*, остающихся необъясненными... Если это чудо, я не знаю, какъ оно свершилось: я знаю только то, что теперь моя вѣра дѣйствительная и живая, что въ ней, въ противоположность вашему убѣжденію, нѣтъ ничего вымышленнаго; въ особенности я знаю, что она не есть новая форма нашего стараго дилетантизма...

—„Значитъ, вы сдѣлались католикомъ?

—„Нѣтъ, я опять сталъ протестантомъ.

—„Въ такомъ случаѣ я васъ понимаю еще меньше... Мнѣ кажется, что если бы у меня дѣйствіемъ воли возвратилась вѣра,—если бы она у меня могла возвратиться,—я бы могъ броситься въ церковь, чтобы въ ней затеряться, чтобы въ ней уничтожиться въ полномъ пожертвованіи своимъ разумомъ. Она этого требуетъ, въ этомъ ея высшая логика... Но эта разсуждающая религія, вся сложенная изъ сдѣлокъ между догматами и здравымъ смысломъ, которой діалектика и экзегетика отличаются такой

жалкой скудостью, которой леденящій культъ состоитъ въ нескончаемой рѣчи,—нанизываніи хромыхъ метафоръ, настолько слабо связанныхъ, что ихъ могъ бы порвать ребенокъ,—изъ рѣчи, произносимой унылымъ голосомъ съ ложными жестами и плаксивыми интонаціями,—эта религія, которая вздоритъ вмѣсто того, чтобы любить, и разбивается на враждебныя секты изъ за текстовъ „Апокалипсиса“,—нѣтъ, я бы не могъ допустить такой религіи никогда... И я не могу понять, какимъ образомъ вы, человѣкъ ума и вкуса, проникнутый уваженіемъ къ высокимъ мыслямъ и красивымъ фразамъ, можете себя отдавать каждое воскресенье на пытку вашимъ пасторамъ...

—„И однако, я отдаю себя, и безъ усилія, и безъ непріятнаго чувства... Опять смѣшеніе конечнаго съ Безконечнымъ... Почему желаете вы, чтобы у меня было больше уваженія къ моей старой реторикѣ, чѣмъ къ сопровождавшей ее логикѣ?... Безъ сомнѣнія, я бы былъ болѣе доволенъ, если бы метафоры хромали менѣе и жесты были болѣе кстати; но думаете ли вы, что красивыя фразы больше приближаются къ Безусловному? И въ чемъ слабость служителей могла бы повредить славѣ господина?...

„Каждая фраза оттѣняла наше несогласіе... И однако же, кто знаетъ? Быть можетъ, мы менѣе далеки другъ отъ друга, чѣмъ какъ можетъ казаться“...

Поворотъ извѣрившейся мысли къ установленнымъ религіознымъ догматамъ близко родственъ съ другимъ, болѣе обычнымъ—съ поворотомъ развращеннаго чувства къ религіозной нравственности. Въ обоихъ случаяхъ духъ ищетъ выхода изъ распутства: въ первомъ изъ распутства мысли, во второмъ—изъ распутства чувства. Сходство это не ослабляется тѣмъ, что религія однородна съ чувствомъ, тогда какъ мысль и религія принадлежатъ къ различнымъ родамъ духовныхъ состояній. Наша духовная жизнь есть единый неразъемлемый организмъ и, слѣдовательно, ея подраздѣленія могутъ имѣть не безусловное, а только колеблющееся значеніе, такъ какъ каждое изъ нихъ подразумѣваетъ собою всѣ остальныя. Поэтому во всякомъ сознательномъ, то есть, осмысленномъ состояніи, всегда участвуетъ и мысль. Религіозное чувство не только не служитъ исключеніемъ, а, наоборотъ, выразительнымъ подтвержденіемъ этой истины: оно, какъ всякому извѣстно, состоитъ не изъ однихъ только неопредѣленныхъ волненій, но и изъ вполнѣ опредѣленныхъ идей. Во всякомъ случаѣ, пропасть, отдѣляющая невѣрующую мысль отъ вѣрующей, никакъ не больше той, которая лежитъ между внутреннимъ міромъ развратника и христіанской нравственностью.

Въ новѣйшей французской литературѣ общеизвѣстнымъ примѣромъ обращенія отъ полнаго распутства мысли и чувства къ искренней, хотя и не-

устойчивой, вѣрѣ служитъ Верлэнъ [1]). Онъ самъ называетъ себя скотомъ, развратникомъ, извѣдавшимъ всю глубину разврата, пьяницей, безбожникомъ, любившимъ „плоскій сокъ невѣрія“, однимъ изъ тѣхъ пошлыхъ парижанъ, передѣланныхъ изъ провинціаловъ, которыхъ пороки своимъ „сдохшимся смрадомъ“ могутъ вызвать тошноту даже у дикаря, глупцомъ, надмившимся нелѣпымъ духомъ своего времени, черпающаго мудрость въ пивѣ. Если къ этому прибавить, что ему пришлось сидѣть неоднократно въ тюрьмѣ, между прочимъ за покушеніе въ припадкѣ ярости на убійство своего друга, поэта Рембо [3]), то характеристика его отрицательныхъ качествъ будетъ почти полной. Въ тюрьмѣ послѣ этого покушенія онъ покаялся и сдѣлался самымъ искреннимъ христіаниномъ [4]). Причащаясь, онъ чувствовалъ живое и непосредственное присутствіе Христа и въ отвѣтъ невѣрующимъ говорилъ, что наказаніе за свое невѣріе они находятъ именно въ томъ, что не испытываютъ такого присутствія [5]). Стихотворенія, напи-

[1]) О немъ Lemaitre, Contemporains, IV, pp. 63—III. Paul Verlaine et ses contemporains, par un Témoin impartial (1897), Morice, P. Verlaine etc. (1888). Остальная огромная литература у Ad. von Bévér et Paul Léautaud, Poètes d'aujoud'hui (1900), pp. 374—378.

[2]) Un conte въ сборникѣ Amour.

[3]) Mes prisons, pp. 19 сл. Объ отношеніи къ Рембо Berichon, La Vie de J. A. Rimbaud (1897).

[4]) Mes prisons, pp. 58, сл.

[5]) Confessions, p. 73.

санныя имъ въ это время, его „Мудрость“, принадлежатъ къ лучшимъ въ этомъ родѣ изъ всѣхъ, которыя когда либо и гдѣ либо были написаны. По силѣ вѣры, по неуловимой мелодіи благоговѣнія, по своеобразному сліянію смиренія и торжественности, они могутъ идти въ уровень съ наиболѣе обработанными мѣстами Дантова „Рая“ [1]).

Разумѣется, возвратиться къ утраченной вѣрѣ еще не значитъ искоренить въ себѣ дурныя склонности. У Верлэна, по его собственному признанію, вѣра шла „параллельно“ [2]) съ самымъ дикимъ распутствомъ. Но въ этомъ распутствѣ онъ съ горечью каялся и, несмотря на него, оставался искренно вѣрующимъ.

Однако, возвратиться отъ распутства мысли и чувства къ религіозной вѣрѣ подъ силу далеко не

---

[1]) Напримѣръ, изъ Mon Dieu m'a dit:

Et pour recompenser ton zèle en ces devoires
Si doux, qu'ils sont encor d'ineffables délices,
Je te ferai goûter sur terre mes prémices,
La paix du coeur etc.

Съ этимъ можно сопоставить изъ Данта, Parad. XXXIII, 46—48:

Ed io ch'al fine di tutti i disii
M'appropinquava, si com'io dovea,
L'ardor del desiderio in me finii.

[2]) Parallélement—названіе сборника стиховъ, противоположныхъ Sagesse и написанныхъ въ промежутки, когда „мудрость“ покидала поэта.

всѣмъ, притомъ не только вполнѣ, но даже съ такими колебаніями, какъ у Верлэна. Что должны дѣлать тѣ, которые жаждутъ возврата къ вѣрѣ, но чувствуютъ себя къ нему неспособными?

Съ точки зрѣнія современныхъ ревнителей религіознаго обновленія было бы цѣннымъ пріобрѣтеніемъ уже то, если бы большинство прониклось тѣмъ духомъ, который подсказывается христіанскимъ міропониманіемъ, взятымъ въ цѣломъ, находитъ поддержку въ великихъ религіяхъ Востока—браминской и буддійской—и оправдывается всей исторіей нашего разума, вынужденнаго наконецъ признаться въ безсиліи постигнуть тайну міра и дать жизни руководство.

Не гордыню разума, не самомнѣніе и не самонадѣянность внушаетъ намъ этотъ духъ и завѣщаетъ прошедшая исторія, но смиреніе передъ неисповѣдимымъ, безропотную покорность, при непрестанномъ стремленіи къ нравственному преуспѣянію, передъ неизбѣжнымъ, взглядъ на жизнь не какъ на веселый пиръ, но какъ на возложенное на насъ бремя, тяжкій и отвѣтственный долгъ [1]).

Современный пессимизмъ и скептицизмъ служатъ одностороннимъ выраженіемъ такого міропониманія, такъ какъ они подсказаны разочарованіемъ, чувствомъ отрицательнымъ, а не положительнымъ

---

[1]) Эта мысль положена въ основаніе романовъ Рода Le ménage du pasteur Naudié (1898) и Au milieu du chemin (1900).

чувствомъ жизни, которое только одно способно открыть разуму истинное значеніе человѣка, какъ существа по своей способности къ отвлеченной мысли и къ идеальному міропониманію высшаго другихъ существъ, но съ ними вполнѣ однороднаго въ несеніи для всѣхъ одинаково тяжкаго бремени жизни ради неразгаданныхъ цѣлей и потому обязаннаго глубокой любовью ко всему живому. Безъ упованія на лучшее жизнь была бы невыносима, но это лучшее не можетъ быть дано наличной дѣйствительностью, повсюду въ цѣломъ печальной, и предполагаетъ вѣру въ идеалъ, не разрушаемую, а крѣпнущую въ земныхъ страданіяхъ, какъ это превосходно изобразилъ въ своемъ „Благословеніи“ великій декадентскій поэтъ, котораго слова—одно изъ наиболѣе краснорѣчивыхъ указаній на путь къ выходу, желаемому современнымъ настроеніемъ:

Благословенъ дающій намъ страданья,
Въ пустынѣ золъ источникъ водъ живыхъ!
Какъ сталь въ горнѣ, въ горнилѣ испытанья
Нашъ крѣпнетъ духъ для радостей святыхъ.
Я знаю, тамъ, гдѣ Ты царишь, блистая,
Тамъ мѣсто есть и для моихъ скорбей,
И позовешь меня Ты въ кущи рая,
На праздникъ Силъ, Престоловъ и Властей.
Онъ правъ, Твой судъ; даетъ вѣнецъ нетлѣнный
Лишь путь креста, мученій и тревогъ,
И дань нужна со всѣхъ міровъ вселенной,
Чтобъ мой сплести мистическій вѣнокъ!

Забытый блескъ прославленной Пальмиры,
Богатства горъ и водной глубины,
Всѣ перлы ихъ, алмазы и сапфиры
Предъ тѣмъ вѣнкомъ ничтожны и блѣдны! [1]).

Такое міропониманіе не предполагаетъ ни догматовъ, ни культа. Но этой своей отвлеченностью не лишаетъ ли оно поддержки самое главное въ религіи— живую и непосредственную вѣру въ Бога? Всякое чувство требуетъ опоры во внѣшнемъ мірѣ и внѣшняго выраженія, а иначе падаетъ, увлекая съ собою и тѣ идеи, которыя оно обнимаетъ.

„Я видѣлъ (говоритъ одно лицо у Рода [2]) послѣдовательное крушеніе вдохновенія, чуда, догмы. Въ безпокойствѣ я сначала думалъ, что за этими развалинами останется несокрушимымъ идеальное зданіе. Вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ своихъ выдающихся наставниковъ я отказался отъ объективнаго Бога старинныхъ преданій, отъ ветхаго завѣта, чтобы искать Бога внутренняго, болѣе истиннаго, болѣе чистаго, котораго ученіе выше человѣческихъ формулъ, котораго слово поистинѣ творческое. Я думалъ такимъ образомъ порвать съ частью суевѣрія, кроющагося въ религіи, подняться по лѣстницѣ благочестія. Мои силы мнѣ измѣнили. Богъ потерялся для меня въ пустыхъ чаяніяхъ, въ неопредѣленныхъ обѣщаніяхъ, въ обольстительномъ не-

[1]) Бодлэръ, перев. Бальмонта.
[2]) Ménage du pasteur Naudié, p. 132.

бытіи. Религіозная мысль стала лишь вздохомъ души по идеалѣ зыбкомъ, неуловимомъ вслѣдствіе его невещественности. Богъ разсѣялся, расплылся, словно облако".

Наиболѣе просвѣщеннымъ изъ современныхъ ревнителей религіознаго сознанія это хорошо извѣстно. Большинство изъ нихъ невѣрующіе. Въ крестовомъ походѣ, который они проповѣдуютъ, крестъ только метафора, и они призываютъ къ завоеванію гробницы, которую считаютъ пустою [1]). Середину между вѣрующими и невѣрующими занимаютъ тѣ, которые остаются равнодушными къ догматамъ христіанства, но искренно и глубоко признаютъ его великую нравственную силу. Точку зрѣнія этого направленія ясно опредѣляетъ Буржэ, его крупнѣйшій представитель. Отвѣчая на распространившіеся въ послѣднее время толки объ его мнимомъ „обращеніи", онъ заявляетъ [2]), что „обращаются отъ отрицанія, но нельзя обращаться отъ чисто выжидательнаго положенія", что его положеніе есть „положеніе аналитика безъ доктрины, который только ищетъ, и потому есть лишь одна изъ формъ методическаго сомнѣнія". Если онъ и признаетъ себя апологетомъ христіанства, то его „апологетика— экспериментальная" и „состоитъ—употребляя люби-

[1]) См. выше стр. 185. 190.

[2]) Въ предисловіи къ Oeuvres complètes, Romans (сентябрь 1900).

мое математиками выраженіе—въ удостовѣреніи того, что, какъ скоро данъ рядъ наблюденій надъ человѣческой жизнью, все въ этихъ наблюденіяхъ происходитъ такъ, *какъ будто бы* христіанство было истиной". Самое же удостовѣреніе сводится къ ряду взятыхъ изъ жизни свидѣтельствъ, что неповиновеніе христіанскимъ заповѣдямъ ведетъ къ разстройству жизни, а выполненіе ихъ—къ выздоровленію и здоровью. Поэтому писатель романовъ, руководящійся такой точкой зрѣнія, можетъ считать себя апологетомъ. Буржэ объявляетъ себя вѣрнымъ ученикомъ Тэна, но нѣсколько ограничиваетъ его извѣстное изреченіе, что наука заключаетъ въ себѣ новыя нравственность, политику и религію и что наша задача искать ихъ [1]). По Буржэ, опытъ доказалъ, что эта нравственность, политика, религія не новы, нова только метода при ихъ исканіи, а добытыя по этой методѣ заключенія вполнѣ оправдываютъ старинныя нравственныя, политическія и религіозныя ученія, такъ что наука и здѣсь, какъ въ другихъ областяхъ, лишь постигаетъ то, что найдено инстинктомъ, рефлексія лишь оправдываетъ обычай. „И если бы (продолжаетъ Буржэ) среди возрастающаго поколѣнія нашелся писатель, способный составить „Геній христіанства" въ духѣ современной науки—въ чемъ такъ нуждается наше время, — то у него не было бы болѣе сильнаго довода, чѣмъ согласіе всѣхъ прозорли-

[1]) См. выше, стр. 334.

выхъ аналитиковъ страстей"—Флобера, Мопассана, Стендаля и проч.—„при всемъ ихъ разногласіи въ метафизикѣ и эстетикѣ, въ установленіи совершенно тѣхъ же законовъ чувствительности и воли человѣка, какіе формулируетъ Откровеніе". Въ настоящее время повсюду сказывается гармонія между наукой и преданіемъ, и во всѣхъ частяхъ Франціи замѣчается обновительное теченіе".

По Буржэ выходитъ, что не „аналитики страстей" должны искать мѣру истины въ Откровеніи, а наоборотъ—истина Откровенія доказывается согласіемъ его съ тѣмъ, что даютъ „аналитики страстей". Но если „аналитики страстей" говорятъ то же, что Откровеніе, и авторитетомъ выше его, зачѣмъ обращаться къ Откровенію? И къ чему въ такомъ случаѣ его апологія? Буржэ въ правѣ считать себя поборникомъ добрыхъ нравовъ, такъ какъ по всѣмъ его трудамъ проходитъ одна и та же мысль, что порокъ самъ собою несетъ наказаніе, но онъ ошибается, называя себя апологетомъ христіанства. Истину христіанства онъ доказываетъ внѣшними доводами,—что повиновеніе ему ведетъ къ пользѣ, неповиновеніе—къ вреду. Христіанство, напротивъ, единственнымъ основаніемъ для выполненія предписываемыхъ имъ заповѣдей признаетъ вѣру въ ихъ божественность и отвергаетъ всякаго рода внѣшнія соображенія. Очевидно, Буржэ отожествляетъ христіанскую *религію* съ требуемой ею *нравственностью*. Но хотя онѣ слива-

ются въ христіанскомъ міропониманіи въ неразъемлемое цѣлое, онѣ не тожественны. Христіанская *религія* опирается на Откровеніе; совершенно тожественная съ христіанской *нравственность* можетъ опираться и на другіе принципы. Апологія, предлагаемая Буржэ построена на смѣшеніи понятій и потому софистическая.

Мы видимъ такимъ образомъ, что въ религіи французскій скептицизмъ и пессимизмъ находятъ для себя выходъ столь же мало, какъ и въ другихъ областяхъ. Напрасно винить въ недостаточности старую религію и искать новой. По вѣрному слову поэта, могила божественнаго—въ нашемъ собственномъ сердцѣ:

C'est dans ton propre coeur qu'est le Charnier divin [1]).

Но для насъ исканіе французскимъ сознаніемъ религіознаго идеала интересно не столько съ положительной, сколько съ отрицательной стороны—какъ свидѣтельство о поворотѣ отъ раціонализма въ сторону ему противоположную. Довлѣющій себѣ разумъ ищетъ въ самомъ себѣ ключа къ рѣшенію всѣхъ тревожащихъ его вопросовъ—одинаково спекулятивныхъ, нравственныхъ и религіозныхъ; по убѣжденіямъ своихъ собственныхъ доводовъ, онъ признаетъ бытіе Бога, но онъ отвергаетъ религіозное чувство какъ источникъ истины и опору нрав-

[1]) Leconte de Lisle, La paix des dieux (Derniers poèmes).

ственной жизни. Поэтому всякое исканіе въ религіозномъ сознаніи отвѣтовъ на вопросы бытія, знанія и нравственности есть всегда, съ точки зрѣнія разума, посягательство на его права, такъ какъ этимъ исканіемъ отрицается его верховное значеніе.

Исторія этого посягательства въ девятнадцатомъ столѣтіи распадается на два главные періода: въ началѣ и срединѣ вѣка здравомыслящіе, хотя и не вѣрующіе, люди усматривали преимущество девятнадцатаго вѣка передъ восемнадцатымъ въ томъ, что девятнадцатый вѣкъ призналъ *абстрактно* важное значеніе религіи въ исторіи культурнаго развитія [1]); конецъ вѣка пытается, хотя и безуспѣшно, дать этому убѣжденію *конкретную* форму въ положительномъ религіозномъ идеалѣ. Въ вопросѣ о религіи французское сознаніе въ послѣдніе два вѣка совершило полный кругъ: начавъ съ отрицанія религіозныхъ идеаловъ, какъ излишнихъ для жизни, оно теперь ихъ ищетъ съ цѣлью найти въ нихъ для жизни опору.

---

[1]) Brunetière, Revue des deux Mondes, t. 127, 1895, p. 96.

## XI.

Не въ одномъ исканіи положительнаго религіознаго идеала сказывается поворотъ современнаго сознанія въ противоположную раціонализму сторону. Еще яснѣе выступаетъ онъ въ другихъ явленіяхъ—въ оккультизмѣ, въ мистицизмѣ, во всемъ современномъ міровоззрѣніи, такъ называемомъ декадентствѣ, взятомъ въ цѣломъ.

Лемэтръ въ своемъ романѣ „Les Rois“, дѣйствіе котораго онъ относитъ къ 1900 г., заставляетъ одно изъ лицъ отвѣчать на вопросъ, что дѣлается въ Парижѣ, слѣдующимъ образомъ: „Вещи довольно любопытныя. Тамъ теперь мода на соціализмъ и оккультическія науки, подобно тому, какъ въ концѣ прошлаго вѣка была мода на революцію и лахань Месмера“ [1]).

Тоже удостовѣряетъ объ оккультизмѣ и Брюнетьеръ. Говоря о современныхъ оккультическихъ теченіяхъ, которыхъ форма, по его мнѣнію, „заключаетъ въ себѣ несомнѣнно нѣчто странное, тревожное, пожалуй даже болѣзненное, и легко могущее сдѣ-

---

[1]) p. 6.

латься опаснымъ", онъ въ то же время указываетъ на то, что ихъ слѣдуетъ разсматривать какъ „глубокій протестъ современной души противъ грубаго господства факта" [1]).

По Зола, эта мода не преходящая, но въ ней обнаруживается „тактика и при томъ страшная, возвращеніе мрака противъ свѣта" [2]).

Въ настоящее время оккультизмъ [3]) насчитываетъ приверженцевъ тысячами и распадается на два главныхъ направленія, сообразно съ взглядомъ на сверхъестественное.

Представители одного направленія за предѣлами нашего міра, доступнаго чувствамъ и открытаго для разума, признаютъ другой, не доступный для чувствъ и непостижимый для разума, но способный дѣйствовать на нашъ міръ или самъ по себѣ, или, при извѣстныхъ условіяхъ, по нашему желанію. Чародѣйство, заклинаніе и вызываніе духовъ, спиритизмъ—главнѣйшія формы такого оккультизма.

Въ литературѣ онъ нашелъ наиболѣе видныхъ представителей въ Барбей д'Оревильи (умеръ въ 1889 г.) и Пеладанѣ, ставящихъ главной задачей содѣйствовать нравственному преобразованію общества. Пер-

---

[1]) Discours de combat (1900), pp. 20—21.

[2]) Paris, p. 196.

[3]) Къ общей характеристикѣ оккультизма Kiesewetter, Geschichte des neueren Occultismus (1892). Также Lehmann, Aberglaube und Zauberei (1898).

вый изъ нихъ повсюду видитъ дьявольщину и, хотя выступаетъ въ личинѣ правовѣрнаго католика, очевидно большой любитель „духа зла“ и героевъ, имъ „одержимыхъ“. Никакого опредѣленнаго идеала этотъ авторъ не намѣчаетъ. Второй считаетъ корнемъ зла праздномыслiе и любострастiе, призываетъ къ поклоненiю идеальной красотѣ и идеальному благу и рисуетъ какъ высшiй идеалъ самопревращенiе въ нерастлѣнныхъ ни духомъ, ни тѣломъ „муже-женщину“ и „жено-мущину“ [1]). Достижимая и для обыкновенныхъ людей, эта цѣль еще легче осуществима для высшаго человѣка, который по произволу способенъ покидать свое тѣло и вновь въ него облекаться, носиться въ пространствѣ какъ „астральное существо“ [2]) и дѣлать себѣ покорнымъ все сонмище сверхъестественныхъ духовъ, какъ злыхъ, такъ и добрыхъ.

Характерна для обоихъ авторовъ темнота ихъ слога, подобающая оккультистамъ. У Барбей д'Оревильи эта темнота не бьетъ въ глаза и отъ невнимательнаго читателя даже ускользаетъ, такъ какъ, если не ясна форма, то общедоступно содержанiе; но Пеладанъ довелъ темноту содержанiя и формы до предѣла, соприкасающагося съ безсмы-

---

[1]) Androgyne u Gynandre—названiе двухъ романовъ Пеладана.

[2]) Ср. Zola, Paris, pp. 96. 240. 243.

слицей. Какъ образецъ нравственнаго строя этого наиболѣе моднаго изъ оккультистовъ и вмѣстѣ того, что находитъ сочувствіе въ любителяхъ подобнаго направленія, мы приведемъ изъ наиболѣе распространеннаго романа Пеладана „Крайній грѣхъ", успѣвшаго выдержать тринадцать изданій, то мѣсто, гдѣ идетъ рѣчь о причинахъ современнаго нравственнаго разложенія, оставляя на отвѣтственности автора всю его темноту и всѣ его своеобразности и несообразности.

„Помимо музыкантовъ, которыхъ играютъ, авторовъ, которые себя печатаютъ, артистовъ, которыхъ выставляютъ, существуетъ міръ неизданныхъ, отъ которыхъ извѣстность ускользнула или которые сами отъ нея насильно ускользнули: писатели романовъ, имѣющіе сорокъ лѣтъ, но не издателей, художники, извѣстные только жидамъ, музыканты, которые нуждаются въ десяти тысячахъ исполнителей, философы компетентно сумасшедшіе, ученые, которыхъ эрудиція—нарядъ Арлекина, и затѣмъ, главнымъ образомъ, существа безъ возможной рубрики, къ которымъ не подходитъ никакой ярлыкъ, щеголи мысли, таскающіе, словно опорки, свои замыслы, базаръ чудесъ мозга.

„Почти всѣ приняли рѣшеніе, нашли конька или средство *minimum'a*; иные хранятъ гугенотскую злобу къ людямъ, къ вещамъ и самимъ себѣ. Глубоко погруженные въ Стиксъ зла, возвратъ порока или, быть можетъ, преступленія, они сохранили чувстви-

тельнымъ только тщеславіе, эту вѣчную Ахиллесову пяту, гдѣ мозоли вырастаютъ лишь при мистическомъ усиліи. Они любили до смерти грѣхъ, идею, женщину, искусство, мечту и не умерли: упрямые Мечтатели о невозможномъ, пригвожденные къ пустельгѣ жизни, постящіеся во всемъ, рожденные чтобы быть, не будучи. Одному здоровья, другому хлѣба, или добродѣтели, или порока; всѣмъ не достало того рычага, который волю подымаетъ до дѣйствія и замыселъ до исполненія. Страсти, позорныя часто, крайнія всегда были язвой ихъ виртуальности.

„Выкидышъ сущности, крахъ судьбы, эти ворчуны латинскаго декадентства оскопились о когти сфинксовъ, которыхъ они не знали загадокъ, нападая на нихъ. Изуродованные, они хранятъ дурное обаяніе всѣхъ Ватерлоо, гдѣ Сила посадила на колъ ихъ иллюзіи и разсѣяла ихъ мечты. Отъ этихъ подавленныхъ пыловъ, этихъ остановленныхъ порывовъ, этихъ подрѣзанныхъ крыльевъ, отъ этихъ умовъ, обращенныхъ къ горечи, отъ этихъ мыслей, обращенныхъ ко злу, происходитъ странная поэзія Манфреда, безъ ледника. Невѣжественные въ метафизическихъ законахъ и лишенные воли, которая интуитивно ими овладѣваетъ, они сами больше миновали обстоятельства, чѣмъ обстоятельства ихъ миновали; эти люди безъ дѣла говорятъ какъ геній исполняетъ, сама жизнь и ея случайности налагаютъ на

ихъ мысли печать этого обаянія изслѣдователей странныхъ земель; они, дѣйствительно, разсказываютъ неизвѣстное ихъ дурной души, возвратившись изъ ада больше демонами, чѣмъ осужденными.

„Пусть отрицаютъ Сатану! У колдовства всегда есть колдуны,—не пастухи, портящіе молодыхъ, обвораживающіе поселянъ, бросающіе зелье животнымъ, но высшіе умы, для которыхъ не нужно черныхъ книгъ, такъ какъ ихъ мысль—страница, написанная адомъ для ада. Вмѣсто козла они убили въ себѣ добрую душу и идутъ на шабашъ Слова. Они собираются, чтобъ опошлять и осквернять идею. Существующаго порока для нихъ недовольно,—они изобрѣтаютъ, они соревнуютъ въ изысканіи *Зла новаго*, и если его находятъ, себѣ рукоплещутъ. Гдѣ худшее, въ растлѣніи ли тѣла или души, въ преступномъ дѣяніи или извращенной мысли?

„Разсуждать, оправдывать, героизировать зло, установлять его культъ, доказывать превосходство, не хуже ли это, чѣмъ его допускать? Обожать демона или любитъ зло, терминъ абстрактный или конкретный одного и того же факта. Есть ослѣпленіе въ удовлетвореніи инстинкта, есть безуміе въ продолженіи злодѣянія, но задумываніе, и теоризація требуютъ спокойной операціи духа, которая есть *Крайній грѣхъ*.

„Допускать философскую ошибку не значитъ ли изъ богохульства дѣлать свой актъ вѣры? Не значитъ ли это служить черную обѣдню?“ [1]).

При всей темнотѣ слога, мысль Пеладана здѣсь вполнѣ ясна. Подобно многимъ другимъ, причину современнаго нравственнаго разложенія онъ усматриваетъ въ злоупотребленіи мыслью. Мысль создаетъ множество никуда непригодныхъ, никому ненужныхъ и никѣмъ не признанныхъ мудрителей, которые, не находя никакого положительнаго примѣненія для своей умственной силы, озлобляются и употребляютъ ее на служеніе злу. Но тогда какъ другіе писатели возводятъ на мысль обвиненія въ достойной ея формѣ, ясно и раздѣльно, оккультисты протестуютъ противъ ея господства не только содержаніемъ, но и формой, пишутъ *намѣренно нераздѣльно и неясно.*

Да и возможно ли писать не темно, если тайна есть „горизонтъ души“ и „ея солнце“, которое ее всегда къ себѣ тянетъ, если „всякая тварь больна тайной?“ [2]).

Пеладанъ, или, какъ онъ самъ себя величаетъ, прибавляя къ своему имени ассиро-халдейскія слова, Саръ Меродакъ Пеладанъ, то есть царскаго рода государственный мужъ Пеладанъ, совмѣщаетъ въ

---

[1]) Vice suprême, pp. 167—169.

[2]) Péladan, La Science, la religion et la conscience, pp. 55—56.

себѣ различныя призванія и званія. Онъ не только литераторъ, но слыветъ и за оріенталиста, знающаго языки еврейскій, ассирійскій, египетскій, и за спеціалиста по колдовству, изучившаго всѣ тайны средневѣковаго чернокнижія. Сверхъ того онъ „настоятель“ (Grande Maître) основаннаго имъ Ордена Розы—Креста (Rose—Croix) и вдобавокъ ко всему свѣтскій человѣкъ. Если принять къ свѣдѣнію эту разносторонность и молодость Пеладана (ему около тридцати шести лѣтъ), то нельзя не подивиться его литературной плодовитости. Онъ написалъ „Латинскаго декадентства“ четырнадцать томовъ, „Эстетическаго декадентства“ двадцать четыре тома; затѣмъ слѣдуютъ „Амфитеатръ мертвыхъ наукъ“ три тома, драматическія произведенія числомъ пять, далѣе брошюры, рѣчи, манифесты. И все это (говоритъ онъ) „несмотря на армію, которая взяла меня въ плѣнъ, несмотря на судъ, который два раза отнималъ у меня деньги и лишилъ бы меня чести, если бы я самъ не выступилъ откровеннымъ судьей, взявшимъ на себя обязанность обвинять передъ потомствомъ и Парижъ, и Францію“ [1]).

Къ роману „Какъ становятся феей“ онъ, для большаго дѣйствія на читателей, приложилъ свой портретъ. Глаза его сосредоточенно опущены. Волоса всклокочены „словно журавлиныя гнѣзда на

[1]) Le Panthée, pp. XVII—XVIII.

колокольнѣ". Длинная борода расчесана и оканчивается, какъ у древняго ассирійца, двумя клиньями. Онъ облеченъ въ халатъ съ черными крапинами и широкими рукавами. Такимъ (говорятъ [1]) появляется онъ и на улицахъ, и въ театрѣ.

Его книги для непосвященныхъ по большей части не чтимы. Въ общемъ онѣ кажутся не только темными, но и вздорными, и при томъ настолько, что заставляютъ жалѣть объ униженіи печатнаго станка такими нелѣпицами. И тѣмъ не менѣе, у него широкій кругъ читателей, а главное почитателей. „Прекрасныя дамы (говоритъ одинъ изъ его критиковъ) и умные люди охотно привлекаютъ его къ себѣ и съ удовольствіемъ внимаютъ его рѣчамъ, считая его магомъ и мудрецомъ". Напротивъ, неспособные проникнуть въ глубины его премудрости съ недоумѣніемъ останавливаются передъ вопросомъ: „что это за человѣкъ? ученый? философъ? дантистъ? спиритъ? свѣтскій психологъ?" [2]). Самъ Пеладанъ объявляетъ, что онъ 1) „писатель романовъ, 2) критикъ искусства, 3) историкъ, 4) драматическій авторъ, 5) археологъ, 6) философъ" [3]). Во всякомъ случаѣ—человѣкъ не безъ большихъ дарованій, а главное—знаменитость.

---

[1]) Brisson, La Comédie littéraire, p. 338.

[2]) Тамъ же,

[3]) Le Panthée, p. XVIII.

Въ послѣднемъ своемъ романѣ „Высшая доблесть“ (1900) онъ призываетъ женщинъ быть „сестрами любви“, приносить свои прелести въ жертву „братьямъ“, если этимъ можно ихъ отвратить отъ чего нибудь дурного, напримѣръ, если можно, назначивъ члену палаты депутатовъ свиданіе, помѣшать ему идти въ палату и произнести тамъ рѣчь, взывающую къ дурнымъ страстямъ. Романъ переполненъ любовными оргіями, сладострастными муками и другими измышленіями развратнаго чувства, подернутъ, словно дымкой, какой то мистической истомой и взываетъ въ концѣ къ строгому цѣломудрію.

„Все это (замѣчаетъ одинъ изъ критиковъ [1]) кажется возвышеннымъ Сару, но отвратительнымъ для средняго читателя... Быть можетъ, здѣсь для проникновенія въ тайну необходимо особое состояніе духа и долгая подготовка, однако не будемъ сожалѣть о читателѣ, который пренебрежетъ работой, нужной для такого воспитанія“.

Творенія Пеладана служатъ краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ, что нѣтъ такой, на обычный взглядъ, нелѣпицы, которая не нашла бы поклонниковъ. Если бы ими увлекались лишь неразвитые люди, какъ повсюду темнота занимается всякаго рода астрологіями, гадальниками, хиромантіями, оракулами, снотолкователями и проч., то о нихъ, казалось бы, не стоило бы говорить. Но къ нимъ сочувственно при-

[1]) Beaunier, Revue bleue, t. XIV, № 20, 17 Nov. 1900.

слушиваются даже такіе высокообразованные, умные и талантливые люди, какъ Анатоль Франсъ [1]). Пеладана поэтому нельзя обойти съ пренебреженіемъ. Удѣляютъ ему вниманіе представители французскаго ума по двумъ главнымъ причинамъ: во первыхъ, по крайней снисходительности ко всякимъ обнаруженіямъ мысли, вызванной убѣжденіемъ, что въ духовной области трудно разобраться между хорошимъ и дурнымъ, умнымъ и глупымъ, и во вторыхъ, вслѣдствіе взгляда, установившагося, благодаря плодотворной дѣятельности Тэна, что всякое литературное направленіе коренится въ условіяхъ современной ему культуры, служитъ ея показателемъ и документомъ и заслуживаетъ поэтому изученія. И какими другими условіями культуры можетъ быть объясненъ успѣхъ писателей въ родѣ Пеладана, если не тѣми, на которыя указываетъ Брюнетьеръ, видящій въ современномъ увлеченіи оккультизмомъ протестъ духа противъ грубаго господства фактовъ? [2])

Главное, чѣмъ привлекаетъ къ себѣ Пеладанъ, несомнѣнно таинственностью, разлитою по всѣмъ его произведеніямъ. *Ad Rosam per Crucem. Ad Crucemper Rosam. In ea, in eis, gemmatus resurgam*— „чрезъ Розу къ Кресту, чрезъ Крестъ къ Розѣ, въ ней, въ нихъ давъ почки, я воскресну". Какой смыслъ этого изреченія, которымъ онъ выражаетъ

[1]) La vie littéraire, III, pp. 231—242.

[2]) Выше, стр. 490.

основную цѣль какъ учрежденнаго имъ „Ордена“, такъ и всей своей дѣятельности, и усердно уснащаетъ всѣ свои писанія? Что обозначаютъ различныя непонятныя фигуры, украшающія его книги? Что хотятъ сказать самыя эти книги? Тайна, тайна и тайна. Совсѣмъ ли нелѣпо то, что онъ проповѣдуетъ? Кто изъ лицъ, широко знакомыхъ со всякими проявленіями мысли во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, рѣшится произнести здѣсь рѣзкое слово? *Non ridere, sed intelligere* [1])—не смѣяться, но понимать—это мудрое слово Спинозы должно примѣняться къ оцѣнкѣ литературныхъ направленій никакъ не меньше, чѣмъ къ оцѣнкѣ остальныхъ проявленій жизни. Правда, понимать „Сара“ трудно. Но кто понимаетъ Гераклита? И развѣ не видѣли въ глубокомысленномъ *Sartor resartus* Карлейля бредъ помѣшаннаго? Шарлатанъ? Невмѣняемый? Сколько разъ злоупотребляли этими словами, не умѣя распознать оригинальность.

Нѣкоторые критики, напримѣръ, Анатоль Франсъ [1]), восторгаются и литературными качествами Пеладана [2]). Разумѣется, дѣло вкуса. Самъ Пеладанъ скромно заявляетъ, что онъ ничуть не хуже Мопассана и Буржэ и не можетъ не подивиться, почему его величіе признаютъ далеко не всѣ [3]).

---

[1]) Tract, Polit., introd c. IV.

[2]) La vie littéraire, тамъ же.

[3]) Le Panthée, тамъ же.

Какъ широко и сильно распространяется оккультическое теченіе, видно изъ того, что оно захватываетъ и такихъ авторовъ, которые, по складу своего ума, могли бы казаться къ оккультизму неспособными. Мопассанъ, изъ новѣйшихъ французскихъ писателей крупнѣйшій представитель духа ясности и раздѣльности, въ своихъ разсказахъ „Hors-la“ и „Qui sait“, становится такимъ оккультистомъ, что ихъ можно было бы признать бредомъ сумасшедшаго, еслибы у другихъ авторовъ не были подобные же или даже еще менѣе для разума вмѣстимые [1]). Еще любопытнѣе отзвуки оккультизма у Буржэ, котораго мысль несмотря на его мистическую вѣру въ вездѣприсутствіе карающей справедливости или Немезиды и неотразимую силу рока, вообще отличается трезвостью и ясностью. Въ своемъ романѣ „Трагическая идиллія“ онъ затрогиваетъ вопросъ о жизни и смерти въ спиритическомъ духѣ.

„Куда отходятъ мертвые, наши мертвые? (спрашиваетъ онъ [2]). Тѣ, которые насъ любили и которыхъ мы любили, тѣ, къ которымъ мы были нѣжны, шли на помощь, были добрыми,—и тѣ, предъ которыми мы неизгладимо виноваты, тѣ, которые отошли отъ насъ и мы не знаемъ, простили-ли они намъ? Навсегда ли они

[1]) Перечень у Sachs, Ueber die neueren französischen Literaturbestrebungen, besonders die Décadents, Zeitsch. f. franz. Spr. und Litterat., B. XV, p. 24 f. (1893) и у Papus (псевд.), L'Occulisme (1890).

[2]) pp. 498—499.

отдѣлены отъ насъ? Или же они снова ведутъ вокругъ насъ жизнь, которая ускользаетъ отъ нашихъ слабыхъ чувствъ, ту смутную таинственную и страшную жизнь, которую благочестіе приписывало усопшимъ? Существуютъ ли мертвые снисходительные и покровительствующіе намъ ради нашей слабости, мертвые раздраженные и мстительные, не позволяющіе намъ быть когда-либо счастливыми?"

Буржэ остается въ нерѣшимости передъ этими вопросами, „такъ какъ между этимъ и инымъ міромъ мы не можемъ ни понять связи, ни допустить окончательнаго разрыва" и потому не можемъ знать, „есть ли незримое присутствіе мертвыхъ вокругъ нашей жизни мечта, или дѣйствительность". А въ одномъ изъ послѣднихъ сборниковъ своихъ повѣстей онъ прямо заявляетъ о своей любви находить „доказательства того, что между вещами зримыми и иными, между живущими и мертвыми, возможенъ обмѣнъ мыслей и воздѣйствій, иная связь, помимо безсильнаго сожалѣнія и безполезнаго воспоминанія" [1]). Пусть „на это пожимаютъ плечами",—„у мертвыхъ такъ много способовъ дѣйствовать на насъ, и дерзнетъ ли кто сказать, что не остается немного ихъ души, дѣйствующей и живой, тамъ, гдѣ они любили?" [2]).

Такое настроеніе у передового французскаго писателя не знаменательно ли? И если этотъ, „легкій от-

[1]) Voyageuses (1897), Neptunevale, p. 91.

[2]) Тамъ же, p. 60.

тѣнокъ таинственности“ лишь дѣло моды, то не знаменательна ли самая эта мода?

Оккультисты другого толка не признаютъ ничего сверхъестественнаго и задачу „оккультической науки“ полагаютъ въ синтезѣ всего того, что дано другими науками. Въ чемъ состоитъ этотъ синтезъ, не вполнѣ вразумительно, и мы вынуждены поэтому говорить по возможности подлинными словами приверженцевъ этой „синтетической науки“.

Французскіе оккультисты—гласитъ ихъ манифестъ [1])—по большей части имѣютъ научные дипломы юридическихъ и медицинскихъ факультетовъ, а это значитъ, что они достаточно знакомы съ точными науками, чтобы понять ту пользу, какую можно изъ этихъ наукъ извлечь, и чтобы желать совсѣмъ другого, а не отрицанія всѣхъ этихъ точныхъ данныхъ.

Это „совсѣмъ другое“ есть „связь, объединяющая нынѣ борющіяся противоположности: силу и право, науку и вѣру, разумъ и воображеніе“ и т. д.

Открывается эта связь посредствомъ „методы разсужденія, почти неизвѣстной въ наши дни—*аналогіи*. Аналогія дозволяетъ, какъ скоро дано одно явленіе, вывести изъ него съ достовѣрностью общій законъ, примѣнимый ко всѣмъ явленіямъ, даже совершенно различнаго порядка“.

Образцомъ аналогіи можетъ служить сходство всѣхъ явленій жизни съ разложеніемъ свѣта приз-

[1]) L'Occultisme etc.

мой. „Общая и однообразная сила (бѣлый свѣтъ) выходитъ изъ призмы различно окрашенной, т.-е. превращенной въ различныя силы, сообразно съ количествомъ матеріи, которую она проникла".

„Это явленіе, разсматриваемое аналогично, объясняетъ множество другихъ. Такъ, бѣлый свѣтъ можетъ быть замѣненъ силой первичной, создательницей всѣхъ силъ—движеніемъ. Эта общая сила превращается въ *звукъ*, *тепло*, *свѣтъ*, *электричество*, *магнитизмъ*, *жизненную силу*, сообразно съ количествомъ матеріи, съ которой она будетъ находиться въ соприкосновеніи".

Переходя на физіологическую почву, можно показать, что явленіе разложенія свѣта призмой даетъ намъ также „законъ разложенія крови въ человѣческомъ тѣлѣ на различныя выдѣленія (гастрическій сокъ, молоко, желчь, слюна и т. д.), сообразно съ различными органами, съ которыми эта жидкость соприкасается. Кровь здѣсь аналогична *бѣлому свѣту*, различные органы– различной *толщинѣ призмы* и различныя выдѣленія—*различнымъ цвѣтамъ*.

„Оккультическая наука изучаетъ только-что изложенный законъ подъ именемъ *Закона Троичности*, и физика показываетъ, что этотъ законъ развивается въ трехъ слѣдующихъ терминахъ:

„1. Терминъ активный.—Сила, господствующая надъ матеріей (движеніе).

„2. Терминъ посредствующій.—Матерія, уравновѣшивающая силу (жизнь).

„3. Терминъ отрицательный.—Матерія, господствующая надъ силой (инерція).

„Затѣмъ опять начинается рядъ:

„1. Матеріализація прогрессивная или *Инволюція*.

„2. Равновѣсіе между матеріализаціей и спиритуализаціей (*настоящая Жизнь*).

„3. Спиритуализація прогрессивная или *Эволюція*".

Оккультизмъ „не только не разрушаетъ ни одной изъ существующихъ наукъ, а напротивъ, онъ, какъ общая наука, нуждается во всѣхъ ихъ поученіяхъ, и доставляетъ весьма любопытныя данныя относительно человѣческой Жизни, Рожденія, Смерти, всѣхъ еще мало извѣстныхъ способностей человѣческаго существа".

Онъ показываетъ, что „современный магнитизмъ и спиритизмъ суть лишь двѣ вѣтви *практической* науки, науки весьма обширной, извѣстной подъ именемъ *Психургіи* и *Теургіи* въ древности, а теперь подъ именемъ Магіи.

„Тайна магіи не лежитъ исключительно въ человѣческой волѣ и въ ея дѣйствіи на жизненную жидкость, разлитую во вселенной и распредѣленную сообразно съ различными условіями; она состоитъ также въ знаніи скрытыхъ отношеній, объединяющихъ всѣ естественныя силы, и въ открытіи суммы жизненности, скрытой въ каждой изъ силъ.

„Еслибы оккультизмъ могъ формулировать какую-нибудь догму (что было бы противно его характеру), то онъ поставилъ бы во главѣ своихъ поученій: „Сверхъестественнаго не существуетъ“, хотя онъ и „признаетъ реальность всѣхъ явленій, происходящихъ на спиритическихъ сеансахъ“.

Всѣ эти положенія авторъ манифеста пространно истолковываетъ въ громадномъ, обнимающемъ болѣе 1000 страницъ томѣ „Traité méthodique de Science occulte“ (1891 г.). Но сколь ни обширны поясненія и сколь ни многочисленными рисунками они сопровождаются, книга по существу не прибавляетъ ничего къ сказанному въ манифестѣ и не поясняетъ подробностей желаемаго оккультизмомъ всеобщаго синтеза. Тѣмъ не менѣе мысль, подсказывающая этотъ синтезъ, понятна: она состоитъ въ стремленіи смотрѣть на жизнь, какъ на всеобщій изначальный фактъ, въ желаніи признать, на почвѣ этого факта, всеединство сущаго, какъ выраженіе одной жизни, и въ попыткѣ освободить науку отъ всякихъ формальностей и условностей для нестѣсняемой никакими предразсудками дѣятельности.

Подобно тому какъ совокупность клѣтокъ человѣческаго тѣла, несмотря на ихъ индивидуальность, слагаетъ организмъ, точно такъ же (поясняетъ авторъ свою основную точку зрѣнія [1]) совокупность всѣхъ индивидуальныхъ существъ земли составляетъ

[1]) Traité, pp. 126—131.

организмъ земли, а совокупность свѣтилъ и планетъ—организмъ вселенной. Человѣкъ и всѣ остальныя живыя существа дыханіемъ связаны съ земной атмосферой и потому между собою; земная жизнь обусловлена получаемымъ отъ солнца свѣтомъ, въ который вмѣстѣ съ землей погружены и другія планеты, составляющія поэтому, подобно ей, клѣтки вселенной. Земля, какъ и всѣ остальныя планеты, живое существо, и ея строеніе соотвѣтствуетъ строенію человѣка. Въ ней точно такъ же, какъ въ человѣкѣ, клѣтки „сгруппированы по іерархіямъ". На низшей ступени находится минеральное царство въ его различныхъ видоизмѣненіяхъ; оно соотвѣтствуетъ костяному остову человѣка. Въ серединѣ лежитъ растительное царство, „общее распредѣленіе силъ земли, аналогичное кровеносной системѣ человѣка". Верхъ занимаетъ животное царство, увѣнчанное человѣческой расой, подобно нервной системѣ, увѣнчанной мозгомъ. Солнечная сила разбивается о различныя царства, какъ сила крови разбивается о различные органы. Разбиваясь о матеріальную часть земли, солнечная сила даетъ начало физическимъ силамъ—теплотѣ, свѣту, электричеству, магнитизму. Дѣйствіе солнца на растительное царство порождаетъ химическія силы и между прочимъ животворящую силу нашей атмосферы. Наконецъ, дѣйствіе этихъ спеціальныхъ силъ на животное царство обусловливаетъ психическія способности—инстинктъ, умъ, идеи. Земля даетъ человѣку жизнен-

ную силу, человѣкъ ее возвращаетъ землѣ въ видѣ мысли; солнце даетъ землѣ свѣтъ, земля возвращаетъ его солнцу въ видѣ души. Всякій разъ, когда появляется у человѣка идея, погибаетъ извѣстная клѣтка мозга; а такъ какъ человѣкъ есть нервная клѣтка земли, то съ его смертью земля обнаруживаетъ идею, или душу этого человѣка,—идею хорошую, если душа была хорошая, и дурную, если душа была дурная. Подобно тому какъ нервная клѣтка человѣка служитъ средствомъ превращенія воздуха въ идею, точно также человѣкъ есть средство превращенія солнечнаго свѣта въ душу. Нисхожденіе силы въ матерію есть инволюція, ея выхожденіе изъ матеріи—эволюція [1]).

Въ человѣческомъ существѣ слѣдуетъ различать три природы: тѣло физическое, тѣло астральное и душу. Астральное тѣло есть „наивысшее произведеніе тѣла“: это—проходящая по организму нервная сила, способная конденсироваться и расширяться, притомъ такъ, что можетъ выходить изъ человѣческаго существа [2]). Здѣсь объясненіе явленій спиритизма. Но хотя въ человѣкѣ три природы, онъ по существу единъ, такъ какъ всѣ эти природы—видоизмѣненія одной, на подобіе того, какъ ледъ становится водою и затѣмъ паромъ; ледъ соотвѣтствуетъ физическому тѣлу человѣка, вода—астрально-

[1]) Тамъ же, pp. 136—138.

[2]) Тамъ же, p. 211.

му, паръ—душѣ [1]). Или иначе: физическое тѣло подобно повозкѣ, астральное—везущей его лошади, душа—кучеру. Повозка сама по себѣ недѣятельна, неподвижна и не способна перемѣщаться „безъ другого элемента". Точно также остается она неподвижной, если кучеръ сидитъ на козлахъ, но въ оглобли не запряжена лошадь. Этотъ двигающій элементъ нашего существа—наши страсти. Безъ руководства кучера лошадь несетъ повозку куда попало; точно такъ же безпорядочна и жизнь человѣка, не руководимая умомъ. Если кучеръ крѣпко заснетъ, его можно связать, а въ повозку можетъ сѣсть посторонній человѣкъ и направлять ее по своему желанію. Такъ бываетъ и съ человѣкомъ во время гипноза. Когда человѣкъ умираетъ, повозка (физическое тѣло) разбивается и остается на дорогѣ, а кучеръ (душа) садится на лошадь (астральное тѣло) и уѣзжаетъ [2]).

Подобнаго же рода и всѣ остальныя теоріи автора.

Какъ признакъ времени, нельзя не отмѣтить, что книгу сопроводилъ предисловіемъ членъ французскаго Института Ад. Франкъ, который, отрицая „существованіе оккультической науки, отличной по существу отъ обыкновенной науки" [3]), тѣмъ не менѣе

---

[1]) Тамъ же, p. 82.

[2]) Тамъ же, pp. 186—195.

[3]) Тамъ же, p. III.

выражаетъ сочувствіе „смѣлымъ спекуляціямъ“ книги, такъ какъ онѣ, на его взглядъ, „много предпочтительнѣе, чѣмъ близорукость позитивизма, ничтожество атеистической науки и болѣе или менѣе лицемѣрное отчаяніе пессимизма“, служатъ „энергичнымъ призывомъ къ серьезному въ жизни, къ пробужденію божественнаго чувства“, представляютъ „спасительное отвлекающее средство для притупленной человѣческой души, грозящей потухнуть“. Почтенный академикъ настолько убѣжденъ во всемъ этомъ, что поощряетъ автора „продолжать слѣдовать тѣмъ путемъ, по которому онъ идетъ съ такимъ рвеніемъ“ [1]). Эти поощренія и заявленія заслуживаютъ тѣмъ большаго вниманія, что французскій Институтъ всегда былъ самымъ твердымъ оплотомъ противъ всякихъ ненаучныхъ теченій и въ прежнее время его члены не позволили бы себѣ выражать сочувствія авторамъ оккультическихъ трудовъ даже и съ оговорками.

Изъ представителей науки среди оккультистовъ наиболѣе видное мѣсто принадлежитъ Фламмаріону. Главнымъ основаніемъ для его оккультизма служитъ взглядъ, что зримое зиждится на незримомъ, явное на тайномъ. Если бы не было ночной темноты, то невозможна была бы астрономія [2]), и у насъ не

---

[1]) Тамъ же, pp. IX—X.

[2]) Stella, p. 374.

было бы никакихъ знаній о міровомъ строѣ, а такъ какъ о внутреннемъ строеніи тѣлъ мы судимъ по аналогіи съ строеніемъ вселенной, то безъ ночной темноты у насъ не было бы представленія и о внутренней природѣ тѣлъ. Къ тому же тѣ элементы, изъ которыхъ все сложено во вселенной, то есть атомы, и тѣ силы, которыми они соединяются и разъединяются не доступны для нашего взора. Поэтому можно съ полнымъ правомъ утверждать, что зримое и явное не только опирается на незримое и неявное, но изъ нихъ состоитъ [1]).

Въ частностяхъ воззрѣнія Фламмаріона близки къ только что изложеннымъ оккультическимъ теоріямъ. Фламмаріонъ точно также отвергаетъ сверхъестественное, точно также смотритъ на вселенную какъ на единый организмъ [2]), точно также различаетъ въ человѣкѣ три начала: душу, астральное существо и матеріальное тѣло, точно также утверждаетъ способность астральнаго существа выходить изъ тѣла [3]) и т. д. Въ недавно опубликованномъ трудѣ „О неизвѣданномъ“ (1900) онъ дѣлаетъ критическій обзоръ всякаго рода такъ называемыхъ „странныхъ“ явленій, напримѣръ, молчаливой передачи мыслей, телепатіи, вѣщихъ сновъ, привидѣній и т. д.,

---

[1]) Выше, стр. 418, сл.

[2]) Выше, стр. 427.

[3]) Stella, pp. 298. 370. 465 и пр.

и приходитъ къ выводу, что „мы живемъ среди незримаго міра, въ лонѣ котораго дѣйствуютъ еще неизвѣданныя нами силы“ [1]). Онъ отстаиваетъ четыре главныхъ положенія:

1. Душа имѣетъ бытіе какъ реальное существо, независимое отъ тѣла.

2. Она одарена способностями, еще нераскрытыми наукой.

3. Она можетъ дѣйствовать и воспринимать на разстояніи безъ посредства чувствъ.

4. Будущее подготовляется прошедшимъ. Душа способна иногда его предвидѣть [2]).

Въ послѣдніе годы къ оккультистамъ примкнулъ извѣстный физіологъ и психологъ Ш. Ришэ. Такъ какъ онъ пользуется заслуженной славой осмотрительнаго экспериментатора и весьма осторожнаго въ выводахъ ученаго, то его мнѣніе въ этомъ случаѣ получаетъ особое значеніе.

„Наряду съ психологіей нормальной, классической, той, которую преподаютъ теперь, появится быть можетъ (говоритъ онъ) въ двадцатомъ столѣтіи, въ болѣе или менѣе ясномъ очеркѣ, психологія, которой теперь только смутно различаются нѣкоторыя черты: такъ называемая *оккультическая*, то есть мало извѣдан-

---

[1]) p. 585.

[2]) p. 581.

ная. Мы знаемъ (nous croyons savoir), что она существуетъ, но, за недостаткомъ фактовъ и надлежащей методы, мы безсильны ее познать. Черезъ сто лѣтъ ее поймутъ лучше; быть можетъ даже сдѣлаютъ нѣсколько формальныхъ, неопровержимыхъ опытовъ, которые откроютъ наукѣ цѣлый неизвѣстный міръ.

„Эта такъ называемая оккультическая психологія... одна изъ надеждъ человѣка. Предполагая извѣстный теперь міръ единственнымъ, доступнымъ для нашего знанія, можно предвидѣть, что его пѣсня будетъ скоро спѣта, если не въ два вѣка, то по крайней мѣрѣ въ двадцать или сорокъ вѣковъ, пусть даже въ двѣсти вѣковъ. Во всякомъ случаѣ осязаемый міръ ограниченъ. Оставаться всегда въ предѣлахъ земной механики, не имѣть возможности выйти изъ нашей планеты, значитъ заключать человѣка въ очень узкія границы...

„Какія будутъ эти открытія будущей психологіи? Никто не знаетъ. Можно только предвидѣть, что они будутъ чрезвычайны, и что они окажутъ на ходъ человѣческой мысли могучее воздѣйствіе [1]).

„Какъ знать, не удастся ли намъ впослѣдствіи, благодаря болѣе глубокому знанію свѣтилъ, планетъ и даже звѣздъ, войти въ сношенія съ существами, посторонними землѣ? Какъ знать, не сумѣ-

---

[1]) Dans cent ans, pp. 222—223.

емъ ли мы въ концѣ концовъ, измѣняя смѣлымъ и благоразумнымъ отборомъ тѣло и душу человѣка, создать существа, много превосходящія насъ? Какъ знать, не найдемъ ли мы въ себѣ новыя способности и не будемъ ли общаться съ новыми мірами, смѣшанными съ тѣмъ, который мы теперь знаемъ?“ [1]).

Оккультисты вмѣняютъ себѣ въ особую заслугу свою неустанную и горячую борьбу противъ близорукости ученыхъ, признающихъ лишь то, что „можно взвѣсить и смѣрить“, и отвергающихъ все выходящее изъ ихъ узкаго кругозора. Краснорѣчивымъ выраженіемъ этого духа борьбы служатъ нижеслѣдующія слова, которыми одинъ изъ оккультистовъ посвящаетъ свой трудъ памяти почившихъ ученыхъ въ назиданіе здравствующимъ [2]):

„Душамъ ученыхъ дипломированныхъ, патентованныхъ, украшенныхъ пальмами, орденами и погребенныхъ, которые отвергали вращеніе земли, метеориты, гальванизмъ, кровообращеніе, оспопрививаніе, колебанія свѣта, громоотводъ, дагерротипъ, паръ, винтъ, пароходы, желѣзныя дороги, освѣщеніе газомъ, магнитизмъ, и прочее, тѣмъ, живущимъ нынѣ или имѣющимъ родиться, которые поступаютъ такъ теперь и будутъ поступать точно также и въ будущемъ“.

---

[1]) Тамъ же, pp. 249—250.

[2]) Eugene Nus (псевдонимъ), Choses de l'autre monde, 5 éd. (безъ года).

Посвященія этого нельзя не признать неуважительнымъ къ ученымъ, но оно не возводитъ ни одного упрека, который бы не оправдывался исторіей. Изъ числа явленій, пока еще не признаваемыхъ оффиціальной наукой, оккультисты съ особой горячностью отстаиваютъ гипнотическое ясновидѣніе, то есть способность нѣкоторыхъ лицъ въ сомнамбулизмѣ видѣть чрезъ непрозрачные предметы и получать внушенія на разстояніи, или такъ называемую телепатію. Сомнѣваться принципіально въ возможности такихъ явленій простительно теперь, съ точки зрѣнія оккультистовъ, тѣмъ менѣе, что въ Рентгеновскихъ лучахъ и телеграфѣ и телефонѣ безъ проволоки опытъ даетъ сходныя показанія. Объяснять ясновидѣніе надо, по ученію оккультистовъ, тѣмъ, что наша нервная система окружена нѣкоторыми еще неизученными токами, которые могутъ проникать черезъ плотныя тѣла и дѣйствовать на разстояніи.

Утверждая существованіе неизвѣданныхъ наукой силъ, оккультисты не желаютъ признавать ни за однимъ фактомъ научнаго значенія безъ предварительной тщательной провѣрки. Съ легковѣріемъ они борятся не менѣе ревностно, чѣмъ съ невѣріемъ [1]). Для нихъ высшей заповѣдью служитъ правило не порабощать ума никакимъ предвзятымъ взлядамъ и не считать дѣйствительнымъ лишь то

[1]) Flammarion, L'Inconnu, pp. 30—57.

что можетъ быть объяснено, но смотрѣть въ лицо дѣйствительности просто и свободно и признавать за фактъ то, что засвидѣтельствовано фактически, хотя бы это свидѣтельство и шло въ разрѣзъ съ нашими предшествующими опытами и съ нашими теоріями [1]). Если въ ихъ ученіяхъ несомнѣнно много произвольнаго, то съ этой заповѣдью можно ли не согласиться?

Такимъ образомъ, оккультизмъ въ концѣ девятнадцатаго вѣка заявляетъ о себѣ такъ же громко, какъ въ концѣ восемнадцатаго. Но тогда какъ въ концѣ XVIII в. онъ былъ самымъ краснорѣчивымъ отпрыскомъ отживающаго міровоззрѣнія, въ концѣ девятнадцатаго — онъ не только отзвукъ далекаго прошлаго, но и одна изъ сознательныхъ формъ отрицанія за раціонализмомъ исключительнаго права на господство.

---

[1]) Тамъ же, pp. 581, сл.

## XII.

Такое же значеніе имѣетъ и современный мистицизмъ [1]). Подобно оккультизму, онъ признаетъ наряду съ этимъ міромъ иной міръ, но отличается отъ оккультизма тѣмъ, что не проводитъ грани между тѣмъ и другимъ. Для мистицизма нашъ міръ повсюду проникнутъ инымъ и въ немъ всецѣло погруженъ. Средство общенія съ инымъ міромъ онъ усматриваетъ не въ пользованіи естественными познавательными способностями, ощущеніями и разумомъ, и не въ искусственныхъ пріемахъ психургіи и теургіи, но въ непосредственномъ видѣніи души, въ ясновидѣніи, а на высшихъ ступеняхъ—въ экстазѣ.

Наиболѣе краснорѣчивымъ выразителемъ вѣры въ ясновидѣніе служитъ Мэтерлинкъ [2]), который

---

[1]) Paulhan, Le nouveau Mysticisme (1891). Remy de Gourmont, Le Latin mystique, préface par Huysmans (1895). Charbonnel, Les Mystiques dans la litterature présente (1897). Pacheu, De Dante à Verlaine (1897).

[2]) О немъ Huret, Enquête sur l'évolution littéraire, pp. 116—129. Lazare, Figures contemporaines, pp. 251—261. Doumic, Les Jeunes, pp. 227—241. Remy de Gourmont, Livre des masques, pp. 19—29. Recolin, Anarchie littéraire, pp. 221—232.

исповѣдуетъ ее съ свойственною ему наивностью и простотой:

„Быть можетъ, настанетъ время, говоритъ онъ [1]), —и уже многое указываетъ на его приближеніе; быть можетъ настанетъ время, когда наши души будутъ себя видѣть безъ посредства чувствъ. Достовѣрно, что область господства души съ каждымъ днемъ расширяется. Она гораздо ближе къ нашему видимому существу и участвуетъ во всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ гораздо больше, чѣмъ два или три вѣка тому назадъ. Можно сказать, что мы приближаемся къ духовному періоду. Въ исторіи существуетъ нѣсколько подобныхъ періодовъ, когда душа, повинуясь неизвѣстнымъ законамъ, какъ бы подымается на вершину человѣчества и обнаруживаетъ прямѣе свое существованіе и свое могущество. Это существованіе и эта власть открываются тысячами способовъ, неожиданныхъ и различныхъ. Кажется, что въ эти моменты человѣчество близко къ тому, чтобы приподнять немного тяжкое иго матеріи.

---

Brisson, Comédie littéraire, pp. 175—184. Archer, Study and Stage (1899), pp. 133—137. Walkley, Frames of mind (1899), pp. 156—161. Crawford, Studies in foreign litterature (1899), pp. 139—174. Symons, The Symbolist movement in litterature (1900), pp. 154—168. А. С. Суворинъ, Тайны души (1895), стр. 1—14. Остальная литература у Béver et Léautaud, Poètes d'aujourd'hui, pp. 143—144.

[1]) Trésor des humbles, p. 29—31.

Тогда царитъ родъ духовнаго облегченія; и самые твердые и непоколебимые законы природы тамъ и сямъ уступаютъ. Люди ближе другъ къ другу и къ своимъ братьямъ; они смотрятъ другъ на друга и любятъ другъ друга глубже и искреннѣе. Они понимаютъ нѣжнѣе и глубже и ребенка, и женщину, и животныхъ, и растенія, и вещи... И повсюду, на ряду съ чертами повседневной жизни, встрѣчаются волнующіяся черты другой жизни, которую нельзя объяснить".

Мэтерлинкъ вполнѣ точно опредѣляетъ свою точку зрѣнія, какъ противоположность раціонализму. Для раціонализма высшимъ руководителемъ жизни служитъ разумъ, выражающійся въ ясныхъ идеяхъ. По Мэтерлинку, разумъ долженъ подчиняться мудрости, состоящей главнымъ образомъ изъ неясныхъ идей. Все лучшее въ нравственной жизни дается безсознательнымъ; сознательное имѣетъ цѣну лишь поскольку оно открываетъ и расширяетъ безсознательное [1]). Долгъ разума не допускать господства силъ нисшихъ, чѣмъ онъ, и безпрекословно уступать мѣсто высшимъ.

Если бы люди руководились въ жизни только ясными идеями, то они не замедлили бы сдѣлаться мало достойными любви и уваженія. Нѣтъ ничего менѣе яснаго, чѣмъ основанія, которыми мы себя

[1]) La Sagesse et la Destinée, p. 64.

убѣждаемъ, быть добрыми, справедливыми, благородными, и обладать во всякомъ дѣлѣ самыми благородными чувствами и мыслями, къ какимъ только мы способны. По счастью, чѣмъ больше у насъ ясныхъ идей, тѣмъ больше мы привыкаемъ цѣнить тѣ, которыя еще не стали ясными. Должно стремиться къ пріобрѣтенію возможно большаго числа возможно болѣе ясныхъ идей, чтобы пробудить въ своей душѣ возможно больше идей, остающихся еще темными. На первый взглядъ кажется, что ясныя идеи руководятъ нашей внѣшней жизнью, но достовѣрно то, что во главѣ нашей внутренней жизни стоятъ идеи иного порядка, и что зримая жизнь въ концѣ всегда подчиняется незримой. Отъ количества, качества и силы нашихъ ясныхъ идей зависятъ количество, качество и сила нашихъ темныхъ идей; и весьма вѣроятно, что большинство окончательныхъ истинъ, которыхъ мы съ такимъ рвеніемъ ищемъ, терпѣливо ожидаютъ своего часа среди толпы нашихъ темныхъ идей. Мы должны сокращать это ожиданіе. Прекрасная ясная идея, которую мы въ себѣ пробуждаемъ, не замедлитъ въ свою очередь пробудить прекрасную темную идею, и когда темная идея, состарѣвшись, станетъ ясной— такъ какъ совершенная ясность не служитъ ли обыкновенно признакомъ усталости нашихъ идей?— она пробудитъ другую темную идею, болѣе прекрасную и высокую, чѣмъ какой она была въ своей

тѣни, и, быть можетъ, идя такимъ образомъ ощупью и не ослабѣвая рвеніемъ, послѣдовательно по усыпленнымъ рядамъ, какая-нибудь изъ нихъ положитъ когда-нибудь случайно свою маленькую и еще почти незримую руку на плечо какой-нибудь великой истины [1]).

Впрочемъ, идеи ясныя, идеи темныя и вообще все то, что относится къ душѣ—такъ называемыя сердце, познавательная дѣятельность, воля, разумъ, душа—все это въ основаніи обозначаетъ одно и то же, а именно наше духовное богатство. Душа есть не что иное, какъ наиболѣе прекрасное желаніе нашей познавательной дѣятельности (intelligence), и Богъ, быть можетъ, не что иное, какъ наиболѣе прекрасное желаніе нашей души. Во всемъ этомъ столько темноты, что самое большее, къ чему можно стремиться—это къ раздѣленію темноты грубыми линіями, еще болѣе темными, чѣмъ раздѣляемая ими темнота. Познать самого себя, быть можетъ, единственный идеалъ, остающійся для насъ пріемлемымъ, но это самопознаніе, на первый взглядъ зависящее только отъ нашего разума, въ какой мѣрѣ оно отъ него въ дѣйствительности зависитъ? Человѣкомъ самымъ лучшимъ, самымъ справедливымъ, самымъ истиннымъ, самымъ нравственнымъ не долженъ ли быть тотъ, кто отдаетъ себѣ наиболѣе точный отчетъ о своемъ

---

[1]) Тамъ же, рр. 75—76.

положеніи во вселенной? Но кто можетъ по чистой совѣсти считать себя способнымъ дать такой отчетъ, и самая положительная нравственность не теряется ли всѣми своими корнями въ нѣкотораго рода мистической безсознательности?

Разумъ долженъ занимать мѣсто на порогѣ нашей нравственной жизни, открывъ предварительно подземныя двери, за которыми дремлютъ въ темницѣ живыя и инстинктивныя силы нашего существа. Разумъ ожидаетъ съ свѣтильникомъ въ рукѣ; и одного его присутствія достаточно, чтобы этотъ порогъ былъ недоступенъ для всего того, что пока еще не согласно съ природой свѣта. Дальше, въ областяхъ, не проницаемыхъ для его лучей, продолжается темная жизнь. Разумъ не только не долженъ ею тревожиться, а, напротивъ, долженъ радоваться. Онъ долженъ знать, что въ глазахъ Бога, котораго онъ желаетъ, все, что не прошло чрезъ его свѣтлую арку—мечта, мысль, дѣйствіе—не можетъ ничего ни прибавить къ образуемому имъ идеалу, ни отъ него убавить. Онъ долженъ сохранять свое пламя насколько возможно свѣтлымъ и широкимъ и не покидать своего мѣста. Онъ смущается лишь когда замѣчаетъ волненіе нисшихъ инстинктовъ и мрака. Но случается, что среди пробуждающихся плѣнницъ приближаются къ выходу силы болѣе свѣтлыя, чѣмъ онъ самъ. Онѣ распространяютъ свѣтъ еще болѣе не матеріальный, еще болѣе раз-

сѣянный, еще болѣе непостижимый чѣмъ отъ того точнаго и прочнаго пламени, которое защищаетъ его рука. Такъ просятъ для себя пропуска силы любви, необъяснимаго блага, другія, еще болѣе таинственныя и безконечныя. Если разумъ занялъ мѣсто на порогѣ, не пріобрѣтя на это права, то есть не обладая достаточной отвагой, чтобы признать, что онъ не одинъ царитъ въ этомъ мірѣ, онъ смущается, боится, затворяетъ двери, или же, если и рѣшается ихъ отворить, то находитъ за ними лишь легкій пепелъ. Но если его сила не трепещетъ, такъ какъ все то, чего онъ не могъ познать, заставило его признать, что никакой свѣтъ не можетъ быть опасенъ, и что онъ можетъ даже поступиться собою для высшаго свѣта, то на порогѣ произойдетъ несказанный обмѣнъ отъ свѣтильника къ свѣтильнику. Капли неизвѣданнаго елея смѣшаются съ елеемъ человѣческой мудрости, и когда бѣлыя чужестранки пройдутъ, преобразованное навсегда пламя его свѣтильника поднимется еще выше и еще чище среди колоннъ расширившагося храма [1]).

И тогда какъ корни нравственной жизни теряются въ области совсѣмъ отличной отъ разума, обыкновенно въ немъ одномъ ищутъ и всю добродѣтель, и всю внутреннюю жизнь, и всю радость. Напрасно: достаточно самаго незначительнаго со-

---

[1]) Тамъ же, pp. 77—80.

бытія, чтобы убѣдиться, что не здѣсь слѣдуетъ искать прибѣжища, такъ какъ совершенно достовѣрно то, что наше существо не исчерпывается разумомъ [1]).

Мудрость не только не тожественна съ разумомъ, но предписываетъ дѣлать много такого, что разумомъ либо вовсе не одобряется, либо одобряется съ трудомъ. Она скорѣе нѣкоторое стремленіе нашей души, чѣмъ плодъ разума [2]). Въ разумѣ нѣтъ любви; напротивъ, ея много въ мудрости, и высшая мудрость не отличается отъ самаго чистаго въ любви. Разумъ и любовь въ возвышающейся душѣ сначала вступаютъ въ борьбу, но какъ скоро между ними водворяется миръ, нарождается мудрость. Этотъ миръ тѣмъ глубже, чѣмъ больше разумъ уступаетъ любви [3]). Всѣ мудрецы отправляются отъ одной и той же точки, лежащей на порогѣ разума, но они расходятся съ того мгновенія, когда свободно вступаютъ въ область высшей безсознательности [4]). Безсознательность есть лучшее сокровище, и въ молчаніи дитяти больше мудрости, чѣмъ въ словахъ мудреца [5]). Мистики, кажущіеся безумными, на дѣлѣ, быть можетъ, представляютъ собою самую

[1]) Тамъ же, pp. 105—106.

[2]) Тамъ же, p. 67.

[3]) Тамъ же, pp. 71—73.

[4]) Тамъ же, p. 69.

[5]) Le Trésor des humbles, p. 158.

природу человѣческой мысли [1]). Можно поэтому сказать, что мудрость есть побѣда божественнаго разума надъ человѣческимъ [2]).

Гдѣ причина этой безсознательности, этой тайны, которая насъ всюду окружаетъ? Въ томъ, что мы живемъ среди безпредѣльности и среди сонма духовъ, и что ни безпредѣльность, ни сонмъ духовъ никогда не остаются недѣятельными. Ничто не смѣшивается такъ легко, какъ небеса съ землей [3]). Зачѣмъ ожидать, чтобы небеса разверзлись надъ нами среди раскатовъ грома? Они открываются непрестанно, и Богъ всегда среди насъ [4]). Кто любитъ глубоко, тотъ хорошо знаетъ, что его душа столь же велика, какъ міры, что звѣзды, цвѣты, волны ночи и волны моря не одиноки, что на порогѣ явленій ничто не кончается и лишь все начинается, что уста, которыя онъ цѣлуетъ, принадлежатъ существу много болѣе высокому, много болѣе прекрасному, много болѣе чистому, чѣмъ то, которое онъ обнимаетъ [5]). Но даже въ любви, въ которой мы считаемъ себя вполнѣ самостоятельными и свободными, мы далеко не предоставлены самимъ себѣ. И здѣсь, какъ и во всемъ остальномъ, нами руководитъ сила *тѣхъ, которые*

---

[1]) Тамъ же, p. 162.

[2]) La Sagesse et la Destinée, p. 71.

[3]) Le Trésor des humbles, p. 269.

[4]) Тамъ же, p. 259.

[5]) Тамъ же, p. 260.

*еще не родились* и *сила мертвыхъ*. Руки нашихъ дѣтей, еще не родившихся, и руки нашихъ умершихъ предковъ соединяются въ тѣни храма любви, чтобы насъ направлять, и мы повинуемся непреложнымъ велѣніямъ этой незримой толпы. Когда мы выбираемъ невѣсту, мы удалены отъ насъ самихъ на тысячи вѣковъ, и первый поцѣлуй новобрачнаго есть лишь печать, налагаемая тысячами рукъ существъ, стремящихся родиться, на уста матери, которую они желаютъ. Извѣстно также, что мертвые не умираютъ. Они живутъ не въ однѣхъ только церквахъ, но во всѣхъ домахъ, въ насъ самихъ, во всѣхъ нашихъ привычкахъ. Нѣтъ ни движенія, ни мысли, ни грѣха, ни слезы, ни одного атома пріобрѣтеннаго нами сознанія, которые бы терялись въ нѣдрахъ земли. Въ самомъ незначительномъ изъ нашихъ дѣйствій подымаются наши предки—не изъ могилъ, въ которыхъ они остаются недвижимыми, но въ глубинѣ насъ самихъ, гдѣ они всегда живы. Такимъ образомъ, нами руководятъ и прошлое, и будущее. И настоящее, составляющее наше существо, падаетъ въ глубину моря словно незначительный островокъ, непрестанно подтачиваемый двумя непримиримыми океанами. Наслѣдственность, воля, судьба, все это шумно смѣшивается въ нашей душѣ, но вопреки всему и выше всего господствуетъ нѣкоторая молчаливая звѣзда. Никакимъ наименованіемъ нельзя обозначить правильно содержаніе тѣхъ чудовищныхъ

сосудовъ, которые заключаютъ незримое, и слова не говорятъ почти ничего изъ того, что нужно было бы сказать. Наслѣдственность и даже сама судьба— только лучъ этой молчаливой звѣзды, затерянный въ таинственной ночи [1]).

Въ томъ, что насъ окружаетъ непроницаемая тайна, лежитъ глубокій трагизмъ нашей жизни. Удивителенъ прежде всего самый фактъ жизни [2]). Искать трагизма незачѣмъ въ такъ называемыхъ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ; напротивъ, можно не колеблясь утверждать, что трагизмъ истинный, трагизмъ глубокій и общій, начинается лишь съ того мгновенія, когда проходитъ все то, что считается приключеніями, скорбями и опасностями. Нѣтъ нужды издавать дикіе вопли, чтобы вѣчный Богъ обнаружился въ нашей жизни; онъ всегда возлѣ насъ, при тихомъ свѣтѣ нашей лампы. Не страшнымъ ли оказывается спокойствіе, когда о немъ размышляютъ при сіяніи звѣздъ? Не открывается ли смыслъ жизни въ молчаніи, а не въ суматохѣ? Не тогда ли, когда намъ говорятъ „они были счастливы“ должно наступать великое безпокойство? Что происходитъ, когда они счастливы? Развѣ въ счастьѣ и простомъ мгновеніи отдыха не открываются вещи болѣе важныя и устойчивыя, чѣмъ въ волненіи страстей? Не

---

[1]) Тамъ же, pp. 223—225.

[2]) Тамъ же, p. 180.

тогда ли шествіе времени и много другихъ еще болѣе таинственныхъ шествій становятся наконецъ зримыми, и не тогда ли часы бѣгутъ быстро? Не затрогивается ли всѣмъ этимъ наше существо болѣе глубоко, чѣмъ ударомъ кинжала, какъ въ обыкновенныхъ драмахъ? Не тогда ли, когда человѣкъ считаетъ себя въ безопасности отъ внѣшней смерти, открываетъ двери своего театра странная и безпредѣльная трагедія бытія и безпредѣльности [1])? Старецъ, который сидитъ въ своемъ креслѣ въ простомъ ожиданіи при свѣтѣ лампы, прислушивается безсознательно ко всѣмъ вѣчнымъ законамъ, господствующимъ вокругъ его дома, истолковываетъ, самъ того не понимая, то, что скрыто въ молчаніи дверей и оконъ и слабомъ голосѣ свѣта, подчиняется присутствію своей души и своей судьбы, и склоняетъ немного свою голову, не подозрѣвая, что всѣ силы этого міра вмѣшиваются въ его жизнь и сторожатъ въ его комнатѣ словно внимательныя служанки, не зная даже того, что само солнце поддерживаетъ надъ бездной маленькій столъ, на который онъ облокачивается, и что нѣтъ ни звѣзды на небѣ, ни душевной силы, остающихся равнодушными къ движенію смыкающихся вѣкъ или возникающей мысли—такой неподвижный старецъ живетъ въ дѣйствительности жизнью болѣе глубокой, болѣе человѣческой и болѣе

---

[1]) Тамъ же, pp. 181—182.

общей, чѣмъ любовникъ, задушающій свою любовницу, полководецъ, одерживающій побѣду, или мужъ, отмщающій за свою поруганную честь [1]).

Высшая цѣль поэзіи въ томъ, чтобы держать всегда открытыми великіе пути, ведущіе отъ зримаго къ незримому. Но въ томъ же и главная цѣль жизни, и въ жизни ее достигнуть много легче, чѣмъ въ самыхъ благородныхъ поэмахъ, такъ какъ поэмы вынуждены слагать съ себя великія крылья молчанія [2]). А между тѣмъ молчаніе есть основаніе нашей истинной, подразумѣваемой жизни, оно открываетъ двери той бездны, которая насъ окружаетъ. Когда уста смыкаются, пробуждаются и начинаютъ дѣйствовать души. Молчаніе полно неожиданностей, опасностей и счастья, среди котораго душа свободно собою владѣетъ [3]). Оно способствуетъ обнаруженію всѣхъ скрытыхъ въ насъ драгоцѣнныхъ камней и внезапному пробужденію великихъ истинъ [4]).

Къ незримому міру принадлежатъ прежде всего души, среди которыхъ мы живемъ. Человѣческая душа—гость алчущій отъ вѣка. Всѣ души нашихъ братьевъ безпрестанно бродятъ вокругъ насъ, жаждутъ поцѣлуя и ожидаютъ только знака, чтобы приблизиться. Но сколько существъ не осмѣливаются

---

[1]) Тамъ же, pp. 187—188.

[2]) Тамъ же, p. 271.

[3]) Тамъ же, pp. 16—17.

[4]) Тамъ же, p. 14.

сдѣлать ни одного такого знака во всю свою жизнь. Въ томъ наше и несчастье, что мы живемъ вдалекѣ отъ нашей души и опасаемся ея малѣйшихъ движеній. Если бы мы ей позволили улыбаться откровенно среди ея молчанія и ея свѣта, мы бы уже жили вѣчной жизнью. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно присмотрѣться хотя одно мгновеніе къ тому, что съ ней становится въ тѣ рѣдкія минуты, когда мы не считаемъ нужнымъ ее связывать, словно безумную,—напримѣръ въ любви, гдѣ мы ей предоставляемъ порой обнаруживаться, приближаться къ оградѣ внѣшней жизни. И не слѣдовало ли бы, чтобы въ жизни всѣ существа себя чувствовали въ нашемъ присутствіи словно любимое въ присутствіи любящаго? [1])

Мы живемъ въ сторонѣ отъ нашей истинной жизни. Наше подлинное существо скрыто въ насъ такъ глубоко, что даже наши самыя сокровенныя и глубокія мысли насъ не касаются, такъ какъ мы другое, чѣмъ наши мысли и мечты. И только иногда и какъ бы въ разсѣянности мы живемъ нашей собственной жизнью [2]). Истинное наше существо выступаетъ лишь при забвеніи нашей всегдашней жизни. Когда окончательно мы становимся нами самими? Въ часъ смерти. Нашу жизнь ведетъ смерть, и для жизни нѣтъ другой конечной цѣли, кромѣ

[1]) Тамъ же, pp. 246—247.

[2]) Тамъ же, pp. 58—59.

смерти. Смерть есть русло, по которому течетъ наша жизнь. И какая жизнь не получаетъ освѣщенія въ чистомъ, холодномъ и простомъ свѣтѣ, падающемъ на изголовье послѣднихъ часовъ [1])? Всѣ мы живемъ въ тѣни какого нибудь великаго грядущаго событія и прежде всего—смерти [2]). Его приближеніе иногда отражается у насъ на лицѣ. Какъ? Эти признаки не зримы, и однако мы видимъ ихъ [3]). Мы погружены въ глубокое море тайны [4]), надъ нами она вѣчно разстилаетъ свою тѣнь, словно огромное крыло не отлетающаго лебедя [5]). Мы обыкновенно молчаливо проходимъ мимо всего того, къ чему не прикасается наша рука, и быть можетъ мы узнали бы слишкомъ много, если бы намъ было извѣстно все то, что мы знаемъ [6]).

Развитію всѣхъ этихъ мыслей, а именно, 1) что мы всегда и повсюду окружены непроницаемой тайной, 2) что наряду съ чертами повседневной жизни идутъ повсюду черты другой, необъяснимой, но зримой для ясновидѣнія, 3) что корни нашей нравственной жизни теряются въ безсознательномъ, 4) что мы всегда подъ воздѣйствіемъ сонма душъ, которыя насъ къ себѣ призываютъ и жаждутъ отъ

[1]) Тамъ же, p. 56.
[2]) Тамъ же, p. 55.
[3]) Тамъ же, p. 52.
[4]) Тамъ же, p. 59.
[5]) Тамъ же, p. 267.
[6]) Тамъ же, p. 58.

насъ призыва, 5) что мы всегда подъ тѣнью какого нибудь великаго событія и прежде всего смерти, 6) что во всемъ этомъ лежитъ трагизмъ нашей жизни, 7) что этотъ трагизмъ сказывается лучше всего въ повседневной обстановкѣ и 8) что тайны жизни открываются въ молчаніи—посвящены всѣ драматическія произведенія Мэтерлинка. Въ нихъ нѣтъ ничего сверхъестественнаго, страннаго, изысканнаго, а, напротивъ, все просто и естественно, и они дѣйствуютъ тѣмъ сильнѣе, что въ этой простотѣ таинственное выступаетъ особенно выразительно.

Наиболѣе полнымъ воплощеніемъ міропониманія Мэтерлинка служитъ лучшая изъ его трагедій „Interieur“ [1]). Какъ и остальныя его драмы, эта трагедія почти безъ дѣйствій, безъ трагическихъ пріемовъ, безъ страстей и безъ вычурныхъ рѣчей, бѣдная лицами и словами, и ея сила не въ томъ, что она даетъ непосредственно, но въ томъ, на что намекаетъ.

Передъ нами старый садъ съ ивами. Въ глубинѣ домъ, три окна котораго въ нижнемъ этажѣ освѣщены. Видно семейство, коротающее вечеръ около лампы. Отецъ сидитъ у камина. Мать, облокотившись одной рукой на столъ, смотритъ въ пространство. Двѣ дочери въ бѣлыхъ платьяхъ вышиваютъ,

[1]) Въ сборникѣ Alladine et Palomides; Interieur; et la mort de Tintangiles: trois petits drames pour marionnettes, Bruxelles, 1894 (5 éd).

мечтаютъ и иногда улыбаются. Ребенокъ спитъ, положивъ голову подъ лѣвую руку матери. Когда кто-нибудь изъ нихъ встаетъ, ходитъ или дѣлаетъ движеніе, то кажется, благодаря пространству, свѣту и неясности оконныхъ стеколъ, что его движенія важны, медлительны, рѣдки, словно призрачны.

Все это семейство считаетъ себя вполнѣ счастливымъ. Ни кому въ немъ не извѣстно, что случилось большое несчастіе—утопилась одна изъ дочерей. Но знаютъ это крестьяне, несущіе къ дому покойницу, пока еще далеко отъ дома; знаютъ это и стоящіе въ саду около дома „Чужой“ и „Старикъ“, которые опередили толпу, чтобы подготовить родныхъ къ несчастью, но не рѣшаются войти въ домъ, недоумѣвая, какъ и что сказать. Они смотрятъ въ окна, наблюдаютъ за семействомъ, обмѣниваются замѣчаніями. Изъ свѣтлой комнаты ихъ не видно: они смотрятъ, но они незримы, и на нихъ смотрятъ, но ихъ не видятъ. Что говорятъ въ домѣ, на сценѣ не слышно, разговоръ происходитъ лишь между „Старикомъ“ и „Чужимъ“, а затѣмъ присоединяются двѣ внучки „Старика“. Послѣдній—главное дѣйствующее лицо.

Утопленница была красавица, молодое, полное жизни и силъ существо. Отчего она покончила съ собою?

„Ничего неизвѣстно (говоритъ „Старикъ“)... И что могутъ знать?... Можетъ быть, она была изъ

тѣхъ, которыя ничего не хотятъ говорить, а всякій носитъ въ себѣ не одну, а нѣсколько причинъ, чтобы не жить... Въ душѣ не такъ видно, какъ въ этой комнатѣ. Онѣ всѣ такія... Говорятъ онѣ только пустяки, и никто не подозрѣваетъ въ нихъ ничего... Живешь цѣлые мѣсяцы вмѣстѣ съ человѣкомъ, который давно уже сталъ не отъ этого міра и душа котораго устала сгибаться; ему отвѣчаютъ кое-какъ, не думая: и вотъ вы видите, что случается... Онѣ кажутся неподвижными куклами, а сколько событій происходитъ въ ихъ душѣ!... Онѣ сами не знаютъ, что онѣ такое... Она могла бы жить, какъ другія... Она могла бы говорить до самой смерти: „нынче утромъ будетъ дождь“, или: „мы идемъ завтракать, насъ будетъ тринадцать за столомъ“, или: „плоды еще не созрѣли“. Улыбаясь говорятъ онѣ о цвѣтахъ, которые опали, и плачутъ въ темнотѣ... Даже ангелъ не увидѣлъ бы того, что слѣдовало бы видѣть, а человѣкъ начинаетъ понимать только тогда, когда уже свершилось... Вчера вечеромъ она была тамъ, у этой лампы, гдѣ теперь ея сестра, и вы не увидѣли бы ихъ такими, какими ихъ теперь надо видѣть, если бы этого не случилось... Мнѣ кажется, что я вижу ее только въ первый разъ... Къ повседневной жизни, чтобы ее понимать, надо кое-что прибавлять... Онѣ около васъ днемъ и ночью, а вы ихъ замѣчаете только тогда, когда онѣ уходятъ на вѣкъ... Странная должно быть душа была у нея; еслибы

бѣдняжка говорила то, что слѣдовало говорить, и дѣлала то, что слѣдовало дѣлать, какую страждущую, наивную и неисчерпаемую душу увидѣли бы мы въ ней"...

А ея сестры улыбаются въ тишинѣ комнаты. Онѣ спокойны. Онѣ не ждали ее сегодня вечеромъ. И отчего всѣмъ этимъ домашнимъ не быть спокойными? Они увѣрены въ своей безопасности. Они заперли двери; у оконъ желѣзные засовы. Они укрѣпили стѣны стараго дома; они сдѣлали у трехъ дубовыхъ дверей замки. Они предвидѣли все, что можно предвидѣть. Они слишкомъ полагаются на этотъ міръ, не подозрѣвая, что ихъ отдѣляютъ отъ врага только жалкія окна. Они воображаютъ, что ничего не случится, такъ какъ они затворили двери, и не думаютъ о томъ, что всегда что-нибудь случается въ душахъ людей и что міръ не кончается у дверей дома. Они такъ вѣрятъ въ свою маленькую жизнь; имъ и на мысль не приходитъ, что другіе знаютъ о ней больше, чѣмъ они, и что бѣдный старикъ держитъ здѣсь, въ двухъ шагахъ отъ двери, все ихъ маленькое счастье, держитъ, словно больную птичку, въ старой рукѣ своей, которую боится открыть. Но хотя они все сдѣлали для своего спокойствія, толпа, несущая покойницу, все-таки подвигается съ каждымъ шагомъ, и горе все растетъ. Никто не можетъ помѣшать ему расти, и тѣ, которые несутъ горе, не могутъ его остановить. Оно повелѣваетъ

ими, и они ему служатъ. У него своя цѣль, и оно идетъ по своей дорогѣ неутомимо, и они отдаютъ ему свои силы.

Но вотъ прибѣгаютъ внучки „Старика“. Одна изъ нихъ разсказываетъ, какъ она уложила покойницу на носилки, какъ ей трудно было убрать ея непослушные волоса. Она велѣла набрать маргаритокъ. Грустные цвѣты, но гдѣ взять другихъ? Она смотритъ въ окна.—„Они не плачутъ?... Они... вы имъ не говорили?“—„Марта, Марта (отвѣчаетъ „Старикъ“), въ твоей душѣ слишкомъ много жизни, и ты не можешь понять“.—„Почему не могу я понять?... (Послѣ молчанія и тономъ упрека). Вы не могли, дѣдушка, сказать имъ, не могли?“...—„Марта, ты не знаешь“...—„Ну, такъ я пойду, скажу имъ“.—„Останься здѣсь, дитя мое, и погляди немного на нихъ“.—„О, какъ они несчастны!... Они не могутъ больше ждать“...—„Отчего?“—„Не знаю... но это невозможно!“...—„Поди сюда, дитя мое“...—„Какое у нихъ терпѣнье!“...—„Поди сюда, дитя мое“... „Гдѣ вы, дѣдушка, я такъ несчастна, что не вижу васъ болѣе“...

А горе все приближается. Уже слышенъ шопотъ молитвъ набожной толпы, несущей покойницу. Нельзя откладывать, надо войти въ домъ, сказать горькую правду. „Старикъ“ отправляется. Всѣ смотрятъ въ окна, чтобы видѣть, когда онъ будетъ говорить. Видно, какъ старшая изъ сестеръ поднимается, идетъ къ двери и берется за засовъ.

Марта.—„Она отворяетъ дверь".—Чужой.—„Напротивъ, она запираетъ".—(Молчаніе).—Чужой.—„Нѣтъ, она вернулась и сѣла около матери... Другіе не трогаются съ мѣста и ребенокъ продолжаетъ спать"...—(Молчаніе).—Марта (обращаясь къ своей сестрѣ).—„Сестрица, дай мнѣ твои руки"...—Марія.—„Марта!" (Онѣ обнимаются и цѣлуются).—Чужой.—„Должно быть, онъ постучалъ... Всѣ они разомъ подняли головы... Смотрятъ другъ на друга"...—Марта.—„О, о бѣдная сестричка... Я закричу!... (Она подавляетъ свои рыданія на плечѣ своей сестры).—Чужой.—„Онъ вѣроятно опять постучалъ... Отецъ смотритъ на часы. Онъ встаетъ".—Марія.—„Сестрица, сестрица, я тоже пойду... Имъ нельзя быть однимъ"...—Марія.—„Марта, Марта"... (Она ее удерживаетъ).—Чужой.—„Отецъ у двери... Онъ отпираетъ ее... Онъ осторожно отворяетъ".—Марта.—„О!... вы не видите"...—Чужой.—„Кого?"—Марта.—„Тѣхъ, которые несутъ"...—Чужой.—„Онъ только полуотворилъ дверь... я вижу только часть луга и фонтанъ... Онъ не выпускаетъ дверь изъ руки... отступаетъ... Онъ точно говоритъ: „А, это вы!" Онъ поднимаетъ руки... запираетъ старательно дверь... Вашъ дѣдушка вошелъ въ комнату"...—(Толпа подошла къ окнамъ. Марта и Марія тоже приподнимаются понемногу и, обнявшись, подходятъ къ окнамъ. Видно „Старика", который идетъ по комнатѣ. Обѣ сестры покойницы встаютъ; мать тоже встаетъ, посадивъ осторожно ребенка въ

то кресло, съ котораго встала. Изъ сада видно ребенка, съ головой немного наклоненной и спящаго, по серединѣ комнаты. Мать идетъ навстрѣчу „Старику“ и протягиваетъ ему руку, но убираетъ ее, прежде чѣмъ тотъ успѣлъ взять ее. Одна изъ молодыхъ дѣвушекъ хочетъ снять со „Старика“ плащъ, а другая подставляетъ ему кресло. Но „Старикъ“ тихимъ жестомъ отказывается. Отецъ удивленно улыбается. „Старикъ“ смотритъ въ сторону оконъ). —Ч у ж о й.—„Онъ не рѣшается говорить... Онъ посмотрѣлъ на насъ“.—(Говоръ въ толпѣ).—Ч у ж о й. —„Тсс!..“—(„Старикъ“, увидѣвъ лица въ окнахъ, быстро отвелъ отъ нихъ глаза. Такъ какъ одна изъ молодыхъ дѣвушекъ продолжаетъ предлагать ему кресло, онъ наконецъ садится и нѣсколько разъ проводитъ правой рукой по лбу).—Ч у ж о й.— „Онъ сѣлъ“.—(Другія лица въ комнатѣ тоже садятся, а отецъ словоохотливо говоритъ. Наконецъ „Старикъ“ открываетъ ротъ и звукъ его голоса, кажется, привлекаетъ общее вниманіе. Но отецъ прерываетъ его. „Старикъ“ начинаетъ снова говорить и мало-по-малу всѣ прочіе становятся неподвижными. Вдругъ мать содрогается и встаетъ).—М а р т а.— „О, мать понимаетъ!“...—(Она отворачивается и закрываетъ лицо руками. Новый шумъ въ толпѣ. Толкаются. Дѣти кричатъ, чтобъ ихъ подняли, дали имъ посмотрѣть. Большая часть матерей исполняетъ ихъ желаніе).—Ч у ж о й.—„Тсс!... Онъ еще не ска-

залъ"...—(Видно, что мать съ тоской спрашиваетъ „Старика". Онъ еще говоритъ нѣсколько словъ; потомъ вдругъ всѣ остальные тоже встаютъ и, кажется, всѣ его спрашиваютъ. Тогда онъ дѣлаетъ головой медленный знакъ подтвержденія).—Чужой.—„Онъ сказалъ... Онъ вдругъ сказалъ!..."—Голосъ въ толпѣ.—„Онъ сказалъ!... Онъ сказалъ"...—Чужой.—„Ничего не слышно..."—(„Старикъ" также встаетъ и, не оборачиваясь, указываетъ рукою на дверь, которая за нимъ. Отецъ, мать и обѣ сестры бросаются къ этой двери, которую отецъ не можетъ отворить тотчасъ же. „Старикъ" старается удержать мать).—Голосъ въ толпѣ.—„Они выходятъ! Они выходятъ!"...—(Толкотня въ саду. Всѣ спѣшатъ на другую сторону дома и исчезаютъ, кромѣ „Чужого", который остается у оконъ. Въ комнатѣ дверь наконецъ отворяется настежъ; всѣ выходятъ вмѣстѣ. Видно звѣздное небо, лугъ и фонтанъ, освѣщенные луною. Между тѣмъ на серединѣ пустой комнаты ребенокъ продолжаетъ тихо спать въ креслѣ.—Молчаніе).—Чужой.—„Ребенокъ не проснулся!"—(Онъ тоже уходитъ).

Вся эта драма проникнута глубокимъ трагизмомъ. Трагизмъ этотъ и въ непонятной добровольной смерти молодого и цвѣтущаго существа, и въ томъ, что люди считаютъ себя счастливыми, хотя на дѣлѣ глубоко несчастны, и въ томъ, что счастье всегда такъ же хрупко, какъ больная птичка въ рукѣ дряхлаго старика, и въ томъ, что отъ несчастья нельзя

оградиться никакими запорами, и въ томъ, что всѣ люди, не исключая и любящихъ, не только не знаютъ и не понимаютъ, но и не хотятъ знать и понимать внутренняго міра другъ друга, оставаясь къ нему безучастными, и въ томъ, что вслѣдствіе этого непониманія, невниманія и безучастія вошло въ обычай прикрывать свое горе пошлыми разговорами, тогда какъ сердце рвется отъ муки, и въ любопытствѣ толпы, жаждущей видѣть чужое горе, и въ спокойномъ снѣ ребенка среди общаго несчастья, и въ тихомъ сіяніи звѣздъ и луны, невозмутимо озаряющихъ всю эту раздирающую сцену. Что такое наша жизнь среди этой безстрастной природы? И кто изъ людей счастливъ? Безсознательный младенецъ, спящій глубокимъ сномъ, и, быть можетъ, эта юная красавица, спящая сномъ еще болѣе глубокимъ, непробуднымъ. Сойдетъ съ лица земли эта спящая красавица, послѣдуютъ за ней ея близкіе, умрутъ милліоны, милліоны милліоновъ людей, а звѣзды и луна все также будутъ сіять, все также будетъ окружать насъ глубокая, непостижимая, непроницаемая тайна мірозданія, скрывающая отъ насъ и смыслъ, и судьбу нашей жизни. Все это давно и хорошо извѣстно и потому можетъ показаться пошлымъ, и однако нельзя не согласиться, что въ этомъ общеизвѣстномъ не въ примѣръ больше трагизма, чѣмъ въ такъ называемыхъ необычайныхъ сценахъ. Объ этомъ трагизмѣ

обыкновенно не думаютъ и даже его не замѣчаютъ; а если бы о немъ думали, то передъ нимъ сгладился бы всякій другой трагизмъ.

Несмотря на свою дѣтскую простоту, или, вѣрнѣе, именно благодаря ей, эта трагедія Мэтерлинка принадлежитъ къ такъ называемымъ „высоко-художественнымъ“ произведеніямъ. Она въ полной мѣрѣ удовлетворяетъ основному требованію, которому должны отвѣчать всѣ поэтическія произведенія—она захватываетъ своимъ настроеніемъ, или, выражаясь словами Л. Н. Толстого, имъ „заражаетъ“, и она производитъ въ душѣ то „очищеніе“, котораго требовалъ отъ трагедій Аристотель, то есть, сильно потрясаетъ душевныя силы и, среди наступающаго вслѣдъ за тѣмъ умиротворенія, даетъ возможность смотрѣть на жизнь правильнѣе и глубже, чѣмъ обыкновенно. И ея дѣйствіе не изъ скоропреходящихъ; легко забыть ея содержаніе, но ея основная мысль вонзается въ воспріимчивый умъ крѣпко и не остается безъ воздѣйствія на общее міропониманіе.

Трагедіи Мэтерлинка стоятъ въ слишкомъ большомъ разладѣ съ общепризнанной драматической техникой, чтобы онѣ могли вызывать единодушное одобреніе. Наряду съ восторженными отзывами о нихъ встрѣчаются несочувственные и насмѣшливые. Вѣрнѣе и глубже другихъ понялъ и оцѣнилъ ихъ смыслъ и значеніе А. С. Суворинъ, котораго немногія слова кажутся намъ самымъ лучшимъ изъ

того, что до сихъ поръ было кѣмъ-либо сказано о трагедіяхъ Мэтерлинка.

Въ этихъ трагедіяхъ (говоритъ онъ [1]) „встрѣчаешь что-то новое, какъ будто дѣтское и какъ будто серьезное вмѣстѣ съ тѣмъ. Знакомишься съ чѣмъ то таинственнымъ, съ какими то тончайшими проявленіями души человѣческой и природы въ ихъ гармоніи между собою. Какъ то уходишь отъ вседневной жизни въ тишь жизни призраковъ, боязливыхъ, напуганныхъ душъ, которые живутъ, любятъ и погибаютъ почти безъ словъ. Это жизнь тѣней, но въ нихъ вы чувствуете свою душу въ ея безсознательныхъ, по крайней мѣрѣ, движеніяхъ. Лица какія то хрупкія, наивныя, слабыя, безпрекословно подчиняющіяся судьбѣ или угнетателямъ, владѣющія самымъ простымъ языкомъ и самыми первоначальными понятіями. Языкъ у нихъ такой бѣдный, что они часто повторяютъ одни и тѣ же слова по нѣскольку разъ. Никакихъ восторженныхъ рѣчей, никакого лиризма, никакихъ отступленій ради красивыхъ сравненій и такъ называемыхъ поэтическихъ оборотовъ, никакихъ психологическихъ изысканій, преподаваемыхъ въ видѣ монологовъ. Это совершенная противоположность шекспировскому языку и шекспировскимъ героямъ, которые всѣ говорятъ языкомъ великаго основателя новой европейской

---

[1]) „Тайны души“, стр. 9—10.

драмы. И несмотря на всю эту простоту языка и понятій, простоту и наивность характеровъ, драмы Мэтерлинка производятъ впечатлѣніе, иногда глубокое: мурашки начинаютъ бѣгать по тѣлу, и ужасъ, и жалость васъ охватываетъ, т. е. вы получаете такое же впечатлѣніе, какъ отъ хорошей заправской драмы. Авторъ называетъ ихъ „драмами для маріонетокъ“. Онѣ дѣйствительно какъ бы назначены для этого театра, по своему дѣйствію и характерамъ, но вѣдь и жизнь наша, если совлечь съ нея излишній декорумъ, излишнюю фольгу и фразы, не явится ли именно въ этой простой формѣ и не разбивается ли такъ же просто и легко, какъ маріонетки?“

Къ этой превосходной характеристикѣ нельзя не присоединиться всецѣло.

Простота покидаетъ мистическихъ поэтовъ, какъ скоро они отъ повседневныхъ фактовъ переходятъ къ сложнымъ вопросамъ жизни. Въ сознаніи недостаточности познавательныхъ средствъ разума, душа стремится выйти изъ его области, даетъ полную свободу чувству и воображенію, приходитъ, вслѣдствіе подъема этихъ способностей, въ экстазъ, полагаетъ себя непосредственнымъ зеркаломъ истины и выражаетъ это свое созерцаніе не въ логическихъ формахъ, не вмѣщающихъ непосредственной истины, а въ творческомъ процессѣ, образами и символами, которые не открываютъ истину, но только на нее намекаютъ.

Образцомъ такихъ произведеній можетъ служить мистерія Верлэна „Crimen Amoris“, которую мы здѣсь выписываемъ въ переводѣ, оговариваясь, что онъ передаетъ лишь букву, а не духъ, въ прозаической передачѣ неуловимый.

„Во дворцѣ изъ шелка и золота, въ Экбатанѣ, прекрасные демоны, юные сатаны, подъ звукъ магометанской музыки устраиваютъ пиръ для семи грѣховъ пяти своихъ чувствъ.

„То праздникъ семи грѣховъ! О, какъ онъ прекрасенъ! Всѣ желанія сіяли яркими огнями; страсти, словно юные возбужденные пажи, разносили розовыя вина на подносахъ.

„Танцы, подъ звуки брачныхъ пѣсенъ, тихо замирали въ долгихъ рыданіяхъ, и прекрасные хоры мужскихъ и женскихъ голосовъ разливались, трепеща словно волны.

„И настолько все это было хорошо, и настолько это хорошее было могуче и очаровательно, что повсюду кругомъ расцвѣли розы и ночь казалась въ брилліантахъ.

„Самому младшему изъ этихъ злыхъ ангеловъ было шестнадцать лѣтъ. Въ вѣнкѣ изъ цвѣтовъ, скрестивъ руки на золотыя украшенія и бахрому, онъ мечтаетъ, и взоръ его полонъ огня и слезъ.

„Тщетно вокругъ него все веселѣе становится праздникъ, тщетно сатаны, его братья и сестры,

пытаются разсѣять его тоску, ободряютъ его, призываютъ и ласкаютъ.

„Онъ противился всѣмъ ласкамъ, и печаль положила черную бабочку на его чело, украшенное драгоцѣнностями. О, безсмертное и страшное отчаяніе!

„Онъ имъ говорилъ: О, вы, оставьте меня въ покоѣ! Затѣмъ, поцѣловавъ ихъ всѣхъ очень нѣжно, онъ скрылся отъ нихъ быстрымъ порывомъ, оставивъ въ ихъ рукахъ клочья своей одежды.

„И вотъ смотрите: онъ на самой небесной башнѣ высокаго дворца со свѣточемъ въ рукахъ. Онъ потрясаетъ имъ, словно герой желѣзной перчаткой. Снизу кажется, что это занимается утренняя заря.

„Что же это онъ говоритъ своимъ глубокимъ и нѣжнымъ голосомъ, который смѣшивается съ сильнымъ трескомъ огня и которому внимаетъ въ экстазѣ луна: „О, я буду тотъ, кто будетъ Богомъ!

„Мы всѣ слишкомъ долго страдали, ангелы и люди, отъ этого столкновенія между худшимъ и лучшимъ. Смиримъ же, жалкія мы существа, всѣ наши порывы въ самомъ простомъ изъ желаній.

„Довольно, даже слишкомъ, этой слишкомъ равной борьбы. Необходимо, чтобы наконецъ семь грѣховъ присоединились къ тремъ богословскимъ добродѣтелямъ. Довольно, и даже слишкомъ, этихъ жестокихъ и безобразныхъ столкновеній.

„И въ отвѣтъ Іисусу, который думалъ, что поступаетъ хорошо, поддерживая равновѣсіе этой борьбы, чрезъ меня адъ, который нашелъ здѣсь себѣ пріютъ, приноситъ себя въ жертву всеобщей любви!“

„Свѣточъ падаетъ изъ его распростертой руки, и съ страшнымъ воемъ поднялся пожаръ, огромная борьба красныхъ орловъ, потопленная въ черномъ вихрѣ дыма и вѣтра.

„Золото растопляется и течетъ ручьями, мраморъ трещитъ, полыхаетъ костеръ весь изъ блеска и пыла, шелкъ въ короткихъ завиткахъ, словно вата, летитъ хлопьями весь въ пылу и блескѣ.

„И умирающіе сатаны пѣли въ пламени, понявъ, что они совершили отреченіе, и прекрасные хоры мужскихъ и женскихъ голосовъ подымались среди урагана и треска пламени.

„А онъ, скрестивъ гордо руки и смотря на небо, куда языками подымается пламя, онъ тихо говоритъ что-то въ родѣ молитвы, которая умираетъ среди веселаго пѣнія.

„Онъ говоритъ словно молитву, устремивъ взоръ на небо, куда языками подымается огонь, какъ вдругъ раздается страшный ударъ грома, и конецъ веселью и пѣснямъ.

„Жертва не принята, нѣкто явно сильный и справедливый сумѣлъ распознать коварство и хитрость въ обманывающемъ себя тщеславіи.

„И отъ стобашеннаго дворца не осталось никакого слѣда, ничего не осталось въ этомъ неслыханномъ разгромѣ, чтобы это ужаснѣйшее изъ чудесъ было лишь исчезнувшимъ сновидѣніемъ.

„Настала ночь, голубая ночь съ тысячами звѣздъ. Разстилается евангельская долина, суровая и кроткая; неясно, словно паруса, колышутся вѣтви деревъ и какъ будто уплываютъ.

„Холодные ручьи текутъ по каменистому руслу, тихія совы незамѣтно плывутъ по воздуху, умащенному таинственностью и молитвой; порой поднимется и блеснетъ волна.

„Неясный обликъ вдали восходитъ на холмы, словно еще плохо опредѣлившаяся любовь, и туманъ, подымающійся отъ корней, кажется стремленіемъ къ какой-то необъятной цѣли.

„И все это, словно сердце и словно душа, словно молитва обожаетъ въ дѣвственной любви, раскрывается въ экстазѣ и требуетъ милосерднаго Бога, который сохранитъ насъ отъ зла“.

На декадентскія произведенія часто смотрятъ съ предубѣжденіемъ, что въ нихъ непремѣнно должна быть безсмыслица. Но скажетъ ли кто-нибудь, что въ этой мистеріи нѣтъ смысла? Какой смыслъ, мы опредѣлить не можемъ, такъ какъ она говоритъ не столько уму, сколько чувству, и потому ея смыслъ не укладывается въ понятія, но чуткому къ поэзіи онъ западаетъ въ душу какъ ферментъ, подымающій цѣлый сонмъ мыслей и чувствъ и за-

ставляющій переживать то, „чего нѣтъ силъ сказать, но и таить нельзя“ [1]).

Подобныя мистическія произведенія строются современными поэтами такъ, чтобы они дѣйствовали вмѣстѣ и какъ поэзія, и какъ музыка. Здѣсь каждое слово имѣетъ музыкальное значеніе, а всѣ вмѣстѣ составляютъ мелодію, смыслъ которой нельзя выразить никакими словами. Про музыку и поэзію говорятъ, что онѣ раскрываютъ въ нашей душѣ безконечное; если бы это было справедливо для музыки и поэзіи, взятыхъ каждая отдѣльно, то еще справедливѣе было бы для обѣихъ, связанныхъ тѣсно и неразрывно.

Верлэнъ чудесно обрисовалъ такую поэзію какъ сумеречныя грезы, видѣнія конца ночи, которыя истина освѣщаетъ лишь слабымъ, блѣднымъ отблескомъ зари среди окружающей тьмы, такъ что не ясно, созданіе ли они луны „подъ ужасомъ колеблющихся вѣтокъ“, или же эти мрачные призраки тотчасъ же воплотятся и смѣшаются съ хоромъ вещей въ гармоническомъ уборѣ солнца и природы, какъ существа, отрадныя для человѣка и провозглашающія Бога для экстазовъ чистаго гимна, который восходитъ до самой глубины небесъ [2]).

Для всѣхъ тѣхъ, кто усталъ жить въ не грѣющемъ свѣтѣ мысли, но боится тьмы, для сердецъ,

---

[1]) To feel
What I can ne'er express, yet cannot all conceal.
(Byron). Выше, стр. 441.

[2]) Ce sont choses crépusculaires.

утратившихъ вѣру въ Бога, но желающихъ вѣрить, для грѣховной любви, ищущей раскаянія и къ нему неспособной, многое ли можетъ сравниться съ этимъ полусумракомъ, въ которомъ весь адъ нашей души приноситъ себя въ жертву всеобщей любви, среди чернаго дыма и пожара, а тамъ, гдѣ-то далеко, на дышущей спокойствіемъ, поэзіей и молитвой долинѣ восходитъ на холмы неясный обликъ Бога, „какъ еще плохо опредѣлившаяся любовь“, и отъ корней деревьевъ подымается туманъ, словно стремленіе къ единой цѣли, и все колѣнопреклоненно молитъ о Богѣ, который бы сохранилъ насъ отъ зла?

Восхитительна поэзія молодой весны съ ея благоуханіемъ, свѣжей зеленью, пѣснью соловьевъ; очаровательна поэзія лѣта съ его зрѣлостью, съ желтѣющими нивами, наливными плодами, сосредоточеннымъ молчаніемъ лѣсовъ; но есть своеобразная прелесть и въ осени, съ ея сѣрыми днями, съ наполовину обнаженными, наполовину одѣтыми въ разноцвѣтный нарядъ деревьями, съ ея вихрями, крутящими и бьющими желтые листья, съ ея блѣднымъ и трепетнымъ солнечнымъ лучомъ, скользящимъ по умирающему лѣсу, какъ „умирающей красавицы улыбка“. Поэзія конца девятнадцатаго вѣка— поэзія осени; безобразная въ рукахъ бездарности, въ рукахъ генія она неотразимо привлекательна.

## XIII

Отчего эти сумерки и эти сумеречныя видѣнія? Оттого (поясняетъ одинъ современный поэтъ [1]), что „то, что было раньше разумомъ, стоитъ теперь въ сторонѣ съ своимъ блѣднымъ свѣтильникомъ“, а жизнь продолжаетъ катить свои безпокойныя волны. Или еще лучше: оттого, что разумъ умеръ, „умеръ отъ слишкомъ обильнаго знанія, отъ слишкомъ сильнаго желанія высѣкать причину въ томъ черномъ гранитѣ, на которомъ утверждены всѣ вещи и существа. Онъ умеръ жестокой смертью отъ ученой отравы, умеръ также и отъ безумнаго бреда о нелѣпой царской багряницѣ. Его нервы порвались въ тотъ самый праздничный, сіявшій огнями вечеръ, когда онъ чувствовалъ, что торжество, словно орелъ, паритъ надъ его головой. Онъ умеръ, такъ какъ не могъ больше выносить ни своего пыла, ни своей измельченной воли, онъ себя самъ убилъ безконечнымъ истощеніемъ“ [2]).

---

[1]) Verhaern, Départ (Les Flambeaux noirs).

[2]) Finale, тамъ же.

Проще: разумъ, послѣ долгихъ попытокъ рѣшить поставленные имъ вопросы, вынужденъ наконецъ признать свое безсиліе, окружилъ себя тьмой, надѣясь зажечь много свѣта, испепелилъ себя, поднося свой свѣтильникъ къ самому себѣ въ неустанномъ изслѣдованіи себя, а жизнь по прежнему насъ окружаетъ какъ неразгаданная тайна.

Что такое жизнь? Отвѣчаютъ: совокупность явленій. Откуда явленія? Неизвѣстно. Что является въ явленіяхъ? Неизвѣстно. Что такое истина? Неизвѣстно. Какъ отличить то, что кажется, отъ того, что есть? Неизвѣстно. Какой смыслъ и какая цѣль жизни? Неизвѣстно.

И однако же, не смотря на всю эту тьму, мы знаемъ, что существующее не исчерпывается явленіями, что для явленій должна быть причина, что истина существуетъ, что за призракомъ скрывается дѣйствительность, что у жизни должны быть и цѣль, и смыслъ. Среди этой тьмы гдѣ искать свѣта?

Изъ всего выясненнаго разумомъ особенно ясно то, что о дѣйствительности мы знаемъ лишь какъ она намъ представляется, что мы не въ состояніи рѣшить, на сколько наши представленія ей соотвѣтствуютъ, что при ея постиженіи мы бываемъ не только страдательными, но и дѣятельными, и что поэтому всякое наше міропониманіе есть всегда плодъ нашего творчества. Этимъ творчествомъ объясняется и то, что на каждый изъ поставленныхъ

разумомъ вопросовъ существуютъ разнорѣчивые отвѣты, подсказанные различнымъ духовнымъ складомъ тѣхъ, кто ихъ даетъ. Если разумъ оказывается самъ по себѣ неспособнымъ выйти изъ затрудненій, въ которыя себя поставилъ, и повинуется творчеству, то почему не возвести эту творческую способность въ царственное достоинство, не отдать преимущества воображенію передъ разумомъ?

Когда мы смотримъ на вещи при солнечномъ освѣщеніи, мы ихъ принимаемъ за такія, какими онѣ намъ кажутся. Но когда мы ходимъ въ сумеркахъ, мы знаемъ, что онѣ на дѣлѣ не таковы, какъ намъ тогда представляются. И чѣмъ глубже окружающая насъ тьма, тѣмъ болѣе сглаживается эта грань между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что намъ можетъ казаться. Въ совершенной темнотѣ дѣйствительность для насъ исчезаетъ до незначительныхъ слѣдовъ, а остальное мы дополняемъ воображеніемъ. Слѣпорожденный, живущій въ постоянной тьмѣ, вынужденъ всецѣло строить въ себѣ міръ, такъ что для него не представленіе о мірѣ есть сколокъ съ міра, какъ для зрячихъ, а наоборотъ, міръ есть сколокъ съ его представленія. И если при солнечномъ освѣщеніи мы находимъ путь, руководствуясь главнымъ образомъ внѣшней дѣйствительностью, то когда ходимъ во тьмѣ, мы должны прежде всего въ самихъ себѣ искать указанія на то, какъ и куда идти.

Точно также и мысль, какъ скоро считаетъ возможнымъ разсматривать вещи въ свѣтѣ яснаго и раздѣльнаго сознанія, отвергаетъ въ нихъ или за ними всякую сокровенную природу. Напротивъ, если ей наличная дѣйствительность представляется неясной, то она стремится прозрѣть за ней другую, которую предполагаетъ истинной; и чѣмъ большимъ мракомъ окутывается для нея непосредственно данная дѣйствительность, тѣмъ глубже она уходитъ въ себя, въ свой собственный міръ, для котораго наличная дѣйствительность становится все болѣе и болѣе отдаленнымъ и слабымъ откликомъ.

Вещь, подразумѣвающая собою другую или на нее намекающая, называется символомъ этой другой [1]). Символизмъ есть поэтому необходимая при-

[1]) Къ общей характеристикѣ символики: Ferrero, Les lois psychologiques du Symbolisme (1895). Bettex, Die Symbolik der Schöpfung (1900), 3—te Aufl. Taine, Histoire de la littérature anglaise, отдѣлы о Спенсерѣ (I, pp. 316—356), Шелли (IV, pp. 323—330), Карлейлѣ (V, pp. 282—289). О французскихъ символистахъ: Brunetière, L'Évolution de la poésie lyrique, II, pp. 229—263. Lemaitre, Contemporains, IV, pp. 63—111. Doumic, Les Jeunes, pp. 183—206. Vigié Lecocq, La Poésie contemporaine (1897), pp. 207—235. Symons, The symbolist movement (1900). Остальная обильная литература у Thieme, La littérature française du XIX siécle (1897), pp. 89—90 и Béver et Léautaud, Poètes d'aujourd'hui въ Bibliographie для каждаго поэта и въ Index général des ouvrages etc., intéressant l'histoire poétique de ces XX dernières années, pp. 409—414.

надлежность всякаго міропониманія, покидающаго почву яснаго и раздѣльнаго сознанія. Мистицизмъ, какъ прямое и выразительное отрицаніе такой почвы, есть отъ начала до конца символизмъ. Для него все, что мы чувствуемъ, видимъ, знаемъ, не есть дѣйствительность, но лишь ея слабое отображеніе, несовершенный на нее намекъ.

„Когда я ищу Бога (говоритъ Августинъ [1]), я не ищу ничего тѣлеснаго, ни красоты, ни свѣта, ни звука, ни благовонія, ни вкуса, ни осязанія. Но я ищу свѣтъ выше всякаго свѣта, какого не видятъ глаза, голосъ выше всякаго голоса, какого не слышатъ уши, запахъ выше всякаго запаха, какого не обоняютъ ноздри, сладость выше всякой сладости, какую не знаетъ вкусъ, объятія выше всякихъ объятій, какихъ не чувствуетъ осязаніе,—такъ какъ этотъ свѣтъ сіяетъ тамъ, гдѣ нѣтъ мѣста, этотъ голосъ звучитъ тамъ, гдѣ нѣтъ воздуха, это благовоніе вдыхается тамъ, гдѣ его не распространяетъ вѣтеръ, эта сладость вкушается тамъ, гдѣ нѣтъ устъ, что бы ею наслаждаться, эти объятія даются тамъ, гдѣ нѣтъ никакого прикосновенія".

Какимъ инымъ способомъ выразить эту высшую дѣйствительность, если не намекомъ или символомъ?

На взглядъ повседневной логики, что такое человѣкъ? (спрашиваетъ Карлейль). Двуногое всеяднсе.

---

[2]) Soliloquia, с. 31 (въ сокращеніи).

На взглядъ чистаго разума, что онъ такое? Душа, духъ, божественное явленіе, таинственное *я*, глубоко погребенное подъ тѣлеснымъ покровомъ, подъ этимъ страннымъ облаченіемъ изъ звуковъ, цвѣтовъ, формъ, служащимъ вмѣстѣ и его пеленками, и его саваномъ, и сотканнымъ на небѣ и достойнымъ неба. Зримое, воображаемое, предполагаемое зримымъ, есть лишь пологъ, скрывающій высшее, небесное, незримое, невообразимое, безформенное, темное отъ избытка свѣта. Или иначе, зримыя вещи—только отблески незримаго, все, что мы видимъ, существуетъ не за свой собственный счетъ. Строго говоря, ничего этого нѣтъ. Матерія есть обнаруженіе духа, существуетъ только духовно, чтобы выражать или воплощать какую нибудь идею. Пространство и время—лишь явленія. Они сотканы для насъ до нашего рожденія, чтобы одѣть наше небесное *я* для пребыванія здѣсь и въ то-же время, чтобы его ослѣпить, они—словно всеобъемлющая канва или ткань, на которой вырисовываютъ узоры болѣе мелкія иллюзіи нашего призрачнаго существованія. Наше тѣло, нашъ обликъ, наша кровь съ ея страстями—все это только прахъ и тѣнь, система тѣней, собранныхъ вокругъ нашего *я*. Въ этомъ царствѣ тѣней мы живемъ, споримъ и ссоримся, воемъ и гогочемъ, словно совы, скачемъ и пляшемъ въ пляскѣ мертвецовъ, пока благовоніе утра не призоветъ насъ къ нашей молчаливой обители и

переполненная снами ночь не пробудится и не станетъ днемъ. Что скрывается подъ этимъ призрачнымъ покровомъ? Никто не знаетъ. О подлинной дѣйствительности догадывается сердце, но она непостижима для разума. Твореніе раскинулось передъ нами какъ сіяющая радуга, но создающее ее солнце остается позади насъ и для насъ незримо. Человѣкъ повсюду окруженъ символами, признанными и непризнанными. Вселенная есть огромный символъ Бога; да и что такое самъ человѣкъ, какъ не символъ Бога? Всѣ наши дѣйствія символическія: они открываютъ чувству таинственную живущую въ насъ силу, дарованную Богомъ. И во всякомъ вообще символѣ всегда въ той или другой мѣрѣ, съ большей или меньшей ясностью, воплощается Безконечное. Символы нами руководятъ и управляютъ, дѣлаютъ насъ счастливыми и несчастными. Словомъ, вся жизнь есть лишь сонъ, символическое видѣніе того, что есть [1]).

Эти слова Карлейля служатъ лучшимъ выраженіемъ основной точки зрѣнія новѣйшаго мистицизма и отношенія всякаго мистицизма къ символизму.

Если всякій мистицизмъ есть символизмъ, то не всякій символизмъ есть мистицизмъ. Мистическій символъ опредѣляется двумя признаками: 1) онъ намекаетъ на тайное, скрытое или скрываемое и 2) онъ

---

[1]) По Sartor resartus.

сливаетъ намекъ съ тѣмъ на что намекается. Евангельское ученіе о Богѣ Словѣ какъ о свѣтѣ, свѣтящемъ въ тьмѣ и освѣщающемъ всякаго, приходящаго въ міръ, одинъ изъ наиболѣе выразительныхъ мистическихъ символовъ: здѣсь свѣтъ въ обычномъ значеніи слова сливается съ символическимъ въ одинъ мистическій образъ. Въ литературѣ совершеннѣйшій мистическій символъ данъ Эдгаромъ По въ его „Воронѣ", гдѣ мракъ, тоска, отчаяніе соединены съ ворономъ въ одно нераздѣльное цѣлое.

Однако, по привычкѣ постоянно пользоваться символами, мистицизмъ, и не выходя изъ области наличной дѣйствительности, нерѣдко выражается символически, намекая одной вещью на другую. Въ общемъ можно сказать, что мистицизмъ пользуется *иносказательной* формой или *аллегоріей*. Современный символизмъ есть сплошная аллегорія, то мистическая, то простая.

Онъ подсказанъ не однимъ только поворотомъ мысли къ мистицизму, но также и разборчивостью усталаго чувства [1]). Для утонченнаго и истомленнаго чувства всякая дѣйствительность кажется грубой, рѣзкой, неудовлетворительной, и оно охотно удаляется въ міръ намековъ на нее, въ царство мечты или воображенія. Здѣсь свѣтъ и тѣни можно усиливать и ослаблять

---

[1]) Выше, стр. 29, сл.

по произволу, и здѣсь ничто не раздражаетъ зрѣнія; а главное—здѣсь есть всякіе образы, какихъ только можно пожелать. Ихъ строить тѣмъ легче, что они не должны быть ни опредѣленными, ни законченными, ни устойчивыми, а, напротивъ, едва намѣченными, слегка очерченными, зыбкими, такъ какъ иначе они слишкомъ близко напоминали бы дѣйствительность. Эту склонность жить въ мірѣ намековъ великолѣпно изобразилъ Верлэнъ въ „Mon rêve familier", одномъ изъ лучшихъ своихъ произведеній [1]).

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime,
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.

Car elle me comprend, et mon coeur, transparent
Pour elle seule, hélas! cesse d'être un problème
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.

Est-elle brune, blonde ou rousse?—Je l'ignore.
Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore
Comme ceux des aimés que la Vie exila,

Son regard est pareil au regard des statues,
Et, pour sa voix lointaine, et calme, et grave, elle a
L' inflexion des voix chêres qui se sont tues.

Кто носитъ въ себѣ такія видѣнія, тотъ живетъ не тамъ, гдѣ остальные, не среди дѣйствительности, которая спугиваетъ мечту, [2]), не въ обыкновенныхъ городахъ, но, по выраженію Верлэна, „на улицѣ въ

[1]) Poèmes Saturniens.

[2]) Выше, стр. 86, сл.

сердцѣ города мечты“ [1]). Окружающая дѣйствительность для такихъ людей есть лишь намекъ на этотъ ихъ „внутренній городъ“, и символизмъ—одна изъ улицъ, ведущихъ въ самое его сердце.

Высшее обнаруженіе мистическаго настроенія есть экстазъ, то есть выходъ разума изъ себя или особаго рода безуміе. Одинъ изъ средневѣковыхъ мистиковъ прекрасно выразилъ этотъ идеалъ мистицизма, расположивъ познавательныя способности лѣстницей, начинающейся съ ощущенія и ведущей далеко за предѣлы разума. Нисшую ступень занимаетъ *cogitatio* или способность представлять, вторую —*meditatio* или разсудокъ, третью—*contemplatio* или непосредственное созерцаніе истины, которое въ свою очередь восходитъ постепенно отъ *dilatatio mentis* или расширенія разума чрезъ *sublevatio mentis* или его восхищеніе, то есть подъемъ выше дѣйствительности, къ *alienatio mentis*—отчужденію отъ разума[2]). Здѣсь начинается область чистаго видѣнія, одинаково отрицающаго и наличную дѣйствительность, и разумъ. Такое видѣніе невыразимо, но попытка его передать необходимо ведетъ къ образамъ, представляющимся съ обычной точки зрѣнія и чисто фантастическими (вслѣдствіе ихъ отрѣшенности отъ дѣйствительнаго міра), и неразумными (вслѣдствіе ихъ отчужденности отъ разума). Въ религіозной области наиболѣе из-

[1]) Kaleidoscope.

[2]) Richard à St Victor, De contemplatione, Lib. I, c. 3, сл. Lib. 5, c. 2 (ed. Migne).

вѣстнымъ образцомъ такихъ видѣній служитъ „Апокалипсисъ“, въ литературѣ, если не говорить о слишкомъ объемистой и не чуждой реализма „Божественной комедіи“ Данта, къ числу наиболѣе совершенныхъ слѣдуетъ отнести „Witch of Atlas“ Шелли и „The Silence“ Эдгара По.

Разумѣется, далеко не всякій мистическій писатель ясновидецъ, а такъ какъ сверхъ того отъ самихъ мистиковъ извѣстно, что экстазъ—состояніе рѣдкое—Плотинъ, напримѣръ, испыталъ его въ пятилѣтній срокъ четыре раза, Порфирій во всю свою долгую жизнь лишь одинъ разъ [1]),—то можно заранѣе предвидѣть, что большинство мистическихъ построеній только подражаютъ мистическимъ видѣніямъ, то есть приближаются къ нимъ лишь формой, и не кроютъ въ себѣ никакой ни непостижимой тайны, ни даже глубокой мысли. Это ограниченіе необходимо держать въ умѣ при оцѣнкѣ современныхъ символическихъ произведеній.

По тѣсной связи между мистицизмомъ и символизмомъ, глубина мистицизма отражается и на свойствахъ символизма. Оставляя въ сторонѣ только что приведенную средневѣковую теорію, въ мистическомъ символизмѣ можно различать три степени. На первой символизмъ не выходитъ изъ предѣловъ наличной дѣйствительности, но разсматриваетъ ее какъ намекъ на высшую дѣйствительность, лежащую

[1]) Zeller, Philos. der Griechen, III, 2, p. 471, 1 (3-te Aufl.).

за ея границами. На средней образы, подсказанные дѣйствительностью, сливаются съ образами, построенными воображеніемъ, въ причудливое цѣлое, въ которомъ символическій смыслъ переплетается съ подлиннымъ. На послѣдней мы вступаемъ въ область чистаго творчества, которое свои созданія считаетъ подлинной дѣйствительностью и ими вовсе заслоняетъ ту, которая обыкновенно признается за подлинную.

Подобно самому мистицизму, всѣ эти виды символизма переходятъ одинъ въ другой трудно уловимыми оттѣнками, не допускающими точныхъ разграниченій, такъ что можно только говорить о большемъ или меньшемъ преобладаніи того или другого типа. Въ новѣйшей французской литературѣ на ея пути къ современному мистицизму можно послѣдовательно прослѣдить господство каждаго изъ этихъ типовъ.

У романтиковъ сказывается преимущественно первый типъ. Гюго видитъ въ природѣ то воплощеніе, то отображеніе божества („A Louis B.“, „Pan“, „Satyre“, „L'aurore s'allume“ и проч.). Однако романтика никоимъ образомъ не исключаетъ и двухъ остальныхъ типовъ. У Гюго встрѣчаются чистыя видѣнія, напоминающія „Апокалипсисъ“ (поэма „Dieu“, опубликованная послѣ смерти поэта, но написанная въ пятидесятыхъ годахъ [1]).

---

[1]) Renouvier, Victor Hugo le philosophe (1900), pp. 309, сл.

Бодлэръ перенесъ тайну въ самую природу. Погрузивъ всѣ вещи въ сумерки мрачнаго сладострастія, онъ далъ понять, что среди этихъ сумерокъ каждая вещь кроетъ въ себѣ тайный смыслъ, намекающій на возможность неизвѣданныхъ радостей и скорбей, далеко оставляющихъ позади себя испытываемыя обыкновенно. Какъ для романтиковъ природа была символомъ высшаго разума, такъ для Бодлэра она—символъ высшей мистической чувственности. Мысль эту онъ опредѣленно высказалъ въ своихъ превосходныхъ „Соотвѣтствіяхъ", давшихъ сильный толчокъ дальнѣйшему развитію символизма:

Природа—дивный храмъ, гдѣ рядъ живыхъ колоннъ
О чемъ-то шепчетъ намъ невнятными словами,
Лѣсъ темный символовъ знакомыми очами
На проходящаго глядитъ со всѣхъ сторонъ.
Какъ людныхъ городовъ стозвучные раскаты
Сливаются вдали въ одинъ неясный громъ,
Такъ въ единеніи находятся живомъ
Всѣ тоны на землѣ, цвѣты и ароматы.
Есть много запаховъ здоровыхъ, молодыхъ,
Какъ тѣло дѣтское,—какъ флейты нѣжныхъ,
Зеленыхъ какъ луга... И много есть иныхъ,
Нахально блещущихъ, развратныхъ и мятежныхъ.
Тамъ мускусъ, ѳиміамъ, пачули и бензой
Поютъ экстазы чувствъ и добрыхъ силъ прибой.

Этотъ, въ общемъ прекрасный, переводъ [1]) не точно передаетъ конецъ стихотворенія, который

[1]) Бальмонта.

однако весьма важенъ. Бодлэръ говоритъ о запахахъ, „обладающихъ распространеніемъ (expansion) вещей безконечныхъ". Эта безконечная растяжимость нашихъ чувствъ для Бодлэра главное. Наше *я*, по Бодлэру, безконечно, а природа—ограничена [1]), и за ея предѣлы выходитъ не только нашъ разумъ, но и наши чувства, и прежде всего наша жажда наслажденій, или сладострастіе. Въ этомъ именно выхожденіи чувственности за предѣлы наличной дѣйствительности и сказывается своеобразный мистицизмъ Бодлэра, выражающійся въ мечтахъ о „желаніяхъ, имѣющихъ форму облаковъ, о широкихъ наслажденіяхъ (voluptés), измѣнчивыхъ, невѣдомыхъ, имя которыхъ для человѣческаго ума еще неизвѣстно" [2]).

Новѣйшій символизмъ стоитъ частью на положенной Бодлэромъ почвѣ, то есть окружаетъ міръ дымкой неизвѣданной и таинственной чувственности и отыскиваетъ неразгаданныя соотвѣтствія и между самими вещами, и между вещами и нашими состояніями, частью идетъ дальше, то смѣшивая подсказанные дѣйствительностью образы съ творческими, то вовсе переходя въ область свободнаго воображенія. Но въ этой области мысль не можетъ долго оставаться. Какъ бы ни замыкался внутренній міръ отъ вторженій внѣшняго, послѣд-

---

[1]) Выше, стр. 42.

[2]) Voyage, выше, стр. 36.

ній предъявляетъ свои права слишкомъ настойчиво, чтобы можно было вовсе пренебрегать ими. Всякое воображеніе требуетъ опоры, которая всегда дается дѣйствительностью. Поэтому переходъ символизма въ область чистыхъ видѣній есть въ то-же время и начало выхода изъ этой области. Въ послѣднее время мистицизмъ принимаетъ видъ пантеизма, сливающаго внутренній и внѣшній міръ въ неразъемлемое цѣлое.

Наиболѣе доступнымъ и прекраснымъ примѣромъ новѣйшихъ символическихъ видѣній служитъ приведенная раньше мистерія Верлэна „Crimen Amoris“ [1]). Но она своими образами слишкомъ напоминаетъ дѣйствительность и, хотя не открываетъ разуму своего смысла вполнѣ, общимъ своимъ складомъ слишкомъ слабо отрицаетъ требуемыя разумомъ ясность и раздѣльность, чтобы могла считаться совершеннѣйшимъ образцомъ современнаго символизма. Такимъ образцомъ признается эклога „L'après midi d'un Faune“ Малларме [2]). Этотъ недавно скончавшій-

[1]) Стр. 544—547.

[2]) О немъ Huret, Enquête sur l'évolution littéraire, pp. 55—65. Lemaitre, Contemporains, V, pp. 43—48. Lazare, Figures contemporaines, pp.241—250. Wyzewa, Nos Maîtres, pp. 91—129. Remy de Gourmont, Livre des Masques, pp. 57—61. Brisson, Pointes sèches (1898), pp. 143—152. Mockel, St. Mallarmé (1899). Symons, The symbolical movement, pp. 117—138. Остальная литература у Béver et Léautaud, Poètes etc., pp. 164—167.

ся поэтъ (1898)—передовой руководитель передовой французской литературы. На запросъ, обращенный однимъ изъ парижскихъ журналовъ къ молодымъ литераторамъ, кого они особенно почитаютъ послѣ смерти Верлэна, большинство отвѣчавшихъ высказалось за Маллармэ [1]).

Произведенія искусства, по Маллармэ, должны заставлять наслаждающихся ими испытывать то творчество, котораго они плодъ. Поэтому искусство не должно изображать вещи прямо, а только на нихъ намекать. *Назвать* вещь значитъ уничтожить три четверти наслажденія, доставляемаго поэмой и состоящаго въ постепенномъ угадываніи; *внушать* вещь значитъ давать пищу мечтѣ. Символъ состоитъ въ умѣньи пользоваться этой тайной, точнѣе, въ томъ, чтобы вызывать понемногу предметъ съ цѣлью показать состояніе души, или же, наоборотъ, въ томъ, чтобы выбрать предметъ и рядомъ его расшифровокъ вывести изъ него состояніе души. Во всякой поэзіи должна быть загадка, для пониманія которой нужна подготовка [2]).

Маллармэ писалъ мало и печаталъ неохотно, такъ какъ носилъ въ себѣ свои произведенія до тѣхъ поръ, пока они ему не казались вполнѣ удовлетворительными, и въ печатаніи видѣлъ выставленіе на показъ и потому опозореніе созданій мысли. Его

---

[1]) Remy de Gourmont, Le Livre des Masques, pp. 60—61.

[2]) Huret, Enquête etc., pp. 60—61.

творенія служатъ выраженіемъ крайней обособленности, замкнутой въ себѣ и ревниво себя оберегающей отъ вторженія всего посторонняго.

Поэзія Маллармэ (говоритъ одинъ изъ его поклонниковъ [1]) „не представляетъ собою широкаго человѣческаго сокровища, выставленнаго передъ удивленной толпой; она не служитъ выраженіемъ обыкновенныхъ и сильныхъ идей, легко дѣйствующихъ на народное вниманіе, притупленное работой; она личная, замкнутая, подобно цвѣтамъ, боящимся солнца; она благоухаетъ только вечеромъ; она открываетъ свою мысль только для мысли, связанной съ ней тѣсной сердечной и надежной дружбой. Ея слишкомъ суровая застѣнчивость прикрывается слишкомъ обильными покровами; но есть много деликатности въ этой заботливости бѣжать отъ взоровъ и рукъ толпы. Бѣжать, куда бѣжать? Маллармэ укрылся въ темноту, словно въ монастырь; онъ оградилъ себя стѣной кельи отъ пониманія другими; онъ хотѣлъ жить одинъ съ своей гордостью... Творенія Маллармэ самый чудесный предлогъ къ мечтательности, который когда-либо былъ данъ людямъ, усталымъ отъ столькихъ тяжелыхъ и безполезныхъ утвержденій. Поэзія, полная сомнѣній, измѣнчивыхъ оттѣнковъ и двусмысленныхъ благовоній, есть, быть можетъ, единственная, которая еще способна намъ нравиться, и

[1]) Remy de Gourmont, St. Mallarmé et l'idée de décadence. Revue blanche, 15 Nov. 1898.

если слово *декадентство* дѣйствительно выражаетъ всѣ эти прелести осени и сумерокъ, то его можно принять и сдѣлать руководящимъ".

„Маллармэ (говоритъ другой авторъ [1]) это—поэтъ который въ вѣкъ всеобщей подачи голосовъ и наживы держится въ сторонѣ отъ литературы, защищается отъ окружающей глупости своимъ презрѣніемъ, наслаждается вдалекѣ отъ міра неожиданностями ума, видѣніями своего духа, шлифуя и безъ того изящныя мысли, прививая къ нимъ византійскія тонкости, продолжая ихъ въ слегка намѣченныхъ выводахъ, связываемыхъ едва ощутимой нитью.

„Эти сотканныя и драгоцѣнныя идеи онъ закрѣпляетъ языкомъ цѣпкимъ, уединеннымъ и тайнымъ, полнымъ сомкнутыхъ фразъ, эллиптическихъ оборотовъ, смѣлыхъ троповъ. Постигая самыя отдаленныя аналогіи, онъ часто однимъ словомъ, благодаря дѣйствію сходства, обозначаетъ форму, запахъ, цвѣтъ, качество, блескъ существа или предмета, къ которому необходимо было бы прицѣпить многочисленные и разнообразные эпитеты, чтобы распутать всѣ его облики, всѣ оттѣнки, если бы онъ былъ просто названъ своимъ техническимъ наименованіемъ. Такимъ образомъ дѣлается излишнимъ выражать сравненіе, которое, благодаря аналогіи,

[1]) Huysmans, A rebours, pp. 260—261.

само собой устанавливается въ умѣ читателя, когда онъ проникаетъ въ символъ, и ему незачѣмъ разбивать свое вниманіе на каждое изъ качествъ, какъ это было бы, если бы они были поодиночкѣ представлены различными прилагательными, и онъ сосредоточиваетъ его на одномъ словѣ, этомъ цѣломъ, производящемъ, подобно картинѣ, воззрѣніе единое и полное, нѣчто законченное".

Къ этому надо прибавить своеобразность ритма, „ставящаго на ряду съ александрійскимъ стихомъ во всей его выправкѣ, нѣкоторую побочную вьющуюся вокругъ него игру, словно музыкальный аккомпаниментъ, созданный самимъ поэтомъ" [1]).

Эти предварительныя замѣчанія необходимы, чтобы знать, чего собственно искать въ „L'après-midi d'un Faune". Однако и они, какъ легко убѣдиться изъ нижеслѣдующаго отрывка, могутъ способствовать проникновенію въ тайну только достаточно посвященнымъ. Остальные, говоря словами Маллармэ, „должны положить книгу на мѣсто" [2]).

Едва ли нужно пояснять, что знакомить съ Маллармэ въ переводѣ нѣтъ возможности, такъ какъ переводомъ нельзя передать таинственныхъ оттѣнковъ и созвучій оригинала. Мы поэтому выписываемъ отрывокъ въ подлинникѣ:

---

[1]) Huret, тамъ же, p. 62.

[2]) Тамъ же, p. 61.

Ces nymphes, je les veux perpétuer. Si clair,
Leur incarnat léger, qu'il voltige dans l'air
Assoupi de sommeils touffus. Aimai-je un rêve?
Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève
En maint rameau subtil, qui, demeuré les vrais
Bois mêmes, prouve, hélas! que bien seul je m'offrais
Pour triomphe la faute idéale de roses—
Réfléchissons... ou si les femmes dont tu gloses
Figurent un souhait de tes sens fabuleux!
Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus
Et froids, comme une source en pleurs, de la plus chaste:
Mais, l'autre tout soupirs, dis tu qu'elle contraste
Comme brise du jour chaude dans ta toison?
Que non! par l'immobile et lasse pamoison
Suffoquant de chaleurs le matin frais s'il lutte,
Ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte
Au bosquet arrosé d'accords; et le seul vent
Hors des deux tuyaux prompt à l'exhaler avant
Qu'il disperse le son dans une pluie aride,
C'est, à l'horizon pas remué d'une ride,
Le visible et serein souffle artificiel
De l'inspiration, qui regagne le ciel.
O bords siciliens d'un calme marécage
Qu'à l'envi des soleils ma vanité saccage,
Tacites sous les fleurs d'étincelles, contez
„*Que je coupais ici les creux roseaux domptés*
„*Par le talent; quand, sur l'or glauque de lointaines*
„*Verdures dédiant leur vigne à des fontaines,*
„*Ondoie une blancheur animale au repos*:
„*Et qu'au prélude lent où naissent les pipeaux,*
„*Ce vol de cygnes, non! de naïades se sauve*
„*Ou plonge...* Inerte, tout brûle dans l'heure fauve
Sans marquer par quel art ensemble détala

Trop d'hymen souhaité de qui cherche le *lit*:
Alors m'éveillerais-je à la ferveur première,
Droit et seul, sous un flot antique de lumière,
Lys! et l'un de vous tous pour l'ingénuité etc.

Послѣ долгаго напряженія можно уловить главное содержаніе эклоги. Въ ней (по объясненію Гюисманса) поэтъ описываетъ восторги и сожалѣнія фавна, созерцающаго на берегу болота тростники, хранящіе, какъ мимолетный оттискъ, форму наядъ, которая прежде была наполнена ихъ существомъ, а теперь пуста [1]). Но „проникнуть въ безконечныя подробности, въ тысячи скрытыхъ и наслоенныхъ смысловъ,—эти наслажденія остаются (говоритъ другой авторъ) удѣломъ только посвященныхъ", то есть тѣхъ, которые могли присутствовать на литературныхъ вечерахъ у Маллармэ, гдѣ онъ въ кругу избранныхъ развивалъ съ необыкновенной ясностью свои эстетическія теоріи, служившія толкованіемъ къ его твореніямъ. Благодаря этимъ своимъ устнымъ теоріямъ, онъ и сдѣлался главой школы; безъ нихъ его произведенія оказали бы лишь незначительное воздѣйствіе [2]).

Какъ примѣръ того, въ чемъ состояли подобныя толкованія, можно привести изъ Гюисмана, одного изъ наиболѣе ревностныхъ приверженцевъ поэта, объясненіе трехъ послѣднихъ стиховъ выписаннаго отрывка.

---

[1]) A rebours, p. 262.

[2]) Lazare, Les Figures etc., pp. 241. 243. 249.

„Эти стихи съ односложнымъ откинутымъ Lys! вызываютъ (говоритъ онъ) образъ чего то жесткаго, выпрямленнаго, бѣлаго, и этотъ смыслъ еще оттѣняется существительнымъ ingénuité, поставленнымъ въ риѳму и выражающимъ аллегорически однимъ словомъ страсть, разгоряченность, мгновенное состояніе дѣвственнаго фавна, одолѣваемаго похотью при видѣ нимфъ“ [1]).

Впрочемъ, Маллармэ окружилъ себя трудно проницаемой мглой только въ послѣдній періодъ дѣятельности, а въ началѣ писалъ языкомъ вполнѣ понятнымъ и очень изящнымъ, какъ можно, напримѣръ, судить хотя бы по первымъ словамъ стихотворенія „Brise marine“:

La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres.
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux...

Стихи эти по ихъ сжатости и выразительности справедливо считаются образцовыми.

Но и въ періодъ темноты онъ создалъ нѣсколько истинно прекрасныхъ произведеній. Между ними первое мѣсто занимаетъ нижеслѣдующій сонетъ. превосходно изображающій въ одномъ сжатомъ символѣ все міропониманіе поэта и служащій яркимъ выраженіемъ своеобразной прелести его дарованія.

---

[1]) A rebours, тамъ же.

Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui
Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre
Ce lac dur oublié que hante sous le givre
Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui!

Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui
Magnifique mais qui sans espoir se délivre
Pour n'avoir pas chanté la région où vivre
Quand du stérile hiver a resplendi l'ennui.

Tout son col secouera cette blanche agonie
Par l'espace infligée à l'oiseau que le nie,
Mais non l'horreur du sol où le plumage est pris.

Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne,
Il s'immobilise au songe froid de mépris
Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne.

Можно ли лучше изобразить тщетное стремленіе ума вырваться изъ оковъ дѣйствительности, которую онъ считаетъ для себя „безполезнымъ изгнаніемъ“, такъ какъ онъ повсюду и всегда остается ей чуждымъ и никогда къ ней не привыкаетъ? Лебедь можетъ стряхнуть съ своей шеи весь насѣвшій на нее иней, всю ея „бѣлую агонію“, но онъ не въ силахъ освободить изъ льда своихъ крыльевъ. Что ему остается дѣлать? Окутать себя „сномъ холоднаго презрѣнія“—тоже безполезнымъ.

Если вчитаться въ это стихотвореніе съ должнымъ вниманіемъ, то лебедь „въ его бѣлой агоніи“ вырисовывается съ поразительною яркостью, врѣзы-

вается въ память крѣпко и предносится воображенію долго. Сила эстетическаго дѣйствія измѣряется степенью, въ какой художникъ захватываетъ своимъ настроеніемъ. Здѣсь этотъ захватъ полный и цѣпкій. Темнота, обыкновенно мѣшающая эстетическому дѣйствію, при умѣломъ пользованіи ею можетъ его усиливать, если способна держать мысль въ напряженіи словно ребусъ, отгадка котораго дается съ трудомъ или даже вовсе ускользаетъ. Въ приведенномъ стихотвореніи темноты ровно въ мѣру.

На взглядъ почитателей Маллармэ, это стихотвореніе не только вызываетъ бѣлые образы (лебедя, снѣга), но и самые стихи въ немъ бѣлаго цвѣта [1]). Всѣмъ извѣстна выставленная современными символистами теорія о соотвѣтствіи между звуками и цвѣтами. Если между всѣмъ въ природѣ существуетъ тайное соотношеніе, почему ему не быть и въ этомъ случаѣ? Теорія эта была намѣчена Рембо въ сонетѣ „Voyelles“ и затѣмъ развита Гилемъ въ „Traité du Verbe“ (1887). По невозможности оправдать ее на дѣлѣ, она теперь оставлена, и здѣсь поэтому не зачѣмъ на ней останавливаться. Достаточно для ея характеристики привести только что названный сонетъ:

---

[1]) Remy de Gourmont, Le Livre des Masques, p. 60. Vigié-Lecocq, Poésie contemporaine, p. 218.

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes.
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombillent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d'ombre, E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles,
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux;

O, suprême Clairon plein de strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges;
—O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux! [1])

Если эта теорія не имѣетъ общаго значенія, то въ основаніи ея есть нѣкоторая доля истины. Существуютъ болѣзненные случаи такъ называемаго цвѣтного слуха, когда звуковыя ощущенія сопровождаются цвѣтовыми [2]). Извѣстно также, и при томъ давно, что картинность описанія можно усиливать звуковыми ощущеніями, такъ называемыми звукоподражаніями, напримѣръ, употребляя для выраженія плавности дѣйствія слова съ плавными звуками и для выраженія духовныхъ состояній слова съ звуками напоминающими обычныя при изображаемыхъ состояніяхъ восклицанія. Этотъ пріемъ можно прослѣдить уже въ Гомерическихъ поэмахъ [3]).

[1]) Rimbaud, Poésies complètes, p. 7.

[2]) Suarez de Mendoza, L'audition colorée (1892).

[3]) Напр. Il. I, 45—50. Odyss. XI, 595—598.

Въ настроеніи новѣйшаго символизма различаются три періода. Въ первомъ, который можно назвать періодомъ броженія, символизмъ выражаетъ стремленія бурныя и нестройныя, въ образахъ сильныхъ, грубыхъ, порой отталкивающихъ. Какъ прямой вызовъ требуемой разумомъ ясности и раздѣльности, онъ возводитъ въ правило темноту и употребляетъ метафоры, которыя на первый взглядъ кажутся не только не соотвѣтствующими мысли, но прямо безсмысленными, и лишь для напряженнаго вниманія обнаруживаютъ значеніе, и то не всегда. Наиболѣе выразительно представлено это направленіе у Рембо, а теперь въ смягченномъ видѣ у Верхарна, у котораго къ тому же темнота замѣняется мрачностью. Во второмъ, начинающемся съ Маллармэ, настроеніе становится спокойнымъ. Символизмъ выражаетъ тихую задумчивую грусть, кроткую покорность судьбѣ, примиреніе съ необходимостью. Ничего грубаго и отталкивающаго; образы съ колеблющимися, ласкающими очертаніями; если исключить Маллармэ, никакой вызывающей темноты; надо всѣмъ разлитъ тихій мечтательный сумракъ. Крупнѣйшіе представители, кромѣ Маллармэ,—Роденбахъ и Самэнъ. Въ третьемъ, который по времени совпадаетъ со вторымъ, но теперь становится господствующимъ, символизмъ принимаетъ, какъ уже было сказано, пантеистическій характеръ. Мечта и дѣйствительность сливаются, при томъ не въ су-

меркахъ, а среди яркаго сіянія дня. Сумеречныя краски смѣняются свѣтлыми, но образы сохраняютъ неясныя и колеблющіяся очертанія, и въ этой именно неопредѣленности грани между мечтой и дѣйствительностью и лежитъ мистическій характеръ этого направленія. Его выдающіеся представители—Ренье и Вьелэ Гриффэнъ [1]).

Типическимъ образцомъ перваго направленія служитъ „Пьяный корабль" Рембо, второго—„Инфанта" Самэна, третьяго—„Человѣкъ и Сирена" Ренье.

„Пьяный корабль" [2]) съ самаго начала качается на такихъ странныхъ образахъ, что уже съ первыхъ строкъ кажется бредомъ, и это впечатлѣніе съ каждой новой строкой усиливается. Слѣдуетъ однако помнить, что именно такой характеръ и требуется совершенными мистическими произведеніями. И въ данномъ случаѣ передъ нами, говорятъ, настоящее „видѣніе", при томъ „вѣщее". Стихотвореніе это было написано Рембо въ ранней юности (ему было тогда около шестнадцати лѣтъ), и на сколько дѣйствительность можетъ согласоваться съ подобнымъ бредомъ, его жизнь была съ нимъ въ соотвѣтствіи. Болѣе нелѣпой и обильной приключеніями жизни

---

[1]) Обо всѣхъ этихъ поэтахъ—въ неоднократно указанныхъ раньше книгахъ Бриссона, Лазара, Думика, Реми де Гурмона и т. д. Подробная литература у Béver et Léautaud, Poètes etc. въ соотвѣтствующихъ отдѣлахъ.

[2]) Poèsies complètes, pp. 17—22.

трудно найти. Рембо пыталъ судьбу въ различныхъ частяхъ свѣта, и въ городахъ, и на океанѣ, и въ лѣсахъ на Явѣ, и въ африканскихъ пустыняхъ [1]). Онъ жилъ все время такой напряженной жизнью, которая не могла не сопровождаться сильнымъ нервнымъ возбужденіемъ, и потому въ возможности „видѣній“ у Рембо нѣтъ основанія сомнѣваться. [2]) Не мудрено поэтому, что, не смотря на свою нелѣпость или, пожалуй, благодаря ей, „Пьяный корабль“ разсматривается современными символистами какъ совершеннѣйшее произведеніе (chef d'oeuvre). Впрочемъ, внимательное чтеніе безъ труда открываетъ въ немъ мысль, при томъ очень простую и ничуть не глубокую, и если взвѣсить, какимъ способомъ она можетъ быть лучше всего выражена, то нельзя не признать избранный Рембо хотя и безобразнымъ, но подходящимъ.

„Когда я спускался по безстрастнымъ рѣкамъ (разсказываетъ поэтъ), я чувствовалъ, что меня больше не ведутъ бурлаки: крикливые Краснокожіе ихъ избрали цѣлью, прикрѣпивъ нагими къ раскрашеннымъ столбамъ.

„Я не заботился ни о какихъ экипажахъ, я везъ фламандскую рожь и англійскій хлопокъ. Когда

[1]) Berrichon, La Vie de Rimbaud, pp. 68 сл.

[2]) Байронъ прекрасно выразился объ этомъ безпокойствѣ, какъ о нѣкотораго рода безуміи:

This makes the madmen, who have made men mad etc. Childe Harold c. III, XLIII.

вмѣстѣ съ моими бурлаками исчезъ и этотъ шумъ, рѣки предоставили мнѣ спускаться, куда я хотѣлъ.

„Среди бѣшенаго клокота приливовъ въ ту зиму, болѣе глухой, чѣмъ мозги ребенка, я несся! И отторгнутые полуострова не испытывали болѣе торжествующей суматохи.

„Буря благословила мои морскія пробужденія. Легче пробки я десять ночей плясалъ на волнахъ, называемыхъ вѣчными кателями жертвъ, не сожалѣя о глупомъ глазѣ фонарей.

„Слаще, чѣмъ для дѣтей сокъ надежныхъ яблокъ, зеленая вода проникала сквозь мою сосновую скорлупу и обмывала меня отъ пятенъ синихъ винъ и отъ блевотины, разбивая руль и дрекъ.

„И съ той поры я окунулся въ поэму моря, настоенную звѣздами и шедшую вширь, пожирая зеленую лазурь, въ которую, блѣдный и восхищенный пловецъ, иногда опускается задумчивый утопленникъ,

„Въ которой, вдругъ окрашивая голубизны, бѣшенства и медленный ритмъ подъ русымъ сіяніемъ дня, крѣпче спирта, шире вашихъ лиръ, перебраживаютъ горькія рыжины любви!

„Я знаю небеса, разверзающіяся молніями, и смерчи, и буруны, и теченія; я знаю вечера, зарю такую же возбужденную, какъ стая голубей, и я видѣлъ иногда то, что человѣку казалось, будто онъ видѣлъ.

„Я видѣлъ низкое солнце, окрашенное мистическими ужасами, освѣщающее длинными фіолетовыми окоченѣлостями, подобныя актерамъ очень древнихъ драмъ волны, катящія вдаль свой трепетъ ставней.

„Я мечталъ о зеленой ночи съ ослѣпительными снѣгами, о поцѣлуяхъ, медленно восходящихъ къ глазамъ морей; о круговращеніи неслыханныхъ соковъ и желтомъ и голубомъ пробужденіи пѣвучихъ фосфоровъ.

„Я слѣдилъ цѣлые мѣсяцы, какъ, словно истерическій коровникъ, прибой идетъ на приступъ скалъ, и я не думалъ о томъ, что свѣтлыя стопы Марій могутъ наложить узду на напористые океаны.

„Я наталкивался—знаете ли - на невѣроятныя Флориды, смѣшивая съ цвѣтами глазъ пантеръ, съ кожей людей, радуги, натянутыя словно возжи, подъ горизонтомъ морей, на сѣрозеленыя стада.

„Я видѣлъ, какъ перебраживаютъ болота, огромныя верши, въ которыхъ гніетъ въ тростникахъ цѣлый левіаѳанъ, низверженіе водъ среди затишья, дали, стремящіяся водопадами къ пучинамъ,

„Ледники, серебряныя солнца, перламутровыя волны, пылающія небеса, отвратительныя застрѣванія на мелкомъ днѣ смуглыхъ заливовъ, гдѣ огромныя змѣи, пожираемыя клопами, черными благовоніями ласкаютъ искривленныя деревья.

„Я бы хотѣлъ показать дѣтямъ эти позолоты голубой волны, эти золотыя рыбы, эти пѣвучія рыбы.

Пѣны цвѣтовъ благословляли мои отчаливанія, и несказанные вѣтры меня окрыляли по временамъ.

„Иногда, утомленный мученикъ полюсовъ и поясовъ, океанъ, котораго рыданіе дѣлало мою качку сладкой, подымалъ ко мнѣ цвѣты мрака съ желтыми отдушинами, и я оставался словно женщина на колѣнахъ,

„Когда полуостровъ колыхалъ у моего борта ссору и изверженія крикливыхъ бѣлоглазыхъ птицъ, и я плавалъ, тогда какъ сквозь мои хрупкіе скрѣпы утопленники, пятясь, спускались спать.

„А я, корабль затерянный подъ волосами бухтъ, бросаемый ураганомъ въ эѳиръ безъ птицъ, я, котораго упоенный водой остовъ не могли бы выудить ни мониторы, ни Ганзейскіе парусники,

„Свободный, дымящійся, подымаемый фіолетовыми туманами, я, пронизывавшій красное небо, словно стѣну, которая носитъ отрадное лакомство для поэтовъ, лишаи солнца и сопли лазури,

„Который бѣжалъ при освѣщеніи электрическихъ луночекъ, я, безумная доска, сопровождаемая черными гиппопотамами, когда іюль ударами дубинъ заставляетъ рушиться ультрамариновыя небеса съ пылающими воронками,

„Я, который трепеталъ, внимая за пятьдесятъ лье ржанію отъ совокупленія гиппопотамовъ съ густымъ мальштромомъ, я, вѣчный бѣглецъ по голубымъ неподвижностямъ, я сожалѣю объ Европѣ съ ея старыми перильчатыми набережными.

„Я видѣлъ звѣздные архипелаги и острова, которыхъ безумныя небеса открыты для пловца: не въ этихъ ли бездонныхъ ночахъ ты спишь и не туда ли себя изгоняешь, милліонъ золотыхъ птицъ, о будущая бодрость?

„Но, по истинѣ, я слишкомъ много плакалъ. Зори раздираютъ душу, всякая луна жестока и всякое солнце горько. Острая любовь меня вспучила упоительными оцѣпенѣніями. О, пусть разлетится мой киль! о, пусть я пойду въ море!

„Если я желаю воды Европы, то черной и холодной лужи, гдѣ, среди благоухающихъ сумерокъ, сидящій на корточкахъ ребенокъ, полный печали, пускаетъ хрупкій кораблик, словно майскую бабочку.

„Я не могу больше, окунувшись въ вашу истому, о волны, отнять скорость у судовъ, везущихъ хлопокъ, ни проникнуть тщеславіе знаменъ и огней, ни плавать передъ ужасными глазами понтоновъ".

Основная мысль этого безобразнаго произведенія несомнѣнно та, общеизвѣстная и избитая, что жизнь есть бурное, но безсмысленное волненіе, качающее насъ безцѣльно изъ стороны въ сторону, и что все то, чѣмъ мы обольщаемся, только нелѣпые призраки. Неразуменъ тотъ, кто отправляется въ дальнее плаваніе за поисками обѣтованной земли. Тревожное сердце нигдѣ и никогда не можетъ успокоиться. Когда мы живемъ въ тиши, намъ кажутся привлекательными бури и при-

ключенія, но кто въ полной мѣрѣ испыталъ море, тотъ предпочтетъ ему лужу, въ которой дѣти пускаютъ кораблики. И не есть ли это пустое дѣтское занятіе символъ всей нашей дѣятельности?

Нелѣпая погоня за нелѣпыми призраками и вся нелѣпость жизни и должна быть выражена въ нелѣпой формѣ. Отсюда вся эта отталкивающая своеобразность „Пьянаго корабля".

„Инфанта" [1]) Самэна по формѣ прямо противоположна „Пьяному кораблю". На сколько онъ грубъ и безобразенъ, на столько она изящна и прекрасна. По мысли она какъ бы его дополненіе. Если для всякаго человѣка счастье есть только призракъ, то особенно печально положеніе тѣхъ, которые своимъ духовнымъ міромъ возвышаются надъ дѣйствительностью и живутъ слишкомъ нарядной и парадной внутренней жизнью. Своимъ желаніямъ и чаяніямъ они могутъ найти соотвѣтствіе въ жизни тѣмъ менѣе, что ея грубая сутолка для ихъ утонченной чувствительности невыносима. Ихъ удѣлъ—замкнуться въ себѣ, создать свой собственный міръ грезъ и прислушиваться изъ него къ грохоту жизни, словно къ шуму отдаленнаго моря. Душа такихъ людей подобна прекрасной царевнѣ, живущей въ изгнаніи въ роскошномъ дворцѣ.

„Моя душа—инфанта въ парадномъ нарядѣ, которой вѣчное и царственное изгнаніе отражается въ

[1]) Au Jardin d'Infante, pp. 7—10.

огромныхъ покинутыхъ зеркалахъ стараго Эскуріала подобно галерѣ, забытой на рейдѣ.

„У ногъ ея кресла растянулись въ благородной осанкѣ двѣ шотландскія борзыя съ грустными глазами, и онѣ охотятся, когда ей бываетъ угодно, за символическими звѣрями въ лѣсу Грезы и Очарованія.

„Ея любимый пажъ, по имени Недавно, читаетъ ей въ полголоса плѣнительныя поэмы, и она неподвижно, съ тюльпаномъ въ рукѣ, внимаетъ, какъ въ ней замираетъ ихъ тайна.

„Кругомъ нея садъ раскинулъ свою зелень, свой мраморъ, свои бассейны, свои террасы и перила, и, сосредоточенная, она упояется тѣми сіяющими мечтами, которыя скрываютъ для насъ благородные кругозоры.

„Она покорна судьбѣ, и кротка, и не удивляется, и не борется, такъ какъ знаетъ надо всѣмъ силу рока и сознаетъ себя, не смотря на нѣкоторое врожденное ей презрѣніе, чувствительной къ жалости, словно вода вѣянію вѣтра.

„Она покорна судьбѣ и кротка въ своихъ рыданіяхъ и только еще больше омрачается, когда вызываетъ въ своей мечтѣ какую нибудь Армаду, сокрушенную въ вѣчномъ обманѣ, и такъ много прекрасныхъ надеждъ, заснувшихъ подъ волнами.

„По вечерамъ, слишкомъ обремененнымъ пурпуромъ, когда страдаетъ ея гордость, портреты Ванъ

Дика съ прекрасными, длинными, чистыми пальцами, блѣдные въ черномъ бархатѣ на старомъ золотѣ стѣнъ, своимъ важнымъ видомъ мертвецовъ заставляютъ ее мечтать о власти.

„Старые миражи золота разсѣиваютъ ея печаль, и среди видѣній, въ которыхъ исчезаетъ ея тоска, падающій на нее лучъ—славы или солнца—вдругъ зажигаетъ въ ней всѣ рубины тщеславія.

„Но печальной улыбкой она успокаиваетъ эти тревоги и, боясь толпы съ ея желѣзнымъ грохотомъ, она прислушивается къ жизни издали, словно къ морю. И еще глубже становится на ея устахъ тайна.

„Ничто не волнуетъ блѣдную воду ея глазъ, гдѣ сидитъ покрытый Духъ мертвыхъ Городовъ, и по заламъ, въ которыхъ безшумно отворяются двери, она ходитъ, очаровывая себя таинственными словами.

„Напрасно тамъ, внизу, роняютъ свои струи фонтаны,—она, блѣдная, стоитъ у окна съ тюльпаномъ въ рукѣ и отражается въ старыхъ зеркалахъ словно галера, забытая на рейдѣ.

„Моя душа подобна инфантѣ въ парадномъ нарядѣ“.

Едва ли можно въ лучшемъ символѣ изобразить необходимость для ума, живущаго „парадной жизнью“, заточиться въ свой собственный міръ. Но здѣсь, больше чѣмъ гдѣ либо, необходимо напомнить, что

своеобразная прелесть подобныхъ произведеній не можетъ быть передана никакимъ переводомъ. Отъ начала до конца проходитъ по стихотворенію неуловимая сумеречная тѣнь, какая то (говоря словами того же поэта) „греза въ геліотроповомъ платьѣ, съ распущеннымъ поясомъ, съ темной фіалкой въ рукахъ, задѣвающая души своимъ туманнымъ шлейфомъ [1])", отъ начала до конца въ немъ звучитъ тихая и грустная мелодія, говорящая только чуткому слуху. Нижеслѣдующее небольшое стихотвореніе Самэна даетъ лучше всякихъ объясненій понять, особенно послѣдними строками, основной тонъ этой сумеречной поэзіи:

J'adore l'indécis, les sons, les couleurs frêles,
Tout ce qui tremble, ondule, et frissonne, et chatoie,
Les cheveux et les yeux, l'eau, les feuilles, la soie,
Et la spiritualité des formes grêles;

Les rimes se frôlant comme des tourterelles,
La fumée où le songe en spirales tournoie,
La chambre au crépuscule, où Son profil se noie,
Et la caresse de Ses mains surnaturelles;

L'heure de ciel au long des lèvres câlinée
L'âme comme d'un poids de délice inclinée,
L'âme qui meurt ainsi qu'une rose fanée,

Et tel coeur d'ombre chaste, embaumé de mystère,
Où veille, comme le rubis d'un lampadaire,
Nuit et jour, un amour mystique et solitaire. [2])

---

[1]) Тамъ же, p. 42 (Even Tide). См. гл. XIV.

[2]) Тамъ же, pp. 57—58 (Dilection).

Однако, возможно ли заточить себя на долго въ міръ мечты? Какъ бы мы ни старались оградить себя отъ дѣйствительности, мы съ нею неразрывно связаны. Пусть наша мысль крылатая; не безъ лукавства нѣкоторый богъ обременилъ ее втихомолку землею, чтобы она не могла улетѣть слишкомъ далеко отъ земли. И, быть можетъ, объ этомъ сожалѣть не зачѣмъ. Если жизнь не даетъ отрады, то много чуднаго въ природѣ. Лишь бы не закрывать глаза на природу, и мысль принесетъ „въ своихъ очахъ грезы тѣни и золота, полныя благовонія лѣса и морского запаха".

Живыми чертами изображаетъ этотъ поворотъ мысли къ природѣ Ренье въ своей „Pensée" [1]).

Ma pensée, au retour d'elle-même, s'incline
Et, souriante, arrache à son récent essor
La rapide sandale où vibre et tremble encor
L'aile double jadis qui l'a faite divine.

Elle a passé le fleuve et passé la colline,
Dormi dans la forêt et dormi dans le port
Et rapporte en ses yeux des songes d'ombre et d'or
Pleins du parfum des bois et de l'odeur marine.

Et, pesante qui marche ou légère qui vole,
Elle effleure en passant l'herbe que son pied frôle,
Ou marque son pas lourd sur le sol du chemin,

Car pour que son talon pèse ou se pose à peine,
Un dieu furtivement n'a pas lié en vain
La sandale terrestre à l'aile aérienne.

[1]) Médailles d'argile (1900), p. 23.

Кто истомленъ жизнью, того сильно влечетъ міръ чистыхъ видѣній. Но сколь ни настойчиво они къ себѣ манятъ, ихъ призывъ мимолетенъ въ сравненіи съ тѣмъ, который обращаетъ къ намъ жизнь. Видѣнія быстро проходятъ и скрываются въ тѣни, тогда какъ жизнь непрестанно протягиваетъ къ намъ свои руки. Не лучше ли поэтому искать въ ней осуществленія нашихъ желаній? Это не обозначаетъ отказа отъ мечты. Мечта—неотъемлемая часть жизни. Нужно только, чтобы она находила опору въ природѣ, и обратно—чтобы природа была проникнута нашей мечтой. Міръ внѣшній и внутренній должны взаимно себя дополнять: въ каждомъ явленіи природы мы должны видѣть отблескъ нашего *я*, но и наше *я* мы должны наполнять всей красотой природы. Короче, мысль и природа должны объединяться творчествомъ. Творчество—единственное средство вмѣстѣ сдѣлать жизнь прекрасной и увѣковѣчить это прекрасное [1]).

Этими взглядами проникнута поэтическая дѣятельность Вьелэ-Гриффэна. Мистицизмъ здѣсь замѣняется пантеизмомъ, мѣсто иного міра заступаетъ этотъ міръ, и таинственность сказывается лишь въ неопредѣленности черты, отдѣляющей наше *я* отъ внѣшняго міра, во власти котораго оно на-

---

[1]) Vielé-Griffin, Etire toi etc. въ сборникѣ La Clarté de Vie (1897), вмѣсто предисловія.

ходится. Хотя мы считаемъ себя обособленными и самостоятельными, однако мы настолько погружены въ природу и ей подчинены, что невозможно найти границу между областью нашего *я* и областью внѣшняго на него воздѣйствія. Сліяніе это изображается, напримѣръ, въ слѣдующей пѣснѣ [1]).

Des oiseaux sont venus te dire
Que je te guettais sous les lilas mauves,
Car tu rougis en un sourire
Et cachas tes yeux en tes boucles fauves
Et te pris à rire.

Des fleurs t'ont promis quelque chose,
Car tu leur parlais comme on admoneste,
Puis voici que tu devins rose
En les effeuillant d'un si joli geste
Qu'il en disait la cause.

La mer où s'en vont tes regards en nacelles
Te dit elle aussi: „Ton heur te coudoie",
Que, te retournant, tu t'épeures et chancelles
A me voir, là, tout près, sous les lilas frêles
—La mer, ou les fleurs, ou les hirondelles,
Ou ton âme à toi, subtile en sa joie?

Въ этой пѣснѣ „подъ увитую жасминомъ лютню" чувство и природа такъ же переплетены между собою, какъ поэзія и музыка. То-же и въ остальныхъ произведеніяхъ Вьелэ-Гриффэна.

Такое сліяніе тѣмъ краснорѣчивѣе, чѣмъ въ большемъ освѣщеніи выступаетъ, и потому это на-

[1]) Poèmes et poèsies (1895), pp. 102—103.

правленіе не только не избѣгаетъ свѣта и не ищетъ сумерокъ, а, наоборотъ, избѣгаетъ сумерокъ и ищетъ свѣта. У Вьелэ-Гриффэна вся природа залита яркимъ солнечнымъ сіяніемъ. Какъ поэтъ свѣтлыхъ картинъ природы онъ занимаетъ видное мѣсто и по яркости красокъ, и по музыкальности стиха. Напримѣръ, изъ „Eurythmie“ описаніе весны [1]):

Dans mon verger de Mai—je te l'avais dit—
Dans mon verger de Mai toute rose rit.
Le soleil perle en pleurs aux pétales,
Une branche balance une chanson de nid,
La douceur s'éperd des senteurs matinales;

Dans mon vallon de Mai tout arum s'étire,
Le soleil s'aveugle au miroir mobile,
Un ruisseau roule un rêve en son rire,
Une araignée en les roseaux file,
Un oiseau se mire;

Sous ma forêt de Mai fleure tout chèvrefeuille,
Le soleil goutte en or par l'ombre grasse,
Un chevreuil bruit dans les feuilles qu'il cueille,
La brise en la frise des bouleaux passe,
De feuille en feuille;

Par ma plaine de Mai toute herbe s'argente,
Le soleil y luit comme au jeu des épées,
Une abeille vibre aux muguets de la sente
Des hautes fleurs vers le ru groupées,
La brise en la frise des frênes chante...

---

[1]) Тамъ же, pp. 208—209.

Подобнымъ же взглядомъ о необходимости перенести мечту въ жизнь и наполнить жизнь мечтою подсказана и поэтическая дѣятельность Ренье, крупнѣйшаго изъ современныхъ символистовъ. Но, отстаивая тѣсную связь между внѣшнимъ и внутреннимъ міромъ, онъ не устаетъ указывать на то, что мы своей мыслью пытаемся разорвать эту связь и этимъ омрачаемъ нашу жизнь и даже ее убиваемъ. Наиболѣе цѣльнымъ выраженіемъ міровоззрѣнія Ренье служитъ поэма „Человѣкъ и сирена“ [1]).

Поэма начинается пѣснью рулевого на удаляющемся кораблѣ. „Я знаю (поетъ онъ) все море, все море, и что есть сирены въ морѣ“. Прежде онъ былъ земледѣльцемъ и заносилъ топоръ на деревья, на живущихъ въ нихъ дріадъ, и ихъ кровь обагряла его руки. Онъ видѣлъ фавновъ, воровавшихъ пчелъ, пляску сатировъ и слышалъ, какъ надъ этой пляской смѣялись нимфы. Корабль исчезаетъ, и пѣсня прекращается. На морскомъ берегу сидитъ человѣкъ въ широкой черной одеждѣ. На колѣнахъ у него покоится голова нагой красавицы. Онъ ее будитъ, такъ какъ его безпокоитъ то, что онъ не знаетъ, какія у нея мысли, и что, когда онъ смотритъ ей въ лицо, то ему кажется, будто онъ въ ней видитъ свою собственную мысль въ черномъ одѣяніи. Его печальная душа встревожена этой незнакомой душой. „Я не могу (говоритъ онъ) жить, когда ты спишь, оставаясь

[1]) Въ сборникѣ Les Jeux rustiques et divins (1897), pp. 45—80.

для меня незнакомой". Опять новая картина. На опушкѣ лѣса сидятъ три пряхи, работаютъ и поютъ. Одна прядетъ нить, другая готовитъ изъ нея одежду вѣроломства, третья вплетаетъ въ эту одежду узоры лжи. Пряхи скрываются въ лѣсу, а изъ него выходятъ одѣтый въ черное человѣкъ и красавица въ легкой прозрачной одеждѣ словно изъ тумана. Она предлагаетъ ему розы, затѣмъ свои уста. Онъ отвергаетъ то и другое. Она спрашиваетъ его, отчего, когда кругомъ сіяетъ и радуется вся природа, его руки холодны, и онъ печаленъ и сосредоточенъ? Она призываетъ его принять участіе въ этомъ торжествѣ природы, съ которой она сама нераздѣльна. „Въ моемъ дыханіи (говоритъ она) ты почувствуешь запахъ всего лѣса. Мои чистые глаза свѣжи словно источники. По мѣстамъ моя кожа покрылась мхомъ. Мнѣ нынче кажется, что мои груди разцвѣли, и если я стану плакать, то моимъ откликомъ будутъ кроткія горлицы. Въ моемъ смѣхѣ разсѣяны пчелы и, когда я вытягиваюсь среди теплаго воздуха, то я становлюсь больше, чувствую себя болѣе красивой и великолѣпной отъ всеобщей жизни". Она хочетъ, чтобы онъ смотрѣлъ, когда она будетъ купаться. Ея одежда распахивается и открываетъ ее во всей наготѣ. Человѣкъ въ черномъ приходитъ въ негодованіе отъ этого безстыдства. „О, лѣсъ (говоритъ онъ), ты, широко сіяющій золотомъ и солнцемъ при видѣ того, какъ она обнажилась съ

головы до ногъ, погаси блескъ своихъ водъ, деревьевъ и розъ, омрачись! Цѣломудренный, спаси того, кто пришелъ къ тебѣ покрытый чернымъ одѣяніемъ... Если я когда то на зарѣ мечталъ на морскомъ берегу объ ея нечистой наготѣ, то клянусь, что я—волшебникъ въ черной одеждѣ изъ печали, науки и вечера—хотѣлъ пробудить въ ея тѣлѣ важную душу, въ уровень съ моей высокой мыслью, душу, изгнанную изъ ея тѣла богами". Онъ ее грубо прогоняетъ, но она не хочетъ его покидать и плачетъ. Онъ смягчается и зоветъ ее слѣдовать за нимъ въ его высокій домъ, гдѣ она должна сидѣть молчаливо и съ ученымъ и сосредоточеннымъ видомъ, облокотясь на книгу. Однако онъ не желаетъ видѣть ее нагою и приказываетъ пряхамъ, медленно выступающимъ изъ лѣса, нарядить ее въ одежды, обуть въ сандаліи, украсить золотомъ и серебромъ, „такъ какъ мысль должна быть прекрасной и благородной". Пряхи исполняютъ это приказаніе и затѣмъ, когда человѣкъ и красавица удаляются, объясняютъ случившееся. „Она была (говоритъ одна изъ нихъ) природой, онъ пожелалъ женщину. Не понявъ, почему она была нагою, онъ сдѣлалъ факелъ изъ того, что было пламенемъ... Этотъ свѣточъ внесетъ въ его домъ пожаръ, и едва только подойдетъ она къ порогу, какъ вмѣстѣ съ ней проникнетъ въ домъ и смерть. Вмѣстѣ съ темнымъ плащемъ она облеклась въ печаль; хитрость

поскрипываетъ въ осторожной поступи ея сандалій; ея заплетенныя косы стали тщеславіемъ. Ея покрывало—ложь, и мерзкое золото ея колецъ подобно тѣмъ клятвамъ, которымъ улыбается холодная жестокость ея мраморнаго лица". Пряхи уходятъ, и передъ нами опять морской берегъ, тотъ же самый, какъ въ началѣ поэмы. Человѣкъ лежитъ мертвымъ, а возлѣ него стоитъ красавица, одѣтая въ длинное сѣрозеленое платье, котораго хвостъ кажется чешуйчатымъ. Она оплакиваетъ „печальнаго брата съ глазами, полными науки и мечты". Она говоритъ, что слѣдовало бы ею любоваться и любить ее такъ, какъ любуются и наслаждаются природой,— просто, не раздумывая, и не пытаясь распознать „поступь судьбы на книгѣ морского берега, гдѣ море ежедневно смываетъ пустое и печальное чернокнижіе", которымъ занимается человѣкъ. „Ты долженъ былъ бы (продолжаетъ она) открыть въ твою мысль доступъ вѣтру, солнцу, любви, и твои сосредоточенныя блѣдныя и задумчивыя уста освѣжить моими свѣжими губами. Во мнѣ нѣтъ призрака твоей тѣни, я не та тѣнь, которую ищетъ твоя мечта. Зачѣмъ ты нарядилъ меня въ тяжелыя одежды? Зачѣмъ этимъ обманомъ, покрывающимъ меня теперь своими складками, ты сдѣлалъ меня подобной другимъ женщинамъ, меня чистую, живую, нагую? Зачѣмъ ты меня одѣлъ?... Спи же, спи! А рѣки все такъ же спокойно и величаво текутъ къ

морю черезъ пышные луга и черезъ лѣса, и возлѣ фонтановъ растутъ и ирисъ, и розы, есть и птицы и пчелы". Затѣмъ сирена обращается съ мольбой къ морю опять взять ее къ себѣ, колыхать ея золотые волосы вмѣстѣ съ водорослями, принять ея груди среди морскихъ цвѣтовъ, смѣшать ея губы съ кораллами, сдѣлать изъ ушей раковины, и скрывать ее до тѣхъ поръ, пока она опять вынырнетъ изъ пѣны и появится такой же, какъ теперь. Море катитъ высокую волну и захватываетъ сирену. На небѣ загораются звѣзды, и вдали съ незримаго корабля опять, какъ въ началѣ поэмы, слышна пѣсня рулевого. Не смотря на муки, которыя ему пришлось испытать за свое упрямство, онъ продолжаетъ утверждать, что есть и сирены, и фавны, и дріады, и центавры, и нимфы, и что ничто не „мертво передъ лицомъ нашей души".

Въ этой поэмѣ проводятся нѣсколько главныхъ мыслей: 1) все оживлено и одухотворено, 2) наша природа неразъемлема съ остальной, 3) та и другая хороши лишь въ ихъ наготѣ, но мы ихъ извращаемъ нашими измышленіями и условностями, 4) смыслъ природы отъ насъ скрытъ, и когда мы пытаемся въ него проникнуть, мы не только не достигаемъ цѣли, но отравляемъ этими безплодными попытками свою жизнь и даже ее убиваемъ, 5) этотъ разлагающій нашу жизнь ядъ есть наша пытливая мысль,

старающаяся заглядывать туда, куда заглянуть нельзя и не слѣдуетъ.

Поэма эта изъ числа наиболѣе продуманныхъ образцовъ современнаго символизма. Тѣмъ не менѣе ее нельзя разсматривать какъ типъ, такъ какъ не всѣ символическія произведенія носятъ миѳологическую окраску, но нѣкоторыя берутъ содержаніе изъ повседневной жизни. Лучшій изъ такихъ разсказовъ написанъ тѣмъ же Ренье и называется „Гертюли или посланія“ [1]). Въ разсказѣ этомъ, почти безъ дѣйствій, три лица—Гермотимъ, Гермасъ, Гертюли. Послѣдняя—главное лицо. Всѣ они обрисованы убѣгающими и сглаженными чертами, но въ то же время выступаютъ отчетливо. По этимъ качествамъ „Гертюли“ можетъ служить однимъ изъ лучшихъ примѣровъ современной поэтической живописи. Разсказъ (который мы здѣсь передаемъ въ сильно сокращенномъ изложеніи) начинается съ письма Гермотима къ Гермасу.

„Когда тебѣ отдадутъ это письмо (пишетъ онъ), я буду уже далеко: я буду идти всю ночь при звѣздахъ, я буду идти всю ночь на встрѣчу своей судьбѣ. Я не думалъ, что мнѣ придется покинуть эти прекрасные сады. Мы тамъ гуляли вмѣстѣ; тамъ я встрѣтилъ Гертюли; тамъ ты передашь ей о моемъ уходѣ. Она обвинитъ мою любовь, и я покидаю ее

---

[1]) Въ сборникѣ Canne de Jaspe (1897), pp. 131—171.

отъ любви. Любовь должна быть гостьей мудрости, и я ухожу, чтобы приготовить для нея эту обитель. Я люблю Гертюли, но не хочу, чтобы наша любовь была смѣшнымъ подражаніемъ любви. Гертюли будетъ плакать. Я возвращусь. Пусть она иногда навѣщаетъ тебя въ твоемъ молчаливомъ дворцѣ".

Въ эти чудные сады, гдѣ сверкаютъ струями фонтаны, гдѣ подъ тѣнью развѣсистыхъ деревьевъ въ спокойныхъ водоемахъ тихо плаваютъ, словно мертвыя, старыя, поросшія мхомъ, рыбы, и гдѣ прежде были неразлучны Гермотимъ и Гермасъ, сегодня пришелъ одинъ Гермасъ и сталъ ожидать Гертюли. Съ улыбкой вошла она въ садъ, надѣясь встрѣтить Гермотима. Въ ея рукѣ длинный цвѣтущій стебель ириса. Она и этотъ стебель похожи другъ на друга: оба стройны и гибки, оба нѣжны и въ полномъ цвѣту. Бѣлое и розовое платье Гертюли, вытканное шелковыми цвѣтами, кажется зеленымъ отъ отблеска листвы и воды. Молча вручилъ ей письмо Гермасъ. Она съ грустью читаетъ его, облокотившись на колѣни, на лежащій на нихъ ирисъ. И чѣмъ дальше читаетъ она письмо, тѣмъ тише становится въ саду; замолчали фонтаны; словно застыла вода, будто окаменѣли деревья. Пали на землю влажныя сумерки, и увидѣлъ Гермасъ, какъ отразилось въ угрюмомъ зеркалѣ воды, словно преображенное сномъ, грустное лицо Гертюли. „Нѣжная Гертюли (сказалъ онъ ей), вы слишкомъ хороши, чтобы не смотрѣть иногда въ глаза людямъ. Почти всѣ человѣческія

лица печальны отъ облика ихъ прошлаго; все существуетъ только во снѣ. Но вотъ наступила ночь; закрыли фонтаны, пора уходить. Возвращаются отъ всякой мудрости, и порванные цвѣты опять разцвѣтутъ". Гертюли осталась одна съ сломаннымъ стеблемъ ириса въ рукѣ, но порвался стебель, и упалъ цвѣтокъ на землю. Еще молчаливѣе послѣ этого стало въ саду, и на свѣтлой полосѣ неба, надъ высокими деревьями, зажглась звѣзда.

Тихо спитъ Гертюли на постели своей, на этой баркѣ, украшенной мѣдными лебедями, и плыветъ эта барка по ковру, по вышитымъ на немъ дремлющимъ водянымъ лиліямъ, взмахомъ крылъ своихъ лебедей, въ царство сновъ. И снятся Гертюли звуки флейтъ, и сливаются они съ звуками фонтановъ, и вторятъ звуки воды звукамъ флейтъ. Спугнулъ эту грезу румяный утренній лучъ, ворвавшійся въ окно вмѣстѣ съ уличнымъ шумомъ. Но другіе звуки навѣваютъ ей грезы. Три вяза растутъ подъ ея окномъ, и нашептываютъ они другъ другу свои тайны, и любитъ слушать ихъ шелестъ, сидя у окна, Гертюли.

Чѣмъ дальше бѣгутъ дни, тѣмъ больше бѣжитъ сонъ отъ очей Гертюли, и читаетъ она по безсоннымъ ночамъ все то же письмо. Миновало лѣто, осень стоитъ на порогѣ. Распахнула окно Гертюли, думаетъ о послѣднемъ лѣтнемъ теплѣ, смотритъ на полдень и

видитъ—летитъ съ улицы стрѣла, заколебалась въ кружевной занавѣскѣ и вонзилась въ коверъ. На улицѣ никого. Откуда эта стрѣла, отчего она словно смѣется своимъ треугольнымъ стальнымъ остріемъ? И подсказала душа Гертюли, что послана эта стрѣла Гермотимомъ. И немного спустя опять неизвѣстно откуда появился кинжалъ на столѣ Гертюли. Не плачетъ теперь Гертюли, изсушила безсонница слезы, лишила ее послѣдней услады—лить слезы. Задули осенніе вѣтры, склонилась осень къ зимѣ, прошла и зима, и опять весна стала гнать тучи къ сѣверу. Пошла купить раннихъ цвѣтовъ Гертюли, и, когда вернулась, увидала, что кто то принесъ безъ нея оловянную дорожную кружку, всю измятую, словно изъ далекаго пути, и зеркало. Прибавлялись дни, и ласточки прилетѣли, и любила смотрѣть на ихъ быстрый полетъ Гертюли, какъ кружились онѣ отъ утренней зари до сумерокъ, когда смѣняли ихъ летучія мыши, и казалось Гертюли, что неувѣреннымъ взмахомъ своихъ крыльевъ чертятъ летучія мыши тайныя письмена. И однажды, когда она особенно долго смотрѣла, какъ пишутъ онѣ на вечернемъ небѣ своими зигзагами гіероглифы, она, отходя отъ окна, споткнулась о что то звонкое на коврѣ,—то былъ ключъ. И сжалилась послѣ этого надъ ней темнота, что столько предзнаменованій ее измучили, и сомкнула ей сномъ глаза. И усѣяла утренняя заря своимъ свѣтомъ бѣлый, словно саванъ, покровъ

Гертюли, и когда она проснулась, у нея на груди неизвѣстно кѣмъ былъ положенъ спѣлый колосъ.

Не стерпѣла тогда Гертюли, запросила душа разгадать тайну, и рѣшила идти Гертюли въ молчаливый дворецъ Гермаса. Зноемъ пышетъ съ небесъ, дремлетъ садъ передъ дворцомъ, и дворецъ словно скованъ сномъ. Никто не встрѣтилъ Гертюли, и идетъ она одна по дворцу, видитъ тамъ и скульптуру, и статуи, и драгоцѣнныя ткани, и золото, и лакъ, и люстры. И все дальше идетъ по роскошнымъ палатамъ Гертюли, и нѣтъ нигдѣ ни души. И только въ одномъ изъ залъ, въ которомъ всѣ стѣны увѣшаны зеркалами, увидала Гертюли человѣческій обликъ,—свое собственное лицо, отображенное зеркалами. Дальше, дальше идетъ Гертюли, и вотъ передъ ней большой залъ, раскрыты въ немъ окна на причудливый садъ, и легкій вѣтеръ разсѣялъ по столу исписанные листки, еще влажные отъ чернилъ. И возлѣ этихъ листковъ и стрѣла, и кинжалъ, и кружка, и ключъ, точь въ точь какъ тѣ, которые своей тайной встревожили Гертюли, и зрѣлый колосъ ласкалъ своей бородой шелковую скатерть, покрывавшую столъ. И вдругъ позади кипарисовъ въ саду раздались флейты, сначала въ одиночку и нестройно, а затѣмъ слились въ общую гармонію. Онѣ пѣли гдѣ то далеко, на порогѣ приближавшейся ночи, въ убѣжищѣ тѣни. Гертюли признала въ нихъ флейты своего сна,

только еще болѣе смертельныя и безнадежныя. И поняла Гертюли, что Гермотимъ не вернется. Она знала это давно по сломанному ирису и гіероглифамъ летучихъ мышей; объ этомъ ей теперь напѣвали флейты, и ей казалось, что то же ей нашептываетъ и отсутствующій Гермасъ. Какъ тогда въ саду, онъ ей словно шепталъ: „Гертюли, нѣжная Гертюли, закрыли фонтаны; они горько плакали по ночамъ; они плачутъ въ твою жизнь, они плачутъ въ твою судьбу. О, Гермотимъ, ты не вернешься. Свидѣтели мнѣ эта странствующая стрѣла, жестокій кинжалъ, кружка, означающая долгое странствіе, этотъ ключъ, которымъ ты заперъ за собою прошлое. Колосъ не можетъ сдѣлаться цвѣткомъ, мудрость не сдѣлается любовью“.

Флейты смолкали по мѣрѣ того, какъ чудились эти слова Гертюли. Садъ окутался тѣнью. Тихо вышла изъ комнаты Гертюли. И опустилась позади ея черная вышитая золотомъ занавѣска, колыхнулась на мигъ и замерла въ своихъ роскошныхъ погребальныхъ складкахъ. Залы, по которымъ возвращалась Гертюли, показались ей еще обширнѣе, чѣмъ прежде. Люстры смотрѣли на нее сверху своимъ кристаллическимъ молчаніемъ. Усталая, она остановилась въ залѣ, увѣшанномъ зеркалами. „Ея образъ умножился. Гертюли себя увидѣла вокругъ себя до глубины своего сна, въ которомъ она утратила сознаніе того, что произвела столько призраковъ, тожественныхъ

съ ея блѣдностью; она чувствовала себя разбитой на всегда, и такъ какъ она видѣла себя въ другомъ мѣстѣ вокругъ себя, она настолько раздробилась, разсѣилась въ своихъ собственныхъ отраженіяхъ, отлучилась отъ себя самой этимъ поразительнымъ волшебствомъ, въ которомъ она себя воображала безпредѣльно безличной, что ея колѣни подкосились и она тихо опустилась на полъ бездыханной, тогда какъ въ одинокой комнатѣ, надъ сомкнутыми глазами ея блѣднаго лица, зеркала въ своихъ рамахъ золотыхъ, черепаховыхъ и чернаго дерева продолжали обмѣниваться призраками своей взаимной пустоты".

„И такъ, значитъ это правда (пишетъ Гермасъ Гермотиму), что ты пошелъ на встрѣчу своей судьбѣ. Я предвидѣлъ это событіе. Люди виляютъ передъ собою, но кто себя видитъ, ищетъ себя впослѣдствіи всегда, и подарки, тобою присланные, мнѣ говорятъ, что ты себя нашелъ. Они здѣсь, передо мною, на столѣ, и, смотря на нихъ, я думаю о тебѣ. Я опять вижу тебя такимъ, какъ при нашихъ встрѣчахъ въ старомъ саду. Я не знаю твоихъ путей, Гермотимъ, какіе камни ты толкалъ передъ собою на пути концомъ своей палки изъ чернаго тернія. Какимъ образомъ дошелъ ты до мудрости сообразоваться съ своими мечтами? Святилище въ насъ самихъ. Нужно было, чтобы ты возвратился къ самому себѣ чрезъ твои пустыя ученія. Гертюли научила тебя большему, чѣмъ книги философовъ. У нея были очаровательныя

глаза, и она умѣла держать цвѣтокъ своими прекрасными руками; она на него была похожа. Мы должны вдыхать только то, что разцвѣло благодаря намъ. Окраской нашихъ глазъ оттѣняется красота вещей. Люди ищутъ слишкомъ далеко. Твоя душа, съ ея щекотливой точностью, дидактичностью и формализмомъ, желала дойти до конца своего заблужденія. Любовь—гостья мудрости, говорилъ ты, но ты ея искалъ тамъ, гдѣ чванилась лишь гримаса ея присутствія. Горе показало тебѣ лживость ученій: они безсильны для нашего исцѣленія.

„Я понялъ, что значитъ присланная тобой стрѣла: сдѣланная изъ пера и изъ стали, она облегчаетъ въ насъ то, что можетъ улетѣть, и убиваетъ то, что должно въ насъ умереть. Обнаженный кинжалъ свидѣтельствуетъ о твоемъ смертельномъ желаніи быть инымъ человѣкомъ, и кружка должна была сказать о твоей жаждѣ познать себя въ эмблематическомъ зеркалѣ, въ которомъ люди себѣ представляются по ту сторону ихъ самихъ; но, когда я получилъ роковой ключъ, я догадался, что онъ открываетъ доступъ къ твоей судьбѣ, и зрѣлый колосъ, о Гермотимъ, есть твое подобіе въ моихъ глазахъ.

„Любовь дала тебѣ силу сообразовать твою душу съ красотою чувства... Ты увидѣлъ, что въ тебѣ самомъ лежитъ тайна быть другимъ. Долгъ — вотъ тотъ таинственный обитатель, спящій внутри насъ, котораго не пробуждаютъ ни тонкія методы, ни шумъ

споровъ и ничто изъ того, что несродно его таинственному молчанію.

„Возвратись же, мой братъ. Въ саду ты увидишь могилу Гертюли. Тамъ она покоится. Мы тоже тамъ когда нибудь успокоимся. Ея могила будетъ посреди нашихъ. Памятникъ сдѣланъ изъ чернаго и розоваго мрамора, и кругомъ царитъ молчаніе, такъ какъ я велѣлъ разрушить фонтаны. На ихъ мѣстѣ посадили цвѣты —самые простые и свѣжіе—другіе выростутъ для насъ—а по ея цвѣтамъ словно прошла своими нагими стопами заря. И не была ли Гертюли зарей твоей истинной науки, весной твоей мудрости, которой ты теперь вкушаешь пышное лѣто. Ты, быть можетъ, узнаешь горькую осень; она теперь въ моей душѣ, какъ она видна уже и на старыхъ деревьяхъ сада.

„Онъ теперь принадлежитъ мнѣ, я его купилъ и присоединилъ къ своему; какъ видишь, моя пустыня обширна, но мы въ ней по крайней мѣрѣ можемъ ходить съ обнаженными лицами, презрѣвъ тѣ маски, за которыми скрываются люди, такъ какъ мы носимъ навѣкъ только обликъ нашей судьбы“.

И эта сказка такъ же, какъ предыдущая, ставитъ цѣлью указать на то, что мы сами отравляемъ себѣ жизнь и что эта отрава—наша мысль.

Съ этимъ обвиненіемъ противъ мысли, какъ разлагающей силы, мы встрѣчались всюду, куда намъ случалось заглядывать: одинаково при анализѣ современныхъ воззрѣній на любовь, науку, философію

нравственную и общественную жизнь, искусство, религію. Символизмъ не шелъ бы въ уровень съ современностью, еслибы не заключалъ въ себѣ этого важнаго элемента. Но и во всемъ остальномъ онъ ей вѣренъ. Точно такъ же, какъ и другія проявленія современнаго настроенія, онъ вызванъ двумя главными причинами: утомленіемъ мысли, жаждушей отдыха въ сумеркахъ сознанія, и усталостью чувства, склоннаго къ мечтательности.

Усталость не можетъ быть ни жизнерадостной, ни бодрой. Сколь ни сіяющія картины природы рисуетъ порой символизмъ, онѣ для него только убѣжище отъ общечеловѣческой скорби, и онъ рисуетъ ихъ не съ дѣйствительности, но какъ она представляется изъ „окна, открытаго на мечту“ [1]). И было бы заблужденіемъ, которое однако легко можетъ возникнуть при замысловатости символическихъ образовъ, видѣть въ символизмѣ какую либо попытку отвѣтить на тѣ или другіе вопросы. Совсѣмъ напротивъ, взятый самъ по себѣ символизмъ есть всегда отрицаніе всякаго точнаго отвѣта, а потому и рѣшенія. Шелли, одинъ изъ наиболѣе выдающихся символистовъ, сравнивалъ жизнь съ соборомъ, въ разноцвѣтныхъ окнахъ котораго окрашивается безцвѣтный лучъ вѣчности, все зем-

---

[1]) Je vis de ma fenêtre ouverte sur le Rêve,
Au cadre fabuleux d'un vieux site écarté etc.
Regnier, Episodes.

ное—съ тѣнью [1]) и людей—съ тѣнями сна [2]), а Эдгаръ По, изъ поэтовъ наиболѣе чтимый современными символистами и оказавшій на нихъ мощное воздѣйствіе, считаетъ все, что мы видимъ, лишь сномъ во снѣ [3]). Какова вѣчность, преломляющая лучи въ этомъ соборѣ жизни, откуда самый этотъ соборъ, гдѣ причина нашей грезы и о вѣчности, и объ этомъ соборѣ, и обо всемъ, что мы видимъ, никто не знаетъ. Начиная съ Елейцевъ, родоначальниковъ европейской метафизики, и Платона, родоначальника европейской мистики и символизма, мысль неустанно ходитъ около вопросовъ о томъ, что скрывается за явленіями, что такое явленія и откуда они, но не въ состояніи рѣшить ни одного изъ нихъ, такъ что вся исторія философіи есть исторія этихъ тщетныхъ попытокъ. Мнѣнія по всѣмъ этимъ вопросамъ широко расходятся, но всѣ, считающіе возможнымъ найти ключъ къ загадкѣ жизни, согласны въ томъ, что 1) съ скрытой за явленіями тайны можно, если не вполнѣ, то отчасти, совлечь покровъ, и что 2) это разоблаченіе возможно лишь въ мірѣ мысли, а не въ мірѣ явленій, которыя только смутно намекаютъ на лежащую за ними дѣйствительность. И такъ какъ объ иномъ мірѣ мы можемъ говорить лишь языкомъ этого міра, то для тѣхъ, кто

---

[1]) Adonais, LII.

[2]) The Sensitive Plant, въ концѣ.

[3]) A Dream within a Dream.

признаетъ иной міръ, нашъ міръ есть всегда намекъ на иной міръ, и поэтому всякая попытка заглянуть по ту сторону явленій, то есть всякая метафизика, всегда заключаетъ въ себѣ символизмъ. Но обратнаго вывода сдѣлать нельзя: не всякій символизмъ заключаетъ въ себѣ метафизику. Современный символизмъ наглядно это подтверждаетъ [1]). Хотя онъ и предполагаетъ за явленіями нѣкоторую сокровенную природу, онъ не только не пытается рѣшить вопроса о томъ, какова эта природа, онъ даже его и не ставитъ въ молчаливомъ признаніи, что она для насъ совершенно недоступна. Это признаніе— послѣднее слово французской мысли. Не даромъ училъ Ренанъ, что подлинная дѣйствительность отъ насъ безусловно скрыта и что все нами зримое есть лишь символъ и сонъ [2]). Къ современному символизму можно поэтому одинаково подойти и отъ мистицизма, и отъ міровоззрѣнія Ренана. И въ данномъ случаѣ это не два пути, но два поприща на одномъ и томъ же пути, такъ какъ мистицизмъ вызванъ тѣмъ злоупотребленіемъ мысли, которое особенно ярко сказалось у Ренана. Поставивъ всѣ вещи передъ свой исключительный судъ, потребовавъ отъ каждой изъ нихъ отчета въ правѣ на существованіе, смыслѣ и цѣли, но не добившись

---

[1]) Ср. Brunetière, L'Évolution de Ia poésie lyrique etc. II, p. 253.

[2]) Выше, стр. 229—230. 307.

этого отчета ни отъ вещей, ни отъ себя самой, мысль при своей попыткѣ зажечь повсюду яркій свѣтъ окружила себя тьмой, среди которой все кажется сномъ и символомъ.

Но если символизмъ не ведетъ къ рѣшенію вопросовъ, то онъ очень удобный способъ ихъ затрогивать, такъ какъ символъ не предполагаетъ никакого опредѣленнаго отвѣта, но наводитъ на размышленія. Размышленія эти во всѣхъ вопросахъ, касающихся жизни, у современныхъ писателей неизмѣнно мрачныя.

Человѣкъ! Ты подобенъ рыбаку, который пытается изловить отображающіяся въ водѣ тѣни. Высоко надъ прудомъ, у котораго ты сидишь, летятъ цапли, но ты ихъ не видишь, ты въ своей „теоретической важности“ принимаешь тѣни ихъ крыльевъ за достижимую тебѣ дѣйствительность, и ты думаешь захватить своей сѣтью въ омутѣ, въ грязи, то, что далеко, свѣтло и радостно витаетъ въ небѣ, хочешь заточить это свободное, радостное, небесное въ свою земную скуку [1]).

Не гоняйся за призраками, не лови тѣней, будь простымъ и безхитростнымъ. Отъ тебя зависитъ найти счастье въ твоей собственной душѣ, быть довольнымъ тѣмъ, что у тебя есть. Но не думай взять внѣшнее благополучіе съ бою, не получить тебѣ того, что не суждено рокомъ. Иди на встрѣчу судьбѣ безъ дальнихъ замысловъ и безъ лукавства. Плохъ твой уловъ

[1]) Verhaern, Paraboie, Poèmes (1894), p. 64.

на спокойной рѣкѣ, еще хуже онъ будетъ въ бурномъ морѣ. И готовься къ тому, что, тогда какъ у сосѣдей твоихъ пышно взойдутъ нивы, твоя полоса останется безплодной, а если и нальется на ней обильный колосъ, побьетъ его градъ. Коварствомъ можешь ты достигнуть пышности, но она быстро обличитъ передъ тобою свое ничтожество. На роскошномъ ложѣ ты утолишь свое сладострастіе, но за то очерствѣетъ твое сердце и утратится для тебя радость любви. И чѣмъ выше будешь ты восходить по лѣстницѣ блеска, тѣмъ больше онъ будетъ для тебя блекнуть. И если ты сдѣлаешься царемъ, химера твоей царственности тѣнью падетъ къ твоимъ ногамъ; корона твоя покажется тебѣ гребнемъ, мантія—крыльями, скипетръ—клювомъ. И сбросишь ты съ себя это пышное облаченіе и захочешь умереть въ простотѣ, на клокѣ той земли, гдѣ прежде былъ пахаремъ. И безплодной будетъ вокругъ твоихъ костей земля, какъ безплодна была твоя жизнь, и выростетъ изъ нихъ лишь одинъ колосъ скорби, и кто сорветъ этотъ колосъ и къ тебѣ прикоснется, падетъ мертвымъ. А ты шелъ сначала честной стезей труженника, но ни на этой стезѣ, ни на пути кривды и праздности нѣтъ счастья [1]).

Мы живемъ словно въ темномъ, отовсюду замкнутомъ домѣ, гдѣ только сквозь ставни оконъ и

[1]) Regnier, Histoire d'Hermagore, Canne de Jaspe, pp. 175 сл.

скважины дверей западаетъ слабый лучъ. Мы зажигаемъ свѣтильники, чтобы видѣть во тьмѣ.—Зачѣмъ зажигать свѣтильники, отворите лучше двери, широко распахните ихъ въ садъ, тамъ ярко свѣтитъ солнце.—Нельзя отворить дверей, затерялись ключи, ихъ хранитъ темный лѣсъ. И то не солнце сіяетъ, это лѣсъ горитъ, горитъ отблескомъ своихъ мертвыхъ желтыхъ листьевъ.—Подождемъ, настанутъ иные дни, иные дни отомкнутъ намъ двери.—Нѣтъ, устали эти иные дни, иные дни не придутъ, иные дни умрутъ такъ же, какъ эти, и мы умремъ [1]).

Скрылся отъ насъ, оставилъ насъ во тьмѣ смыслъ и свѣтъ нашей жизни. Не ходи его искать, не бери свѣтильника: подойдешь къ первой двери, задрожитъ пламя, подойдешь ко второй—оно заговоритъ своимъ огненнымъ языкомъ, подойдешь къ третьей—оно умретъ [2]). И если даже васъ будетъ семеро и зажжете вы семь свѣтильниковъ и пройдете нѣсколько сотъ палатъ, вы нигдѣ не увидите свѣта. У послѣдней двери вы найдете золотой ключъ. Но за ней—океанъ, и вы будете только въ нее толкаться, но отворить не осмѣлитесь, такъ какъ дальше—смерть [3]).

---

[1]) Maeterlink, Vous avez allumé les lampes, Douze chansons.

[2]) On est venu dire, тамъ же.

[3]) Les sept filles d'Orlamonde, тамъ же. Толкованіе всѣхъ этихъ пѣсенъ дано здѣсь по Trésor des Humbles, напр. pp. 75. 214. 272. 274 и пр.

Долгіе годы люди слѣпо отдавали себя руководству религіи, и на этомъ островѣ, окруженномъ бурнымъ океаномъ, находили и пріютъ, и покой. Но вотъ захотѣлъ ветхій пастырь, которому ввѣрены были эти слѣпцы, повести ихъ передъ своей смертью изъ пріюта въ лѣсъ, чтобы вдохнули они свѣжаго лѣсного и морского воздуха. И внезапно скончался старецъ среди глухого лѣса, и ночь наступила, и сіяетъ звѣздами небо, и не знаютъ слѣпцы о смерти старца, думаютъ, что онъ только на время отлучился и скоро вернется. И долго ждутъ они, и томитъ ихъ и холодъ, и голодъ, и жажда, и тоска. Чу! Шумъ въ лѣсу. Это ночныя птицы вьются надъ головами. Чу! опять шумъ. Это высоко летитъ стая перелетныхъ птицъ. Что это за шорохъ и шелестъ? Это мертвые листья срываются в[illegible]тромъ. Слышите? Кто то торопливо бѣжитъ. Это собака, почуявшая мертвое тѣло. Она привела слѣпцовъ къ мертвому, неразумное открыло разумнымъ истину. Кто выведетъ ихъ изъ лѣсу? Они здѣсь давно, уже далеко за полночь. Идти, куда идти? Около лѣса шумитъ море, и пріютъ по ту сторону широкой рѣки, а рѣка съ топкими берегами. Кто укажетъ путь къ мосту? Но кто нибудь выведетъ слѣпцовъ. Слышите? Кто то шелеститъ листьями, приближаются чьи то шаги, они уже здѣсь.— Кто идетъ? Сжальтесь надъ слѣпцами.—Нѣтъ отвѣта. Молчаніе [1]).

[1]) Maeterlink, Les Aveugles. Ср. Doumic, Les Jeunes, p. 230.

Нарушится ли когда нибудь это молчаніе? Узнаютъ ли люди, кто выведетъ ихъ на правильный путь? Современная французская мудрость не нарушаетъ этого молчанія, не беретъ на себя сказать, куда и по какому пути надо идти.

Надъ этой мудростью не перестаетъ нераздѣльно царить мракъ, тотъ мистическій „Воронъ“, котораго такъ дивно изобразилъ чтимый современными символистами американскій поэтъ. Въ глухую ненастную полночь прилетѣлъ воронъ, презрительно прошелъ мимо учености, сѣлъ на бюстъ богини мудрости и на всѣ вопросы о томъ, когда же блеснетъ лучъ отрады, отвѣчаетъ неизмѣннымъ „никогда“.

И сидитъ, сидитъ зловѣщій, Воронъ черный, Воронъ вѣщій,
Съ бюста блѣдаго Паллады не слетаетъ никуда,
Онъ глядитъ уединенный, словно Демонъ полусонный.
Свѣтъ струится, тѣнь ложится, на полу дрожитъ всегда,
И моя душа изъ тѣни, что волнуется всегда,
Не возстанетъ никогда![1])

---

[1]) Эдгаръ По, Баллады и фантазіи, перев. Бальмонта. О происхожденіи этого дивнаго творенія По говоритъ въ своей „The philosophy of Composition“, любопытной какъ выясненіе механизма поэтическаго творчества и какъ свидѣтельство, что порою глубокомысленное содержаніе вызывается чисто внѣшними соображеніями.

## XIV.

Оккультизмъ, мистицизмъ, символизмъ входятъ какъ элементы въ современное французское міропониманіе или такъ называемое декадентство, а взятое въ цѣломъ оно есть вмѣстѣ и свидѣтельство объ усталости чувства и мысли, и протестъ противъ односторонняго господства раціонализма. Въ чемъ выразилась усталость чувства и мысли, было раньше выяснено съ достаточной обстоятельностью, и здѣсь нужно лишь объединить тѣ черты, въ которыхъ сказывается противоположность декадентства раціонализму.

Черты эти, встрѣчающіяся въ передовыхъ литературныхъ произведеніяхъ то всѣ вмѣстѣ, то въ тѣхъ или другихъ сочетаніяхъ, то порознь, слѣдующія:

1. Раціонализмъ предъявляетъ къ произведеніямъ духа требованіе, чтобы они прежде всего удовлетворяли разумъ, а притязанія чувства либо вовсе отвергаетъ, либо отводитъ чувству второстепенное мѣсто. Декадентство, напротивъ, ставитъ выше всего чувство, а притязанія разума либо вовсе отвергаетъ, либо отводитъ разуму второе мѣсто.

Aimez donc la raison: que toujours vos ecrits
Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix [1])—

„Любите разумъ: пусть ваши произведенія всегда заимствуютъ изъ него одного и свой блескъ, и свою цѣну“ —таковъ принципъ „Поэтическаго искусства“ раціонализма.

De la musique avant toute chose [2])—

„Музыки прежде всего“, говоритъ декадентское „Поэтическое искусство“, ясно намѣчая этимъ, что въ поэзіи важнѣе всего то, что ласкаетъ слухъ.

„Музыки еще и всегда! Пусть твой стихъ будетъ летучъ, чтобы чувствовалось, будто онъ бѣжитъ изъ души, стремящейся къ инымъ небесамъ и иной любви.

„Пусть твой стихъ будетъ счастливое похожденіе, разсѣянное порывистымъ утреннимъ вѣтромъ, который вдыхаетъ и несетъ запахъ мяты и тмина, а все остальное—литература“, т.-е. не прочувствованная, а высиженная поэзія.

Такъ какъ декаденты придаютъ особенно важное значеніе музыкальности своихъ твореній, то мы здѣсь приведемъ разнообразные ея примѣры.

На первомъ мѣстѣ нельзя не поставить слѣдующую небольшую пѣсню Верлэна, написанную имъ

---

[1]) Boileau, L'Art poétique, ch. I, p. 287 (éd. Charpentier).
[2]) Verlaine, L'Art poétique.

въ тюрьмѣ—обстоятельство, важное для правильнаго ея пониманія—и принадлежащую къ лучшимъ созданіямъ французской лирики [1]).

Le ciel est, par dessus le toit,
Si bleu, si calme!
Un arbre, par dessus le toit
Berce sa palme.

La cloche, dans le ciel qu'on voit
Doucement tinte.
Un oiseau sur l'arbre qu'on voit
Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur là
Vient de la ville.

—Qu'as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà
De ta jeunesse?

Плачущая мелодія этого стихотворенія на столько очевидна, что едва ли нужно на нее указывать. Огромный талантъ Верлэна обнаруживается здѣсь въ той простотѣ, съ которой достигается дѣйствіе: пѣсня не прибѣгаетъ ни къ какимъ искусственнымъ пріемамъ, не говоритъ сознанію ни образами, ни сравненіями, и пользуется незначительнымъ количествомъ словъ, и тѣмъ не менѣе немного можно

[1]) Въ сборникѣ Sagesse.

найти стихотвореній, въ которыхъ бы настроеніе передавалось такъ цѣльно и сильно, какъ въ этомъ.

Другимъ примѣромъ можетъ служить „симфонія сумеречной любви“—стихотвореніе Самэна „Musique confidentielle“: [1])

Au cartel d'or,
Qui s'endort,
La lyre du pendule à peine se balance.
Sans avirons,
Nous errons,
Au vague, sur le lac enchanté du Silence.
L'accord dernier
Du clavier
Au long des fils vibrants se prolonge et se pâme,
Et d'un remous
Lent et doux
En ondes de langueur s'elargit dans notre âme.
Sur les tapis
Assoupis
Une rose blessée et penchante agonise;
Et le désir
De mourir
Comme une extase en nous monte et se divinise.
D'ombre noyé,
Déployé,
Comme un dais triomphal, pour des pompes célèbres,
Le lit massif,
Dieu pensif,
Médite obscurément nos baisers des ténèbres.

[1]) Au Jardin d'Infante, pp. 51—54.

L'air amolli
S'est empli
De ton parfum subtil, obsesseur et complexe,
Philtre ambigu
Suraigu,
Fleur tiède épanouie au soleil de ton sexe.
Tes yeux mourants
Transparents,
M'ouvrent les profondeurs des verts mélancoliques,
Et les charbons
Moribonds
Font trembler tout au fond des flammes symboliques...
Restons perdus,
Suspendus
Au-dessus de la terre ironique et brutale,
Sans rien savoir,
Sans rien voir,
Révélés à la Vie Unique et Musicale...
Ne parle pas,
Ou si bas
Que ce soit un secret vaporeux qu'on devine,
Et qui se meurt
Dans le coeur
Comme une haleine d'ange en un duvet d'hermine.

За исключеніемъ музыкальности, это стихотвореніе полная противоположность предыдущему. Насколько пѣсня Верлэна безыскусственна, на столько эта симфонія не оставляетъ безъ вниманія ни одного изъ тѣхъ средствъ, какими располагаетъ стихотворное искусство: языкъ здѣсь разнообразный, нѣтъ недостатка ни въ образахъ, ни въ сравненіяхъ; даже размѣръ изысканный. Это различіе въ формѣ соот-

вѣтствуетъ различію въ содержаніи: пѣсня Верлэна изображаетъ простое и извѣстное всякому настроеніе; стихотвореніе Самэна рисуетъ чувство сложное, понятное лишь живущимъ „нарядной жизнью“.

Иногда встрѣчаются у современныхъ поэтовъ и веселые мотивы. Напримѣръ „Euphonies“ Вьелэ-Гриффэна [1]):

Ce furent là des heures douces
O ma dame des roses blondes,
Où tournoyait en folles rondes
L'essaim des rêves sur les mousses,
Et vous disiez des choses douces.

Ce furent des baisers de rêve,
O ma dame des roses blondes,
Comme fleuris en d'autres mondes;
Et, sous la lune qui se lève
J'ai cueilli des baisers de rêve etc.

Особый видъ музыкальности составляетъ звукоподражаніе.

Слѣдующій отрывокъ изъ „Ronde de la Marguerite“ Вьелэ-Гриффэна передаетъ звуки струннаго инструмента [2]).

Sais-tu qu'il est une heure où ne s'irrite
Plus coeur ni âme, enfin lassés d'attendre?
En est tu là? que ton désir s'abrite
En l'ombre qui se fait muette et tendre?

[1]) Poèmes et poésies, pp. 23—24.

[2]) Тамъ же, p. 137.

Верхарнъ въ „Départ“ [1]) подражаетъ шуму моря:

La mer choque ses blocs de flots, contre les rocs
Et les granits du quai, la mer démente,
Tonnante et gémissante, en la tourmente
Des houles montantes etc.

Стихотворныя произведенія, какъ свидѣтельствуетъ ихъ размѣръ, неизмѣнно заключаютъ въ себѣ музыкальный элементъ. Въ особенности лирика, по самому своему названію неразъемлемо связанная съ музыкой, въ такой мѣрѣ подчинена этой послѣдней, что лирическія стихотворенія въ переложеніи неразмѣренной рѣчью нерѣдко утрачиваютъ всякое значеніе. Какъ музыка, такъ и лирика, ставятъ цѣлью вызывать извѣстное настроеніе, но онѣ разнятся тѣмъ, что тогда какъ музыка не соединяетъ съ своими звуками никакого непосредственнаго значенія и даетъ поэтому настроенію только основной тонъ, лирика опредѣляетъ настроеніе ближе и образами, составляющими обычную принадлежность поэтическихъ произведеній, и самыми словами, всегда подразумѣвающими тотъ или другой прямой смыслъ.

Своеобразность декадентской лирики въ томъ, что она общую всѣмъ стихотворнымъ произведеніямъ музыкальность дополняетъ, при помощи искуснаго сочетанія словъ, особой мелодіей, напоми-

[1]) Poèmes, p. 141.

нающей звуки пѣнія или музыки, и дѣйствуетъ поэтому на настроеніе вмѣстѣ средствами поэзіи и музыки, при томъ такъ, что первыя подчиняетъ вторымъ и въ общемъ занимаетъ средину между поэзіей и музыкой.

Подобное сліяніе поэзіи съ музыкой можно прослѣдить въ лирикѣ различныхъ народовъ, и декаденты въ этомъ случаѣ не внесли ничего новаго. Извѣстно, напримѣръ, съ какимъ стараніемъ Гейне обтачивалъ свои пѣсни, заботясь о музыкальномъ значеніи словъ, и онъ достигалъ иногда такого совершенства, что нѣкоторыя его пѣсни, изъ которыхъ здѣсь довольно назвать общеизвѣстную „Auf Flügeln des Gesanges“, сами собою напрашиваются на пѣніе. Для декадентовъ теоретическимъ руководителемъ служилъ Вагнеръ, объединявшій поэзію и музыку,[1]) а непосредственнымъ образцомъ—Эдгаръ По, стоящій въ искусствѣ музыкальной лирики на такой высотѣ, до которой ни до него, ни послѣ него не доходилъ никто, не исключая и декадентовъ. „The Raven“ „Ulalume“, „The Haunted Palace“, „For Annie“ и особенно „Annabel Lee“ считаются въ искусствѣ этого рода „первообразами“, къ которымъ едва ли многіе будутъ въ силахъ приблизиться[2]).

---

[1]) Къ эстетикѣ Вагнера Freson, L'Esthétique de R. Wagner (1893). Ср. также выше, стр. 386.

[2]) Lang, The Poetry of E. A. Poe въ предисловіи къ изданію его поэмъ, Lond. 1883, pp. XX сл.

Труднѣе, чѣмъ лирика, укладывается въ музыкальную форму эпосъ, однако и здѣсь можно достигнуть такихъ же результатовъ, какъ въ лирикѣ. „Crimen Amoris“ Верлэна и нѣкоторыя мѣста изъ „Bateau ivre“ Рембо могутъ служить доказательствомъ. И здѣсь, какъ въ лирикѣ, англичане предупредили и превзошли декадентовъ. „The Lotus Eaters“ Теннисона—лучшій образецъ музыкальной эпики.

Но если декаденты не вводятъ своей музыкальной поэзіей ничего новаго, то ново провозглашеніе этой музыкальности руководящимъ правиломъ.

Въ прозѣ совершеннѣйшіе образцы музыкальности даны Ренаномъ.[1]) Обыкновенно же ласкающую чувство музыкальность замѣняютъ въ ней ласкающіе чувство образы и краски. Цѣль романа или повѣсти полагается въ пріятномъ вымыслѣ. Мысль и опредѣленность плана получаютъ второстепенное значеніе.

„Романъ или повѣсть (говоритъ Ренье[2]) могутъ быть лишь пріятнымъ вымысломъ. Если въ нихъ обнаруживается неожиданный смыслъ помимо того, какой ими, повидимому, намѣчается, то слѣдуетъ наслаждаться этимъ полунамѣреннымъ придаткомъ, не требуя слишкомъ много послѣдовательности и разсматривая его какъ случайный плодъ таинственныхъ соотвѣтствій, существующихъ, вопреки всему, между вещами. Если изображаемыя мною событія не сумѣютъ тебя раз-

[1]) Выше, стр. 311—312.

[2]) Canne de Jaspe, pp. 5—6.

влечь,... то существуютъ въ моихъ разсказахъ копья и зеркала, драгоцѣнныя украшенія и платья, хрустальныя чаши и лампы, при чемъ иногда шумитъ море и чувствуется вѣяніе лѣса. Слушай также пѣніе фонтановъ. Они звучатъ то вперемежку, то непрерывно. Сады, которые ими оживляются, расположены симметрично. Статуи тамъ изъ мрамора или бронзы; ивы подрѣзаны. Горькій запахъ букса наполняетъ благовоніемъ молчаніе; тамъ розы цвѣтутъ возлѣ кипариса. Любовь и смерть тамъ цѣлуются въ уста. Въ водѣ тамъ отображаются тѣни. Обойди водоемы, прогуляйся по лабиринту, посѣти рощу и читай мою книгу страницу за страницей, какъ будто бы ты, одинокій путникъ, концомъ своей высокой яшмовой палки переворачивалъ на сухомъ пескѣ аллеи жука, камень или мертвые листья".

Проще: не ищи никакого глубокомысленнаго содержанія, ласкай себя пріятными образами, сумѣй въ нихъ найти пищу для мечтательности.

2. Разумъ требуетъ, чтобы мысль была выражена четко, ясно и раздѣльно. Декадентская поэзія настаиваетъ на прямо противоположномъ: никакой точности никакой ясности, никакой раздѣльности, никакого опредѣленнаго цвѣта, никакой опредѣленной формы.

Поэтъ долженъ предпочитать то, что „неопредѣленно и расплывается въ воздухѣ, въ чемъ нѣтъ никакого вѣса и положенія". Онъ долженъ „выбирать слова съ нѣкоторымъ презрѣніемъ", такъ какъ нѣтъ ничего лучше „сѣрой тѣни, гдѣ неопредѣлен-

ность смѣшивается съ опредѣленностью. Это-„прекрасные глаза подъ вуалью". „Мы хотимъ только оттѣнковъ, а не красокъ, только оттѣнковъ. Только одни оттѣнки обручаютъ грезу съ грезой и флейту съ звукомъ рога" [1]).

Лучшими образцами этой неопредѣленности служатъ „Promenade sentimentale" Верлэна и „Even Tide" Самэна.

Верлэнъ съ необыкновеннымъ искусствомъ сливаетъ внутренній міръ съ внѣшнимъ, такъ что между тѣмъ и другимъ нѣтъ опредѣленной грани, и оба они составляютъ одно смутное цѣлое, одинъ туманный призракъ:

Le couchant dardait ses rayons suprêmes
Et le vent berçait les nénuphars blêmes;
Les grands nénuphars entre les roseaux
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j'errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l'étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux et désespérant,
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j'errais tout seul
Promenant ma plaie; et l'épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant en ses ondes blêmes
Et des nénuphars parmi les roseaux,
Des grands nénuphars sur les calmes eaux. [2])

[1]) Verlaine, L'Art poétique.

[2]) Poèmes saturniens.

Самэнъ въ „Even Tide“ рисуетъ сумеречныя грезы въ неопредѣленныхъ и неясныхъ сумеречныхъ очертаніяхъ. По выдержанности общаго тона, по цѣльности производимаго впечатлѣнія, по оригинальности поэтическихъ образовъ, по тонкости искусства, съ которымъ построено стихотвореніе, оно занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ современной французской поэзіи: [1])

Dans la lente douceur d'un soir des derniers jours
La ville haletante exhale ses fumées.
Frère de nonchaloir, le fleuve aux eaux lamées
Roule un flot de légende au pied des vieilles tours.

Le peuple, regagnant sans hâte sa demeure
Fait sonner sous ses pas la pierre du vieux pont,
Dont l'âme fatiguée aux siècles lui répond
Dans cette lassitude indicible de l'heure.

Une Main invisible a béni l'horison
Moins d'animalité pèse sur les paupières;
Et, comme un vieux captif enterré sous des pierres,
L'âme un instant tressaille au fond de sa prison.

Et les grands yeux fiévreux dans les faces hachées,
Les pauvres yeux brûlés, dans un élan plaintif,
Comme des altérés boivent au ciel pensif,
Et les lèvres sont par le Silence touchées.

En robe héliotrope, et sa pensée aux doigts,
Le Rêve passe, la ceinture dénouée,

---

[1]) Au Jardin d'Infante, pp. 41—43.

Frôlant les âmes de sa traîne de nuée,
Au rythme éteint d'une musique d'autrefois.

Les roses du couchant s'effeuillent sur le fleuve;
Et, dans l'emotion pâle du soir tombant,
S'évoque un parc d'automne où rêve sur un banc
Ma jeunesse déjà grave comme une veuve...

Toutes je les revois, les Belles du passé,
Dans les robes que leur donna mon coeur crédule,
Tournoyer lentement, nymphes du crépuscule,
Dans un décor lointain doucement effacé.

Toutes je les revois, légères et câlines,
Mêler leur chevelure à la fuite du jour,
Et passant devant moi, rapides, tour à tour
Chanter ma vie au coeur des vieilles mandolines.

J'écoute... et, peu à peu, voici sur les flots bruns,
Vers les grands ponts dressés là-bas comme des portes,
Que des barques de songe, où sommeillent des mortes,
S'éloignent dans la nuit sur d'anciens parfums...

Всего нагляднѣе выступаетъ неопредѣленность неясность у декадентовъ въ той темнотѣ, которую нѣкоторые изъ нихъ возводятъ въ правило [1]) и выставляютъ на показъ. Жалоба на эту темноту, съ образцами которой мы встрѣчались, такое общее мѣсто въ отзывахъ о декадентской поэзіи, что здѣсь не только не нужно поддерживать этой жалобы, а, напротивъ, необходимо ограничить ея справедливость. Вслѣдствіе того, что *нѣкоторые* изъ декадентовъ

[1]) Объ этомъ Doumic, Les Jeunes pp. 204—205.

окружаютъ свои творенія мглой, среди которой трудно различить между нею и безсмыслицей, создалось ходячее мнѣніе, будто *всѣ* декадентскія произведенія непонятны или даже безсмысленны. На дѣлѣ, они далеко не всѣ непонятны, и нерѣдко то, что представляется въ нихъ безсмысленнымъ, кажется такимъ лишь вслѣдствіе неумѣнія или нежеланія проникнуть въ ихъ смыслъ, или же, наоборотъ, вслѣдствіе умѣнія и желанія находить безсмыслицу тамъ, гдѣ ея нѣтъ.

Возьмемъ для примѣра слѣдующій сонетъ Верлэна:

L'espoir luit, comme un brin de paille dans l'étable.
Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou?
Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou.
Que ne t'endormais-tu, le coude sur la table?

Pauvre âme pâle, au moins cette eau du puits glacé
Bois-la. Puis dors après. Allons, tu vois, je reste,
Et je dorloterai les rêves de ta sieste,
Et tu chantonneras comme un enfant bercé.

Midi sonne. De grâce, éloignez vous, Madame.
Il dort. C'est étonnant comme les pas de femme
Résonnent au cerveau des pauvres malheureux.

Midi sonne. J'ai fait arroser dans la chambre.
Va, dors. L'espoir luit comme un caillou dans un creux.
Ah! quand refleuriront les roses de septembre?

„Понимаете ли вы (спрашиваетъ Лемэтръ [1]), какая послѣдовательность въ этихъ мысляхъ? Какая

[1]) Contemporains, IV, pp. 100—102.

связь между этими фразами? Кто это говоритъ? Гдѣ это происходитъ? Сначала не знаешь, чувствуешь лишь, что это ласково, нѣжно, грустно, и что большая часть стиховъ превосходны. Долго я не могъ понять этого сонета, и однако я его любилъ. Въ силу перечитыванія вотъ что я нашелъ.

„Полдень. Лѣто. Поэтъ зашелъ въ кабачекъ около большой пыльной дороги, съ женщиной, которая его приняла послѣ его паденій и несчастій и о прекрасныхъ ручкахъ которой онъ такъ часто говоритъ. Жара удручающая. Поэтъ напился краснаго вина; онъ опьянѣлъ, онъ мраченъ. И вотъ онъ слышитъ голосъ своей спутницы. Что говоритъ она?

„Пониманіе сонета затрудняется тѣмъ, что выраженіе чувствъ, самихъ по себѣ довольно ясныхъ, прерывается мелкими подробностями, весьма точными, но о которыхъ неизвѣстно ни того, чѣмъ онѣ вызваны, ни того, гдѣ онѣ взяты. Когда установлено, что мѣсто дѣйствія кабачекъ, все объясняется довольно легко.

„Первое четырестишіе. Голосъ говоритъ: „Не будь такъ печаленъ. Надѣйся. Надежда свѣтится въ несчастіи словно соломинка въ конюшнѣ. Почему это сравненіе—впрочемъ, очень правильное, но неожиданное? Потому, что мы находимся, какъ уже было сказано, въ деревенскомъ кабачкѣ. Несомнѣнно, одна изъ дверей ведетъ въ конюшню,

гдѣ коровы и лошадь, и въ темнотѣ солома блеститъ среди навоза.....

„Но въ то время какъ голосъ говоритъ, поэтъ, уже совсѣмъ отяжелѣвшій, смотритъ съ испуганнымъ видомъ на осу, жужжащую около его стакана. „Не бойся, говоритъ ему спутница, осы всегда бываютъ въ это время. Какъ ни затворяй окна, всегда какая нибудь щель пропускаетъ лучъ солнца, привлекающій осъ. Лучше спи“...

„Второе четырестишіе. „Ты не хочешь?“ Здѣсь поэтъ открываетъ и закрываетъ свои смыкающіяся уста.—„Выпей стаканъ свѣжей воды и спи.“ Остальное понятно.

„Первое тристишіе. Голосъ обращается къ кабатчицѣ, которая ходитъ около стола и шумитъ, и проситъ ее удалиться.—Конецъ вполнѣ ясенъ. Сонетъ заключается воспоминаніемъ и надеждой. „Сентябрскія розы“ обозначаютъ несомнѣнно начало послѣдней любви поэта.—Теперь перечитайте и скажите, не восхитительно ли это стихотвореніе?“

Другой примѣръ—сонетъ Малларме „Le Tombeau d'Edgar Poe.“ Сонетъ этотъ на первый взглядъ еще менѣе понятенъ, чѣмъ предыдущій, и даже какъ будто совсѣмъ безсмысленъ.

Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change
Le Poête suscite avec un glaive nu
Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu
Que la Mort triomphait dans cette voix étrange

Eux comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange
Donner un sens plus pur aux mots de la tribu
Proclamèrent très haut le sortilège bu
Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange

Du sol et de la nue hostiles ô grief
Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief
Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne

Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur
Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur

Попытаемся (говоритъ Лемэтръ [1]) перевести этотъ сонетъ, какъ бы мы стали переводить текстъ Ликофрона.

„Сонетъ здѣсь воспроизведенъ такъ, какъ онъ напечатанъ въ оригиналѣ—безъ всякихъ знаковъ препинанія. Быть можетъ, не помѣшаетъ прежде всего позаботиться о нихъ. Слѣдуетъ, надо думать, поставить запятую послѣ *change,* точку послѣ *étrange*, запятую послѣ *eux,* другую послѣ *tribu*, точку послѣ *mélange,* знакъ восклицательный послѣ *grief,* запятую послѣ *s'orne,* другую послѣ *obscur,* и, надо полагать, точку въ концѣ.

„И теперь я предлагаю слѣдующій переводъ:

„Сдѣлавшись по истинѣ самимъ собою, такимъ, какимъ наконецъ являетъ его намъ вѣчность, поэтъ блескомъ своего обнаженнаго меча пробуждаетъ и

---

[1]) Contemporains, III, pp. 45—46.

поучаетъ свой вѣкъ, который испуганъ своимъ непониманіемъ того, что странный голосъ поэта былъ великимъ голосомъ смерти (*или* что никто лучше его не говорилъ о касающемся смерти).

„Толпа, которая въ началѣ вздрогнула словно гидра, слушая, какъ этотъ ангелъ даетъ новый и болѣе чистый смыслъ словамъ обыкновеннаго языка, громко провозгласила, что расточаемое имъ волшебство онъ черпалъ въ опьяненіи спиртомъ и настойками.

„О, преступленіе земли и неба! Если изъ образовъ, которые онъ намъ внушилъ, мы не можемъ сдѣлать барельефа, чтобы изукрасить имъ его восхитительный памятникъ,

„То пусть по крайней мѣрѣ этотъ гранитъ, эта спокойная скала, подобная аеролиту, брошенному на землю какой нибудь таинственной катастрофой, обозначитъ собою границу, о которую будущія богохульства враговъ поэта сокрушатъ свой черный полетъ."

Лемэтръ оговаривается, что этотъ переводъ „оченъ плохъ", такъ какъ переводчикъ неувѣренъ, правильно ли имъ поняты стихи 4, 5, 6, 9, 11, 14.

Нельзя не согласиться съ этимъ критикомъ [1]), что вникать такимъ образомъ въ декадентскія произведенія значитъ обладать „душой, поставленной довольно хорошо, чтобы порой заботиться о вещахъ, считаемыхъ безполезными". Но безспорно и то, что только

[1]) Тамъ же, р. 45.

такое внимательное отношеніе къ дѣлу можетъ быть названо желательнымъ. Проще рѣшаетъ вопросъ о декадентахъ Л. Н. Толстой въ своемъ разсужденіи „Объ искусствѣ.“ Не давъ себѣ труда вникнуть съ должной обстоятельностью въ духъ новѣйшей французской литературы, онъ, на основаніи немногихъ образцовъ, съ которыми къ тому же обращается порой небрежно—сонетъ Маллармэ у него приведенъ въ искаженномъ видѣ, три пѣсни Мэтерлинка, точно также искаженныя, слиты въ одну—заявляетъ, что всѣ произведенія новѣйшихъ французскихъ поэтовъ „лишены всякаго смысла“ [1]). Предлагаемая гр. Толстымъ критика новѣйшей французской литературы настолько поверхностна, что о ней нужно упомянуть лишь благодаря его великому литературному авторитету, который способенъ въ этомъ случаѣ поставить легковѣрныхъ на ложный путь.

---

[1]) „Il n'est pas indifférent de signaler que la chanson „Et s'il revenait un jour“ a été citée par le Comte Tolstoï dans son ouvrage „Qu'est-ce que l'art?“ comme un exemple de ces poèmes qui ne „présentent à la lecture aucun sens“; il est vrai que dans la citation de Tolstoï la 2-e strophe se trouve être la 4-e,—la 3-e, la 2-e,—la 4-e, la 5-e,—la 5-e, la 3-e, et que la chanson entière est jointe à celle commençant par „On est venu dire“ comme si les deux n'en formaient qu'une!“ Souza, La Poésie populaire etc. (1899), p. 79. Въ русскомъ изданіи (по корректурамъ самого автора) всѣ три пѣсни слиты вмѣстѣ. „Вопр. филос.“ IX. 41, стр. 38—40.

3. Разумъ требуетъ закономѣрности, подчиненія опредѣленному закону, опредѣленному правилу. Современная декадентская поэзія не признаетъ закономѣрности, отвергаетъ опредѣленныя правила.

„Въ поэзіи Верлэна (говоритъ Лемэтръ) есть нѣчто глубоко невольное и неразумное. Онъ почти никогда не выражаетъ моментовъ полнаго сознанія, цѣльнаго разума. Оттого его пѣсни обыкновенно ясны (если онѣ вообще ясны) лишь для него самого". Точно также и его размѣры подчасъ уловимы только для него самого. Онъ не только своеобразно пользуется тѣмъ, что допускаетъ „классическое искусство", но „охотно употребляетъ стихи..., обладающіе своеобразнымъ тактомъ, который можетъ нравиться слуху, хотя его и безпокоитъ. Эти хромые стихи нравятся именно потому, что ихъ чувствуемъ хромыми... Но, чтобы это удовольствіе продолжалось или даже чтобы оно было замѣтно, стихи необходимо должны хромать всегда однимъ и тѣмъ же способомъ. Напротивъ, Верлэнъ, какъ скоро мы привыкаемъ къ извѣстнаго рода хромотѣ, измѣняетъ вдругъ этотъ родъ, не предупреждая насъ. Этотъ капризъ въ самой неправильности равнозначителенъ для насъ отсутствію ритма" [1]).

Верлэнъ подобенъ искусному музыканту, который намѣренно играетъ неправильно, давая волю

[1]) Contemporains, IV, p. 107.

минутному настроенію, и этой неправильностью очаровываетъ.

Какъ на протестъ декадентства противъ закрѣпощенія поэзіи въ опредѣленныя формы слѣдуетъ указать и на гоненіе на риѳму, „эту копеечную игрушку, которая звенитъ пусто и ложно подъ напилкомъ“ [1]), обтачивающимъ стихотворенія.

Многіе декаденты пишутъ, вопреки всѣмъ преданіямъ французской поэтики, бѣлыми стихами [2]).

4. Раціонализмъ, ставя мѣрой истины ясность и раздѣльность, отвергаетъ какъ неистинное все неясное и нераздѣльное. Поэтому, если онъ вѣренъ себѣ, онъ всѣмъ своимъ существомъ противоположенъ оккультизму и мистицизму, полагающимъ истину въ тайномъ и непостижимомъ. Декадентство, наоборотъ, обнимаетъ собою оккультизмъ и мистицизмъ.

5. Раціонализмъ есть неизмѣнно міровоззрѣніе утверждающее бытіе, такъ какъ разумъ предполагаетъ сознаніе и знаніе, а ни то, ни другое невозможно безъ соотвѣтствующихъ объектовъ. Какъ достовѣрно то, что существуетъ разумъ, такъ до-

[1]) Verlaine, L'Art poétique.

[2]) О декадентской поэтикѣ Kahn, Premiers poèmes (1897), préface. Remy de Gourmont, Esthétique de la langue française (1899). De Souza, La Poésie populaire (1899). Vigié-Lecocq, La Poésie contemporaine, pp. 239, сл. Doumic, Les Jeunes, pp. 183—206.

стовѣрно и то, что существуютъ его объекты: необходимыя категоріи разума предполагаютъ соотвѣтствующее имъ необходимое бытіе. Декадентство есть міропониманіе нигилистическое, не міровоззрѣніе *бытія*, а міровоззрѣніе *небытія*.

6. Разумъ по своему существу есть дѣятельность познавательная, и раціонализмомъ отвергается скептицизмъ, не только потому, что, отрицая знаніе, онъ противорѣчитъ самому существу разума, но и потому, что онъ противорѣчитъ основному закону знанія—закону противорѣчія. Если ничто неистинно, то неистинно и то, что ничто неистинно; если, съ другой стороны, нѣтъ никакой разницы между истиной и неистиной, то все можетъ быть одинаково истиннымъ, а въ такомъ случаѣ можетъ быть истиннымъ и то, что не все одинаково истинно. Декадентство, наоборотъ, не стѣсняется никакими противорѣчіями и заключаетъ въ себѣ скептицизмъ, какъ свой необходимый элементъ.

7. Разумъ въ своемъ логическомъ опредѣленіи есть способность принциповъ и заключенія изъ нихъ, и потому раціоналистическое міропониманіе предполагаетъ, какъ свое основаніе, твердые принципы. Декадентство, наоборотъ, есть отрицаніе принциповъ, и Буржэ правъ, разсматривая Ренановскій дилетантизмъ какъ высшее проявленіе декадентства [1]).

[1]) Cosmopolis, p. 30 (éd. 1893).

8. Раціонализмъ, видя въ разумѣ единственный законъ и правило всего сущаго, т.-е. того, что есть, было и будетъ, предполагаетъ осуществимость всѣхъ идеаловъ разума. Декадентство, наоборотъ, настаиваетъ на неисполнимости идеаловъ, на необходимости искать успокоенія въ несбыточныхъ мечтахъ.

9. Признавая въ разумѣ верховный принципъ вселенной, то-есть безконечнаго, раціонализмъ предполагаетъ и дѣятельность разума безконечной; онъ есть поэтому философія жизни. Напротивъ, декадентство ставитъ на видъ ограниченность опыта и настаиваетъ на всеобщности смерти, какъ единственной достовѣрной истины.

10. Раціоналистическое міропониманіе есть неизмѣнно оптимизмъ, такъ какъ оно разсматриваетъ вселенную какъ обнаруженіе разума, а разумъ всегда дѣйствуетъ по понятію наилучшаго, которое для него совпадаетъ съ наиболѣе разумнымъ, и онъ не только не можетъ признавать зла основаніемъ жизни, но видитъ въ немъ неразумный принципъ, противоборствующій его дѣятельности. Декадентство, напротивъ, есть міровоззрѣніе въ общемъ и главномъ пессимистическое.

11. Разумъ, требуя закономѣрности, требуетъ и красоты, какъ высшаго обнаруженія закономѣрности не одной только формой, но и соотвѣтствіемъ формы содержанію. Для него истина, благо, красота—одинъ и тотъ же идеалъ, разсматриваемый съ различныхъ точекъ зрѣнія, а безобразіе—одно изъ про-

явленій противодѣйствующаго ему начала, и онъ на безобразіи останавливается съ неохотою. Наоборотъ, съ точки зрѣнія декадентства, жизнь въ самомъ корнѣ безобразна, и современная литература охотно останавливается на безобразіи.

Образцами „поэзіи безобразнаго“ могутъ служить стихотворенія Бодлэра „Une Charogne“ и „Un voyage à Cythère“.

Слова Бодлэра:

Ah, Seigneur, donnez moi la force et le courage
De contempler mon coeur et mon corps sans dégout [1])—

выражаютъ основной тонъ современной декадентской поэзіи въ лицѣ ея наиболѣе типичныхъ представителей.

Разсматриваемое какъ протестъ противъ односторонняго господства раціонализма, декадентство заслуживаетъ не того отношенія, которое къ нему стало обычнымъ,—не глумленія, не пренебрежительнаго пожиманія плечами, но глубокаго вниманія, какъ проявленіе тѣхъ сторонъ сознанія, которыя подавляются разумомъ, и хотя столь же правоспособны, какъ разумъ, но опираются не на его принципы и потому передъ нимъ безотвѣтны.

Презрительное отношеніе не оправдывается и тѣми образцами, которые даетъ намъ декадентство. Несомнѣнно, среди нихъ есть нелѣпые, какъ, впрочемъ,

[1]) Voyage à Cythère.

они существуютъ во всѣхъ направленіяхъ и видахъ литературы, но многіе изъ нихъ вполнѣ прекрасные. Оцѣнить какъ слѣдуетъ эту красоту не каждому подъ силу. Декадентскія произведенія—плодъ очень сложной и утонченной жизни, и для пониманія ихъ необходимо въ усиленной мѣрѣ обладать тѣми двумя основными качествами, безъ которыхъ оцѣнка всякихъ вообще проявленій духа неизбѣжно должна быть грубой и узкой: тревожной душой, отзывчивой ко всякимъ, даже мимолетнымъ, вѣяніямъ, или, говоря словами поэта, сердцемъ, подобнымъ воздушной лютнѣ, звучащей при всякомъ прикосновеніи, [1]) и широтой кругозора, непризнающей въ жизни никакихъ незыблемыхъ формъ, не дозволяющей уму закрѣпощать себя никакими взглядами и побуждающей его чутко прислушиваться къ поступательному ходу жизни во всѣхъ ея обнаруженіяхъ. Если эти качества встрѣчаются рѣдко въ отдѣльности, то вмѣстѣ они бываютъ лишь какъ счастливое исключеніе.

[1]) Son coeur est un luth suspendu.
Sitôt qu'on le touche il résonne.
(Béranger.)

## XV.

Мы нарисовали, насколько возможно общими чертами, картину современнаго настроенія Франціи по ея крупнѣйшимъ литературнымъ произведеніямъ. Картина настолько неприглядная, что положеніе могло бы показаться безысходнымъ, еслибы не было ясно, что съ концомъ вѣка не кончается жизнь, и что для жизни, какъ непрерывнаго потока, нѣтъ ничего безысходнаго. И хотя нельзя отрицать, что часы французской культуры показываютъ далеко за полдень и что одряхлѣвшая жизнь не можетъ быть обновлена никакими средствами, однако на ряду съ нею есть молодая, и намъ остается для этой послѣдней указать на тѣ выходы изъ современнаго положенія, которые намѣчаются причинами, его вызвавшими. Положеніе это, впрочемъ, не только мѣстнаго, но и общеевропейскаго значенія, такъ какъ культурные пути во всей Европѣ въ общемъ однородны, и во Франціи, какъ главномъ очагѣ культуры, сказывается лишь выразительнѣе то, что въ той или другой мѣрѣ свойственно всѣмъ европейскимъ народамъ. Мы поэтому вправѣ говорить о

причинахъ не только французскаго, но и общеевропейскаго положенія.

Первая и главная причина кроется, какъ неоднократно было объяснено, въ преобладаніи теоретической мысли надъ остальными сторонами духа. Изъ того, что человѣкъ разумнѣе другихъ живыхъ существъ, выработалось убѣжденіе, что онъ существо по преимуществу разумное, отсюда, далѣе,— что разумъ составляетъ все его существо и что онъ, слѣдовательно, долженъ жить исключительно по разуму [1]).

На дѣлѣ нашъ духовный міръ—сложный организмъ, въ которомъ разумъ представляетъ только одну изъ сторонъ, но не единственную. Если отрѣшиться отъ предразсудка раціонализма, будто разумъ—царь жизни, и посмотрѣть на нее непредубѣжденнымъ взглядомъ, то станетъ очевиднымъ, что въ общемъ ходѣ она руководствуется не столько разумомъ, сколько тѣмъ весьма сложнымъ и подвижнымъ цѣлымъ, которое подчиняетъ себѣ разумъ и называется чувствомъ. Мы не можемъ опредѣлить, что оно такое, такъ какъ по своей сложности и подвижности оно не укладывается ни въ какія замкнутыя категоріи, но мы всѣ его отлично со-

[1]) Взглядъ этотъ нашелъ, какъ извѣстно, наиболѣе полное выраженіе у Декарта и его школы (особенно яркое у Спинозы).

знаемъ въ извѣстныхъ всѣмъ намъ состояніяхъ горести и радости, любви и ненависти, разочарованія и надежды и т. д. Удовлетвореніе этой стороны духа столь же необходимо, какъ и познавательной. Какъ жизнь физическаго организма бываетъ правильной лишь когда не стѣсняется ни одно изъ его отправленій, точно также и духовная жизнь можетъ быть естественной лишь при удовлетвореніи всѣхъ сторонъ духа. Это справедливо одинаково и для практической, и для теоретической жизни. Истина есть соотвѣтствіе между познающимъ и познаваемымъ, полнота истины предполагаетъ полноту бытія, а полнота бытія, если бы была постижима, могла бы быть постигнута лишь полнотой духа. И если безспорно, что не освѣщаемое требованіями разума чувство не можетъ быть надежнымъ руководителемъ практической жизни, то не менѣе безспорно и то, что не можетъ быть такимъ руководителемъ и разумъ, если не находитъ опоры въ чувствѣ.

Поэтому, насколько вообще разрѣшимы сложные общественные вопросы, волнующіе современную Европу, ключъ къ ихъ рѣшенію можетъ лежать лишь въ тѣсномъ единеніи чувства и разума. Теоретически разумъ можетъ провозглашать принципы свободы, равенства, братства, но не въ силахъ осуществить собственными средствами ни одного изъ нихъ. Свобода мыслима лишь при безусловномъ равенствѣ,

такъ какъ различіе особей обозначаетъ ихъ противоположность, предполагаетъ поэтому столкновеніе и борьбу между ними, преобладаніе сильнаго надъ слабымъ, порабощеніе. Но человѣкъ по своему существу есть особь, и не только нѣтъ никакихъ теоретическихъ основаній, по которымъ бы сильный не долженъ былъ угнетать слабаго, а, на оборотъ, опытъ свидѣтельствуетъ о преобладаніи сильнаго надъ слабымъ какъ о всеобщемъ міровомъ законѣ. Понятіе долга вводитъ насъ въ область этики, а когда этика обсуждаетъ основы долга, она всякій разъ, прямо или косвенно, переноситъ вопросъ на почву чувства. Даже наиболѣе отвлеченная изъ нравственныхъ системъ и наиболѣе отвергающая чувство, Кантова, своимъ высшимъ требованіемъ: „Поступай такъ, чтобы правило твоей воли вмѣстѣ могло всегда служить принципомъ общаго законодательства“ [1])—ясно намѣчаетъ элементъ чувства, такъ какъ это требованіе есть лишь иное выраженіе общехристіанскаго: „Поступайте съ другими такъ, какъ бы вы желали, чтобы съ вами поступали“ [2]), а желаніе предполагаетъ мотивъ, который всегда есть чувство. Равенство, а потому и свобода, возможны были бы между людьми лишь при безграничной любви, которая по

[1]) K. d. pr. V. p. 32 f. (Hart.) и пр. Также и въ Grundlegung z. Metaph. d. Sitt.

[2]) Мате. VII, 12. Лук. VI, 31.

своему существу есть отрѣшеніе отъ своей индивидуальности на благо другой. Или, иначе, люди могли бы быть равными и свободными, лишь когда были бы объединены по-истинѣ братскимъ чувствомъ, такъ что въ программѣ общественнаго преобразованія слово братство должно было бы занимать не второе мѣсто, какъ у руководителей великой революціи, а первое [1]).

Во Франціи поворотъ отъ господства раціонализма къ признанію правъ чувства намѣченъ, какъ намъ уже извѣстно, всѣмъ современнымъ міропониманіемъ, которое, несмотря на свои уродливыя формы, получаетъ, благодаря этому своему значенію, глубокій жизненный смыслъ. Поворотъ этотъ, впрочемъ, не одинокъ въ исторіи, но наблюдался неоднократно при сходныхъ съ настоящимъ положеніяхъ. Въ Греціи платонизмъ съ его господствующимъ элементомъ чувства былъ противовѣсомъ узко-критическаго движенія софистическаго вѣка и опредѣлилъ собою нравственный идеалъ послѣдующей эпохи, придавъ ему религіозный характеръ. Но философія оказалась несостоятельной дать жизни опору, и когда для наслѣдниковъ греческой культуры, римлянъ, жизнь утратила смыслъ (argumenta vitae perierunt [2]), они обратились къ религіознымъ культамъ.

[1]) Не liberté, fraternité, égalité, a fraternité, égalité, liberté.

[2]) Plin. H. N. XXIX, 8.

Средневѣковой культурный идеалъ былъ весь проникнутъ чувствомъ, и всякій разъ, когда поднималъ голосъ раціонализмъ, отвѣтомъ ему былъ мистицизмъ. Во французскомъ просвѣтительномъ движеніи раціонализмъ взялъ надъ чувствомъ рѣшительный перевѣсъ; теперь оно, послѣ долгаго порабощенія, снова собралось съ силами и вытѣсняетъ раціонализмъ.

Вторая причина, связанная съ первой, состоитъ въ чрезмѣрномъ гнетѣ, налагаемомъ европейской культурой на современнаго человѣка. Видя въ человѣкѣ существо по преимуществу разумное, эта культура ставитъ идеаломъ возможное освобожденіе человѣка для чисто духовной дѣятельности и, поскольку субъектъ противоположенъ объекту, духъ—природѣ, обособленіе человѣка отъ природы, подчиненіе всей жизни созданнымъ нашимъ разумомъ формамъ.

Но мы—неразъемлемая часть природы, и потому наша духовная дѣятельность можетъ быть здоровой лишь при непосредственномъ и живомъ съ нею общеніи. Отрѣшеніе отъ нея и сосредоточенность духа въ себѣ самомъ, на своемъ чисто-субъективномъ мірѣ, необходимо ведетъ къ праздномыслію, къ построенію несбыточныхъ утопій, къ взвѣшиванію и обдумыванію своихъ состояній и къ измышленію, на почвѣ этого прислушиванія къ себѣ, такихъ потребностей, которыя не подсказаны природой и потому никакой дѣйствительностью удовлетворены быть не

могутъ. Это создаетъ недовольство, еще болѣе увеличивающееся тѣмъ формализмомъ, въ который мы заковываемъ жизнь. Разумъ, по своей внутренней природѣ источникъ свободы, есть въ то-же время, въ своемъ формальномъ опредѣленіи, принципъ обусловливающій, и мы рѣдко сознаемъ его въ этой его внутренней природѣ, но сосредоточиваемся главнымъ образомъ на его формальной, теоретической сторонѣ, какъ болѣе очевидной и легко уловимой, возводимъ форму и теорію въ верховный законъ жизни, который долженъ надъ нею единовластно царствовать, и чѣмъ больше стараемся подчинить ее теоретическимъ требованіямъ, тѣмъ она становится замысловатѣе, условнѣе и формальнѣе. Вопреки очевидной истинѣ, что только естественная и, слѣдовательно, простая жизнь можетъ быть правильной, созданный европейской культурой предразсудокъ считаетъ соотвѣтствующимъ идеалу человѣка не того, кто смотритъ на жизнь и живетъ естественно и просто, но существо дѣланное, запутанное и сложное, такъ что—фактъ нелѣпый, но документально засвидѣтельствованный культурными языками—простодушіе кажется равнозначительнымъ глупости [1]).

[1]) Наиболѣе выразительнымъ примѣромъ такого извращенія понятій могутъ служить греческія εὐήθης, εὐήθεια, первоначально обозначавшія: благонравный, благонравіе (буквальный смыслъ), а впослѣдствіи обыкновенно: глупый, глупость. Нѣмецкій einfältig (собств. одно-складочный), Einfalt обозначаютъ: простой, простота и глупый, глупость. То же франц. и англійск. simple и т. д.

Однако, какъ бы мы ни старались оторвать себя отъ природы, она остается нашей общей матерью и зоветъ насъ къ себѣ тѣмъ настоятельнѣе, чѣмъ больше мы отъ нея уклоняемся. Современный призывъ къ „опрощенію“, какъ средству выйти на правильный путь, есть кличъ самой природы, ясно и точно опредѣляющій то, что издавна подсказывалось исторіей. Древній цинизмъ съ его грубымъ презрѣніемъ ко всѣмъ удобствамъ и неудобствамъ культуры, подсказанный имъ стоицизмъ съ его идеаломъ „жизни, согласной съ природой“ и пренебреженіемъ ко всему условному и для доблести ненужному, мечты о возвращеніи къ природѣ въ эпоху возрожденія и въ концѣ восемнадцатаго вѣка,—всѣ эти нравственные идеалы, сколь между собою въ частностяхъ ни различны, проникнуты одною мыслью, что жизнь тѣмъ лучше, чѣмъ ближе къ природѣ и проще. Христіанское религіозное сознаніе, хотя своимъ призывомъ отрѣшиться отъ земного ради небеснаго и отрываетъ человѣка отъ природы, въ воззрѣніи на земную жизнь идетъ объ руку съ философскимъ. Оно предписываетъ просить только о насущномъ хлѣбѣ и на одинъ день, оно ставитъ въ образецъ птицъ небесныхъ, которыхъ питаетъ Господь, и полевыя лиліи, которыхъ одѣваетъ Господь; глубоко правдивое и потому простое, оно отвергаетъ всякую вычурность, всякую формальность, всякое суемудріе, и выбираетъ своими вѣстниками людей простыхъ;

оно повелѣваетъ намъ, чтобы мы были какъ дѣти; оно призываетъ не гордыхъ, а нищихъ духомъ[1]), не притворныхъ и лицемѣрныхъ, а чистосердечныхъ и правдивыхъ, не праздныхъ и наслаждающихся, а труждающихся и обремененныхъ. И кому неизвѣстно, что простота жизни раннихъ христіанъ была для страдавшаго подъ гнетомъ языческой культуры человѣка однимъ изъ главныхъ поводовъ ближе прислушаться къ Христову ученію и затѣмъ принять его?

Чѣмъ дальше идетъ жизнь, тѣмъ сложнѣе становится и труднѣе укладывается въ создаваемыя теоріей формы, тѣмъ тяжелѣе гнетъ этихъ оковъ и тѣмъ сильнѣе желаніе сбросить ихъ, такъ что въ концѣ кореннымъ вопросомъ жизни долженъ быть не тотъ, какъ ее оформить и какой теоріи подчинить, но тотъ, какъ со всѣмъ этимъ нами унаслѣдованнымъ грузомъ теорій и формъ примирить вполнѣ назрѣвшую жажду возврата къ природѣ. И въ неопредѣленномъ туманѣ далекаго будущаго, какъ идеалъ жизни, рисуются не тѣ образы, которые намѣчаются современной культурой, заставляющей жаловаться, что въ ней „три четверти нашихъ бѣдъ происходитъ отъ мысли“[2])—не рыцари чистаго разума и чистой мысли, живущіе теоріей и для теоріи, не

---

[1]) Мы беремъ здѣсь евангелійскій текстъ, какъ онъ данъ, оставляя въ сторонѣ догадки критики относительно πνεύματι.

[2]) Anatole France, Pierre Nozière, p. 145.

философы, строющіе сложныя системы, въ которыхъ запутываются раньше другихъ сами, не согбенные надъ книгами ученые, терпѣливо всю жизнь трудящіеся надъ тѣмъ, что ни для чего, кромѣ „чистой науки“, не нужно, не блестящіе литераторы и ораторы, увлекающіе читателей и слушателей хорошо закругленными фразами, но подобно тому, какъ въ золотой вѣкъ Рима—образъ скромнаго пахаря, незамѣтно живущаго въ кругу своихъ близкихъ и среди своихъ стадъ:

Beatus ille, qui procul negotiis,
Ut prisca gens mortalium,
Paterna rura bobus exercet suis,
Solutus omni fenore! [1])

Въ современной французской литературѣ стремленіе къ простотѣ и природѣ сказывается различно. О немъ свидѣтельствуетъ презрѣніе всѣхъ передовыхъ поэтовъ ко всему условному и формальному и дѣтская наивность лучшихъ изъ нихъ (Мэтерлинкъ); имъ вѣетъ въ твореніяхъ Лоти, заставляющихъ тосковать по тѣмъ далекимъ землямъ, гдѣ люди близки къ природѣ и далеки отъ европейской культуры; оно вдохновляетъ романы и повѣсти Рода [2]), заявляетъ о себѣ у Фламмаріона [3]), въ новѣйшихъ по-

[1]) Horat. Epod. II.

[2]) Напр., Là Haut, также La vie privée de Michel Teissier, p. 145, Au milieu du chemin, pp. 95, 246, 324 и пр.

[3]) Uranie, pp. 103—110. Stella, pp. 272, 273, 314, 346. Clair de la lune, p. 32 и др.

вѣстяхъ Буржэ [1]), въ романахъ другихъ писателей, бьющихъ на современность [2]); оно подсказываетъ грубый цинизмъ Ришпэна, прославляющій жизнь нищихъ и бродягъ. Но самымъ лучшимъ его выраженіемъ служатъ грустныя страницы Аміеля, [3]) прибѣгающаго къ простотѣ и красотѣ природы, какъ единственному средству отъ порабощающей и разлагающей насъ чрезмѣрной работы мысли, и романы Тэрье, который, не задаваясь, впрочемъ, задней мыслью, съ удивительнымъ художественнымъ тактомъ умѣетъ показывать, что истинное счастье возможно лишь въ единеніи съ природой, но что это единеніе не ведетъ къ скотской жизни, такъ какъ не предполагаетъ отрѣшенія отъ всей вообще культуры, а лишь отъ ея формализма, скрывающаго отъ насъ правду и поэзію жизни.

Третья причина, лежащая точно такъ же, какъ предыдущая, въ первой, есть общія всѣмъ культурнымъ людямъ самомнѣніе и самонадѣянность. Считая себя исключительными носителями разума, противополагая себѣ остальную природу какъ неразумную, мы воображаемъ себя царями міра, думаемъ,

---

[1]) Le luxe des autres, pp. 161, 271.

[2]) Напр., De la Brète, La Solution, pp. 234, 311, 313, Prévost, Frédérique, p. 231.

[3]) Journal intime, I, pp. 51, 115, 124, 148, 212. II, 47, 51, 247 и проч.

что все должно служить нашему благополучію и быть открытымъ для нашего разума.

Изъ всѣхъ предразсудковъ этотъ самый жалкій и разума наименѣе достойный. Здѣсь незачѣмъ приводить общеизвѣстныя нелѣпицы, подсказываемыя взглядомъ на человѣка, какъ на центръ мірозданія. Ничтожная часть земли, которая сама—ничтожная часть вселенной, человѣкъ не можетъ быть царемъ міра, и непрестанное, ничѣмъ не устранимое преобладаніе скорби надъ радостью горячо и краснорѣчиво убѣждаетъ насъ въ нашемъ самозванствѣ. И сколь ни тяжело для всевластнаго и всевѣдущаго владыки міра слагать съ себя права на это высокое достоинство, успѣхъ наукъ свидѣтельствуетъ съ очевидностью, что чѣмъ шире кругъ нашихъ опытныхъ знаній, тѣмъ яснѣе сознаніе, какъ ничтоженъ объемъ того, что для нашего разума ясно и раздѣльно, въ сравненіи съ тѣмъ, что для него непостижимо. Ни основы нашей нравственной, ни основы теоретической жизни для насъ неизвѣстны. Мы осуждены на вѣчное невѣдѣніе, насколько нашъ разумъ пригоденъ для постиженія истины. Какія бы на нашъ взглядъ непоколебимыя доказательства мы ни строили, они всегда остаются человѣческими, слѣдовательно, относительными и условными, и именно потому у насъ нѣтъ никакой возможности удостовѣрить правоспособность нашего разума къ познанію безусловнаго. Наша высшая муд-

рость, философія, не выходитъ изъ тѣснаго круга взаимно отрицающихъ себя предположеній, которыя мысль не можетъ ни опредѣлить, ни объяснить, ни доказать съ требуемой ею отчетливостью и которыя она взамѣнъ того съ утомительнымъ однообразіемъ изъ вѣка въ вѣкъ повторяетъ, не подвигаясь къ рѣшенію поставленныхъ ею задачъ ни на шагъ [1]). Въ такъ называемыхъ точныхъ наукахъ, при всѣхъ ихъ успѣхахъ, послѣднее слово отъ насъ всегда ускользаетъ. Смѣло и радостно разбила окрыленная астрономіей мысль скорлупу древняго мірового яйца, исчезъ небесный сводъ, раскинулась кругомъ безконечность, свѣжей жизнью, вольной волею, освобожденіемъ отъ вѣковыхъ заблужденій повѣяло изъ безконечности, но въ то-же время затерялись въ ней ключи къ рѣшенію всѣхъ конечныхъ вопросовъ, лежавшіе раньше у всѣхъ подъ рукой въ незатѣйливомъ міровомъ хозяйствѣ, когда земля неподвижно царила въ центрѣ небольшой вселенной и все было создано для человѣка и около него вращалось. А теперь вырваны изъ узкихъ оковъ одинаково и земля, и солнце, и всѣ другія свѣтила, и все это двинуто съ головокружительной стремительностью по безпредѣльному раздолью небесъ, гдѣ нѣтъ ни центра, ни окружности, ни средины, ни конца, ни начала. Мы вычисляемъ со всей доступной намъ точностью пути и скорости

[1]) См. мою брошюру „Что такое философія, и что она можетъ и чего не можетъ дать.“ Кіевъ, 1899.

этихъ движеній, мы знаемъ, къ какой звѣздѣ и съ какой быстротой уносится наше солнце со всѣми его планетами, но въ то же время намъ извѣстно, что всюду одна звѣзда тянетъ другую и что поэтому мы никогда не будемъ знать, откуда и куда устремлено все это движеніе. Точно также и его причина намъ непостижима. Всемірное тяготѣніе, центробѣжная и центростремительная силы—всѣми этими словами мы прикрываемъ наше невѣдѣніе, такъ какъ не знаемъ, что такое эти силы, откуда онѣ, и чѣмъ и какъ поддерживаются. И если у насъ есть ясное знаніе о строѣ зримой нами вселенной, то ея происхожденіе и ея грядущія судьбы отъ насъ скрыты. Химія разлагаетъ вещество до возможныхъ для нея предѣловъ и умѣетъ изъ простѣйшихъ элементовъ создавать сложныя соединенія, тожественныя съ вырабатываемыми жизнью растеній и животныхъ, но ни существа матеріи, съ обнаруженіями которой она имѣетъ дѣло, ни существа той силы, которая проявляется въ химическихъ процессахъ, она не знаетъ, и у нея нѣтъ никакихъ средствъ убѣдиться, что основанія и правила, которыми она руководится въ своихъ синтезахъ, одинаковы съ тѣми, на которыхъ зиждится творческая работа природы. Физика сводитъ всѣ силы къ различнымъ видамъ движенія, но она не въ состояніи объяснить, какимъ образомъ движеніе можетъ превращаться въ эти разнообразныя формы, и она не знаетъ, откуда оно происходитъ.

Еще скуднѣе наши знанія о жизни: намъ неизвѣстны ни ея существо, ни ея первоисточники, ни то, почему она проявляется въ тѣхъ или другихъ обнаруженіяхъ. Математика по точности и непреложности своихъ выводовъ—одно изъ крупнѣйшихъ торжествъ нашей мысли; но ея основныя понятія (величины, точки, конечнаго, безконечнаго и т. д.) неопредѣлимы съ должной отчетливостью, и ни существа творческихъ процессовъ, созидающихъ математическія построенія, ни существа пространства и времени, на которыя эти построенія опираются, мы не знаемъ. Даже въ томъ, что всего къ намъ ближе, въ строѣ нашей общественной жизни, мы не можемъ какъ должно разобраться. Хотя нашъ опытъ считаетъ за собой тысячелѣтія, соціальный вопросъ, несмотря на всѣ завоеванія культуры и на всѣ посвященные ему разсужденія и трактаты, продолжаетъ быть такой же неразгаданной и „проклятой“ загадкой, какъ въ первые дни міра. И теперь мы остаемся съ безсильнымъ сокрушеніемъ сердца предъ зрѣлищемъ, какъ страдаетъ подъ крестной ношей праведникъ и радостно гарцуетъ на побѣдномъ конѣ злодѣй [1]). Но

---

[1]) Lass die heil'gen Parabolen,
Lass die frommen Hypothesen—
Suche die verdammten Fragen
Ohne Umschweif uns zu lösen.
Warum schleppt sich blutend, elend,

всего позорнѣе для нашего царскаго достоинства наше неумѣнье пользоваться тѣмъ самымъ разумомъ, ради котораго мы возводимъ себя въ это достоинство. Мыслью мы копаемъ могилу для жизнерадости, въ наукѣ ищемъ предлога для скорби. Нѣтъ ничего печальнѣе тѣхъ сѣтованій на мысль и знаніе, изъ которыхъ отошедшій вѣкъ сложилъ для себя погребальную пѣсню. И растерянно внимаетъ этой пѣснѣ самозванный царь, тѣмъ болѣе жалкій, что самъ выводитъ свою родословную отъ скота и, не находя въ себѣ силы удержаться въ присвоенномъ себѣ высокомъ званіи, жаждетъ, какъ послѣдняго убѣжища отъ всѣхъ скорбей, вновь превратиться въ скота. Съ отчаянья бросаетъ онъ свой царскій вѣнецъ въ грязь, топчетъ его, плюетъ себѣ въ лицо, приговаривая: „ты не царь вселенной, ты ничтожный паразитъ земли, подобный тѣмъ бактеріямъ,

---

Unter Kreuzlast der Gerechte,
Während glücklich als ein Sieger
Trabt auf hohem Ross der Schlechte?
Woran liegt die Schuld? Ist etwa
Unser Herr nicht ganz allmächtig?
Oder treibt er selbst den Unfug?
Ach, Das wäre niederträchtig.
Also fragen wir beständig,
Bis man uns mit einer Handvoll
Erde endlich stopft die Mäuler—
Aber ist Das eine Antwort?

(Heine).

которыя гнѣздятся въ твоемъ существѣ и его подтачиваютъ; вотъ твое истинное званіе, смыслъ и значеніе твоей жизни.“ [1])

Оттого не кичиться нашимъ мнимымъ царственнымъ положеніемъ во вселенной, не обольщать себя призракомъ безпредѣльности нашихъ способностей, не обособлять себя отъ природы, но понять наше скромное мѣсто въ общемъ строѣ мірозданія, признать удостовѣренный опытомъ узкій предѣлъ нашихъ познавательныхъ силъ, сообразовать жизнь съ природой—таковъ завѣтъ всей истекшей нашей исторіи. Онъ не даетъ опоры ни для угнетеннаго настроенія, ни для ослабленія рвенія въ доступной намъ дѣятельности, ни для приниженія нашей жизни до скотской. Для мысли ясной и смѣлой нѣтъ высшей отрады, чѣмъ бросить предразсудки и посмотрѣть въ лицо дѣйствительности прямо и трезво. Если ничтожно наше мѣсто въ безконечномъ, то мы можемъ достигнуть крупнаго въ конечномъ. Не дано намъ никакихъ знаній о сверхопытномъ, зато открыто для насъ широкое поле въ опытныхъ знаніяхъ, которое только еще начинаетъ воздѣлываться и уже приноситъ обильную жатву. И у насъ нѣтъ основаній оплакивать жизнь какъ поприще безысходнаго мрака и сѣтовать на полное отсутствіе руководительныхъ образцовъ. Пусть она глубоко поросла всякой сквер-

[1]) Выше, стр. 37. 118. 133. 342, сл. 380.

ной; только закрывая глаза можно не видѣть ея поступательнаго хода, не признавать господства надъ ней силы, постепенно влекущей ее къ возможному для насъ свѣту. Существо этой силы, какъ и всего остальнаго, отъ насъ скрыто. Но не даромъ широко развернулся историческій опытъ. Не рѣшая никакихъ основныхъ вопросовъ, онъ проводитъ передъ нами рядъ свѣтлыхъ обликовъ, какъ свидѣтельство о томъ, къ чему стремится наша природа, удостовѣряетъ постепенное развитіе нашихъ идеаловъ до все болѣе высокаго уровня, указываетъ, сопоставляя прошлое съ настоящимъ, на то, какихъ желаетъ современность, даетъ понять, чѣмъ каждый изъ насъ можетъ способствовать этому поступательному ходу. Каждый можетъ вносить свою долю свободнымъ стремленіемъ къ тому, что ему кажется наилучшимъ, неустанной работой надъ собой съ цѣлью возможнаго приближенія къ ставимому имъ самимъ идеалу совершенства, трудолюбивымъ изученіемъ природы для возможно большаго ея постиженія и пользованія ею. Много этими личными усиліями насаждается ненужнаго и сорнаго, но всегда можетъ просвѣщенная мысль отдѣлить цѣнныя зерна отъ плевелъ, и отъ насъ зависитъ, чтобы сорное уступало мѣсто для жизни полезному.

Среди всѣхъ колебаній во взглядахъ на способъ жизни, неизмѣнно утверждаетъ свою цѣлесообразность жизнь согласная съ природой, такъ какъ

она можетъ быть цѣнной лишь когда здорова, а такой она можетъ быть лишь когда естественна, то есть сообразна съ природой. Черты такой жизни можно считать въ общемъ и главномъ достаточно выясненными. Жить согласно съ природой значитъ искать руководства не въ отвлеченныхъ построеніяхъ мысли и не въ предразсудкахъ, порождаемыхъ невѣжествомъ, но въ тѣхъ взглядахъ, которые вырабатываются тѣснымъ любвеобильнымъ и любознательнымъ общеніемъ съ природой; развертывать, насколько возможно, всю полноту своего существа, давая волю всѣмъ своимъ способностямъ и склонностямъ, не служащимъ въ ущербъ ни себѣ, ни другимъ; стремиться къ возможной простотѣ, отвергая всѣ не совмѣстимыя съ ней и не лежащія въ основѣ общежитія условности и формальности; идти къ достиженію намѣченныхъ цѣлей твердо, правдиво и искренно; быть постоянно дѣятельнымъ, избѣгая всякой праздности; находить оцѣнку для своихъ поступковъ въ своемъ личномъ сознаніи, заботясь о мнѣніи другихъ лишь для того, чтобы не оскорблять его своей рѣзкостью.

Такое міропониманіе, подсказанное вѣрой въ непрерывный поступательный ходъ жизни, отвергаетъ въ ея проявленіяхъ все безусловное, вполнѣ опредѣленное и законченное. Каждое создаваемое ею вѣрованіе имѣетъ для него значеніе временной духовной пищи, которая, отдавъ свои жизненные соки, становится въ духовномъ организмѣ такимъ же излишнимъ браме-

немъ, какъ переработанная физическая пища въ организмѣ физіологическомъ. Оно одинаково отвергаетъ и насиліе надъ живыми вѣрованіями, и искусственное поддержаніе отживающихъ. Общежительная мудрость для него въ томъ, чтобы вести общественный организмъ впередъ неуклонно и твердо, сообразуясь съ условіями его историческаго роста, избѣгая толчковъ и потрясеній, но и не тормозя ничѣмъ мертвеннымъ. Оно ревностно отстаиваетъ необходимость борьбы съ суевѣріемъ, то есть съ тѣмъ, что отвергается просвѣщеннымъ взглядомъ какъ въѣдающійся въ жизнь вымыселъ, но оно признаетъ только постепенную и осторожную борьбу, постоянно считаясь съ слабостью общечеловѣческаго умственнаго уровня, съ зыбкостью всѣхъ человѣческихъ убѣжденій, съ мракомъ, въ которомъ привыкъ и любитъ блуждать человѣческій родъ, съ его потребностью дѣтской наивной вѣры, съ его жаждой носить въ душѣ кумира и благоговѣйно теплить передъ нимъ священный огонь.

Отрицая всѣ безусловныя теоріи, оно равно идетъ какъ противъ тѣхъ, которые желаютъ погрузить жизнь въ непроглядную тьму, такъ и противъ тѣхъ, которые думаютъ пронизать ее всю яркими лучами свѣта. Опытъ говоритъ слишкомъ убѣдительно, что не всюду могутъ проникать его лучи и что даже не всюду и всегда западать должны, что есть въ нашемъ духовномъ существѣ области, не выносящія безболѣзненно никакого сильнаго свѣта, что

всякое органическое развитіе нуждается въ извѣстное время въ покровительственной тѣни, защищающей его отъ вредныхъ для него воздѣйствій, и что постоянная жизнь въ яркомъ свѣтѣ мысли, не допускающей ничего сокровеннаго, точно такъ же изсушаетъ внутренній міръ, какъ сожигаетъ почву солнце, палящее слишкомъ долго съ свободнаго отъ всякихъ облаковъ неба. Свѣтъ и тѣнь одинаково нужны для жизни. Чѣмъ больше она приспособлена для свѣта, тѣмъ лучше; нужно старательно заботиться объ его распространеніи, такъ какъ тьмы кругомъ не въ мѣру много; но жизнь слагается не изъ одного свѣта. На землѣ онъ нигдѣ не царитъ нераздѣльно. Пытаться превратить себя всецѣло въ существо свѣта, значитъ идти противъ природы, на невозможное и нелѣпое. И какое жестокое назиданіе такому самомнящему притязанію даетъ весь этотъ хорошо намъ изевѣстный вопль отошедшаго вѣка. Самопревышеніе[1]), на которое какъ на главный порокъ указывала древность, нигдѣ не сказывается съ большей наглядностью, чѣмъ въ этой попыткѣ, и нигдѣ оно не несетъ само для себя возмездія съ большей очевидностью, чѣмъ здѣсь. Есть для нашей природы предѣлъ, какъ есть онъ и для нашей жизни. Безсмысленно негодовать на то, что завершеніе жизни—тихій сумракъ могилы. Точно

---

[1]) ὕβρις.

также и въ остальномъ благоразумно примириться съ неизбѣжнымъ. Создавать изъ человѣка свѣтозарнаго идола, словословить его безконечное величіе громкими и пустыми фразами, колѣнопреклоненно дымить передъ нимъ куревомъ не сознающей себя лести— самое отталкивающее изъ суевѣрій, самый отвратительный изъ культовъ. Долгъ всякой трезвой мысли указывать человѣку на его истинное положеніе, горячо ратовать противъ этихъ славословій, заботливо очищать воздухъ отъ мерзостнаго курева.

Говоря кратко, главная причина современнаго положенія—въ искаженіи нашей природы и выходъ изъ него—въ возстановленіи этой природы. Великій мудрецъ древности уподобилъ человѣческую душу морскому богу Главку, который былъ когда-то небожителемъ, но былъ низвергнутъ въ морскую пучину, гдѣ волны измяли и искалѣчили его тѣло и гдѣ къ нему прилѣпилось много всякихъ наростовъ— раковинъ, песку, камней, тины, такъ что посмотрѣть на него и не узнаешь, богъ ли онъ, человѣкъ или звѣрь, и мудрость полагалъ въ томъ, чтобы освободиться отъ всего этого лишняго, вынырнуть изъ моря и полнотой духа соединиться съ Единымъ божественнымъ и вѣчнымъ [1]). Это прекрасное сравненіе становится тѣмъ справедливѣе, чѣмъ дальше

[1]) Plato, De Rep. 611, D сл. 518, C.

идетъ жизнь, такъ какъ тѣмъ больше создаетъ она, на ряду съ цѣннымъ, предразсудковъ, условностей и формальностей, ее искажающихъ, но тѣмъ законнѣе и предъявляемое древнимъ философомъ требованіе.

Стряхни же съ себя все это ненужное бремя, ветхій человѣкъ. Найди въ себѣ силу выйти изъ моря лжи и условностей для вольной и естественной жизни. Не разумомъ только, но и любовью, постигни живую связь и единство всего сущаго; подобно великому христіанскому святому сумѣй и въ солнцѣ, и въ землѣ, и въ лунѣ, и въ звѣздахъ, и въ вѣтрѣ, и въ водѣ, и въ огнѣ признать своихъ кровныхъ, въ каждомъ звѣрѣ—брата, въ каждой птицѣ—сестру, въ жизни каждой былинки—жизнь твоей однородную [1]); и радушно засіяетъ тебѣ солнце, привѣтливо защебечутъ птицы, любовно будутъ благоухать цвѣты. Не презирай чувства. Твердо помни, что въ сердцѣ лежатъ корни религіознаго, нравственнаго и поэтическаго міропониманія, что на его тревожномъ станкѣ сплетается тотъ уборъ, безъ котораго неприглядной становится жизнь, и что, кромѣ чистыхъ радостей знанія, нѣтъ ничего лучше трепетныхъ волненій, подсказывающихъ старую, но вѣчно юную, пѣсню о благоухающихъ розой грезахъ любви, объ ея стезяхъ, усѣянныхъ жасминомъ и

[1]) Пѣснь солнцу и „Fioretti“ св. Франциска Ассискаго.

жимолостью [1]). Вѣренъ будь заповѣди испытавшаго всю современную скорбь философа [2]): не вспахивай всецѣло свою душу сошникомъ изслѣдованія, оставь въ ней неизвѣданную область, нетронутую полосу для сѣмянъ, приносимыхъ вѣтромъ, укромное пристанище для перелетныхъ небесныхъ птицъ. Сохрани въ сердцѣ пріютъ для нежданнаго гостя, жертвенникъ для неизвѣстнаго бога. И если запоетъ въ твоей листвѣ птица, не приручай ее слишкомъ быстро. Остерегайся прикасаться грубыми руками къ тому, что создано нѣжной жизнью сердца, не спугивай неосторожнымъ свѣтомъ того, что не привыкло къ свѣту. Въ сокровенной тиши, подъ тройнымъ пологомъ стыда, молчанія и тѣни, зрѣютъ наши лучшія мысли и чувства: не сокращай нужной для нихъ ночи, не обнажай ихъ роста преждевременно, не наблюдай за нимъ любопытнымъ взоромъ. Только тогда избѣгнешь ты сухости мысли и чувства. Въ глубокіе тайники жизни не пытайся проникнуть самонадѣянной мыслью; тебѣ не извѣдать ихъ дна; полнота знанія и истины не дана намъ; вопросъ за вопросомъ встанутъ передъ тобою, и не будетъ на нихъ отвѣта. Всегда раскрыта передъ тобою великая книга природы; изъ нея многому можно и должно научиться; но нѣтъ у насъ ключа къ загадкѣ

[1]) V. Hugo, Nouvelle chanson sur un vieil air, Chants du crépuscule, XXII.

[2]) Amiel, Journal intime, I, p. 36.

о смыслѣ и значеніи жизни. Много предлагалось рѣшеній, но это многое сводится къ малому—къ невѣдѣнію, обольщающему себя самомнѣніемъ, выдающему за истину личный домыселъ. Посвяти нѣсколько лѣтъ юности на постиженіе этой мудрости съ тѣмъ, чтобы впредь никогда къ ней не возвращаться. Твой обогащенный знаніемъ умъ удостовѣритъ передъ тобой тщету ея притязаній. Онъ разъяснитъ тебѣ, что въ этой области мысль осуждена вращаться въ зачарованномъ кругу, что все, что можно здѣсь думать и сказать, много разъ передумано и сказано, и что если всетаки мысль неустанно пытается тутъ на что нибудь новое, то либо по невѣдѣнію, либо вслѣдствіе самолюбія и самомнѣнія, заставляющихъ ее черпать изъ себя, пренебрегая прошлымъ. И ты въ концѣ убѣдишься, что не въ примѣръ ближе, чѣмъ разсужденія этой мудрости, способно поставить тебя лицомъ къ лицу съ жизненной правдой простое щебетанье птицы въ затерянной глуши лѣса, гдѣ скромно благоухаетъ ландышъ: здѣсь призывъ къ любви наивный и робкій въ упоительной свѣжести жизни, тамъ, если на смѣну отвлеченностей не приходитъ жизненный опытъ или согрѣтое чувствомъ творчество, пустой перезвонъ словъ, въ которыхъ, среди тумана изъ пыли и копоти, смѣло расточаетъ свои щедрые дары мысль, не познавшая своей нищеты. Далеко отжени отъ ума самомнѣніе и гордыню. Откажись отъ взгляда на свой внутренній

міръ какъ на неисчерпаемое сокровище, которое непрестанно надо раскапывать, развѣдывать и разсматривать: непрерывный поворотъ духа на его собственныя состоянія испепеляетъ весь внутренній строй, рушитъ цѣльность міропониманія, заставляетъ признать наше ничтожество, убиваетъ жизнерадость. Всѣми силами противоборствуй недугамъ, которыми болѣетъ нашъ умъ: его склонности искать пищи въ собственной скудости, успокоенія въ пустозвонной мудрости. Не ослабѣвая рвеніемъ, наполняй себя знаніемъ всего того, что даетъ жизнь, укрѣпляй свой умъ свѣжимъ вѣяніемъ, идущимъ отъ природы, работай неустанно, чтобы не оставалось времени для праздной игры мысли. Не въ знаніи и не въ мысли, но въ неумѣньи ими пользоваться, въ самомнѣніи, въ стремленіи выйти изъ границъ нашей природы, въ принятіи вымысла за знаніе, въ погонѣ за созданными нами самими призраками, въ пустомысліи, въ сосредоточенности на своемъ убожествѣ вмѣсто того, чтобы всегда держать умъ открытымъ для всего великолѣпія вселенной—вотъ въ чемъ корень нашей умственной неурядицы. Если-жъ вдругъ всполохнется въ тебѣ надменная мысль и станетъ неотвязно нашептывать старую сказку о томъ, что ты царь міра и что все для тебя должно быть доступно, выйди въ тихій вечерній часъ, когда загораются звѣзды, на широкій просторъ, предоставь свой умъ дуновенію безконечнаго, и какъ легкій пепелъ развѣется твое самомнѣніе. Труденъ и тернистъ

останется для тебя среди людей путь жизни. Море глупости, недомыслія, напыщеннаго самомнѣніемъ ничтожества, злобы, зависти, клеветничества никогда не прекратитъ высоко поднимать свои мутныя волны. Но пусть оно задорно шумитъ вокругъ тебя: звѣздное небо не перестаетъ спокойно сіять надъ тобою. Безпредѣльное разнообразіе чувствъ пробуждается созерцаніемъ безконечнаго, но самое сильное—сознаніе самого безконечнаго. Оно само собою окрыляетъ духъ, пораждая въ немъ желаніе слиться воедино съ Единымъ и Вѣчнымъ, само собою открываетъ передъ взоромъ чистый идеалъ красоты, созданный не изъ земныхъ красокъ, а изъ цвѣтовъ радуги и лучей звѣздъ, само собой подсказываетъ пѣснь торжествующей любви.

Разумѣется, это не вполнѣ ясно, говоритъ больше чувству, чѣмъ уму. Но не въ томъ ли и одна изъ причинъ нашей скорби, что мы ищемъ полной ясности тамъ, гдѣ ея быть не можетъ, стараемся всецѣло поработить жизнь нашего сердца расчленяющей ее мысли? Несомнѣнно также, что указать путь къ выходу не значитъ указать средство идти этимъ путемъ, но безповоротенъ и приговоръ всего историческаго опыта, что перемѣна въ настроеніи достигается воззваніемъ не къ уму, а къ чувству, не научной, а религіозной и поэтической проповѣдью.

БИБЛИОТЕКА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ

# Опечатки.

Строки считаются сверху, вертикальная черта обозначаетъ „слѣдуетъ“.

**28**, 2 вибраціи“ | вибраціи“. [1]) Въ соотвѣтствующемъ примѣчаніи | La course à la mort, p. 73. **28**, 27. 28 скука“ [1]) | скука“ [2]) [1]) Fleurs [2]) Fleurs **29**, 25 гл. XI—XIII | гл. XI—XIV. **48**, 18 диллетанты | дилетанты **49**, 27 гл. XIII | гл. VIII **101**, 28 гл. VIII | гл. IX **111**, 16. 27 диллетантизмъ, диллетантизмѣ | дилетантизмъ, дилетантизмѣ **120**, 3 возникли и прейдутъ | возникла и прейдетъ **138**, 18 диллетантизмъ | дилетантизмъ **157**, 14 нынѣшняго | девятнадцатаго **210**, 22 сознанія | сознанія, **210**, 27. **212**, 28 Françe | France **232**, 26 [5]) Apôtres | [1]) Apôtres **240**, 7 вещей | вещей“ **257**, 14 кроткія. Стройныя | кроткія: стройныя **307**, 20 основанными | основанныхъ **310**, 1 **316**, 6. 11 **318**, 7. **319**, 3. 8. **332**, 3. **373**, 21 диллетантизма, диллетантизмъ, диллетантистъ | дилетантизма, дилетантизмъ, дилетантистъ **328**, 3 худшихъ | худшимъ **347**, 1 гдѣ находится | гдѣ обыкновенно находится **370**, 2 тщеты | ихъ тщеты **373**, 1 остается | останется **386**, 5 безъ страданія | безъ боли **468**, 8 обновительное | „обновительное **520**, 1 убѣждаемъ быть, | убѣждаемъ быть **658**, 3 словословить | славословить.